

Френсис Фицджеральд Прекрасные и проклятые

*Победитель принадлежит трофеям.—
Энтони Пэтч*

Посвящается Шейну Лесли, Джорджу Жану Натану и Максвеллу Перкинсу с благодарностью за огромную литературную помощь и поддержку.

Книга 1

Глава 1 Энтони Пэтч

В 1913 году, когда Энтони Пэтчу было двадцать пять, сравнялось уже два года тому, как на него, по крайней мере теоретически, снизошла ирония, этот Дух Святой наших дней. Эта ирония была как идеальный глянец на ботинке, как последнее касание одежной щетки, что-то вроде интеллектуального «алле». И все же в начале нашей истории он еще не продвинулся дальше стадии пробуждения сознания. Когда вы видите его в первый раз, он еще частенько интересуется тем, не окончательно ли он лишен благородства и в полном ли он рассудке, не представляет ли собой некой постыдной и неприличной необязательности, блестящей на поверхности мира, словно радужное пятно на воде. Естественно, эти периоды сменялись другими, когда он считал себя вполне исключительным молодым человеком, в достаточной мере утонченным, прекрасно подходящим к доставшейся ему среде обитания и в чем-то даже более значительным, чем кто бы то ни было.

Это было его здоровое состояние, и тогда он бывал веселым, приятным и весьма привлекательным для неглупых мужчин и всех без исключения женщин. Пребывая в этом состоянии, он считал, что наступит день, и он совершит какое-нибудь тонкое и негромкое дело, которое должным образом оценят избранные, а потом, пройдя остаток жизненной дороги, присоединится к не самым ярким звездам в туманной неопределенности небес, на полпути между бессмертием и смертью. А пока время для этого усилия еще не наступило, он будет просто Энтони Пэтчем — не портретом человека вообще, а живой развивающейся личностью, не лишенной некоторого упрямства и презрительности к окружающим, даже достаточно своевольной личностью, которая, сознавая, что чести не существует, все же хранит ее и, понимая всю призрачность мужества, все же рискует быть отважной.

Достойный человек и его одаренный сын

Будучи внуком Адама Дж. Пэтча, Энтони впитал в себя примерно такое же количество осознания незыблемости своего социального положения, как если бы вел свой род из-за океана, прямо от крестоносцев. Это просто неизбежно; графы Виргинские и Бостонские, что ни говори, — аристократия, выросшая на деньгах, деньги первым делом и почитает.

Так вот, Адам Дж. Пэтч, в обиходе более известный как «Сердитый Пэтч», покинул ферму своего отца в Тэrrритауне в начале шестидесят первого года, чтоб записаться в Нью-Йоркский кавалерийский полк. С войны он вернулся майором, твердой ногой ступил на Уолл-стрит и, среди тамошних суматохи и нервотрепки, одобрения и недоброжелательства, сумел скопить что-то около семидесяти пяти миллионов.

Этому он отдавал всю свою жизненную энергию до пятидесяти семи лет, ибо именно в этом возрасте, после жестокого приступа склероза, решил посвятить остаток своей жизни

моральному обновлению человечества. Он сделался реформатором из реформаторов. Стремясь превзойти непревзойденные достижения в этой области Энтони Комстока, в честь которого и был назван внук, он обрушивал целые серии апперкотов и прямых на литературу и пьянство, искусство и порок, патентованные лекарства и воскресные театры. Под влиянием зловредной плесени, избежать которой удастся с возрастом лишь очень немногим мозгам, он с жаром откликался на любое общественное возмущение эпохи. Из кресла в кабинете тэрритаунского поместья он повел против необъятного гипотетического врага, имя которому было нечестивость, настоящую военную кампанию, длившуюся пятнадцать лет. В этой кампании Адам Пэтч проявил себя бойцом неистово упорным и смертельно всем надоевшим. Но к тому времени, где берет начало эта история, силы его поиссякли, кампания рассыпалась на отдельные беспорядочные стычки, и все чаще год нынешний, 1895, туманили видения давно ушедшего 1861, мысли все охотнее обращались к событиям Гражданской войны и все реже к умершим жене и сыну, а уж к внуку Энтони — и вовсе нечасто.

В самом начале своей карьеры Адам Пэтч женился на Алисии Уитерс, анемичной женщине лет тридцати, которая принесла ему сто тысяч долларов приданого и обеспечила беспрепятственный доступ в банковские круги Нью-Йорка. Почти немедленно и весьма отважно она родила ему сына и, как бы обессилев от величия содеянного, с тех пор ступала в сумрачных пространствах детской. Мальчик же, Адам Улисс Пэтч, сделался со временем завсегдатаем клубов, знатоком хорошего тона и ездом на тандемах, а в возрасте двадцати шести лет несколько несвоевременно начал писать мемуары под названием «Нью-Йоркский свет, каким я его знал». Судя по слухам, концепция произведения была весьма любопытна, и среди издателей началась настоящая битва за право на издание, но после его смерти оказалось, что рукопись непомерно многословна и ошеломляюще скучна, так что ее отказались печатать даже за счет автора.

Женился этот лорд Честерфильд Пятой авеню в двадцать два года. Женой его стала Генриэтта Лебрюн — «контральто бостонского света», а единственный плод этого союза по требованию деда был окрещен Энтони Комсток Пэтч. Однако к тому времени, когда Энтони поступил в Гарвард, это «Комсток» как-то само собой изъясилось из его имени и погрузилось в столь глубокое забвение, что никогда уже не всплывало.

В молодости у Энтони была фотография, на которой его родители снялись вместе. В детстве она так часто попадалась ему на глаза, что постепенно приобрела безликость предмета мебелировки, но у того, кто попадал в спальню Энтони первый раз, этот снимок мог вызвать определенный интерес. На нем, подле темноволосой дамы с муфтой и намеком на турнюр, был изображен сухощавый, приятной наружности светский щеголь образца девяностых годов. Между ними помещался маленький мальчик в длинных темно-русых кудряшках и бархатном костюмчике «а ля лорд Фаунтлерой». Это был Энтони в возрасте пяти лет — в год, когда умерла его мать.

Его воспоминания о «бостонском контральто» были смутны и музыкальны. Она представлялась женщиной, которая только и делала что пела в музыкальной гостиной их дома на Вашингтон-сквер; иногда окруженная россыпью гостей — мужчин со скрещенными руками, примостившихся, затаив дыхание, на краешках диванов, женщин с уложенными на коленях ладонями и что-то время от времени едва слышно шептавших мужчинам, зато всегда очень громко аплодировавших, и после каждой песни издававших воркующие вскрики. Нередко она пела только для Энтони — по-итальянски, по-французски или на чудовищном диалекте, которым, как она считала, пользуются негры-южане.

Воспоминания об элегантном Улиссе, который первым в Америке отвернул лацканы своего пиджака, были более жизнеподобны. После того как Генриэтта Лебрюн Пэтч «перешла в другой хор», как замечал прерывающимся время от времени голосом ее вдовец, отец и сын перебрались на жительство в Тэрритаун к деду. Улисс ежедневно заходил к Энтони в детскую и порой проводил там около часу, наполняя пространство вокруг себя приятными, густо пахнущими словами. Он без конца обещал взять Энтони с собой на охоту, на рыбалку, и даже провести денек вместе в Атлантик-сити — «да, теперь уже совсем

скоро», — но ничему из этого не суждено было осуществиться. Хотя одно-единственное путешествие они все-таки совершили. Когда Энтони исполнилось одиннадцать лет, они отправились за границу, в Англию и Швейцарию, и там, в лучшем отеле Люцерна, среди мокрых от пота простыней, что-то неразборчиво бормоча и отчаянно моля о глотке воздуха, его отец умер. Домой в Америку Энтони был доставлен в состоянии полубезумного отчаяния, и с тех пор беспричинная меланхолия сделалась его спутницей на всю жизнь.

Герой, его личность и прошлое

Одиннадцатилетним он уже знал, что такое ужас смерти. В течение шести больше всего запоминающихся ребенку лет один за другим умерли родители; как-то совсем незаметно делалась все бесплотнее бабушка, пока однажды, впервые за все годы замужества, не стала вдруг на один день полновластной хозяйкой в собственной гостиной. Немудрено, что жизнь представлялась Энтони постоянной борьбой со смертью, которая таилась за каждым углом. У него появилась привычка читать в постели; это отвлекало, хоть и было, по сути, уступкой болезненному воображению. Он читал пока не слипались глаза и частенько засыпал, не погасив света.

Лет до четырнадцати его любимым развлечением и в то же время огромной, почти всепоглощающей мальчишеской страстью, было собирание марок. Дед, не вдаваясь в подробности, считал, что такое увлечение способствует изучению географии, поэтому Энтони завел переписку с полудюжиной филателистических фирм, и редкий день почта не приносила ему новых наборов марок либо пачки гляцевитых рекламных проспектов. Занимаясь бесконечным переключением своих приобретений из одного альбома в другой, он получал неизъяснимое, таинственное наслаждение. Марки сделались величайшей радостью его жизни; всякого, кто пытался вмешаться в его филателистические игры, он награждал хмурым и нетерпеливым взглядом. Марки пожирали все его карманные деньги, он мог проводить с ними ночи напролет, не уставая поражаться их разнообразию и многоцветному великолепию.

К шестнадцати годам он почти целиком погрузился в свой внутренний мир, сделавшись таким молчаливым, совсем непохожим на американца юношей, воспринимавшим окружающих с вежливым недоумением. Два предшествовавших года были проведены в Европе с наемным учителем, который убедил его, что продолжать образование стоит только в Гарварде; это открыло бы ему «все двери», несказанно закалило бы его дух, не говоря уже о том, что принесло бы массу самоотверженных и преданных друзей. Поэтому он и отправился в Гарвард, и это был, пожалуй, единственный поступок, который он совершил, повинувшись логике.

Какое-то время он жил отшельником в одной из лучших комнат Бек-холла, мало заботясь мнением окружающих о себе — стройный темноволосый юноша среднего роста с лишенным твердости чутким ртом. Недостатка в деньгах он не испытывал и решил, не откладывая, положить начало собственной библиотеке, приобретя у некоего странствующего библиофила, кроме первых изданий Суинберна, Мередита и Харди, пожелтевшее от времени, неразборчивое письмо Китса, и лишь много позже он обнаружил, какую несусветную цену за все это заплатил. Он сделался завзятым щеголем, заведя для этой цели не вызывающую ничего кроме жалости коллекцию шелковых пижам, парчовых халатов и галстуков, слишком, правда, ярких, чтоб в них можно было появиться на людях. Зато он мог расхаживать во всем этом потаенном великолепии перед зеркалом у себя в комнате, или, облачась в атлас, вольно раскинуться на кушетке и смотреть вниз, во двор, нечувствительно постигая суматошную быстротечность законной жизни, частью которой ему, по всей видимости, не суждено было стать.

На последнем курсе он с немалым удивлением обнаружил, что не совсем безразличен сокурсникам. Оказалось, что его почитали фигурой довольно романтической, таким столпом эрудированности, помесью затворника и книгочея. Это, в общем-то, изумило, но,

втайне, и порадовало — он начал появляться в обществе, сначала понемногу, потом все больше. Участвовал во всех рождественских пудингах. Он пил — не афишируя особо, но и не отставая от других. О нем стали говорить, что если бы он не поступил в университет так рано, то «мог бы закончить курс с отличием». В 1909 году, когда он закончил Гарвард, ему было всего двадцать лет.

Потом опять была заграница — на этот раз Рим, где он поочередно флиртовал с живописью и архитектурой, брал уроки игры на скрипке и написал несколько ужасных итальянских сонетов, призванных явить собой рассуждения средневекового монаха о радостях созерцательной жизни. Весть о том, что он в Риме, распространилась среди его приятелей по Гарварду, и те из них, кто оказался в том году в Европе, охотно заезжали к нему, и в частых прогулках лунными ночами многое открывали для себя в этом городе, который был старше не только Возрождения, но и вообще самой идеи республики. Мори Нобл из Филадельфии, например, гостил целых два месяца; они вместе постигали своеобразное очарование итальянок и обретали восхитительное чувство быть юными и свободными среди культуры, которая была свободна уже тысячи лет. Нередко его навещали знакомые деда, и, возмем Энтони желание, он вполне мог бы стать «*persona grata*» в дипломатических кругах — и хотя он сам начинал понимать, что праздник жизни все больше нравится ему, от юношеской привычки к затворничеству и явившейся следствием этого застенчивости не так-то легко было избавиться.

Он вернулся в Америку в 1912 году из-за очередной внезапной болезни деда и после чрезвычайно утомительного разговора с неизбежно выздоравливающим стариком решил до его смерти расстаться с идеей о постоянном жительстве за границей. После длительных поисков он снял на Пятьдесят второй улице квартиру и на том, по крайней мере внешне, успокоился.

В 1913 году процесс приспособления Энтони Пэтча к окружающей среде достиг завершающей стадии. Внешний облик его по сравнению со студенческими днями заметно изменился к лучшему — оставаясь все еще излишне худощавым, он раздался в плечах, и со смуглого лица исчезло испуганное выражение студента-первокурсника. Он был всегда с иголки одет и в глубине души даже педантичен; друзья утверждали, что никогда не видели его непричесанным. Нос у него был чуть островат, а слишком откровенный рот, готовый опустить уголки даже в минуты самого легкого уныния, являл собой одно из — не слишком приятных для владельца — зеркал настроения; зато его голубые глаза были равно очаровательны, оживлены острой мыслью и полуприкрыты в минуты меланхолии.

Хотя черты его и не были отмечены той симметрией, которая так важна для арийского идеала, некоторые все же находили его красивым, но гораздо большее значение имело то, что и по виду, и по сути он был чист той особой чистотой, которая бывает только у людей красивых.

Его безупречная квартира

Пятая и Шестая авеню представлялись Энтони стойками гигантской лестницы, брошенной от Вашингтон-сквер до Центрального парка. Путешествие на крыше автобуса на север, до Пятьдесят второй улицы, неизменно вызывало ощущение, что он взбирается по шатким перекладинам, по очереди вцепляясь в каждую из них, и когда автобус останавливался на его собственной, он, спускаясь по безрассудно-крутым металлическим ступеням на тротуар, испытывал что-то сродни облегчению.

После этого ему оставалось пройти полквартила по Пятьдесят второй улице мимо тяжеловесных особняков из бурого кирпича, и он единым духом оказывался под высокими сводами своей лучшей в мире гостиной. Она нравилась ему во всех отношениях. Здесь, собственно, и начиналась жизнь. Здесь он спал, завтракал, читал, здесь принимал гостей.

В целом же дом, в котором он квартировал, построенный в конце девяностых годов из темного камня, постепенно был полностью перестроен в угоду растущей потребности

в небольших квартирах и теперь сдавался по частям. Из четырех его квартир та, которую занимал на втором этаже Энтони, была самой приличной.

В гостиной были прекрасные потолки, три огромных окна открывали приятный вид на Пятьдесят вторую улицу. Убранству комнаты удалось избежать четкой печати какой-либо эпохи; она была без лишней мебели, без голой пустоты, без явных признаков упадка. Не пахла ни серой, ни ладаном — была просто вместительная и, может быть, чуточку грустная. В ней помещался диван из мягчайшей коричневой кожи, обьятый текучим туманом дремоты. В ней стояла высокая китайская ширма, украшенная черно-золотистой лаковой росписью, изображавшей напоминающих геометрические фигуры охотников и рыболовов; она выгораживала в углу нишу для массивного кресла, возле которого стоял на карауле оранжевый торшер. И еще был камин, на задней стенке которого просматривался какой-то обгоревший до черноты герб.

Пройдя через столовую, которая, в силу того что Энтони только завтракал дома, являла собой лишь величественный символ таковой, и миновав сравнительно просторную прихожую, можно было попасть в святая святых жилища — спальню и ванную.

Обе они были необъятны. Под сводами первой даже огромная, увенчанная пологом кровать казалась весьма средних размеров. Раскинувшийся на полу восточный ковер из алого бархата ласкал босую ногу словно небесная кудель. Ванная комната, в противовес сумрачному колориту спальни, была цветистой, легкомысленно гостеприимной и даже чуть игривой. На стенах ее помещались взятые в рамки фотографии четырех увенчанных за последнее время жриц Мельпомены: Джулия Сандерсон в «Солнечной девчонке», Айна Клер в «Юной квакерше», Билли Бёрк в «Недотроге» и Хэйзл Дон как «Дама в розовом». Между Билли Бёрк и Хэйзл Дон висела репродукция, изображающая бескрайний заснеженный простор, освещаемый огромным, зловещего вида солнцем. Она, по словам Энтони, символизировала холодный душ.

Ванна, оборудованная оригинальным и удобным держателем для книг, была просторна и вделана почти вровень с полом. Стенной шкаф рядом с ней ломился от белья, которого вполне хватило бы на троих, и целых залежей галстуков. Здесь не было грустнославного истертого коврика, похожего на полотенце, брошенное на пол; мокрую ногу, явившуюся из ванной, массировало несказанной мягкостью такое же чудо коврового искусства, что и возлежавшее в спальне...

Одним словом, это была главная арена священнодействия — легко было заметить, что именно здесь Энтони переодевается, здесь же доводит до совершенства свою прическу, в общем, делает практически все — разве что не спит и не ест. Эта ванная комната была его гордостью. Он знал, что если бы у него была возлюбленная, он повесил бы ее портрет прямо над ванной, чтоб, растворяясь в баюкающих волнах горячего пара, можно было лежать и взирать на нее снизу вверх, в тепле и неге созерцая ее красоту.

И времени не тратя даром

Порядок в квартире поддерживал слуга-англичанин с удивительно, до нарочитости подходящей ему фамилией Баундс, чье совершенство нарушалось только тем фактом, что он носил мягкий воротничок. Если бы Баундс целиком принадлежал ему, Энтони в конце концов добился бы устранения сего дефекта, но тот был «Баундсом» еще для двух джентльменов, живших по соседству. Но с восьми до одиннадцати утра Баундс был всецело в распоряжении Энтони. Он являлся с почтой и готовил завтрак. В девять тридцать он дергал за край одеяла Энтони и произносил несколько исполненных сдержанности слов. Энтони никогда не мог вспомнить, что это были за слова, но имел сильное подозрение, что почтительностью от них и не пахло. Потом Баундс накрывал завтрак на картонном столе в гостиной, убирал постель и, осведомившись с некоторой враждебностью, не нужно ли чего еще, удалялся.

По утрам, по крайней мере раз в неделю, Энтони навещал своего биржевого агента.

С денег, оставленных матерью, он получал в виде процентов немногим меньше семи тысяч в год. Дед, который и собственному сыну не позволял переступать рамок весьма щедрого, надо сказать, содержания, считал, что этой суммы на нужды юного Энтони вполне достанет. Каждое Рождество он посылал внуку пятисотдолларовую облигацию, которую тот при первой же возможности продавал, потому что всегда, хоть и не остро, нуждался в деньгах.

Содержание этих визитов к брокеру могло колебаться от полусветской болтовни до обсуждения надежности вложений под восемь процентов, и они неизменно доставляли Энтони удовольствие. Само огромное здание трастовой компании, казалось, для того и существовало, чтоб он мог ощутить свою несомненную связь с теми огромными состояниями, чью сплоченность так уважал, чтоб убедить его в том, что и он надлежащим образом представлен в иерархии финансового мира. От этих вечно спешащих людей ему передавалось то самое чувство защищенности, которое он обретал, размышляя о богатстве деда: даже больше, ибо в его представлении те деньги были скорее некой ссудой до востребования, которую мир выдал Адаму Пэтчу за его личную высокоморальность, в то время как здешние капиталы казались, скорее, добычей, захваченной и удерживаемой только силой упорства и огромным усилием воли. Кроме того, эти деньги он ощущал более определенно и исключительно как деньги.

Хотя Энтони частенько доводилось наступать на пятки собственному бюджету, все же он считал себя достаточно обеспеченным. Конечно, в один прекрасный, без преувеличения можно сказать «золотой», день у него будет куча денег, а пока оправданием его существования были замыслы создания нескольких эссе о римских папах эпохи Возрождения. Это и возвращает нас к сцене разговора Энтони с дедом сразу после возвращения из Рима.

Он надеялся не застать деда в живых, но, позвонив прямо с причала, узнал, что Адам Пэтч вновь пребывает в сравнительно добром здравии, и на следующий день, скрывая разочарование, отправился в Тэрритаун. Преодолев пять миль от станции, такси въехало на тщательно ухоженную дорожку, которая стала пробираться среди настоящего лабиринта из стен и проволочных заборов. Все это было следствием того, догадывалась публика, что если социалисты добьются своего, то одним из первых людей, до кого они захотят добраться — и это было тоже доподлинно известно — будет старина «Сердитый Пэтч».

Энтони запаздывал, и почтенный филантроп, поджидая его на застекленной веранде, уже второй раз просматривал утренние газеты. Его личный секретарь Эдвард Шаттлуорт, бывший до своего перерождения азартным игроком, содержателем кабака и по всем параметрам негодяем, проводил Энтони в комнату, где и продемонстрировал ему, как бесценное сокровище, своего спасителя и благодетеля.

Они церемонно пожали друг другу руки.

— Я так рад был услышать, что вам лучше, — сказал Энтони. С таким видом, словно не встречался с внуком всего неделю, Пэтч-старший вытащил из кармана часы.

— Что, поезд опоздал? — кротко осведомился он, хотя был явно раздосадован задержкой.

Дед питал стойкую иллюзию не только относительно того, что сам в юности был образцом пунктуальности и доводил все начатое до последней точки, но также считал это прямой и главнейшей причиной своего успеха.

— Поезда частенько опаздывают в этом месяце, — заметил он с тенью робкого укора в голосе, и после продолжительного вдоха добавил, — садись.

Энтони разглядывал деда с тем немым изумлением, в которое его неизменно повергало сие зрелище. Невозможно было поверить, но власть этого тщедушного невежественного старика, вопреки заявлениям «желтых» журналов, была такова, что во всем государстве таких людей, чьи души он прямо или косвенно не мог купить, едва хватило бы, чтоб заселить Уайт Плейс. Еще труднее было поверить в то, что когда-то он был пухлым розовым младенцем.

Всю его семидесятипятилетнюю жизнь можно было уподобить неким волшебным

кузнечным мехам — первая четверть века в избытке вдохнула в него жизнь, зато последняя теперь высасывала обратно. Она всосалась в его щеки, грудь, иссушила ноги и руки. Властно, один за другим отобрала все зубы, утопила и без того небольшие глазки в сизовато-серых мешках, выщипала волосы. Словно ребенок, усердствующий над коробкой с красками, она безрассудно перемешала все цвета: серое сделалось кое-где белым, а розовое безвозвратно пожелтело. Завладев телом и духом, она пошла в атаку на его мозг. Послала ему холодный ночной пот, беспричинные страхи и слезы, здравый смысл расщепила на подозрительность и легковёрность. Из добротной парусины его энтузиазма она выкроила десятки мелких, но мучительно-навязчивых вождедений; все его жизненные силы ужались до капризности несносного ребенка, а воля к власти заменилась пустым и инфантильным желанием обрести страну арф и песнопений здесь, на земле.

Когда процесс осмотрительного обмена необходимыми любезностями закончился, Энтони уяснил, что от него ждут четкой обрисовки собственных намерений; одновременно некий блеск в стариковских глазах предупреждал, что делиться своими намерениями осесть за границей не стоит, во всяком случае сейчас. Энтони очень хотелось, чтобы у ненавистного Шаттлуорта хватило такта хотя бы выйти из комнаты, но секретарь, непринужденно устроившись в кресле-качалке, делил между двумя Пэтчами взгляды своих выцветших глаз.

— Теперь, когда ты здесь, ты должен чем-нибудь заняться, — мягко вел дед, — достичь чего-нибудь.

Энтони ждал, что сейчас дед скажет «оставить что-то после себя». Тогда он решил высказаться:

— Я думал... Ну, мне казалось, что моя подготовка позволила бы мне написать...

Адам Пэтч сморщился, представив себе, что в семье завелся поэт с длинными волосами и тремя любовницами.

— ... что-нибудь на историческую тему, — закончил Энтони.

— Значит, по истории. Истории чего? Гражданской войны? Революции?

— Ну, не совсем, сэр. По истории Средних веков.

Именно в тот момент ему пришла идея написать что-нибудь о папах времен Возрождения с какой-нибудь новой точки зрения. Но он был рад, что произнес всего лишь «средние века».

— Средние века? Но почему не о своей стране? О том, что ты знаешь?

— Видите ли, я так долго жил за границей...

— Не понимаю, почему ты должен писать об этих Средних веках. Мы привыкли называть их Темными веками. Никто не знает, что тогда происходило, да и никому это не интересно. Прошли и ладно.

Он распространялся еще несколько минут о бесполезности таких знаний, коснувшись, естественно, испанской инквизиции и «разложения монашества». Потом изрек:

— А не взяться ли тебе за какую-нибудь работу в Нью-Йорке? Если ты, конечно, вообще намерен работать.

Последнее было сказано с мягким, почти неуловимым презрением.

— Да, конечно. Я намерен, сэр.

— И когда же ты закончишь?

— Ну, понимаете, это будет что-то вроде обзора... Много подготовительной работы. Нужно многое прочесть.

— А я-то подумал, ты только этим и занимался.

Их неровная беседа естественным образом и несколько внезапно прервалась, когда Энтони встал, посмотрел на часы и заметил, что договорился именно сегодня встретиться с брокером. Он собирался остаться у деда на несколько дней, но был утомлен и раздражен качкой на корабле и вовсе не хотел терпеть эту вкрадчиво-ханжескую надменность. Сказал, что заедет еще в ближайшее время.

Тем не менее, именно благодаря этой встрече мысль о работе прочно вошла в его жизнь. За год, протекший с тех пор, он подготовил несколько списков источников, пытался

даже прикинуть названия глав и наметить периодизацию, но ни одна строчка готового текста не появилась, и не было похоже, что когда-нибудь появится. Он не делал ничего — и вопреки прописной логике умудрялся извлекать из этого ничегонеделания удовольствие.

День

Был октябрь 1913 года, и самая середина из череды прелестных дней, пронизанных бездельно слоняющимся в переулках солнечным разливом, напоенных томным воздухом, отягченным лишь неслышным падением листвы. Было приятно сидеть у распахнутого окна, заканчивая главу «Едгина». Было просто восхитительно часов в пять зевнуть, бросить книжку на стол и, мурлыкая себе под нос, направиться через прихожую в ванную.

К тебе... о... прекра-асная леди,

пел он, отворачивая кран.

Я устремляю свой... взор.

К тебе, о... прекра-асная ле-еди-и

Им возношу свой укор...

Он возвысил голос, чтоб заглушить шум воды, льющейся в ванну, и, взглянув на фотографию Хэйл Дон, пристроил на плече воображаемую скрипку и нежно тронул ее призрачным смычком. Сквозь сомкнутые губы он издавал зудящий звук, который, как ему смутно казалось, напоминал звуки скрипки. Потом его руки прекратили вращательное движение и принялись расстегивать рубашку. Раздевшись и приняв атлетическую позу, как человек в тигровой шкуре, виденный им на какой-то афише, он с немалым удовлетворением осмотрел себя в зеркале, потом, бросив это дело, побултыхал ногой в ванне, пробуя воду. Отрегулировав кран и выразив предвкушение серией нечленораздельных звуков, он скользнул внутрь.

Притерпевшись к температуре воды, он впал в состояние дремотного блаженства. После ванны требовалось всего-навсего не спеша одеться и отправиться по Пятой авеню к отелю «Ритц», где он договорился пообедать с двумя своими наиболее частыми сотрапезниками — Диком Кэрэмелом и Мори Ноблом. После обеда они с Мори Ноблом собирались пойти в театр, а Кэрэмел, скорее всего, отправится домой работать над своей книгой, которую ему надо было закончить.

Энтони был рад, что это не ему приходится работать над своей книгой. Сама идея о том, что нужно сидеть, придумывая не только слова для выражения мыслей, но и сами мысли, которые стоило бы облечь в слова, разительно не совпадала с его желаниями.

Явившись из ванны, он принялся с дотошностью чистильщика сапог наводить на себя глянец. Затем прошествовал в спальню и, насвистывая странную, неопределенную мелодию, долго ходил взад-вперед, застегиваясь, прихорашиваясь, просто наслаждаясь ласковым теплом толстого ковра.

Он прикурил, выбросил спичку через открытый верх окна, потом замер, не донеся сигареты двух дюймов до рта, который и сам остался слегка приоткрытым. Взгляд его приковало к себе яркое пятно на крыше одного из домов, расположенных дальше по переулку.

Это была девушка в красном, непременно шелковом пеньюаре, сушившая волосы на все еще жарком послеполуденном солнце. Свист его замер во внезапно сгустившемся воздухе комнаты, он сделал осторожный шаг к окну, вдруг осознав, что она прекрасна. На каменном парапете перед ней лежала подушка такого же цвета, как и пеньюар, опершись на нее локтями, девушка смотрела вниз на залитую солнцем улицу, откуда доносились голоса играющих детей.

Несколько минут он не в состоянии был оторвать от нее взгляда. В нем что-то всколыхнулось, и здесь были ни при чем ни мягкий аромат предвечерья, ни торжествующая броскость красного цвета. Он неотступно чувствовал, что девушка была прекрасна, потом вдруг понял: все дело было в ее удаленности. Не в той редкостной и драгоценной недоступности ее души, а просто в нескольких ярдах земного пространства. Просто между ними был осенний воздух, крыши и скомканные голоса детей. И все же в какое-то неизреченное мгновение, скользнувшее против хода времени, он был ближе к чувству обожания, чем во время самого страстного поцелуя.

Он закончил свое одевание, нашел черный галстук-бабочку и тщательно приладил ее на себя перед трельяжем в ванной. Потом, повинуясь какому-то импульсу, быстро прошел в спальню и снова выглянул из окна. Теперь женщина стояла выпрямившись, откинув назад волосы, и он мог разглядеть ее всю. Она была толстая, старше тридцати пяти и абсолютно ничем не примечательная. Досадливо прищелкнув языком, он вернулся в ванную и занялся пробором.

К тебе... о, прекра-асная леди,

пел он с легким чувством,

Я устремляю... свой взор.

Проведя последний раз щеткой по волосам, от чего их блестящая поверхность обрела законченную гладкость, он вышел из ванной, потом из квартиры и направился по Пятой авеню к отелю «Ритц-Карлтон».

Трое мужчин

Семь часов. Э н т о н и и его приятель М о р и Н о б л сидят за угловым столиком на прохладной крыше. Мори Нобл больше всего похож на большого, стройного, импозантного кота. В его прищуренных глазах постоянно бродят медлительно-томные искорки. Волосы у него гладкие и прямые, словно его облизала — а если так оно и было, то представьте себе такую великаншу — мамашка. В годы учебы Энтони в Гарварде Мори считался самой примечательной фигурой в их группе — самый блестящий, самый оригинальный, умный, спокойный — словом, один из избранных.

Таков человек, которого Энтони считает своим лучшим другом. Это единственный из всех его знакомых, кем он восхищается и которому, больше чем сам себе в этом сознается, завидует.

Они так рады видеть друг друга. Глаза их исполнены доброты, и каждый в полной мере ощущает эффект новизны, вызванный недолгой разлукой. Они упиваются той безмятежной легкостью, которую черпают в обществе друг друга; Мори Нобл, скрывающийся за своим прекрасным и невероятно кошачьим лицом, только что не мурлычет от удовольствия, зато нервный и трепетный, как дрожащий на ветру огонек, Энтони наконец спокоен.

Они заняты одним из тех легких и ни к чему не обязывающих разговоров, который могут себе позволить только мужчины моложе тридцати, или мужчины под влиянием сильного возбуждения.

Э н т о н и. Семь часов, однако. А где же Кэрэмел? *(Нетерпеливо.)* Скорей бы уж он дописал свой нескончаемый роман. Я больше времени промучился голодом...

М о р и. Он придумал ему новое название. Демон-любовник. Неплохо, а?

Э н т о н и *(заинтересованно)*. Демон? А, ну да: «где женщина о демоне рыдала» ... Но, в общем-то... В общем, ничего. Даже совсем неплохо, как ты думаешь?

М о р и. Довольно прилично. Сколько времени, ты говоришь?

Энтони. Семь.

Мори (*Прищуривается. Ничего особенного, просто чтоб выразить легкое неодобрение*). Довел меня на днях до белого каления.

Энтони. Как это?

Мори. Да его привычка все записывать.

Энтони. А, мне тоже досталось. Я, вчера кажется, сказал что-то, что показалось ему важным, но он забыл, что именно, вот и пристал ко мне. Говорит: «Неужели ты не можешь вспомнить?» Ну, а я отвечаю: «Ты меня утомил до смерти. Почему я должен это помнить?»

(Мори беззвучно смеется, растягивая все лицо в вежливую, немного лукавую ухмылку.)

Мори. Дик ведь замечает не больше, чем другие. Просто может больше описать из того, что видит.

Энтони. Впечатляющий талант...

Мори. Да уж. Впечатляющий!

Энтони. И направленное в нужное русло честолюбие. А вообще с ним интересно — у него просто дар волновать и возбуждать. Часто от одного его присутствия дух захватывает.

Мори. О, да.

(Разговор продолжается после паузы.)

Энтони (*говорит с выражением самой большой убежденности, какая только может возникнуть на его несколько неуверенном, худом лице*). Только нет у него неисчерпаемой энергии. Когда-нибудь, мало-помалу, его неукротимое честолюбие выветрится, а вместе с ним завянет и столь замечательный талант; останется обломок человека, раздражительный, болтливый и эгоцентричный.

Мори (*со смехом*). Вот мы сидим, убеждая друг друга, что малыш Дик не так глубоко проникает в суть вещей как мы, а я готов поклясться, что он со своей стороны уверен в превосходстве творческого подхода над чисто критическим и всякое такое.

Энтони. Это — да. Но он неправ. Он слишком подвержен глупому энтузиазму. Если б он не был так озабочен своим реализмом и необходимостью в связи с этим рядиться в одежды циника, он стал бы... таким же легковерным, как любой из этих студенческих религиозных вожаков. Ведь он идеалист. Да я просто уверен. Хотя сам он думает наоборот, потому что отвергает христианство. Помнишь его в университете? Как он целиком заглатывал всех писателей, одного за другим — идеи, технику, персонажей. Честертон, Шоу, Уэллс — всех с одинаковой легкостью.

Мори. (*все еще обдумывая свое последнее наблюдение*). Помню.

Энтони. И с этим не поспоришь. Фетишист по природе. Возьмем искусство...

Мори. Давай лучше закажем что-нибудь. Он...

Энтони. Конечно. Можно и заказать. Я ему говорил...

Мори. А вот и он. Смотри — кажется, хочет столкнуться с официантом. (*Поднимает палец, чтоб привлечь внимание, и даже палец его выглядит как вкрадчивый и дружелюбный кошачий коготь*.) Сюда, Кэрмел.

Н о в ы й г о л о с (*громко*). Привет, Мори. Здравствуйте, Энтони Комсток Пэтч. Как поживает внук старого Адама? Дебютантки все еще толпами за тобой?

(Ричард Кэрмел, невысокий и светловолосый — один из тех, что к тридцати пяти лысеют. У него желто-карие глаза — один удивительно ясный, другой мутноватый, как грязная лужица, и выпуклый, словно у ребенка с карикатуры, лоб. Он топорщится и в других местах — пророчески выпячивается брюшко, слова тоже будто неловко выпячиваются из его рта, даже карманы его смокинга распухли, словно отекли, они заполнены обтрепанной коллекцией расписаний поездов, программками и прочим бумажным хламом, на котором он, сощурив почти в щелочки свои непарные желтые глаза и призывая незанятой левой

рукой к порядку, постоянно делает заметки.

Добравшись до стола, он за руку здоровается с Энтони и Мори. Он один из тех, кто неизменно здоровается за руку даже с теми, кого видел час назад.)

Энтони. Привет, Кэрэмел. Как хорошо, что ты пришел. Нам так хотелось посмеяться и расслабиться.

Мори. Ты опоздал. Ловил по кварталу почтальона? А мы тут тебе косточки перемывали.

Дик (*уставясь на Энтони своим ясным глазом*). Что ты сказал? Повтори, я запишу. Выбросил сегодня три тысячи слов из первой части.

Мори. Благородно. А я вот заливал алкоголь к себе в желудок.

Дик. Не сомневаюсь. Держу пари, вы и тут все время только про выпивку болтаете.

Энтони. Но никогда не напиваемся до потери рассудка, мой безусый юноша.

Мори. И никогда не водим домой дам, которых встречаем в подпитии.

Энтони. И вообще, наши дружеские встречи отмечены высоким благородством.

Дик. Нет больших дураков, чем те, кто хвастается, что может много выпить! А вся наша беда в том, что вы пьете по староанглийскому рецепту, на манер сквайров восемнадцатого века. Заливаете по маленькой, пока под стол не упадете. Какое уж тут веселье. Нет, это тоже не дело.

Энтони. Спорим, это из шестой главы.

Дик. В театр идете?

Мори. Да. Мы намерены провести этот вечер в глубоких размышлениях о жизненных проблемах. Вещь называется предельно кратко — «Женщина». Смею надеяться, что название оправдает себя.

Энтони. О, Боже! Неужели так и называется? Давай лучше сходим еще раз на «Весельчаков».

Мори. Мне надоело. Видел уже три раза (*обращаясь к Дик у*). Первый раз мы вышли в антракте и обнаружили изумительный бар. А когда вернулись, оказалось, что попали не в тот театр.

Энтони. Потом имели продолжительный диспут с перепуганной молодой парой, которая, как мы решили, заняла наши места.

Дик (*как бы про себя*). Думаю, вот закончу еще один роман и пьесу, и, может быть, книгу рассказов, и надо бы мне музыкальную комедию написать.

Мори. Да, представляю — с такими умными песенками, что никто и слушать не станет. А все критики примутся ворчать и стенать о добром старом «Переднике». А я буду все так же блистать как лишняя всякого смысла фигура в совершенно бессмысленном мире.

Дик (*торжественно*). Искусство не бессмысленно.

Мори. Оно бессмысленно по самой своей сути. Но приобретает смысл тогда, когда пытается сделать менее бессмысленной жизнь.

Энтони. Другими словами, Дик, удел твой — играть перед залом, заполненным привидениями.

Мори. Уж ты постарайся.

Энтони (*обращаясь к Мори*). Наоборот, зачем писать, если чувствуешь, что окружающее лишено какого бы то ни было смысла. Сама попытка отыскать в нем какой-либо смысл бессмысленна.

Дик. Ну, даже если допустить все это, стоит остаться прагматиком и поддерживать в несчастном человеке жизненный инстинкт. А вы хотите, чтоб все верили в вашу софистическую чепуху?

Энтони. Да, наверное.

Мори. Никак нет! Я считаю, что все население Америки, за исключением какой-

нибудь избранной тысячи, нужно принудить принять строжайшую систему моральных ценностей, например, католицизм. Я не осуждаю общепринятую мораль. Просто я недоволен, что все достижения спекулятивного способа мышления оседлали, усвоив позу моральной раскрепощенности, ни во что не верящие посредственности, отнюдь не уполномоченные на это своим интеллектом.

(Здесь на сцену является суп, и то, что Мори, может быть, хотел сказать еще, так и остаюсь навек несказанным.)

Ночь

Потом они навестили торговца билетами, и за немалую цену получили места на новую музыкальную комедию под названием «Шумные забавы». В фойе они немного задержались, чтоб обозреть валившую на премьеру толпу. Там двигались несметные стада накидок, состроченных из многоцветья шелков и мехов, капли самоцветных камней орошали руки и шеи, стекали с розово-белых ушей, неведомо сколько муаровых лент мерцало на тульях бесчисленных шелковых шляпок, шагали туфельки цвета золота и бронзы, багряные и лаково-блестящей черноты, проплывало множество горделиво-высоких, туго укрупненных женских причесок рядом с прилизанными напомаженными волосами холеных мужчин — это было настоящее веселое людское море, которое искрилось, волновалось, болтало, смеялось, пенилось, медленно опадало и вновь вздымалось, вливая свой искрящийся поток в рукотворный омут веселья...

После представления они расстались — Мори пошел танцевать в «Шерриз», а Энтони отправился домой спать.

Медленно прокладывал он свой путь среди вечерней толкотни Таймс-сквер, которую гонки колесниц и тысячи их приверженцев сделали необыкновенно яркой и красивой, почти карнавальной. Вокруг него мелькали лица, целый калейдоскоп девичьих лиц, и все безобразные, страшные как смертный грех — то слишком толстые, то слишком худые, — и все же плывущие в этом осеннем пространстве, как будто их несли на себе жаркие страстные вздохи, изливаемые прямо в ночь. Но несмотря на всю вульгарность этих лиц, Энтони чудилось, что в них тоже была какая-то загадка. Он дышал глубоко и размеренно, впуская в легкие пары косметики и не казавшийся таким уж неприятным густой табачный дух. Он поймал на себе взгляд молодой смуглой красавицы, одиноко сидевшей в закрытом такси. Глаза её в полумраке наводили на мысль о ночи и фиалках, и вновь на какую-то долю секунды в нем ожило полузабытое уже чувство такого далекого теперь дня.

Мимо прошли два молодых еврея, громко разговаривая, по-птичьи вертя головами, бессмысленно-надменно глядя по сторонам. Одеты они были в слишком тесные, модные в определенных слоях общества костюмы; стоячие воротнички подпирали кадыки; обуты оба были в серые гетры и опирались на трости руками в серых перчатках.

Мелькнула ошеломленная старая леди, которую, поддерживая с боков, словно корзину полную яиц, волокли двое мужчин, возбужденно повествуя о чудесах Таймс-сквер. Объяснения сыпались так быстро, а старушка так стремилась уделить всему подобающее внимание, что голова ее каталась по плечам туда-сюда, словно гонимая ветром ссохшаяся кожа апельсина.

— А вот это Астор, мама!

— Смотрите! Вот объявление о гонках колесниц...

— А вон там мы сегодня были. Да нет же!

— Боже милостивый!..

— Будешь тонкий, звонкий и прозрачный, — узнал он популярную остроту, хрипло произнесенную кем-то из протискивающихся мимо.

— Вот я ему и говорю, да так говорю...

Мягкий шелест такси и смех, хриплый, словно карканье ворон, в слитной, гремучей смеси с утробным гулом подземки под ногами, а над всем этим — круговращение огней, — растущее и гаснущее зарево — огни, рассыпающиеся словно жемчуг и вновь сплетающиеся в сияющие полосы и круги, в исполинские гротескные фигуры, врезанные, всем на удивление, прямо в небо.

Он с облегчением свернул в тишину, которая веяла как темный ветерок из переулка, миновал закусочную, в окнах которой на автоматическом вертеле безостановочно вращалась дюжина цыплячьих тушек. Из дверей доносился горячий, сладковатый сдобный запах. Следом была аптека, дышавшая ароматом лекарств, пролитой содовой — и среди всего этого приятный полутон прилавка с косметикой. Потом китайская прачечная, все еще открытая, душная и парная, пахнувшая сложно, чем-то азиатским. Все это нагнало на него тоску; выйдя на Шестую авеню, он зашел в табачный магазинчик на углу — этот был веселым добряком, окутанным темно-синим туманом, призывавшим ни в чем себе не отказывать, и Энтони стало полегче.

Добравшись до дому, он, сидя в темноте у раскрытого окна, выкурил одну из последних за день сигарет. И в первый раз, больше чем за год жизни здесь, признался себе, что в Нью-Йорке не так уж плохо. Определенно, в этом городе была некая изысканная острота, что-то почти южное. Хотя порой он навевал тоску. Энтони, выросший в одиночестве, только в последнее время научился этого одиночества избегать. Последние несколько месяцев он все время был начеку — если на вечер не назначено встречи, спешил в первый попавшийся клуб, чтоб отыскать кого-нибудь там. Да, здесь было полно одиночества...

Его сигарета все еще тлела, и дым ее обволакивал каймой белесоватого тумана полупрозрачные складки штор, когда часы в церкви св. Анны, находившейся дальше по улице, с ворчливо-кокетливым изяществом пробили час ночи. Поднятый над землей, в половине спящего квартала от Энтони, стал нарастать барабанный рокот — стоило ему выглянуть из окна, и он мог бы увидеть поезд, который, словно разгневанный орел, вылетел из-за угла и теперь по огромной дуге рассекал темноту. Звук напомнил Энтони прочитанную недавно фантастическую повесть: там города бомбили с летающих поездов. Он на мгновение представил, что Вашингтон-сквер объявила войну Центральному парку, и теперь этот поезд с севера нес с собой угрозу сражения и внезапной смерти. Но поезд уже проходил, иллюзия таяла: сначала вновь далекий рокот барабанов, потом лишь дробный клекот далекого орла.

С Пятой авеню доносился трезвон колокольчиков и приглушенный гвалт автомобильных рожков, но на его улице было тихо, здесь он был в безопасности от любых угроз жизни. Ибо здесь были и его входная дверь, и этот длинный коридор, и стоящая на страже спальня. Ему было не страшно! Фонарь, светивший в его окно, вполне заменял в этот час луну, только был ярче и прекрасней.

В Раю (сцена из прошлого)

К р а с о т а, которая рождается каждые сто лет, сидела в каком-то подобии приемной, сквозь которую то и дело проносились порывы серебристого ветра, да время от времени пробегала запыхавшаяся звезда. Звезды дружески подмигивали ей на бегу, а порывы ветра неустанно разведали ее волосы. Она была непостижима, ибо душа и дух в ней составляли единое целое, а совершенство ее тела являло собой суть ее души. Она была тем самым совершенством, которого вот уже столько веков вожделеют философы. А она уже сотню лет сидела в этой небесной ожидальне, среди ветров и звезд, вполне довольная созерцанием себя самой.

Наконец ей стало известно, что она должна родиться вновь. Вздохнув, она завела долгий разговор с неким Г о л о с о м, который доносили до нее порывы первозданного ветра. Беседа эта продолжалась много часов, и я тут могу привести лишь ее фрагмент.

К р а с о т а (*едва шевеля губами: глаза ее, как всегда, устремлены внутрь самой себя*).
Куда отправлюсь я теперь?

Г о л о с. В новую страну, которой ты прежде не видела.

К р а с о т а (*недовольно*). До чего не люблю соваться в эти новые цивилизации. Как долго я пробуду там на этот раз?

Г о л о с. Пятнадцать лет.

К р а с о т а. И как же это место называется?

Г о л о с. Это самая изобильная, самая прекрасная на земле страна. Страна, где мудрейшие лишь немногим умнее глупейших. Страна, где у правителей рассудок как у маленьких детей, а законодатели верят в Санта Клауса; где уродливые женщины властвуют над сильными мужчинами...

К р а с о т а (*ошеломленно*). Что?!

Г о л о с (*весьма расстроившись*). Да, зрелище на самом деле невеселое. Женщины со скошенными подбородками и бесформенными носами разгуливают среди бела дня, распорядясь: «Делай то!» или «Делай это!», и все мужчины, даже самые богатые, беспрекословно подчиняются своим женщинам, к которым обращаются высокопарно «миссис Такая-то», либо «моя супруга».

К р а с о т а. Но этого не может быть! Я, конечно, понимаю, когда поклоняются прекрасным женщинам... но чтобы толстым? или костлявым?.. и даже женщинам со впалыми щеками?

Г о л о с. Даже таким.

К р а с о т а. А я тут при чем? Что я там буду делать?

Г о л о с. Тебе придется несладко, если это можно так назвать.

К р а с о т а (*после разочарованного молчания*). Но почему не те старые страны, в которых я уже была, — обитель винограда и сладкоречивых мужчин, или место, где только корабли и море?

Г о л о с. Ожидается, что очень скоро им будет не до тебя.

К р а с о т а. Жаль!

Г о л о с. Твоя земная жизнь будет, как всегда, лишь интервалом между двумя исполненными смысла взглядами во вселенское зеркало.

К р а с о т а. А кем я буду? Ты мне скажешь?

Г о л о с. Сначала было задумано, что в этот раз ты явишься актрисой кино, но, в конце концов, от этого пришлось отказаться. В течение этих пятнадцати лет ты будешь скрываться под обликом так называемой «светской девушки».

К р а с о т а. А это что такое?

(Тут в модуляции ветра вплетается новый звук, который наводит на мысль, что Г о л о с почесывает в затылке.)

Г о л о с (*после долгого молчания*). Ну, это что-то вроде фальшивой аристократки.

К р а с о т а. Фальшивой? Что это значит?

Г о л о с. И это ты узнаешь там, куда отправишься. Ты много узнаешь о том, что такое фальшивый. И сама будешь делать много такого, что можно назвать этим словом.

К р а с о т а (*беззаботно*). Господи, все это звучит так пошло.

Г о л о с. И в половину не так пошло, как есть на самом деле. В течение этих пятнадцати лет тебя будут называть «дитя рэгтайма», «вертихвостка», «джаз-девочка», «чаровница», «вамп». Ты будешь танцевать новые танцы с такой же точно грацией, как танцевала старые.

К р а с о т а (*шепотом*). А платить мне будут?

Г о л о с. Да, как обычно — любовью.

К р а с о т а (*с легким смешком, который лишь на мгновение нарушает неподвижность*

ее губ). И мне понравится, когда меня станут звать «джаз-девочка»?

Г о л о с (малокровно). Ужасно понравится...

(Здесь диалог обрывается. К р а с о т а по привычке сидит неподвижно, звезды замирают в порыве восторга, только ветер, серебристый порывистый ветер, раздувает ей волосы.

Все это происходит за семь лет до того, как Э н т о н и будет сидеть у окна в гостиной и слушать благовест колоколов св. Анны.)

Глава 2 Портрет сирены

Месяц спустя на Нью-Йорк с хрустом свалились холода, неся с собой ноябрь, три важных футбольных матча и частое мелькание мехов на Пятой авеню. Еще они принесли с собой в город чувство некоторой напряженности, подспудного волнения. Каждое утро в почте Энтони попадались приглашения. Три дюжины добродетельных особей женского пола из высшего слоя общества заявляли если не об открытом желании, то о способности рожать детей для трех дюжин миллионеров. Пять дюжин добродетельных самок из слоя пониже объявляли не только о своей способности, но и, в придачу к этому, об огромном и неукротимом влечении к тем же самым первым трем дюжинам молодых людей, которые, естественным образом, были приглашены на каждый из девятиста шести приемов, куда приглашались также друзья семей молодых леди, друзья по колледжу, просто знакомые и желающие попытаться счастья молодые чужаки. Двигаясь дальше, заметим, что был еще и третий эшелон — с окраин города, из Ньюарка и джерсийских пригородов, вплоть до сурового Коннектикута и незавидных мест Лонг-Айленда. Были, несомненно, и последующие, вплоть до самых городских низов: от Риверсайда до Бронкса иудеек выводили в еврейское общество присмотреть себе молодого, идущего в гору брокера или ювелира, с перспективой на кошерное бракосочетание; ирландские девушки, получив наконец на это разрешение, бросали взгляды на молодых политиков из Таммени-Холл, благочестивых предпринимателей и успевших подрасти хористов.

И, само собой, этот заразный дух предвкушения охватил весь город; даже рабочие девушки — бедные простушки, пакующие мыло на фабриках и торгующие галантереей в огромных универмагах, мечтали, что, может быть, в этой горячке повального зимнего сватовства им тоже удастся заполучить вожака молодого человека; так неискусный в своем ремесле карманник считает, что в суматохе карнавальная толчака ему повезет больше, чем обычно. И задымили над городом трубы, и поветрилась вонь подземки. Актрисы вышли в новых пьесах, в издательствах вышли новые книги. Кэстлы вышли с новым танцем. Вышли новые расписания поездов с новыми ошибками вместо старых, к которым обладатели сезонок уже успели привыкнуть...

Город выдавал все, на что был способен!

Однажды, двигаясь под серо-стальным небом по Пятьдесят второй улице, Энтони, меньше всего ожидая этого, столкнулся с Ричардом Кэрмелом, который только что вышел из парикмахерской отеля «Манхэттен». День выдался холодный, первый по-настоящему холодный день, и на Кэрмеле было отороченное смушкой, длиной до колен пальто, одно из тех, в которых с незапамятных времен ходит рабочий люд на Среднем Западе, и которые совсем недавно получили одобрение высокой моды. Его мягкая шляпа была сдержанно коричневого цвета, а под ней, подобно самоцветному топазу, пламенел его ясный глаз. Он радостно кинулся к Энтони и, скорее из желания согреться, чем от игривого настроения, принялся хлопать его по плечам и, после непременно рукопожатия, разразился следующей речью:

— Черт, морозно, ей-богу. А я работал весь день как проклятый, в комнате выстыло

так, что я подумал: не схватить бы воспаление легких. Чертова хозяйка решила сэкономить на угле. Поднялась только после того, как я полчаса орал на лестнице. Начала объяснять, что и как. Господи! Сначала чуть с ума меня не свела, потом я вдруг подумал, что из нее вышел бы неплохой персонаж, и стал записывать ее словечки, но так, чтобы она не заметила: как будто просто что-то пишу...

Он схватил Энтони за руку и принялся довольно энергично тащить его по Мэдисон-авеню.

— Куда это мы?

— Так, прогуляемся.

— Какого черта? — воспротивился Энтони.

Они остановились и уставились друг на друга. Энтони стало интересно, не сделалось ли от мороза его собственное лицо таким же отталкивающим, как и у Дика. Нос у того был сизый, выпуклый лоб — голубой, а непарные желтоватые глаза покраснели и слезились. Секунду постояв так, они вновь пустились в путь.

— Прекрасно работается, — воодушевленно говорил Дик, обращаясь прямо к тротуару. — Но хотя бы время от времени нужно появляться на людях. — Он посмотрел на Энтони, как бы извиняясь и прося поддержки. — Иногда необходимо выговориться. Полагаю, что очень немногие из людей хоть изредка на полном серьезе думают, то есть садятся, начинают размышлять и в итоге приходят к какой-то идее. У меня это лучше всего получается во время писания или разговора. Важно с чего-то начать... ну, знаешь, начать что-то отстаивать, противоречить. Как ты считаешь?

Энтони пробормотал что-то и мягко высвободил руку.

— Тебя я тащить еще могу, но вот это пальто...

— То есть, я хочу сказать, — сосредоточенно продолжал Дик Кэрэмел, — что на бумаге уже твой первый абзац содержит идею, которую ты хочешь уничтожить или, наоборот, развить. В разговоре ты должен учитывать последний тезис собеседника, но когда ты просто размышляешь, хм... твои идеи следуют одна за одной, словно картинки в волшебном фонаре, каждая ведет за собой другую.

Они миновали Пятьдесят пятую улицу и немного замедлили шаг. Оба закурили и теперь выдыхали в воздух пышные клубы дыма, смешанного с морозным паром.

— Давай зайдем в «Плазу» и возьмем по эггногу, — предложил Энтони. — Тебе не повредит. Воздух выгонит чертов никотин из твоих легких. Идем, идем... И можешь всю дорогу рассказывать про свою книгу.

— Могу и не рассказывать, если тебе надоело. Нечего мне одолжения делать. — Слова поспешно и беспорядочно выкувыркивались из него, лицо непроизвольно кривилось, хотя он очень старался сделать вид, что ему все равно. Энтони пришлось протестовать:

— Ну что ты! Мне совсем не надоело!

— У меня есть кузина, — начал Дик, но Энтони прервал его, раскинув руки и с преувеличенным восторгом восклицая:

— Что за погода, а? Мне как будто десять лет! То есть, я хочу сказать, она заставляет меня чувствовать, как я должно быть чувствовал себя в десятилетнем возрасте. Потрясающе! Господи, я — то властелин мира, то — его посмешище! Сегодня мир мой, и все в нем удивительно легко. Даже Небытие.

— У меня кузина живет в «Плаза» Замечательная девушка. Можем зайти. Она тут каждую зиму бывает, с родителями... во всяком случае, в последнее время.

— Не знал, что у тебя в Нью-Йорке есть кузины.

— Ее зовут Глория. Она из Канзас-сити. Мамаша у нее практикующая билфистка, отец — человек вполне заурядный, но джентльмен до мозга костей.

— А как в литературном плане? Интересный материал?

— Они стараются. Папаша только и делает, что рассказывает мне, как встретил на улице замечательного героя для романа. А то примется разглагольствовать о каком-нибудь своем идиоте-приятеле и в заключение обязательно сообщит: «Вот это характер!»

Находка для автора. Почему бы тебе его не описать? Всем будет интересно». Или начнет живописать набившее всем оскомину место, вроде Японии или Парижа, и скажет: «А напиши-ка ты новеллу об этих краях! Прекрасное место действия».

— Ну, а что насчет девушки? — небрежно поинтересовался Энтони. — Глория... Глория, как ее?..

— Гилберт. Да ты наверняка о ней слышал. Не пропускает ни одного танцевального вечера, да и вообще особа известная.

— Кажется, что-то слышал.

— Она симпатичная. Прямо красавица.

Они дошли до Пятидесятой улицы и повернули к Пятой авеню.

— Вообще-то говоря, я не интересуюсь молодыми девушками, — сказал Энтони, делая суровое лицо.

Вообще-то говоря, это была неправда. Хотя он и считал, что среднестатистическая дебютантка только тем и занята, что думает и болтает о тех необъятных возможностях, каковые общество рассыплет перед ней в следующую же минуту, его живо интересовали все девушки, которые могли иметь хоть какой-то капитал со своей внешности.

— Да, Глория чертовски мила... и умом не блещет.

Энтони насмешливо фыркнул.

— Хочешь сказать, что о литературе с ней не поболтаешь?

— Вовсе не хочу.

— Брось, Дик, всем известно, что ты считаешь признаком женского ума. Тебе нужна такая серьезная молодая особа, которая сидела бы с тобой в углу и откровенничала о жизни. Из тех, что до шестнадцати лет с угрюмыми лицами спорят, можно ли целоваться с мальчиками и прилично ли первокурснику пить пиво.

Ричард Кэрмел был оскорблен. Его хмурое, искривленное усмешкой лицо, сделалось похожим на мятую бумагу.

— Нет, — начал он, но Энтони безжалостно перебил:

— Да! Те, которые и сейчас сидят по углам и делятся мнениями о последнем скандинавском Данте, появившемся в английских переводах.

Дик повернулся к нему; все лицо его как-то странно осело, а вопрос прозвучал почти мольбой.

— Да что с вами такое? И ты, и Мори... Порой вы говорите со мной так, будто я недоумок.

Энтони был смущен, но, кроме этого, ему было холодно и слегка неудобно, поэтому он решил ретироваться наступая.

— Дело тут не в твоих мозгах, Дик.

— Да уж конечно в них, — сердито отозвался Дик. — Что ты хочешь сказать? Почему дело не в мозгах?

— Может быть, ты просто слишком много знаешь для того, чтоб толково все это описать?

— Как это можно слишком много знать?

— Я вполне могу представить себе человека, — настаивал Энтони, — который знает гораздо больше, чем в состоянии выразить. Ну вот, как я. Представь, например, что у меня жизненный опыт богаче твоего, а таланта меньше. Это вряд ли подвигло бы меня к писательству. У тебя же, наоборот, хватает воды, чтоб наполнить ведро, и ведро достаточно большое, чтоб вместить эту воду.

— Что-то я тебя не понимаю, — пожаловался Дик унылым тоном. Не на шутку озадаченный, он, казалось, весь еще больше взъерошился. Он пристально смотрел на Энтони, загородив при этом дорогу прохожим, которые бросали на него возмущенно-свирепые взгляды.

— Я просто хочу сказать, что талант подобный Уэллсу может вмещать в себя ум Спенсера. А таланту поскромнее лучше всего оперировать соразмерными ему идеями. Чем

уже ты сможешь взглянуть на предмет, тем интереснее его опишешь.

Не в силах оценить всю едкость критики, вложенной в эти ремарки, Дик тяжело задумался. А Энтони продолжал с той легкостью, которая временами просто истекала из него; темные глаза сияли на узком лице, подбородок задрался, голос вознесся, все его физическое существо росло как на дрожжах.

— Скажем, я горд, здравомыслящ и мудр — этаким афинянин среди греков. И все же меня может постигнуть неудача там, где человек более скромных достоинств добьется успеха. Он может подстроиться, приукрасить, поддать патетики, подать надежду. А вот этот гипотетический «я» окажется слишком гордым, чтоб подстраиваться, слишком здравомыслящим, чтоб восторгаться, слишком развитым, чтоб верить в утопии, слишком греком, чтоб приукрашивать.

— Значит, ты не считаешь, что художник творит из собственного ума?

— Нет. Он движется вперед, улучшая, если может, то, что считает своим стилем, выбирая из собственных интерпретаций окружающего то, что составляет его материал. Но, в конечном итоге, каждый писатель пишет потому, что таков способ его существования. И не говори мне, что ты сторонник всех этих измышлений о «Божественной функции Художника».

— Я не привык даже считать себя художником.

— Дик, — сказал Энтони, меняя тон. — Я хочу попросить у тебя прощения.

— За что?

— Да за всю эту болтовню. Мне, честно, очень стыдно. Я ведь говорил это так — просто, чтоб порисоваться.

Успокаиваясь, Дик кивнул в ответ.

— Я всегда знал, что, в сущности, ты филистер.

Были уже хрусткие сумерки, когда они, укрывшись за белым фасадом отеля «Плаза», не спеша смаковали густопенную желтизну эггногов. Энтони поглядывал на своего спутника. Нос и чело Ричарда Кэрэмела медленно обретали свою естественную пигментацию: первый терял красноту, синева покидана второе. Глянув в зеркало. Энтони порадовался тому, что цвета его собственной кожи не изменили себе. Напротив, легкий румянец зажегся на его щеках. Ему даже почудилось, что никогда еще он так хорошо не выглядел.

— Мне достаточно, — сказал Дик тоном спортсмена на тренировке. — Я хочу подняться наверх и повидать Гилбертов. Ты со мной?

— Ну, можно, вообще-то... Если ты не отдашь меня на растерзание родителям, а сам не уединишься где-нибудь в углу с Дорой.

— Она не Дора — Глория.

Портье сообщил об их приходе по телефону. Поднявшись на десятый этаж, они прошли извилистым коридором и постучали в номер 1088. Дверь открыла дама средних лет — сама миссис Гилберт.

— Как вы поживаете? — осведомилась она на том вежливо-американском языке, который принят между светскими дамами. — Ужа-асно рада вас видеть.

Торопливые междометия Дика и затем:

— Мистер Пэтч? Ну входите же, ваши пальто оставьте здесь. — Она указала на стул и сменила тональность на заискивающий смешок, перенасыщенный придыханиями. — Это просто прекрасно. Прекрасно. Ричард, ну почему вы так долго не были у нас?... нет!.. нет! — Восклицания служили отчасти ответами на неуклюжие оправдания Дика, отчасти средством заполнить пустоты. — Ну, садитесь же и расскажите, чем вы занимаетесь.

Потом наступил черед ходить туда-сюда по комнате, выслушивать дежурные фразы и отвечать не менее дежурными, стоять столбом и с наивозможнейшим изяществом кивать, вновь и вновь расточать беспомощно-глупые улыбки, постоянно спрашивая себя: сядет ли она когда-нибудь; наконец благодарно опуститься в кресло и внимать приятной беседе.

— Полагаю, потому что вы были заняты. А почему бы и нет? — несколько

двусмысленно улыбнулась миссис Гилберт. Это «а почему бы и нет?» она использовала, чтоб уравнивать свои наиболее шаткие сентенции. В ее арсенале было еще два подобных балансира: «по крайней мере, мне так кажется» и «ясно, как Божий день». Чередование этой триады придавало любому ее замечанию вид широкого жизненного обобщения; словно она, исчислив все причины, наконец тыкала пальцем в самую главную.

Лицо Ричарда Кэрэмела, отметил Энтони, приобрело вполне нормальный вид. Лоб и щеки сделались телесного цвета, и нос перестал выделяться на общем фоне. Племянник устался на тетку своим ярко-желтым глазом с тем пронзительным и преувеличенным вниманием, каким молодые мужчины привычно одаривают всех женщин, которые уже не могут возбудить их интереса.

— А вы тоже писатель, мистер Пэтч?.. Ничего, может быть, всем нам достанется местечко в лучах Ричардовой славы. — Фразу сопровождал легкий смешок, начало которому положила сама миссис Гилберт.

— Глории нет дома, — объявила она, словно некую аксиому, из которой намеревалась вывести далеко идущие следствия. — Где-то танцует. Все время куда-то бежит, ни минуты покоя. Я ей говорю, я не представляю, как она это выдерживает. А она танцует все вечера напролет; иногда мне кажется, что она решила довести себя до полного истощения. Ее отца это очень беспокоит.

Она по очереди одала улыбкой обоих. Они улыбнулись в ответ.

И тут до Энтони дошло, что вся она была составлена из последовательности полукружий и парабол, наподобие тех стандартных фигур, которые смекалистые парни ухитряются изображать с помощью набора символов на пишущей машинке: голова, руки, бюст, бедра, ноги и даже лодыжки представляли собой изумительный ряд сопряженных друг с другом округлостей. Вся она была ухоженная и чистая, с волосами искусственного густо-седого цвета; крупное лицо, на котором слегка терялись подвыцветшие голубые глаза, было украшено едва заметными белесыми усиками.

— Я всегда говорю, — заметила она, обращаясь к Энтони, — что у Ричарда очень древняя душа.

В наступившей неловкой паузе Энтони вдруг придумал каламбур насчет того, что Дик «очень древен и дик».

— У нас ведь у всех души разного возраста, — продолжала миссис Гилберт, вся сияя, — по крайней мере, я так считаю.

— Вполне возможно, — согласился Энтони, делая вид, что ему безразлична столь плодотворная идея. Голос хозяйки взбурлил.

— У Глории очень молодая, безответственная душа... как, впрочем, и все остальное. У нее абсолютно нет чувства ответственности.

— Но это ей так идет, тетя Кэтрин, — любезно отозвался Ричард. — Чувство ответственности только портило бы ее. Она для него слишком хороша.

— Не знаю, — призналась миссис Гилберт. — Я вижу только то, что она все время кула-то несет, несет...

Однако возможность перейти к обсуждению недостатков Глории так и не осуществилась в полной мере; повернулась дверная ручка, и приоткрывшаяся дверь впустила мистера Гилберта.

Это был невысокий человек с крохотным белым облачком усов, которое помещалось под его ничем не примечательным носом. Он уже достиг той стадии, на которой ценность человека как существа социального приближается к нулю или становится величиной даже слегка отрицательной. Его переполняли идеи, которыми общество отбрело уже лет двадцать назад, а ум прокладывал свой шаткий, анемичный путь в свете передовиц утренних газет. После окончания небольшого, но весьма строгих правил университета где-то на Западе, он занялся производством целлулоида и так как дело это требовало лишь минимальной степени развития ума, именно той, какой он и обладал, то несколько лет дела шли хорошо — почти до 1911 года, пока он не перестал заключать с кинофирмами

контракты, предпочитая верить им на слово. В 1912 году кинопромышленность решила «проглотить» его, но в тот раз ему удалось удержаться на самом, можно сказать, кончике ее языка. А сейчас он был одним из управляющих Объединенной Средне-Западной Компании Киноматериалов, проводя ежегодно шесть месяцев в Нью-Йорке, а остальное время в Канзас-Сити и Сент-Луисе. При этом он беззаветно верил, что лучшие времена не за горами, в это же верила его жена, и в это же верила дочь.

Он не одобрял поведения Глории: она поздно возвращалась домой, никогда толком не ела, в жизни ее царила полнейшая неразбериха; как-то он попытался сказать ей об этом, но получил ответ в таких выражениях, о существовании которых в ее лексиконе даже не подозревал. С женой было легче. После пятнадцати лет непрерывной партизанской войны он все же одержал верх. Это была схватка тупого оптимизма с тупостью организованной, и победу ему не в последнюю очередь обеспечило переходящее в некое новое качество бесконечное количество «да», которыми он мог отравить любой разговор.

— Да, да, да, да, — мог говорить он, — да, да, да, да. Минуточку. Да, это было лето — дайте вспомнить — девяносто первого или девяносто второго... Да, да, да, да...

Пятнадцать лет этих «да» добились миссис Гилберт. Еще пятнадцать лет непрерывного неутвердительного утверждения, сопровождаемого щелчками, которыми сбивался пепел с тридцати двух тысяч сигар, просто раздавили ее морально. И вот этому самому мужу она сделала последнюю уступку, которая возможна в супружеской жизни, уступку более фатальную, более невозможную, чем самое согласие на жизнь с ним — она стала слушать его. Она убеждала себя, что просто годы сделали ее терпимей — на самом деле они уничтожили и ту небольшую долю мужества, которое у нее когда-то было. Она представила Энтони мужу.

— Это мистер Пэтч, — сказала она.

Старый и молодой коснулись один другого; рука у мистера Гилберта была мягкая, сношенная до рыхлой податливости выжатого грейпфрута. Потом сердечными приветствиями обменялись муж и жена — он сообщил ей, что на улице похолодало, рассказал, что ходил к газетному киоску на Сорок четвертой улице за канзасской газетой. Вернуться намеревался на автобусе, но посчитал, что слишком холодно — да, да, да, да, — слишком холодно.

Миссис Гилберт восхитилась его мужеством в схватке с расвирепевшей атмосферой, что сразу придало всему приключению романтическую окраску.

— Ты просто герой! — восклицала она умиленно. — Просто герой! Я ни за что бы не вышла на улицу.

Мистер Гилберт с поистине мужским бесстрашием проигнорировал обожание, которое возбудил в своей супруге. Он повернулся к молодым людям и с победоносным видом подкинул им для обсуждения тот же предмет. Ричард Кэрэмел был призван вспомнить «ноябрь в Канзасе». Едва лишь тема была вброшена, как ею тут же завладел сам темодатель и принялся неистово обкатывать, членить и развивать, чем напрочь лишил разговор последней живости.

Для начала был выдвинут незыблемый тезис о том, что дни где-то там были жаркие, зато ночи — просто прекрасны, потом они вычислили точное расстояние по никому не известной железной дороге между двумя пунктами, названия которых нечаянно упомянул Дик. Не отрывая усердного взгляда от мистера Гилберта, Энтони начал впадать в забытие, однако через минуту туда же ворвался улыбчивый голос миссис Гилберт:

— Мне кажется, что холод здесь какой-то более въедливый. Он словно вгрызается вам в самые кости.

В силу того, что это же замечание, в надлежащей мере уснащенное «да», уже вертелось на языке у мистера Гилберта, его нельзя было винить за внезапную смену темы.

— А где Глория?

— Должна быть с минуты на минуту.

— Вы знакомы с моей дочерью, мистер..?

— Не имел удовольствия, но часто слышал о ней от Дика.

— Они ведь с Ричардом двоюродные брат и сестра.

— Да? — Энтони выдавил из себя улыбку. С непривычки бывать в обществе старших по возрасту у него уже сводило губы от чрезмерных проявлений радости. Конечно, было так приятно узнать, что Дик и Глория — брат и сестра. Но в следующую минуту ему удалось обменяться отчаянным взглядом с приятелем.

Ричард Кэрэмел выразил опасение, что им пора уходить.

Миссис Гилберт была ужасно огорчена.

Мистер Гилберт считал это весьма прискорбным.

Миссис Гилберт развила идею дальше, доведя до того, что она в любом случае была рада их видеть, пусть даже им удалось здесь обнаружить только пожилую даму, которая слишком стара, чтоб флиртовать с ними. Энтони с Диком эта задорная шутка, по всей видимости, так пришлась по вкусу, что они дружно посмеялись целый трехчетвертной такт.

Но ведь они зайдут еще?

— Да, обязательно.

Глория будет просто ужасно расстроена!

— До свидания...

— До свидания...

Улыбки!

Улыбки!

Хлоп!

Двое безутешных молодых людей идут по коридору десятого этажа отеля «Плаза» по направлению к лифту.

Женские ножки

За легкой насмешливостью, очаровательной непринужденностью и беспечностью Мори Нобла скрывалась поразительная, непреклонная и весьма зрелая целеустремленность. Он намеревался, как решил еще в колледже, посвятить три года путешествиям, три года напропалую веселиться, а потом, как можно скорее, сделаться невероятно богатым.

Три года путешествий были позади. Он осваивал земной шар пытливо и основательно, исключая всякую спонтанность — просто Бэдекер в человеческом облике; в ком-либо другом это могло бы показаться неоправданным педантизмом, но в данном случае лишь сообщало предприятию некую загадочную целенаправленность и глубокий смысл, как будто Мори Нобл был предназначен стать неким Антихристом, обреченным исходить вдоль и поперек всю Землю, узреть все эти миллиарды человеческих существ, которые размножились на ней, чтобы убить и оплакать друг друга.

Вернувшись в Америку, он с той же неукоснительной целеустремленностью кинулся на поиски увеселений. Он, который никогда прежде не выпивал за раз больше двух-трех коктейлей или пинты вина, приучал себя пить так, словно учился греческому языку, словно уверовал в то, что, подобно греческому, пьянство способно стать ключом к целому миру новых ощущений, неизведанных психических состояний, свежих реакций на горе и радость.

Стиль его жизни доставлял обильную пищу для эзотерических домыслов. Он занимал три комнаты в холостяцкой квартире на Сорок четвертой улице, но там его редко можно было застать. Телефонистке были даны весьма настоятельные указания никого с ним не соединять, пока желающий не назовет себя по имени. Вдобавок к этому, ей был вручен список из полудюжины персон, для которых его никогда не было дома, и примерно такого же количества людей, для кого он был дома всегда.

Первыми в последнем списке значились Энтони Пэтч и Ричард Кэрэмел.

Мать Мори жила в Филадельфии у его женатого брата, и на выходные он обычно отправлялся туда, так что бредя однажды субботним вечером в крайне унылом настроении по стылým улицам, Энтони заглянул в Молтон Армз и был очень рад обнаружить, что

мистер Нобл дома.

Его настроение поднималось, обгоняя быстро движущийся лифт. Было так хорошо, так чертовски прекрасно, что уже вот-вот он будет разговаривать с Мори, который будет равно счастлив видеть его. Они будут смотреть друг на друга, едва скрывая глубокую приязнь во взгляде, маскируя ее ласковой насмешкой. Летом можно бы куда-нибудь пойти вместе и, расстегнув воротнички, неспешно посасывая из высоких стаканов «Том Коллинз», расслабленно наблюдать неназойливо-ленивое представление в каком-нибудь истомленном августовской жарой кабаре. Но сейчас на улице был холод, из-за углов высоких зданий несло резким ветром, и где-то совсем рядом маячил декабрь; тем более приятно провести вечер в уютном свете лампы за парой стаканчиков «Бушмилла» или за рюмкой «Гранд маринера», который приготовит Мори, среди покойно мерцающих корешков книг, словно орнаментом кривших стены комнаты, вместе с излучающим божественную незыблемость Мори, похожим на огромного кота, свернувшегося в любимом кресле.

Добрался! Комната сомкнулась вокруг Энтони, обволокла его теплом. А могучее сияние всепобеждающего ума, темперамент, почти восточный в своей бесстрастности, согрели мятущуюся душу, доставили Энтони блаженство, сравнимое лишь с тем, что может дать глупая женщина. Нужно или все понимать — или принимать на веру. Богоподобный, тигроподобный Мори заполнил собой все пространство. Ветры снаружи утихли; медные подсвечники на каминной полке мерцали словно свечи пред алтарем.

— Ты почему сегодня не уехал? — Энтони раскинулся на податливой софе, упершись локтями в подушки.

— Только час назад вернулся домой. Чаепитие подзатянулось, да еще танцы. Вот и опоздал на поезд в Филадельфию.

— С чего бы это ему так затянуться? — поинтересовался Энтони.

— Сам не понимаю. А у тебя что?

— Джеральдина. Работает билетершей у Китса. Я тебе о ней рассказывал.

— Поздравляю!

— Нанесла мне визит около трех и пробыла до пяти. Странное существо, но мне чем-то нравится. Кроме того, вызываяще глупа.

Мори хранил молчание.

— Может, это дико звучит, — продолжал Энтони, — но там, где дело касается меня, и вообще, насколько я знаю, Джеральдина — образец добродетели.

Он знал ее около месяца, эту девушку с неопишными замашками ребенка, которому не сидится на месте. Кто-то случайно свел их, она показалась ему забавной, понравились и целомудренные, почти неощутимые поцелуи, которыми она одарила его на третий вечер, когда они ехали в такси через Центральный парк. Из близких у нес числились только какие-то призрачные дядя и тетка, с которыми она делила квартиру где-то в лабиринте сотых улиц. С ней было хорошо, она была компанейская, и действовала на Энтони успокаивающе. А большего он в ней и не искал — и не из моральных соображений, а из боязни, что могущие возникнуть при этом осложнения нарушат крепнущую безмятежность его существования.

— У нее есть два коронных номера, — рассказывал он Мори. — Во-первых, любит завешивать глаза волосами, а потом отдувает их; во-вторых, когда кто-нибудь высказывает нечто такое, что «не по зубам» ее уму, она изрекает: «Да ты бальной!» Я просто балдею от этого. Сiju с ней часами, даже самому становится интересно, какие еще маниакальные симптомы она откопает в моем воображении.

Мори пошевелился в кресле и заговорил:

— Замечательно, как человек может жить в такой сложно устроенной цивилизации и почти ничего в ней не понимать. Видимо, такая женщина воспринимает мироздание как вещь в высшей степени обыденную. Ей чуждо абсолютно все — от влияния идей Руссо до складывания цен на ее собственный обед. Она просто перенесена сюда из эпохи стрел и луков и вот теперь в амуниции лучника принуждена участвовать в дуэли на пистолетах. Можно вообще отбросить исторический фон, она и не заметит.

— Вот бы нашему Ричарду написать о ней.

— Брось, Энтони, ты же сам понимаешь, что о ней не стоит писать.

— Точно так же, как и о всех прочих, — отозвался тот, позевывая.

— Знаешь, я сегодня поймал себя на том, что верю в будущее Дика. Если он будет черпать вдохновение из жизни, а не из искусства, станет верить людям, а не идеям, он будет нормально развиваться и, я уверен, из него получится большой писатель.

— И я склонен думать, что доказательством обращения к жизни может служить черная записная книжка, которая у него появилась.

Энтони приподнялся на локте и с воодушевлением продолжил:

— Да, он старается идти к жизни. Как и все авторы, кроме самых никудышных; но, в конечном счете, большинство из них все же довольствуется уже пережеванной пищей. Сюжет и характер могут быть взяты из жизни, но интерпретирует их писатель обычно в понятиях, взятых из последней прочитанной им книги. Встречает он, предположим, морского капитана, и тот кажется ему оригинальным персонажем. Но, по сути, смотрит он лишь на сходство этого капитана с последним «морским волком», созданным воображением Данэ, или кто там еще пишет о капитанах? Поэтому он уже знает как изобразить этого моряка на бумаге. Дик, конечно, в состоянии описать какой-нибудь очевидно колоритный, уже освоенный литературой характер, но вот сумеет ли он точно передать характер собственной сестры?

И на последующие полчаса они углубились в литературу.

— Классической, — размышлял Энтони, — можно считать любую пользующуюся успехом книгу, которая будет вызывать интерес следующей эпохи или поколения. Тогда она уже незыблема, как стиль в архитектуре или мебели. Взамен просто модности она приобретает художественную ценность...

Еще через некоторое время интерес к избранной теме иссяк. Ибо в нем у обоих молодых людей не было ничего особенно конкретного. Они просто любили обобщать. Энтони недавно открыл для себя Сэмуэля Батлера и считал скороспелые афоризмы из его записных книжек квинтэссенцией литературной критики. Мори, сверявший все движения своего зрелого интеллекта с тщательно выверенной схемой жизни, казался более мудрым из двоих, и все же в главном их умственное содержание ничем особенным, похоже, не различалось.

От литературы их снова снесло к превратностям дня прожитого.

— И кто же устраивал чаепитие?

— Семья Аберкромби.

— А почему ты задержался? Встретил сладенькую дебютантку?

— В общем-то, да.

— На самом деле? — голос Энтони удивленно возвысился.

— Строго говоря, она не дебютантка. Говорила, что выезжать начала две зимы назад в Канзас-сити.

— И засиделась?

— Нет, — отозвался Мори, словно ожидавший этого вопроса. — Думаю, ей это грозит в последнюю очередь. Не знаю почему, но там она казалась самой молодой.

— Ну, не так уж она молода, если из-за нее ты опоздал на поезд.

— И все же. Прелестный ребенок.

Энтони язвительно хмыкнул.

— Мори, ты впадаешь в детство. Что значит «прелестный»?

Мори озадаченно уставился в пространство.

— Ну, я не могу описать ее точно. Скажу только, что она прекрасна. В ней... столько живости. И все время жевала желатиновые лепешки.

— Что?

— Это что-то вроде невинного порока. Такая, знаешь, нервная... Сказала, что всегда во время чаепитий жует эти лепешки, потому что ей не хватает движения.

— Что же еще было предметом вашей беседы?.. Бергсон ? Билфизм? Аморален ли уанстеп ?

Мори оставался невозмутим, шерсть его, казалось, была податлива во всех направлениях.

— Мы на самом деле говорили о билфизме. Кажется, у нее мать билфистка . Хотя, в основном, разговаривали о ногах.

Энтони просто зашелся от веселья.

— Боже мой! О чьих ногах?

— О ее ногах. Она мне столько о них рассказывала. Словно они — что-то вроде редкостной безделушки. Мне так захотелось посмотреть.

— Так она что, танцовщица?

— Нет, насколько я понял, она — кузина Дика.

Энтони так резко сел, что подушка, на которую он опирался, встала торчком и, словно живое существо, прыгнула на пол.

— А зовут ее Глория Гилберт? — воскликнул он.

— Да. Не правда ли она великолепна?

— Вот уж не знаю... но, судя по тупости ее отца...

— Ну, — весьма решительно и убежденно перебил его Мори, — семья ее может быть уныла, как профессиональные плакальщики, но сама она, по-моему, не лишена оригинальности и значительности. С виду — завзятая обожательница танцевальных вечеров в Йеле, а на самом деле нечто совсем иное.

— Давай, давай, — подзадорил его Энтони. — Как только Дик поведал мне, что у нее ни капли мозгов в голове, я тут же понял, что на самом деле, должно быть, симпатичная девушка.

— Он так и сказал?

— Клянусь тебе, — Энтони вновь рассмеялся коротким фыркающим смешком.

— Ну, то что он подразумевает под женскими мозгами...

— Нам хорошо известно, — нетерпеливо перебил Энтони. — Болтовню разных клуш, которые питают себя, в основном, газетными утками.

— Вот именно. Вроде тех, кто верит либо в то, что ежегодное падение нравов в стране — это просто прекрасно, либо в то, что это весьма зловещий признак. Либо пенсне, либо строит из себя что-то. А эта девушка просто болтала о ногах. Еще она о коже говорила — о собственной. Всегда о своем. Она рассказывала мне, до какого состояния хотела бы загореть летом и насколько обычно приближается к этому идеалу.

— И ты сидел, очарованный ее грудным голосом?

— Ничего подобного — ее загаром! Я тоже начал думать о загаре. Стал вспоминать какого оттенка я достиг, когда загорал последний раз два года назад. Обычно я очень хорошо загораю. До цвета бронзы, если я правильно помню.

Энтони опять откинулся на подушки и затрясся от смеха.

— Мори!.. Да она не на шутку зацепила тебя! Спасатель, Мори Коннектикутский. Человек — мускатный орех. Это просто потрясающе! Наследница бежит с береговым охранником, очарованная его роскошной пигментацией! Впоследствии оказывается, что в его род замешалась тасманийская кровь.

Мори вздохнул, поднялся и, подойдя к окну, отодвинул штору.

— Снег пошел.

Энтони, все еще посмеиваясь про себя, ничего не ответил.

— Опять зима, — голос Мори едва долетал от окна. — Мы стареем, Энтони. Боже, мне уже двадцать семь! Три года — и тридцать, а потом я стану тем, что студенты последнего курса называют «пожилой мужчина».

Какое-то время Энтони не отзывался.

— Да, ты уже старик, Мори, — наконец согласился он. — Налицо первые признаки беспорядочного и угрожающе быстрого старения — провел полдня, болтая о загаре

и женских ножках.

Мори, внезапным и резким движением отшвырнул штору.

— Идиот! — вскричал он. — И это я слышу от тебя! Вот я сижу перед тобой, мой юный Энтони, и точно так же буду сидеть еще лет тридцать или больше, наблюдая, как мимо, влекомые вечным движением, пляша и распевая, любя и ненавидя друг друга, проносятся весельчаки вроде тебя, Дика да Глории Гилберт. А меня задевает лишь то, что меня уже ничто на свете не задевает. Я буду сидеть, и будет падать снег... Эх, записать бы все это Кэрэмелу!.. Придет еще одна зима, мне будет тридцать, а вы все втроем будете скакать вокруг меня в своем вечном движении и петь. А после того, как все вы уже скроетесь из глаз, я буду подсказывать сюжеты новым Дикам, выслушивать циничные монологи о радостях и горестях новых Энтони... да, и естественно, рассуждать с новыми Глориями о загаре всех грядущих лет.

В камине вдруг ярко вспыхнул огонь. Мори отошел от окна, разгреб кочергой головешки и бросил на решетку новое полено. Потом он вернулся в свое кресло и остатки его речи почти растворились в треске разгорающегося дерева, уже начавшего плевать красновато-желтыми язычками пламени.

— В конце концов, Энтони, ведь это ты у нас молод и романтичен. И ты все время боишься, что кто-то вторгнется в твою жизнь, нарушит твой покой. А я все время вновь и вновь пытаюсь сдвинуться с места, в тысячный раз бегу куда глаза глядят, но всегда остаюсь лишь самим собой. Ничто... абсолютно ничто не трогает меня.

— И все же, — пробормотал он после новой долгой паузы, — что-то было в этой малышке с ее дурацким загаром. Что-то непостижимо древнее. Как я.

Беспокойство

Энтони сонно повернулся на кровати и уперся взглядом в равнодушное, иссеченное тенью частого оконного переплета, солнечное пятно на стеганом одеяле. Комната наполнилась утром. Резная тумба в углу, древний и непостижимый шкаф высились как темные символы неизбежной косности материи, только ковер казался бранным и манящим для его бранных ног. Да еще Баундс, ужасно неподобающий в своем мягком воротничке, был словно создан из субстанции столь же зыбкой, как и облачко пара, которое он выдыхал. Он стоял рядом с кроватью, руки его все еще были протянуты к тому месту верхнего одеяла, за которое он дергал, невозмутимые темно-карие глаза устремлены на хозяина.

— Уаух, — пробормотал полусонный бог. — Эхо хы, Ваух?

— Да, это я, сэр.

Энтони повел головой, с усилием разлепил веки и победоносно моргнул.

— Баундс.

— Да, сэр.

— А не могли бы вы... Йео... о... хо-хо, Господи. — Неудержимая зевота растащила челюсти Энтони, и содержимое его мозгов слиплось в плотный бессмысленный ком. Он начал сначала.

— Не могли бы вы часам к четырем сервировать стол для чая с сэндвичами?

— Да, сэр.

Энтони ощутил леденящий недостаток вдохновения.

— Несколько сэндвичей, — повторил он беспомощно, — да, несколько сэндвичей с сыром, можно еще со студнем... ну, цыплята, оливки, я думаю. О завтраке не беспокойтесь.

Напряжение творческого акта было слишком велико. Он устало закрыл глаза, позволил голове скатиться, куда ей хотелось, и расслабил те мышцы, которые уже успел напрячь. Откуда-то из самой глубины сознания прокрался пока еще смутный, но неотступный призрак вчерашней ночи; на сей раз он предстал в виде бесконечного разговора с Ричардом Кэрэмелом, который явился к нему часов в двенадцать. Они выпили четыре бутылки пива, заедая сухими хлебными корками, и все это — пока Энтони слушал первую часть «Демона-

любовника».

...Сквозь бездны молчания к нему пробивался голос. Энтони не мог понять о чем он — сон смыкался вокруг него, пеленал своими складками, проникал во все щели сознания.

Он пробудился внезапно, на собственном слове.

— Что?

— На сколько брат, сэр? — Это был все еще Баундс, стоявший терпеливо и столбообразно в ногах кровати, Баундс, которому приходилось делить свои хорошие манеры на троих хозяев.

— На сколько чего?

— Я полагаю, сэр, мне следует знать, сколько персон будет присутствовать. Тогда мне легче будет определиться с сэндвичами, сэр.

— Двое, — сонно пробормотал Энтони, — леди и джентльмен.

Баундс сказал: «Благодарю вас, сэр» и удалился, унося с собой ошеломительно непристойный мягкий воротничок, в полной мере унижительный для всех троих его господ, хотя, по чести, каждому полагалась только треть.

Не так чтобы очень вскоре после этого Энтони встал и облачил свою стройную, не лишенную приятности фигуру в коричнево-голубой с молочным отливом халат. С последним зевком он отправился в ванную и, включив свет над туалетным столиком (в его ванной не было окон), принялся без особого энтузиазма разглядывать свое отражение в зеркале. Жалкое видение, подумалось ему; именно так он обычно думал по утрам — со сна его лицо бывало неестественно бледным. Он закурил, просмотрел несколько писем и утреннюю «Трибюн».

Часом позже, выбритый и одетый, он сидел за своим письменным столом, рассматривая небольшой клочок бумаги, который извлек из собственного бумажника. Тот весь был испещрен малораборчивыми резолюциями: «Встретиться с мистером Хоулэндом в пять. Подстричься. Позаботиться о счете от Риверса. Зайти в книжный».

...Ниже последней значилось: «Денег в банке 690 д. (зачеркнуто), 612 д. (зачеркнуто), 607 д.».

И наконец, в самом низу, торопливыми каракулями: «Дик и Глория Гилберт на чай».

Эта строчка доставила ему явное удовлетворение. День, представлявшийся похожим на медузу, бесформенный и бесхребетный, приобрел вдруг скелет мезозойского ящера. Уверенно, даже весело, он устремлялся к своей кульминации, как должно быть в хорошей пьесе, как подобало нормальному дню. Но Энтони уже страшил момент, когда хребет дня будет сломан, когда он уже встретит эту девушку, поговорит с ней, а потом, проводив ее смех поклоном, ему останется лишь вернуться к унылым остаткам чая в чашках, к твердеющей черствости недоеденных сэндвичей.

Существование Энтони становилось все более бесцветным. Он постоянно это чувствовал и когда начинал об этом думать, то сознавал, что началось все это после разговора с Мори Ноблом примерно месяц назад. Нелепо было думать, что столь откровенное в своей самодостаточности чувство растрачивания впустую собственного времени могло угнетать его, но нельзя было отрицать и того факта, что недели три назад некий непрошенный всплеск поклонения бывшим кумирам погнал его в публичную библиотеку, где он по карточке Ричарда Кэрэмела набрал с полдюжины книг по итальянскому Возрождению. То, что книги эти нетронутой кучей лежали на его столе с тех самых пор, как он принес их, и ежедневно увеличивали долг библиотеке на двенадцать центов, никак не уменьшало серьезности их показаний. Это были одетые в коленкор и сафьян свидетели его отступничества. Было и несколько часов острой, удивившей его самого паники.

Главным оправданием его образа жизни был конечно Довод о Ее Бессмысленности. Советниками и министрами, пажами и сквайрами, дворецкими и лакеями это великого властелина были тысячи книжных корешков, матово поблескивавших на папках, эта квартира, и все те деньги, которые получит Энтони, когда старик, живущий вверх по реке,

задохнется в последнем приступе морализаторства. От мира, чреватого настырностью дебютанток и глупостью неисчислимых Джеральдинов, он был, слава Богу, избавлен, — ему, скорее, следовало бы подражать кошачьей невозмутимости Мори и гордо нести на себе высокую мудрость неисчислимых поколений.

Но выше и против всего этого располагалось нечто такое, к чему его сознание относилось как к утомительному комплексу; мозг постоянно анализировал, но оно, хоть и втиснутое в рамки логики и отважно попираемое ногами, все же погнало его сквозь обмякшую слякоть конца ноября в библиотеку, в которой не было ни одной из самых нужных ему книг. Однако анализировать Энтони глубже, чем он сам себе позволял, едва ли позволительно и нам, потому что глубже будут одни лишь предположения. Он обнаружил в себе растущий ужас перед одиночеством. Даже мысль обедать одному пугала его; он предпочитал обедать с людьми, к которым испытывал отвращение. Процесс передвижения в пространстве, который раньше просто очаровывал его, сделался в конце концов непереносим, стал чем-то вроде цветовой игры, лишенной телесного воплощения, призрачной охотой за тенью собственной мечты.

«Если я по сути своей ни на что не способен, — думал он, — значит, мой удел — просто работать, работать как все другие». Ему не давала покоя мысль, что, по большому счету, он — поверхностная посредственность, лишенная к тому же уравновешенности Мори и энтузиазма Дика. Казалось трагедией совсем ничего не хотеть — ведь все же чего-то, чего-то он хотел. Иногда, как бы во вспышке прозрения, он понимал, что это было — некий путь надежды, который должен привести его к тому, что мыслилось как неизбежная и зловещая старость.

После нескольких коктейлей и завтрака в университетском клубе Энтони почувствовал себя лучше. Он встретил двух сокурсников из Гарварда, и по контрасту с серой тяжеловесностью их повествований его собственная жизнь обрела некоторую красочность. Оба были женаты, и пока пили кофе, один, поощряемый откровенными ухмылками другого, живописал некое свое внебрачное похождение. Оба они, думал Энтони, были мистерами Гилбертами в зародыше; в ближайшие двадцать лет количество их «да» учетверится, душевный состав окончательно скособочится и станут они просто изношенным и изломанным машинным хламом, псевдомудрым и лишенным всякой ценности, выпестованным до полнейшей дебильности женщинами, которых сами же исковеркали.

Нет, в нем было нечто большее, даже теперь, когда он, закончив обед, шел по устланному ковром коридору, направляясь всего-навсего в туалет, и остановился у окна, чтоб бросить взгляд на вызывающую раздражение улицу. Он был Энтони Пэтч, блестящий, великолепный наследник многих поколений и многих людей. Теперь это был его мир, а та полновесная ирония, которой он страстно желал, была уже на подходе.

С мальчишеской запальчивостью он рассматривал себя как некую силу на этой земле; с помощью дедовых денег он мог бы выстроить собственный пьедестал и воздвигнуться на нем подобно Талейрану или лорду Веруламу. Утонченность и ясность его ума, многосторонняя развитость интеллекта, достигшие полной зрелости и направляемые некоей целью, которая вот-вот должна была возникнуть, обеспечили бы ему широкий выбор конкретных действий. Но, наталкиваясь на этот не слишком веселый выбор, мечта его меркла: он пытался представить себя в Конгрессе, роющимся в подстилке этого невообразимого свинарника вместе с узколобыми свиноподобными субъектами, изображения которых ему нередко доводилось видеть в утренних газетах, среди этих славных ревнителей людского братства, пытающихся представить достоянием нации идеи достойные старшеклассника захудалой школы! Пигмеи с прописными амбициями, мечтающие посредством собственной посредственности вознестись над массой таких же посредственностей прямо в унылые и бесславные небеса, с которых управляют людьми — и лучшие из них, эта дюжина расчетливых дельцов на самой вершине, эгоистичных и бесстыдных, призванных слить этот хор снобов и пройдох в величественный своим несогласием хвалебный гимн, составленный из путаных бредней о богатстве как награде

за добродетель, богатстве как доказательстве порочности и бесконечных восхвалений Господа, Конституции и Скалистых гор! Лорд Верулам! Талейран!

А дома опять навалилась серость. Догорели выпитые коктейли, он сделался сонливым, отуманенным, склонным к угрюмости. Он — лорд Верулам! Сама мысль об этом была горька. Энтони Пэтч, без послужного списка, лишенный мужества, лишенный силы даже радоваться правде, когда она являлась ему. Да он был просто претенциозный дурак, строящий замки из винных паров, вяло и потаенно сожалея среди этого занятия о крушении своего жалкого худосочного идеализма. Он так долго, с таким утонченным вкусом украшал свою душу, что теперь опять захотелось старой вульгарной ерунды. Ему казалось, что он опустел, в нем не было ничего, как в выпитой до дна бутылке...

У дверей загудел зуммер. Энтони вскочил и поднес трубку к уху. Послышался голос Ричарда Кэрэмела, высокопарный и дурашливый:

— Представляем мисс Глорию Гилберт.

Прекрасная Дама

— Как поживаете? — говорил он, улыбаясь и распахивая дверь. Дик поклонился.

— Глория, это Энтони.

— Тоже мне! — воскликнула она, протягивая маленькую руку в перчатке.

Под меховой шубкой на ней было голубовато-серое платье с белым кружевным воротничком, тесно облегающим шею.

— Разрешите ваши вещи.

Энтони подставил руки, и в них свалился ком бурого меха.

— Благодарю.

— Что ты о ней думаешь, Энтони? — вопрошал Ричард Кэрэмел с варварской прямоотой. — Разве не хороша?

— Умен! — нетерпеливо воскликнула девушка, ничем не показывая смущения.

Она была просто ослепительна — вся светилась; с одного взгляда просто невозможно было постичь всей ее красоты. Ее божественно прелестные волосы казались вызывающе-яркими среди зимней бледности комнаты.

Энтони подошел к лампе и жестом фокусника превратил ее стеклянный гриб в облачко оранжевого сияния. Оживший в очаге огонь принялся лизать медную решетку для дров...

— Я — просто кусок льда, — беззаботно вещала Глория, оглядывая комнату глазами тончайшего прозрачно-голубого оттенка. — Какой милый огонек! А мы нашли место, где можно стоять на железной решетке, оттуда несет теплым воздухом, но Дик не захотел меня ждать. Я ему сказала, чтоб шел один, а мне и так хорошо.

В ее словах не было ничего особенного. Она говорила без всякого усилия, казалось, для собственного удовольствия. Энтони, сидя на краешке дивана, изучал на фоне яркого пятна лампы ее профиль; исключительную правильность линии носа и верхней губы, подбородок со слабым намеком на решительность, чудесно посаженный на не слишком длинной шее. На фотографиях она, должно быть, выглядела этаким эталоном красоты, лишенным всякой живости, но сияние ее волос и щек, горевших сейчас несказанно нежным румянцем, делало ее самым живым человеком из всех, кого ему доводилось видеть.

— ...Думаю, у вас самое лучшее имя, — говорила она, все еще, похоже, для себя; взгляд ее, секунду задержавшись на нем, скользнул дальше, к итальянским бра в виде желтых светящихся черепашек, аккуратно развешанным по стенам, к рядам книг, потом обратился к кузену. — Энтони Пэтч. Только лицо у вас должно быть длинное и узкое, как у лошади, и сами вы должны быть в лохмотьях.

— Ну, это все касается только Пэтча. А как должен выглядеть Энтони?

— Вы и выглядите как Энтони, — заверила она вполне серьезно, но он считал, что она едва ли успела разглядеть его. — Довольно величественно, — продолжала она, — и торжественно.

Энтони позволил себе смущенную улыбку.

— Только я люблю созвучные имена, — продолжала она, — все, кроме моего. Мое какое-то слишком пышное. Зато я знала двух девушек по фамилии Джинкс, — и только подумайте, что их звали бы как-то иначе — Джуди Джинкс и Джерри Джинкс. Не слабо, правда? Вы что-то против имеете? — Ее детский рот уже приоткрылся в ожидании возражений.

— В следующем поколении, — предположил Дик, — всех будут звать Питер или Барбара, потому что сейчас все хоть чем-нибудь интересные литературные персонажи носят эти имена.

Энтони продолжил пророчество.

— И конечно — Глэдис и Элинора. Украсив последнее поколение героинь и находясь у всех в фаворе, эти имена достанутся следующему поколению продавщиц...

— Вытеснив Эллу и Стэллу, — перебил его Дик.

— И Перл вместе с Джуэл, — от всего сердца добавила Глория, — а также Эрл и Эльмер, и Минни.

— А потом приду я, — заметил Дик, — и подняв позабытое имя Джуэл, дам его какой-нибудь необычной и привлекательной героине и оно опять начнет свою карьеру.

Ее голос, подхватывая нить разговора, принимался виться вокруг него на слегка повышенных тонах, отмечая концы предложений насмешливой интонацией, словно защищаясь этим от попыток перебить себя, и временами прерывался мрачноватым смешком. Дик рассказал, что слугу Энтони зовут Баундс — ей это показалось чудесным! Потом Дик придумал несмешной каламбур насчет того, что Баундс за плату обслуживает Заплату. По этому поводу она сказала, что если есть на свете вещь худшая, чем каламбур, так это человек, который старается уязвить творца его хотя бы насмешливо-неодобрительным взглядом.

— А откуда вы? — поинтересовался Энтони, хотя прекрасно знал. Но ее красота расслабляюще действовала на его мозги.

— Канзас-сити, Миссури.

— Ее выслали оттуда как раз когда там запретили продажу сигарет.

— Запретили продажу сигарет? Вижу в этом руку моего святого деда.

— Он же, по-моему, реформатор, или что-то в этом роде.

— Да, и мне стыдно за него.

— Мне тоже, — призналась она. — Ненавижу реформаторов, в особенности тех, которые пытаются реформировать меня.

— И много таких?

— Страшное количество. «Глория, если будешь так много курить, испортишь цвет лица!» «Глория, почему бы тебе не выйти замуж и не угомониться?»

Энтони был с ней всецело согласен, но ему стало интересно — у кого это хватало безрассудства говорить такое Глории?

— И наконец, — продолжала она, — все эти тайные реформаторы, которые вам же рассказывают жуткие сплетни о вас, не забывая упомянуть, как они вас всегда защищают.

А он наконец разглядел, что глаза у нее были серые, очень спокойные и холодные, и когда взгляд их останавливался на нем, Энтони понимал слова Мори о том, как молода и стара она могла быть одновременно. О себе она говорила как прекрасный ветреный ребенок, и замечания ее о собственных пристрастиях были искренни и неожиданны.

— Должен признаться, — серьезным тоном начал Энтони. — Даже я слышал кое-что о вас.

Мгновенно насторожившись, она выпрямилась и замерла. И эти ее глаза, напомнившие гранитный утес не только мягкостью серого оттенка, но и упорной пристальностью взгляда, буквально впились в него.

— Расскажите. Я поверю всему. Я верю всему, что про меня рассказывают. А вы?

— Неизменно! — в унисон согласились оба молодых человека.

— Тогда рассказывайте.

— Я все же не знаю, стоит ли, — поддразнивал Энтони, не в силах скрыть улыбку. Она была так явно заинтригована, что в своей готовности выслушать все что угодно выглядела почти смешной.

— Он имеет в виду твое прозвище, — сказал Дик.

— Какое прозвище? — осведомился Энтони с вежливым недоумением.

Она смутилась на мгновение, потом рассмеялась, откидываясь на подушки и, возведя глаза к потолку, сказала:

— Глория «на всю страну», — голос ее прямо искрился смехом, таким же неуловимо-неопределенным, как вереницы оттенков, которыми переливались ее волосы в смешении света от камина и лампы. — О, Господи!

Энтони был не на шутку озадачен.

— Что вы имеете в виду?

— Себя. Именно так меня окрестили какие-то глупые мальчишки.

— Разве ты не видишь, Энтони, — пояснил Дик, — что перед тобой всенародно прославленная путешественница и прочая, и прочая. Разве ты не это слышал о ней? Ее называют так уже много лет, с тех пор как ей исполнилось семнадцать.

Глаза Энтони сделались печально-насмешливыми.

— Что за Мафусаила в женском образе ты ко мне привел, Кэрэмел?

Даже если она и была уязвлена, то не показала виду, ибо вновь переключила разговор на самое главное.

— Так что же вы обо мне слышали?

— Кое-что о вашей фигуре.

— А-а, — протянула она, явно разочарованная. — И это все?

— О вашем загаре.

— Моем загаре? — Она была озадачена. Ее рука скользнула к горлу и на мгновение замерла, словно ощупывая неровности этого самого загара.

— Помните Мори Нобла? Вы встречались с ним примерно месяц назад. И произвели большое впечатление.

Она на секунду задумалась.

— Да, помню. Но он мне так и не позвонил.

— Не сомневаюсь, что он просто испугался.

За окном была непроглядная темень, и Энтони вдруг изумился тому, что когда-то его квартира могла казаться безотрадной — таким теплом и дружелюбием веяло от книг, от картин на стенах, от доброго Баундса, выносящего из respectable полутьмы поднос с чаем, и троих симпатичных людей, оживленно перебрасывающихся шутками и смехом у весело горящего камина.

Разочарование

В четверг Глория и Энтони вместе пили чай в закуской отеля «Плаза». На ней был отороченный мехом серый костюм — «потому что под серое просто необходимо сильно краситься», объяснила она, — крохотный ток лихо сидел на ее голове, позволяя золотистым локонам виться во всем их великолепии. При верхнем освещении лицо ее неуловимо смягчилось и казалось совсем юным, Энтони едва бы дал ей восемнадцать лет; очертания ее бедер в тугом футляре с перехватом ниже колен, который назывался в том сезоне юбкой, были изумительно округлыми и изящными, руки у нее были не «артистичные» и не массивные, а просто маленькие, как и положено ребенку.

Когда они вошли, оркестр взял как раз первые хныкающие аккорды матчиша, мелодия которого, полная кастаньетного треска и свободно-томных скрипичных гармоний, очень подходила для зимнего ресторанного зала, заполненного находящейся в приподнятом настроении по случаю приближающихся каникул толпой студентов. Критически оглядев

несколько мест, куда можно было сесть, Глория, к некоторому раздражению Энтони, демонстративно повела его кружным путем к столику для двоих в дальнем конце зала. Добравшись наконец до места, она опять оказалась в затруднении. С какой стороны сесть — справа или слева? Ее прекрасные глаза и губы свидетельствовали о серьезности выбора, и Энтони еще раз подумал о том, как непосредственны были все её жесты: ко всему в жизни она относилась так, словно должна была постоянно что-то выбирать и оценивать в неистощимой груде подарков, разложенной на бескрайних прилавках.

Какое-то время Глория с безразличным видом наблюдала за танцующими и когда какая-нибудь пара, кружась, приближалась к их столику, негромко высказывалась:

— Вот, в голубом приятненькая девушка, — и Энтони покорно смотрел. — Вон там. Да нет же, сзади вас.

— Да, — соглашался он беспомощно.

— Но вы же так и не увидели ее.

— Я лучше на вас посмотрю.

— Я понимаю, но она на самом деле ничего. Только вот лодыжки толстоваты.

— Неужели?.. Ну, то есть, да, — обронил он рассеянно.

Девушка из пары, двигавшейся мимо, помахала им.

— Глория, привет! Эй, Глория!

— Привет.

— Кто это? — поинтересовался он.

— Понятия не имею. Так. — Она уже смотрела на кого-то другого. — Мюриел, привет! — Потом обратилась к Энтони. — Это Мюриел Кэйн. Вот она, по-моему, симпатичная, хотя и не очень.

Энтони усмехнулся, фраза ему понравилась.

— Симпатичная, хотя и не очень, — повторил он. Она улыбнулась — и мгновенно заинтересовалась.

— Что в этом такого смешного? — Она была так трогательна в своем желании узнать.

— Просто смешно.

— Хотите потанцевать?

— А вы?

— Не знаю. Давайте лучше посидим, — решила она.

— И поговорим о вас. Вы ведь любите о себе говорить?

— Да, — она рассмеялась, уличенная в тщеславии.

— Я представляю себе вашу биографию как нечто этакое классическое.

— Дик говорит, что у меня ее вообще нет.

— Опять этот Дик! — воскликнул Энтони. — Да что он знает о вас?

— Ничего. Но он говорит, что биография любой женщины начинается с первым поцелуем и кончается, когда ей на руки кладут последнего ребенка.

— Это он из своей книги цитирует.

— Он говорит, что у женщин, которых не любили, биографии нет, у них — только история.

Энтони опять рассмеялся.

— Ну, вам, уверен, это не грозит.

— Я надеюсь.

— Тогда почему же у вас нет биографии? Разве у вас не было поцелуя, с которого можно начать отсчет? — И едва эти слова сорвались с его губ, он судорожно вздохнул, словно пытаясь втянуть их обратно. У этого ребенка?

— Не понимаю, что вы хотели сказать этим словом «отсчет». — суховаато отозвалась она.

— А мне нельзя узнать сколько вам лет?

— Двадцать два, — сказала Глория, пристально глядя ему в глаза. — А вы сколько думали?

— Ну, около восемнадцати.

— Значит, пусть так и будет. Мне не нравится мой возраст. Ненавижу это больше всего на свете.

— Быть двадцати двух лет?

— Нет. Стариться и все такое. Выходить замуж.

— И вы никогда не собирались замуж?

— Не нужно мне все это, да еще куча детей, с ними возись.

Она явно не сомневалась в том, что может позволить себе говорить все что угодно. Затаив дыхание, он ждал се следующей реплики, надеясь, что она продолжит начатое. Но она лишь улыбалась, мило, однако без особого удовольствия. А потом в пространство между ними упало полдюжины слов:

— Как же я хочу желатиновых лепешек.

— Так они у вас будут! — Он подозвал официанта и послал его к сигаретному прилавку.

— Вы не будете возражать? Я их так люблю. Все насмеваются надо мной из-за этого, потому что как только отца нет поблизости, я тут же принимаюсь их жевать.

— Совсе нет... А кто все эти юные создания? — спросил он внезапно. — Вы их что, всех знаете?

— Ну что вы, нет... Но они все из... да, наверное, откуда угодно. А вы что, никогда здесь не бываете?

— Довольно редко. «Охота за красотками» меня не очень занимает.

Это ее мгновенно заинтересовало. Она решительно отвернулась от танцующих, поудобнее устроилась на стуле и требовательно спросила:

— Чем же вы тогда занимаетесь?

Уже немного размягченному коктейлем Энтони был приятен этот вопрос. У него появилось настроение поговорить; больше того, ему захотелось произвести впечатление на эту девушку, которую оказалось невероятно трудно чем-либо заинтересовать, — пастись она останавливалась где попало, а области неочевидно очевидного вообще предпочитала проскакивать. Ему захотелось порисоваться. Соблазнительно было предстать перед ней в романтико-героических тонах. Хотелось, наконец, стряхнуть с нее равнодушие, с которым она относилась ко всему, кроме себя.

— Я ничего не делаю, — начал он, одновременно соображая, что словам его не хватает именно той жизнерадостной грации, в которую он так желал облечь их. — Я ничего не делаю, потому что не могу делать ничего такого, что стоило бы делать.

— Ну и? — Он не только не удивил ее, но даже не заинтриговал, и все же она, определенно, поняла его, если конечно то, что он сказал, вообще стоило понимать.

— Вам не нравятся ленивые мужчины?

Она кивнула.

— Может быть, если бы в их лени было хоть какое-то изящество. Но разве такое возможно в американцах?

— Почему же нет? — спросил он в замешательстве. Но её мысль уже отвлеклась от темы и витала сейчас десятью этажами выше.

— Отец на меня ужасно злится, — заметила она бесстрастно.

— Думаете? Но я все-таки хотел бы знать, почему американцу не дано быть элегантным бездельником? — он говорил все увереннее. — Это для меня вовсе не факт. Это... Я просто не понимаю, почему считается, что каждый молодой человек обязан ежедневно отправляться в центр города и заниматься там по десять часов в день утомительной, не требующей никакого воображения, и уж во всяком случае, далекой от всякого альтруизма работой, тратя на это лучшие годы своей жизни.

Он оборвал свою речь. Глория смотрела на него с непроницаемым видом. Он ждал, что она согласится или станет возражать, но не последовало ни того, ни другого.

— Вы никогда не пробовали порассуждать о чем-нибудь? — спросил он с некоторым

раздражением.

Она качнула головой, а когда заговорила, взгляд ее вновь был обращен к танцующим.

— Не знаю. И, вообще, понятия не имею, чем все должны заниматься.

Она смутила его, нарушила ход его мыслей. Никогда в жизни ему так не хотелось излить душу, и никогда еще это не представлялось таким невозможным.

— Да, — проговорил он, как бы извиняясь, — я тоже конечно не знаю, но...

— Меня больше интересует, — продолжала она, — соответствует ли человек тому месту, которое занимает, вписывается ли в окружение. Мне все равно, пусть он даже ничего не делает. Не понимаю, почему люди должны что-то делать. Больше того, меня всегда удивляет, когда я узнаю, что кто-то чем-то занимается.

— А вы не хотите чем-нибудь заняться?

— Я хочу спать.

Секунду он ничего не мог сообразить, думая, что она на самом деле готова заснуть.

— Спать?

— Ну, что-то вроде этого. Хочу ничего не делать, но чтобы люди вокруг меня все чем-то занимались; тогда мне удобно и безопасно. Только некоторые из людей пусть вообще ничего не делают, просто составляют мне приятную компанию. Но я никогда не хотела изменить людей, и не сержусь на них за то, что они такие.

— Вы — забавная маленькая детерминистка, — рассмеялся Энтони. — И ведь вы на самом деле хотите, чтоб мир был таким?

— Ну. — начала она, возведя глаза куда-то под потолок, — а почему бы ему не быть таким? Во всяком случае, пока я... молода.

Она сделала небольшую паузу перед последним словом, и у Энтони возникло ощущение, что она хотела сказать «красива». Да, именно это она и хотела сказать.

Ее глаза оживились, и Энтони ждал, что она начнет развивать эту тему. Он, во всяком случае, считал, что деваться ей некуда; даже слегка подался вперед, чтоб ловить ее признания.

Но она просто сказала: «Идемте танцевать».

Поклонение

Этот зимний вечер в «Плаза» был первым из длинной череды «свиданий», которых Энтони стал искать с ней в те смятенные и чуть сумасшедшие дни перед Рождеством. Ей постоянно было некогда, и Энтони долго не мог понять, какой именно омут городской жизни с такой силой увлекает ее. Но оказалось, что она не делала больших различий. Она бывала на полуофициальных благотворительных вечерах в больших отелях, несколько раз он встречал ее на званых обедах в «Шерриз», а однажды, ожидая пока она оденется, в рамках беседы с миссис Гилберт о страсти дочери к «самоволкам», Энтони, в частности, узнал, что в обширнейших планах Глории значилось с полдюжины танцевальных вечеров, на которые он тоже был приглашен.

Несколько раз он приглашал ее позавтракать, но свидания эти оказывались слишком быстротечны и, по крайней мере ему, не приносили никакого удовлетворения. С утра Глория бывала рассеянной и полусонной, неспособной ни на чем сосредоточиться, и все изыски ею красноречия едва ли доходили до нее. После двух таких худосочных встреч, когда он стал жаловаться, что на такой «диете» от него скоро останутся кожа да кости, Глория рассмеялась и назначила ему встречу через три дня после обеда. Это насытило его гораздо больше.

Как-то в воскресенье перед самым Рождеством он позвонил к ней в номер и обнаружил, что она пытается успокоиться после какой-то крупной и таинственной ссоры: голосом, в котором еще слышался сдерживаемый гнев и проскальзывали нотки удовлетворения, она сообщила, что несколько минут назад выставила мужчину — Энтони лихорадочно соображал, — который именно в этот вечер пригласил ее на ужин, и теперь никуда идти с ним не собирается. Ужин, таким образом, доставался Энтони.

— Давайте куда-нибудь сходим! — предложила Глория, когда они спускались в лифте. — Я бы с удовольствием посмотрела какое-нибудь шоу, а вы?

Обследование театральной кассы в вестибюле показало, что в этот воскресный вечер имели место быть всего два «концерта».

— Они всегда такие одинаковые, — пожаловалась Глория несчастным голосом, — вечно одни и те же престарелые еврей-комедианты. Ну пойдемте же куда-нибудь!

Чтоб избегнуть обвинений в преступном нежелании самому организовать для ее удовольствия какое-нибудь шоу, Энтони с преувеличенной веселостью вдруг «догадался»:

— Отправимся в какое-нибудь хорошее кабаре!

— А, я уже во всех перебивала.

— Мы найдем какое-нибудь новое.

Но она уже пришла в серьезное расстройство чувств и этого нельзя было не заметить. Ее серые глаза сейчас на самом деле напоминали цветом гранит. Когда она говорила, то смотрела прямо перед собой, как бы на отвратительное нечто, появившееся вдруг в гостиничном вестибюле.

— Ну хорошо, идемте уж.

Даже закутанная в меха она выглядела грациозно. Он последовал за ней к такси и будто бы зная, куда нужно ехать, приказал шоферу выбраться на Бродвей и повернуть к югу. Несколько раз он пытался завести разговор, но Глория облачилась в непроницаемую броню молчания и отвечала фразами едва ли более приветливыми, чем темнота нетопленного такси; чувствуя, как у него тоже начинает портиться настроение, Энтони отказался от дальнейших попыток.

Кварталах в десяти вдоль по Бродвею внимание Энтони привлекла большая незнакомая вывеска, на которой победоносными желтыми иероглифами значилось: «Марафон», а вокруг, бросая отсветы на мокро лоснящийся асфальт, попеременно вспыхивали и гасли электрические листья и цветы. Он наклонился, легонько постучал по стеклу, и уже через секунду цветной привратник вещал ему: «Да, эт-та кабаре. Прекрасная кабаре. Лут-шая шоу в городе!»

— Может, попробуем?

Глория со вздохом швырнула в приоткрывшуюся дверь такси окурок и приготовилась последовать за ним: далее они прошестьвовали под кричащей вывеской, под широким порталом, и душным лифтом были доставлены в этот невоспетый еще дворец наслаждений.

Это было одно из тех бесшабашных обиталищ разительного богатства и не менее броской бедности, не в меру франтоватых и глубоко криминальных (не говоря уже о бешеной их популярности в последнее время среди богемы), столь вожделенных и боготворимых старшеклассницами средних школ от Джорджии до Миннесоты не только благодаря усилиям живописно-увлекательных разворотов воскресных театральных приложений, но и потрясенно-встревоженным откровениям мистера Руперта Хьюза и других летописцев сумасшествия Америки. Но все эти вторжения Гарлема на Бродвей, черная магия скуки и беззаботная резвость респектабельности — предмет эзотерического знания самих участников действия.

Слухи, однако, циркулируют, и в ловко разрекламированном заведении по субботним и воскресным вечерам начинают собираться представители того не слишком обузданного моральными устоями класса небестревожно живущих человечков, которых на карикатурах обычно снабжают подписями «Потребитель» или «Публика». Они своим присутствием и определяли три основные качества описываемого места: оно было недорогое; пыталось имитировать механистической оголенностью интерьера блестящие ужимки шикарных кафе в театральном районе; и что самое важное — это было место, где они могли «поразвлечься с приятной девушкой», хотя развлечение предполагалось, естественно, не наносящим никому ущерба, достаточно невинным, а в силу недостатка денег и воображения, оказывалось попросту неинтересным.

По воскресным вечерам в таких местах собираются доверчиво-сентиментальные, много

работающие за небольшую плату представители профессий, названия которых состоят, как правило из двух слов: младшие бухгалтеры, билетные агенты, конторские служащие, мелкие торговцы; но больше всего тут служилой мелкоты — курьеров, почтальонов, разносчиков, посыльных, банковских клерков. А для компании — не в меру смешливые, излишне оживленно жестикулирующие, трогательно претенциозные подружки, обреченные вместе с ними толстеть, приносить им целые кучи детей, безропотно и беспомощно барахтаться в угрюмом океане повседневности и разбитых надежд.

Названия свои такие, без особых претензий, кабаре ведут от моделей пульмановских вагонов. Хотя бы этот «Марафон»! Сладострастная жуть заемного парижского шика не для них. Туда водят своих милашек, чья изголодавшаяся фантазия только в таких местах готова допустить сосуществование беззаботной веселости и легкой аморальности, их пронырливые патроны. Вот это жизнь! А завтра — не все ли равно?

Пропавшие люди!

Энтони и Глория сели и принялись осматриваться. За соседним столиком компания из четверых человек находилась в процессе присоединения к ним еще троих — двух мужчин и девушки — которые, похоже, изрядно запоздали. Описавший поведение этой девушки мог бы внести весомый вклад в развитие национальной социологии. Ей представляли незнакомых мужчин и она отчаянно играла. Жестами, словом, даже едва заметными движениями век она старалась показать, что принадлежит к прослойке общества, пусть хоть чуть-чуть, но более высокостоящей, чем те, с кем ей сейчас приходится общаться; что лишь недавно она пребывала и, несомненно, вот-вот опять окажется в разреженной атмосфере эмпиреев. Девушка была почти болезненно утонченна в своей прошлогодней моды шляпке, украшенной фиалками, столь же страстно амбициозными и разительно фальшивыми, как и она сама.

Словно зачарованные, Энтони и Глория не могли оторвать глаз от девушки, которая садилась теперь за столик, всем своим видом показывая, что пришла сюда только из снисхождения, Лично для меня, говорили ее глаза, это всего лишь познавательная экскурсия в трущобы, истинный смысл которой приходится скрывать этим презрительным смешком и полуизвинениямн. Другие женщины тоже, в силу своих возможностей, старались создать впечатление, что хотя и находятся в этой толпе, отнюдь к ней не принадлежат. Это было место явно не того сорта, к которому они привыкли; они вообще пришли сюда только потому, что это было близко и удобно — каждая компания в ресторане просто разливала вокруг себя такое впечатление... и, кто знает, может, оно на самом деле так и было? Кто знает. Они ведь принадлежали к очень динамичному классу: все эти женщины, часто выходявшие замуж удачнее ожиданий, эти мужчины, внезапно и незаслуженно наживавшие состояния, получавшие их от Господа словно рожок с мороженым, как в знаменитой рекламной сказке. А вообще-то они приходили сюда просто поесть, закрывая глаза на нечасто меняемые в целях экономии скатерти, на явно случайный состав исполнителей и уж вовсе милосердно глядя на беспечную развязность и фамильярность официантов. И эти официанты, не очень-то боящиеся своего начальства. Так и казалось, что они вот-вот сами рассядутся за столиками...

— Ну, как вам здесь? Не очень? — поинтересовался Энтони.

Лицо Глории потеплело, впервые за весь вечер она улыбнулась.

— Здесь просто здорово, — призналась она. И в этом невозможно было усомниться. С нескрываемым наслаждением взгляд ее серых глаз, то лениво и полусонно, то загораясь неподдельным интересом, перебегал от одной компании к другой, и Энтони открывал для себя все новые прелестные черточки се профиля, чудесно живые движения губ, несравненные достоинства ее лица, фигуры, манер; все это делало ее похожей на распустившийся среди этого сборища дешевой бижутерии дивный цветок. Торжествующее умиление от того, что она счастлива, пресекло его дыхание и увлажнило

глаза, все нервы его напряглись, в горле возникло ощущение сухости и дрожи. В зале воцарилась тишина. Беззаботные скрипки и саксофоны, надсадно-пронзительная жалоба ребенка, голос девушки в шляпке с фиалками за соседним столиком — все стало меркнуть, истончаться и пропасть, как сонмы смутных отражений в тусклом глянце пола. И они остались вдвоем — так казалось ему — в невероятной дали от всего, в непроницаемой тишине. Близкая свежесть ее щек была единственной явью этой страны неуловимых, лишенных всякого подобия теней; ее рука, матово светящаяся на довольно испятнанной скатерти, отливала потаенным перламутром несбыточных и девственных морей...

И вдруг иллюзию смахнуло, словно карточный домик: зал сомкнулся вокруг него голосами, лицами, движеньями. Неистовое сверканье ламп над головой сделалось осязаемо реальным, потом зловещим; потом ощутилось дыхание, тот медленный физиологический процесс, который он и она осуществляли в едином ритме с этой инертной человеческой массой, вздымание и опадание грудных клеток, вечная, лишенная всякого смысла игра в перебрасывание словами, фокусничанье фразами — все это разом распахнуло его чувства навстречу удушающим объятьям жизни... и до него долетел ее голос, бесстрастный и бесплотный, как видение, только что покинувшее Энтони.

— Понимаете, — здесь мое место, — выговаривала она. — Я похожа на этих людей.

Какое-то мгновение ему казалось, что слова просто зловеще и непредсказуемо искажены теми непроходимыми пространствами, которыми она окружила себя. Однако восторг Глории явно возрел, глаза были прикованы к семитского вида скрипачу, который поводил плечами в такт мелодии популярнейшего фокстрота года:

Эта песенка моя
Тра — ля — а, ля — ля, ля — ля
Только для твоих ушей...

Вновь, прямо из центра той иллюзии, в которую была погружена Глория, донеслись ее слова. Это было ошеломительно. Как богохульство из уст младенца.

— Да, я похожа на них... На эти японские фонарики и мишуру. И на эту музыку.

— Вы не соображаете, что говорите! — ошарашенно настаивал он.

Она затрясла своей золотоволосой головой.

— Я все прекрасно понимаю. Я именно такая... И вы должны это понять. Вы просто плохо меня знаете. — Помедлив, она повернулась к нему, взгляды их внезапно встретились и она словно удивилась, заметив его рядом с собой. — Во мне есть черты того, что вы, возможно, назвали бы низкопробностью. Не представляю, откуда это, но оно есть... Мне нравятся кричащие цвета, безвкусица, вульгарность. Мне кажется, что я выросла в такой обстановке. А эти люди могли бы оценить меня, принять такой, какая я есть. Эти мужчины, в отличие от тех умников, с которыми я постоянно сталкиваюсь и которые способны лишь обсуждать мои достоинства и недостатки да рассказывать мне почему я такая, а не иная, могли бы просто любить меня, восхищаться мною.

Тут Энтони неистово захотелось нарисовать ее, запечатлеть именно такой, какова она сейчас и какой уже — с каждой невозвратно ускользающей секундой — не будет никогда.

— О чем вы подумали? — спросила она.

— Просто о том, что едва ли я реалист, — отозвался он и добавил: — Да, только романтики умеют сохранить то, что должно сохранять.

А из глубин изошренного сознания Энтони уже рвалось наружу понимание, не содержащее в себе ничего атавистического или смутного, лишенное, на самом деле, вообще каких-либо материальных предпосылок; усвоенное от бесчисленных поколений романтизированных сознаний понимание того, что то, как она говорит с ним сейчас и ловит его взгляд и поводит своей обольстительной головой, трогает его так, как ничто и никогда прежде не трогало. А происходило всего-навсего то, что воплощалась, приобретала некое выражение оболочка ее души.

Она была солнцем, лучистым, растущим, собирающим и запасающим свет, чтоб затем, после целой вечности, излить его во взгляде, в обрывке фразы на ту часть его существа, которая могла сохранить и взлелеять всю красоту и очарование иллюзии.

Глава 3 Ценитель поцелуев

Еще с первых лет студенчества, когда он был редактором «Гарвард Кримзон», Ричард Кэрэмел возымел желание писать. Но к выпускному курсу он взрастил в себе и окружил ореолом иллюзию, что некоторые люди были как бы отобранны для «служения» и весь смысл прихода их в сей мир заключался в свершении смутного насущного нечто, наградой за которое будет либо воздаяние на небесах, либо, по крайней мере, моральное удовлетворение от неустанного стремления к максимальному благу для максимального числа людей.

Сей дух уже немало лет сотрясал колледжи Америки. Начинается это, как правило, в пору незрелых и поспешных впечатлений первого студенческого года, иногда еще в школе. А из университета в университет кочуют с распростертыми объятиями, являя завидные актерские данные, цветущие апостолы этого культа и — где просто запугивая доверчивую паству, где притупляя возрастание интереса и интеллектуального любопытства, которые, собственно, и являются целью всякого образования, — сводят извечно-таинственный образ порока к провинностям детства или пресловутой «женской угрозе». Склонная к пороку молодежь посещает эти лекции только для того, чтоб повеселиться и позубоскалить, но простодушные, бывает, проглатывают эти подслащенные пилюли, которые, в общем-то, безопасны, если благочестивый аптекарь пытается пользоваться ими фермерских жен, но для будущих «водителей человечества» могут быть весьма вредоносны.

Этот спрут нашел в себе достаточно сил, чтоб обвить своими щупальцами Ричарда Кэрэмела и через год после окончания университета увлек его трущобы Нью-Йорка, где он и подвизался вместе с некими полоумными итальянцами в качестве секретаря «Ассоциации помощи молодым иностранцам». Он трудился там больше года, пока монотонность обязанностей не начала утомлять его. Иностранцы прибывали неиссякаемым потоком — итальянцы, поляки, скандинавы, чехи, армяне, — все с одинаковыми проблемами и с одинаковыми, исключительно отталкивающими лицами. Даже пахли они одинаково, хотя с течением времени ему стало казаться, что он улавливает в этом букете все большее богатство и разнообразие. Он так и не смог понять в итоге, нужна ли была эта организация, но что касается своих отношений с ней, то он порвал их быстро и решительно. Всякий достаточно обходительный молодой человек, в голове которого еще звенели фанфары последнего крестового похода, вполне мог заменить его в деле облагораживания этих отбросов Европы, а для Дика настало время писать.

Проживал он тогда в общежитии Христианской ассоциации молодежи, но когда с выделкой дамских шуб из мышинных хвостов было закончено, двинулся к центру города и почти сразу получил место репортера в «Сан». Он продержался там около года, время от времени пописывая на сторону — впрочем, без особого успеха, — пока однажды банальнейшая случайность не оборвала его газетную карьеру навсегда. Как-то в феврале ему поручили сделать репортаж о параде кавалерийского полка. Но, убоявшись метели, вместо того чтоб куда-то ехать, Дик славно вздремнул у камина, а когда проснулся, сочинил прекрасную заметку о приглушенном топоте лошадиных копыт по свежевыпавшему снегу. Так все и пошло в номер. А на следующее утро редактору отдела новостей вернули копию статьи с лаконичной пометкой: «Уволить того, кто это писал». Оказалось, что конный полк, тоже убоявшись снегопада, перенес парад на другой день.

Неделей позже он начал писать «Демона-любовника».

В январе, который, как известно, является понедельником года, нос Ричарда Кэрэмела имел обыкновение быть синим той сардонической синевой, в которой угадывались отблески

негасимого пламени, лижущего грешников. Книга его была почти готова, но, по мере того как она обретала завершенность, росли, казалось, и ее требования к автору; высасывая из него все силы, она обретала над ним все большую власть, пока Дик, обессиленный этой борьбой, не стал ее покорной тенью. Свои не лишённые хвастливости надежды, мгновенно переходящие в мучительную неуверенность, он изливал не только на Энтони и Мори, но и на любого, кого мог залучить себе в слушатели. Он обзванивал вежливых, но не скрывавших своего недоумения издателей, втягивал в обсуждение своего романа случайных визави в Гарвард-клубе, а Энтони даже утверждал, что в один из воскресных вечеров случайно видел, как в промерзлом, полуосвященном уединении одной из станций подземки в Гарлеме Дик обсуждал план переделки второй главы с грамотного вида контролером. И вот последним среди его конфиденентов стала миссис Гилберт — между ними не редкостью были интенсивные словесные перепалки, длившиеся не один час и бросавшие их от билфизма к литературе.

— Вот уж Шекспир, вне всякого сомнения, был, — уверяла она его с застывшей на лице напряженной улыбкой. — Да! Он был билфист. Это доказано.

Дик мог озадачиться, но не сильно.

— Если ты читал «Гамлета», то не мог этого не заметить.

— Ну, он... он жил в эпоху, когда людей легче было заставить верить во что-то. В более религиозную эпоху.

Но ей нужен был весь каравай.

— Естественно, но, видишь ли, билфизм — это не религия. Это научная основа всех религий. — Она взирала на него с вызывающей улыбкой. Это был славный девиз ее веры. В самом сочетании этих слов было что-то настолько захватывавшее ее ум, что дальнейших рассуждений уже не требовалось. А вообще-то она не прочь была принять любую идею, лишь бы та уживалась с этой блестящей формулой; да и сама по себе эта формула таковой не являлась, а была, по сути, *reductio ad absurdum* всех возможных формул.

Наконец, зато во всем великолепии, наставляла очередь Дика.

— Наверняка вы слышали о новой поэтической волне. Не слышали? Ну, это довольно многочисленная группа молодых поэтов, которые отбрасывают старые формы и у них очень неплохо получается. Так вот, я своей книгой собираюсь начать новую волну в прозе, что-то вроде ренессанса.

— У тебя обязательно получится, — сияла миссис Гилберт. — Ты обязательно начнешь. В прошлый вторник я была у Дженни Мартин, она гадает по руке; ты знаешь, все просто без ума от нее. Я ей сказала, что мой племянник завершает сейчас некую работу и она сказала, что рада мне сообщить, что работу эту ожидает необыкновенный успех. А ведь она никогда тебя не видела и ничего о тебе не знает, даже как тебя зовут.

Издав подходящие звуки, призванные выразить его изумление по поводу сего невероятного феномена, Дик, словно опытный регулировщик, повернул течение разговора в нужное ему русло.

— Я действительно увлечен этой работой, тетя Кэтрин, — уверил он ее. — На самом деле. Все друзья подшучивают надо мной; сам понимаю, что это смешно, но мне все равно. Я считаю, что человек должен уметь терпеть насмешки. И это лишь придает мне решимости, — заключил он сурово.

— Я все время говорю, что у тебя очень древняя душа.

— Может быть. — Дик уже достиг той стадии, когда бороться нет сил, остается только покориться. Да, у него просто должна быть очень древняя душа, настолько древняя, что вся давно уже сгнила, представил он, дурачась. Однако, всякий раз повторение этих слов почему-то смущало его и по спине бежали неуютные мурашки. Он поспешил сменить тему.

— А где же моя славная кухня Глория?

— Где-то, с кем-то, в своей постоянной беготне.

Дик помолчал, размышляя, потом, скривив лицо в то, что, скорее всего, призвано было стать началом улыбки, но окончилось отчаянно хмурой гримасой, изрек:

— Мне кажется, мой друг Энтони Пэтч в нее влюбился.

Миссис Гилберт встрепелась, с полусекундным запозданием просияла и тоном героини детектива выдохнула: «Неужели?»

— По-моему, — уточнил Дик самым протокольным тоном. — Она первая девушка, с которой он столько встречается.

— Ну, что ж, это вполне естественно, — сказала миссис Гилберт с наигранной беспечностью. — Глория никогда не посвящает меня в свои тайны. Она очень скрытная. Но, между нами, — она предусмотрительно склонилась к нему, всем видом показывая, что решила поделиться этим признанием только с небом и племянником, — между нами, я так хочу, чтоб она наконец угомонилась.

Дик встал и с весьма сосредоточенным видом принялся расхаживать по комнате, такой небольшой, подвижный и уже округлый молодой человек с нелепо вдавленными в оттопыренные карманы пиджака кулаками.

— Я не настаиваю, что это именно так, учтите, — убеждал он по-гостиничному безликий офорт, висевший на стене напротив и подобострастно ухмылявшийся в ответ. — Я не скажу ничего такого, чего не знала бы сама Глория. Но думаю, что Неистовый Энтони к ней очень неравнодушен. Он постоянно говорит о ней. В ком-нибудь другом это было бы дурным знаком.

— У Глории очень юная душа, — с подъемом начала миссис Гилберт, но племянник прервал ее торопливой тирадой:

— Да уж, совсем юная и глупая, если не выйдет за Энтони. — Он оборвал свое хождение и обернулся к ней с лицом искаженным и напряженным до такой степени решимости, что очертания его больше всего наводили на мысль о карте военных действий, испещренной линиями и значками — искренностью он готов был оправдать бесцеремонность своих слов, — Глория — взбалмошная девчонка, тетя Кэтрин. Она просто неуправляема. Не знаю как она этого добилась, но за последнее время вокруг нее скопилось множество самых неподобающих друзей. Но ей это, кажется, все равно. А те мужчины, в обществе которых она регулярно появлялась по всему Нью-Йорку... — Он остановился, чтоб перевести дыхание.

— Да, да, да, — отозвалась миссис Гилберт, вяло пытаясь скрыть огромный интерес, с которым слушала.

— И вот, — продолжал сурово Ричард Кэрэмел, — мы пришли к тому, что имеем. Я хочу сказать, что мужчины, которым оказывала предпочтение Глория, вообще люди, с которыми она общалась, были всегда вне всяких сомнений. А теперь это не так.

Миссис Гилберт часто-часто заморгала, грудь ее всколыхнулась, наполняясь воздухом, замерла на долю секунды, и вместе с выдохом дала волю целому потоку слов.

Да, ей обо всем этом известно, кричала она шепотом; да, да! От матерей не укрываются такие вещи. Но что она может поделать? Он ведь сам знает Глорию и достаточно представляет себе ее натуру, чтоб понимать, как безнадежны попытки вразумить ее. Глория с самого раннего возраста была балованным ребенком, с ней просто не знали, что делать. Например, ее до трех лет кормили грудью, хотя к тому времени она могла бы, наверное, разжевать и деревяшку. Возможно поэтому — точно ведь никогда не знаешь — она такая здоровая и крепкая. Потом, как только ей исполнилось двенадцать, вокруг появилось столько мальчиков, что буквально шагу негде было ступить. С шестнадцати лет она стала ходить на танцы; сначала в школы, потом в колледжи, и везде, где бы она ни появлялась — мальчишки, мальчишки, мальчишки. Первое время, да, лет наверное до восемнадцати, их было столько, что, казалось, она не делает между ними никакого различия; потом начала выбирать.

Ей известно, что за эти три с небольшим года была целая вереница более-менее серьезных увлечений, возможно, что-то около дюжины. Иногда это были студенты старших курсов, порой — только что закончившие учебу молодые люди; длилось это, в среднем, по несколько месяцев, перемежаясь более кратковременными увлеченностями. Один или два

раза это продолжалось дольше чем обычно и мать надеялась, что дело идет к помолвке, но всегда появлялся новый... потом еще один...

Мужчины? Да она просто третировала их! Нашелся единственный, который сумел сохранить хоть какое-то достоинство, да и тот был просто ребенок, молодой Картер Керби из Канзас-сити. Он был настолько самонадеян, что это его и спасло; он даже не ощутил удара, нанесенного в один прекрасный день его тщеславию, а назавтра уехал с отцом в Европу. На других было просто жалко смотреть. Они, казалось, никогда не могли вовремя понять, что Глория уже устала от них, а она не была настолько злонамеренна, чтоб открыто показывать это. Они продолжали звонить, писать ей письма, старались увидеться, колесили за ней по всей стране. Некоторые из них поверяли свои горести миссис Гилберт, рассказывая со слезами на глазах, что никогда не смогут разлюбить Глорию... однако, по крайней мере двое из них, уже обзавелись с тех пор семьями... Но, в основном, Глория, кажется, разила наповал, ибо до сих пор мистер Карстерс звонит ей каждую неделю и присыпает цветы, от которых она устала уже отказываться.

Несколько раз, по меньшей мере дважды, насколько знала миссис Гилберт, дело доходило до неофициальной помолвки, — с Тюдором Бэйрдом и молодым Холкомом в Пасадене. Она говорит так уверенно потому что — о, нет, она не должна этого рассказывать! — неожиданно войдя в комнату, заставала Глорию именно в тот момент... ну, она вела себя так, как будто была помолвлена вполне официально. Она, конечно, ни слова не сказала дочери. Естественно, она знакома с правилами деликатности, кроме того, она все время ожидала, что о помолвке со дня на день будет объявлено. Но никакого объявления так и не последовало: вместо этого появился новый мужчина.

А какие бывали сцены! Молодые люди, мечущиеся взад-вперед по библиотеке, словно тигры в клетке! Их взгляды друг на друга в прихожей, когда один уже уходил, а другой попадался ему навстречу! Молодые люди, обрекаемые на отчаяние небрежно брошенной на рычаг трубкой! Молодые люди, грозящие уехать в Южную Америку!.. А какие жалобные письма! (Она не стала вдаваться в подробности, но Дик все же понял, что некоторые из этих писем миссис Гилберт видела собственными глазами.)

...И Глория — между слезами и смехом, между печалью и радостью, влюбленная и не очень, жалкая, нервная, хладнокровная, с яростью возвращающая подарки, меняющая одну фотографию на другую в уже потерявшей им счет рамке, смывающая все в горячей ванне и начинающая все с начала — уже с другим.

И все это длилось, длилось, приобретая образ некоего постоянства. Ничто не вредило Глории, не трогало, не могло изменить. А потом словно гром прогремел среди ясного неба — она сообщила матери, что студенты утомили ее. Она не появится больше на этих танцульках.

С этого и начались перемены, — не столько в ее привычках, ибо танцевала она теперь и свиданий назначала не меньше, чем прежде, но сама суть ее отношений с мужчинами стала иной. Раньше это было предметом своеобразной гордости, средством польстить собственному тщеславию. Она была, возможно, самой известной и вожаделенной юной грацией в округе, Глория Гилберт из Канзас-сити! Подумать только! И она бестрепетно пожинала плоды этой известности — наслаждалась столпотворением вокруг себя, радуясь тому, что ее выделяют среди других самые достойные кавалеры, приходя в восторг от яростной ревности других девушек. Она даже не имела ничего против всех этих фантастических, если не сказать скандальных и совершенно лишенных основания слухов — рада была заявить мать, — сплетаемых вокруг ее имени; например, как однажды вечером в Йеле она прыгнула в бассейн в шифоновом платье.

И вот от почти мужского, тщеславного обожания всего этого — по сути дела, ее успех был сродни блестящей головокружительной карьере, — она пришла вдруг к строгой эстетической оценке своего существования. И решила перемениться. Ее, которая царила на бесчисленных званных вечерах, которая веяла благоуханным ветром сквозь мириады бальных залов, пожиная урожаи нежных взглядов, все это больше не интересовало. Очередной безнадежно влюбленный воздыхатель, был туг же, почти со злостью, оставлен. Она стала

появляться в обществе с бесчисленными и совершенно безразличными ей мужчинами. У нее вошло в привычку не являться на свидания; причем если раньше она поступала так из холодного расчета, словно проверяя свою неотразимость, и считала, что оскорбленный мужчина все равно вернется к ней, стоит только поманить, то теперь она не тешила этим свою гордыню — она просто забывала об этих свиданиях. Она больше не гневалась на мужчин — они вызывали у нее зевоту. Она словно — и матери это казалось так странно, — она словно теряла способность чувствовать.

Ричард Кэрэмел слушал. Поначалу он продолжал стоять, но по мере того как напряженность теткинго дискурса возрастала — он приведен здесь вполнину сокращенным за счет обширных отступлений о юной душе Глории, а также о моральных травмах самой миссис Гилберт, — Дик подтянул к себе стул и уже с него бесстрастно наблюдал, как она дрейфовала от жарких слез к жалкой беспомощности и обратно в пространной повести о жизни Глории.

Когда она добралась до сказания об этом последнем годе, до саги обо всех этих окурках, рассеваемых по Нью-Йорку в пепельницах таких заведений как «Полночные забавы» или «Клуб избранных Джюстины Джонсон», он начал медленно, потом все быстрее, кивать головой и к тому времени как она бурным стаккато завершала свой рассказ, голова его, словно снабженная пружинкой, дико моталась вверх-вниз, выражая этим — все что угодно.

В определенном смысле прошлое Глории не было для него новостью. Он наблюдал за ним глазами журналиста, потому что, рано или поздно, собирался написать о ней книгу. Но, по крайней мере в данный момент, его интересы были неотделимы от интересов семьи. В особенности же он хотел знать, кто такой Джозеф Бликман, с которым видел ее не раз и кто эти две девушки, постоянно сопровождавшие ее — «эта» Рэйчел Джеррил и «эта» мисс Кэйн, — определенно, мисс Кэйн была не из того сорта женщин, с которыми стоило общаться Глории!

Но момент был упущен. Миссис Гилберт, достигнув кульминации своей эпопеи, была готова стремительно заскользить вниз по трамплину развязки. Ее глаза были похожи на голубое небо, наблюдаемое сквозь два круглых оконца с красноватыми переплетами. Складки возле губ ее дрожали.

И в этот момент дверь распахнулась, впуская в комнату Глорию и двух только что упомянутых молодых леди.

Две молодые женщины

— А вот и мы!

— Добрый день, миссис Гилберт! Происходит церемония представления мистера Ричарда Кэрэмела мисс Кэйн и мисс Джеррил.

— Это Дик (*смех*).

— Я столько о вас слышала, — сообщает мисс Кэйн тоном средним между хихиканьем и криком.

— Здравствуйте, — застенчиво говорит мисс Джеррил.

Ричард Кэрэмел старается двигаться так, чтоб скрыть недостатки своей фигуры. Он разрывается между врожденной сердечностью и тем фактом, что эти девушки кажутся ему ничем не примечательными — вовсе не фармоверовского типа.

Глория тем временем исчезает в спальне.

— Да садитесь же, — сияет миссис Гилберт, которая уже вполне пришла в себя. — Раздевайтесь.

Дик начинает опасаться, что она вот-вот вставит что-нибудь о возрасте его души, но этот приступ малодушия быстро минует, совершенно подавленный добросовестным писательским порывом. Романист отдается наблюдению за двумя молоденькими женщинами.

Мюриэл Кэйн вела свой род из быстро богатеющего семейства в округе Ист-Ориндж. Она была скорее невысокая, чем маленькая и в фигуре ее наблюдались довольно смелые градации между пухлостью и коренастостью. Волосы у нее были черные и тщательно уложенные. Это, в сочетании с красивыми, несколько коровьими глазами и излишне красными губами, делало ее похожей на Теду Бара, знаменитую киноактрису. Ей постоянно твердили, что она настоящая «женщина-вамп», и она сама поверила в это. С тайной надеждой Мюриэл подозревала, что людям становится не по себе в ее присутствии и при малейшей возможности делала все от нее зависящее, чтоб людям в ее присутствии становилось не по себе. Но любой одаренный хоть каким-то воображением мужчина вполне мог разглядеть тот красный флаг, который она не выпускала из рук, умоляюще и яростно, но увы — без видимой пользы, размахивая им. Еще она была потрясающе современна: знала все до единой песенные новинки и когда которая-нибудь из них начинала звучать на фонографе, могла вскочить на ноги, начать подергивать плечами и прищелкивать пальцами; если не было музыки, могла аккомпанировать себе сама, напевая мелодию.

Речь ее также была вполне современна: «Да мне без разницы» могла сказать она, «Охота беспокоиться — фигуру портить», или еще: «Ну, я не могу! У меня от этой музыки ноги сами вихляются!»

Ее излишне длинные сверхизысканной формы ногти были отполированы до ненатурально-розового жара. Платье у нее было слишком тесное, чересчур модное и излишне яркое, глаза — больше чем нужно проказливы, а улыбка не в меру скромна. Вся она с головы до ног была болезненно подчеркнута.

Другая девушка была, по-видимому, более утонченной. Изысканно одетая еврейка с темными волосами и приятной молочно-белой кожей. Она выглядела застенчивой и нерешительной, и эти два качества лишь подчеркивали тонкий аромат очарования, витавший вокруг нее. Она была из «епископальной» семьи, владевшей тремя шикарными магазинами верхней одежды на Пятой авеню и великолепными апартаментами на Риверсайд-драйв. После нескольких минут знакомства Дику стало казаться, что она пытается подражать Глории; он никак не мог взять в толк, почему люди стараются подражать именно тем, кому невозможно подражать.

— Мы так ужасно добирались! — возбужденно повествовала Мюриэл. — Сзади нас в автобусе ехала какая-то сумасшедшая женщина. На самом деле! Абсолютно помешанная!.. Всю дорогу бормотала про себя, что бы она хотела сделать с тем-то и тем-то. Я чуть не умерла со страху, но Глория уперлась и ни за что не хотела выходить раньше времени.

Миссис Гилберт, выражая приличествующий случаю страх, открыла рот.

— Что вы говорите!

— На самом деле, тронутая. Мы так боялись, чтоб она на нас не кинулась. А страшна! Как смертный грех!.. Мужчина через проход от нас сказал, что с ее лицом только ночной сиделкой в приюте для слепых работать. Ну, мы конечно так и покатались, так этот парень стал к нам клеиться...

В этот момент из спальни появилась Глория и все взгляды в унисон устремились к ней. Остальные две девушки, как бы померкшие и уже никому не нужные, сделались фоном.

— Мы тут разговаривали о тебе, — быстро сказал Дик — ...с твоей мамой.

— Очень рада, — отозвалась Глория.

В возникшей паузе Мюриэл обратилась к Дику:

— Вы ведь великий писатель, не так ли?

— Просто писатель, — скромно сознался он.

— Я вот говорю, — на полном серьезе заявила Мюриэл, — что если б мне хватало времени записывать все мои приключения, из этого вышла бы чудная книга.

Рэйчел сочувственно хихикнула, наклон головы Ричарда был почти величественным. Мюриэл продолжала:

— Но у меня в голове не укладывается, как это можно вот так сесть и начать писать. А поэзия!? Господи, да я двух строк не могу зарифмовать. Да и наплевать!

Ричард Кэрэмел с трудом давил в себе хохот. Глория жевала свои, неизвестно откуда взявшиеся, желатиновые лепешки и уныло смотрела в окно. Миссис Гилберт откашлялась и лучезарно улыбнулась:

— Видите ли, — сказала она, словно изрекая некий универсальный закон бытия, — у вас просто не настолько древняя душа... как у Ричарда.

Древняя Душа вздохнул с огромным облегчением — наконец-то слово было произнесено.

И тут, таким тоном, словно раздумывала над этим уже минут пять, Глория объявила:

— Я собираюсь устроить вечеринку.

— Правда? А меня позовешь? — с насмешливой мольбой в голосе вскричала Мюриэл.

— Обед. Для семи человек: Мюриэл, Рэйчел и я, ты, Дик, Энтони и этот человек по фамилии Нобл — он мне нравится. Ну, и Бликман.

Возбуждение Мюриэл и Рейчел достигло такого накала, что они предпочли выражать свои восторги нечленораздельными звуками. Миссис Гилберт моргала и лучилась улыбкой. И тут, как бы случайным вопросом, вмешался Дик:

— А что это за Бликман, Глория?

Почувяв скрытую угрозу, Глория обернулась к нему.

— Джозеф Бликман? Киношник. Вице-президент «Филмз пар Экселенс». У них с отцом какие-то дела.

— А.

— Ну так что, вы все придете?

Конечно, они все придут. Точную дату решено было определить в ближайшие дни. Дик поднялся со стула, присовокупил к своему наряду пальто, шляпу, шарф и изобразил на лице обращенную ко всем улыбку.

— Всего-всего. — сказала Мюриэл, весело помахав ему, — позвоните мне как-нибудь.

Ричард Кэрэмел покраснел от стыда за нее.

Бесславный конец шевалье О'Кифа

Был понедельник и Энтони повез Джеральдину Бёрк завтракать в «Боз Ар», потом они отправились к нему на квартиру, где он, обозрев содержимое столика на колесиках, который хранил его запасы спиртного, решил, что подходящее настроение способно создать сочетание вермута, джина и абсента.

Джеральдина Бёрк, билетерша у Китса, уже несколько месяцев скрашивала досуг Энтони. Она так мало требовала, что даже нравилась ему, да и после прискорбного случая прошедшим летом с одной из дебютанток, когда он после полудюжины поцелуев вдруг обнаружил, что от него ждут предложения, Энтони очень настороженно относился к девушкам своего круга. Его критический взгляд с чудесной легкостью подмечал теперь все их несовершенства: одной не хватало изящества физического, беда другой состояла в полном отсутствии духовной утонченности, а от билетерши у Китса ничего такого и не требовалось. У собственного лакея вполне можно терпеть такие качества, которых не простил бы равному. Свернувшись клубком в уголке дивана, Джеральдина искоса поглядывала на него чуть прищуренными глазами.

— Слушай, а ты вот так все время пьешь? — произнесла она внезапно.

— Может быть, — отозвался Энтони, слегка удивленный. — А ты нет?

— Не-а. Бываю иногда на вечеринках, примерно раз в неделю, но пью там очень мало. А вы с друзьями прямо постоянно глотаете. Вы ведь так свое здоровье гробите.

Эти слова почему-то тронули Энтони.

— Видишь, какая ты у меня заботливая.

— Да, я такая.

— А пью я не так уж много, — счел нужным пояснить он. — В прошлом месяце недели три в рот не брал. А прилично набираюсь не чаще раза в неделю.

— Зато каждый день хоть понемногу, но прикладываешься, а тебе ведь всего двадцать пять. Неужели ты ни к чему не стремишься в жизни? Подумай, что из тебя получится лет в сорок?

— Совершенно искренне надеюсь, что так долго не протяну.

Она недоверчиво поцокала языком.

— Бально-ой, — произнесла она, наблюдая как Энтони смешивает очередной коктейль, и добавила. — Ты, случайно, не родственник Адаму Пэтчу?

— Да, он мой дед.

— Правда? — она не скрывала своего изумления.

— Абсолютно точно.

— Интересно. Мой отец когда-то у него работал.

— Он вообще старикан со странностями.

— Добрый? — спросила она быстро.

— В общем-то, да, в личной жизни он редко бывает неприятен без крайней нужды.

— Расскажи про него.

— Что тебе рассказать? — отозвался Энтони, припоминая. — Он весь такой ссохшийся и на голове у него остатки седых волос, которые всегда выглядят так, словно их растрепало ветром. В высшей степени нравственный.

— Он сделал много хорошего, — произнесла Джеральдина очень серьезным тоном.

— Черта с два! — фыркнул Энтони. — Он просто престарелый набожный маразматик.

Джеральдина предпочла не услышать сказанного.

— Почему ты не живешь с ним?

— А, может, сразу служкой к пастору?

— Ты бально-ой!

Она опять неодобрительно поцокала языком, а Энтони стало интересно, насколько в действительности крепки моральные устои этой маленькой беспризорницы и много ли от них останется после того, как неизбежно надвигающийся вал смоеет ее с бережка респектабельности.

— Ты его ненавидишь?

— Сам не знаю. Но никогда не любил. Людей, которые делают тебе добро, не принято любить.

— А он тебя ненавидит?

— Дорогая Джеральдина, — шутливо нахмурившись, он ушел от ответа, — не хотите ли еще один коктейль?.. Я его раздражаю. Если я закурываю сигарету, он входит в комнату и начинает принохиваться. Он занудный самодовольный педант, да еще в достаточной степени и лицемер. Я не стал бы всего этого тебе рассказывать, если б не выпил, а, в общем-то, все это никому не интересно.

Но Джеральдина вовсе так не считала. Она держала свой стакан большим и указательным пальцами, так и не притронувшись к содержимому, а во взгляде ее, устремленном на Энтони, сквозило что-то вроде страха.

— Почему ты считаешь, что он лицемер?

— Ну, — Энтони начал раздражаться, — может, и не лицемер. Но все что люблю я, ему не нравится, поэтому я, со своей стороны, тоже мало им интересуюсь.

— Хм, — ее любопытство, похоже, наконец было удовлетворено. Она откинулась на спинку дивана и стала потягивать свой коктейль.

— Ты странный, — закончила она задумчиво. — И все, наверное, хотят за тебя замуж, потому что у тебя дед богатый?

— Ну, так уж и все. Хотя я не стал бы вменять им в вину такое желание. А потом, я сам как-то никогда не собирался жениться.

Это она пропустила мимо ушей.

— Но однажды ты влюбишься. Да еще как. Уж я-то знаю, — она задумчиво кивнула, являя собой воплощенную мудрость.

— Вот и пускайся после этого в откровения. Нет, надо быть полным идиотом. Именно это и стубило шевалье О'Кифа.

— Это еще кто такой?

— Создание моего блестящего ума. Мое единственное творение — Рыцарь с большой буквы.

— Совсем бально-ой, — пробормотала она восхитительно, вновь прибегая к той грубо сплетенной веревочной лестнице, с помощью которой преодолевала все преграды в погоне за умственно превосходящими. Она подсознанием чуяла, что это устраняло дистанцию и возвращало человека, за воображением которого она не могла угнаться, обратно, в пределы досягаемости.

— Ради Бога, — взмолился Энтони, — Джеральдина! Только не надо относиться к моему Рыцарю как психиатр. Если ты чувствуешь, что не в состоянии этого понять, я не стану рассказывать. Я и так думаю, что не стоит. Репутация у него неважная.

— Я все пойму, — запальчиво ответила Джеральдина. — Было бы что понимать.

— В таком случае, некоторые эпизоды из жизни сэра Рыцаря могут показаться вам небезынтересными.

— Н-ну.

— Именно его безвременная кончина навела меня на мысль о том, что это может стать достойным предметом для нашего разговора. Мне жутко не хочется начинать твое знакомство с ним с конца, но, похоже, ему так и суждено войти в твою жизнь — задом-наперед.

— Ну и что там с ним такое? Он умер, что ли?

— Именно так! И вот как это произошло. Он был ирландец, Джеральдина, этакий полулегендарный ирландец того самого дикого типа, с благородным акцентом и «огненной шевелюрой». В последние дни рыцарства его изгнали из Ирландии и он, естественно, отправился во Францию. И вот у этого, теперь уже шевалье, О'Кифа была, как и у меня, Джеральдина, одна слабость. Он был чрезмерно подвержен влиянию всякого рода женщин. Не говоря уже о том, что он был натурой чувствительной, следует отметить его романтизм, тщеславие, подверженность буйным страстям; еще он был подслеповат на один глаз и почти не видел другим. Легко понять, что мужчина, скитающийся по миру в таком состоянии, столь же беспомощен, как лев без зубов. И как следствие этого, шевалье целых двадцать лет терпел страшные унижения от встречных женщин, которые глумились над ним, использовали его, надоедали ему, огорчали и заражали его, транжирили его деньги и дурачили его — короче говоря, как это зовется в миру, любили его.

Это было плохо, Джеральдина, а так как шевалье, за исключением своей единственной слабости — этой вышеупомянутой подверженности, — был человеком весьма решительным, он решил, что должен раз и навсегда избавить себя от сих постоянных утрат и расходов. С этой целью он направился в очень известный монастырь в Шампани, называемый... ну, пусть несколько анахронично называемый монастырем св. Вольтера. А в монастыре св. Вольтера было такое правило, что ни один монах не может спускаться в нижний этаж монастыря покуда он жив, а должен проводить свои дни погруженным в созерцание и молитву на одной из четырех башен, которым, в соответствии с четырьмя основными заветами монастырского устава, были даны названия: Бедность, Воздержание, Покорность, Молчание.

Когда наступил день, долженствовавший стать свидетелем прощания нашего Рыцаря с миром, тот был в высшей степени счастлив. Все свои греческие книги он отдал квартирной хозяйке, меч свой в золотых ножнах отослал королю Франции, а все, что напоминало ему об Ирландии, подарил молодому гугеноту, который торговал рыбой на улице, где жил наш герой.

Потом он верхом добрался до монастыря св. Вольтера, зарезал у ворот обители своего коня, а останки презентовал монастырскому повару.

И вот в пять часов пополудни он ощутил впервые, что наконец и навсегда освободился

от женских чар. Ни одна женщина не могла проникнуть в монастырь, ни один монах не мог спуститься ниже второго этажа. И вот, когда он взбирался по винтовой лестнице, ведущей в его келью, на самый верх башни Воздержания, он замешкался на секунду у раскрытого окна, которое было футах в пятидесяти от земли. Его поразило, как прекрасен был мир, который он покидает: золотой водопад лучей, льющийся на уходящие вдаль поля, дымка леса в отдалении, покойная зелень виноградников и напоенный ясной свежестью простор. Он оперся локтями на край оконца и замер, глядя на извивы дороги.

И надо ж было так случиться, что именно в это время по этой самой дороге, которая вилась у стен монастыря, шла крестьянская девушка Тереза из соседней деревни, лет шестнадцати от роду. А пятью минутами раньше небольшой кусочек ленты, который поддерживал чулок на восхитительной левой ножке, совсем истерся и порвался. Будучи девушкой редкостной скромности, она решила, что следует добраться до дому и там уже починить его, но идти было так неудобно, что она не в силах была больше терпеть. И вот, проходя как раз под башней Воздержания, она остановилась и вполне изящным жестом подняла юбку — совсем чуть-чуть, будем к ней справедливы, — только чтоб поправить подвязку.

А наверху, в башне, словно подталкиваемый вперед неодолимой гигантской рукой, вывесился из окна новоиспеченнейший послушник монастыря св. Вольтера. Он тянулся все дальше и дальше, пока вдруг один из камней не стал оседать под его весом, а потом с мягким шорохом выскользнул из кладки. Сначала вперед головой, потом вверх ногами и наконец вразброс, нелепо кувыряясь, ринулся вниз шевалье О'Киф, обреченный жесткой земле и вечному проклятию.

Тереза была так потрясена случившимся, что бежала весь путь до дому, а потом десять лет по часу в день украдкой молилась о душе монаха, чье тело и обеты погибли столь одновременно в тот несчастный воскресный вечер.

А шевалье О'Киф, будучи заподозрен в самоубийстве, не удостоился даже погребения в освященной земле; его закопали в поле поблизости, где он, несомненно, и много лет спустя заметно улучшал качество почвы. Таков был безвременный конец сего весьма храброго и галантного джентльмена. Ну, что скажешь. Джеральдина?

Но Джеральдина, давно упустившая нить повествования, только жуликовато улыбнулась, погрозила ему пальцем и прибегла к своему универсальному и всеохватному:

— Бально-ой, — произнесла она. — Совсем бально-ой.

А думала она о том, что тонкое лицо его было добрым, а выражение глаз очень мягким. Он ей нравился тем, что высокомерие не перло из него наружу, как у тех мужчин, которых она наблюдала в театре; он вообще не любил обращать на себя внимание... Какая странная, бестолковая история! Но ей понравилось то место, где говорилось о чулках.

После пятого коктейля он стал целовать ее, потом среди смеха, шуточных ласк, полусдерживаемого горения страсти прошел еще час. В четыре тридцать она сказала, что ей пора и, удалившись в ванную, стала приводить в порядок волосы. Отказавшись, когда он предложил вызвать такси, она на минуту задержалась в дверях.

— И все-таки ты женишься, — сказала она с нажимом, — вот подожди.

Энтони, поигрывая старым теннисным мячом, несколько раз ударил им в пол, и только после этого, с оттенком ехидства в голосе, ответил:

— Ты просто глупенькая, Джеральдина.

Она вызывающе улыбнулась.

— Неужели? А хочешь поспорим?

— Ну, это уж чистый бред.

— Конечно, это ты так считаешь. А я могу поспорить, что не пройдет и гола, как ты на ком-нибудь женишься.

Энтони с силой направил мяч в пол. А ей подумалось, что сегодня он просто очарователен; всегдашняя меланхолия в его темных глазах уступила место некоторой живости.

— Джеральдина. — произнес он наконец, — во-первых, у меня нет никого, на ком я хотел бы жениться, во-вторых, у меня не хватит денег, чтоб содержать двоих, в-третьих, я считаю, что люди моего склада вообще не должны жениться, а в-четвертых, я содрогаюсь при одной мысли об этом.

Но Джеральдина, проникательно прищурившись, не преминула поцокать языком и сказала, что ей нужно идти. Было уже поздно.

— Позвони мне на днях, — напонила она, когда Энтони целовал ее на прощанье, — ты ведь не объявлялся три недели.

— Обязательно позвоню, — заверил он пылко.

Заперев дверь и вернувшись в комнату, он стоял некоторое время погруженный в раздумье, все еще сжимая в руке теннисный мяч. Приближалось одно из его одиночеств, один из тех периодов, когда он либо убегал бродить по улицам, либо сидел бесцельно и обреченно за столом, покусывая карандаш. Период самокопания, не приносящего облегчения, неутоленной жажды самовыражения, ощущения времени, неостановимо и бессмысленно несущегося мимо — и все это едва смягченное лишь убежденностью, что терять было, в сущности, нечего, потому что все усилия и приобретения одинаково бесполезны.

Из чувства горечи и стыда родилась мысль, извергшаяся из него словами:

— Господи, да у меня и в мыслях не было жениться!

Внезапным и резким движением он швырнул теннисный мяч через всю комнату, едва не задев лампу; отлетев от стены, тог несколько раз подпрыгнул и успокоился на полу.

Солнце и Луна

Для своего званого обеда Глория заказала столик в «Каскадах» отеля «Билтмор» и когда мужчины в начале девятого встретились в холле, «этот Бликман» сразу стал главной мишенью для шести мужских глаз. Он оказался полнеющим румяным евреем лет тридцати пяти с выразительным лицом, обрамленным гладкими, песочного цвета волосами, — не вызывало сомнений, что его внешность вполне подошла бы для какого угодно делового заседания. Небрежной походкой он приблизился к троим более молодым участникам, которые стояли кучкой и курили в ожидании хозяйки вечера, с несколько излишней самоуверенностью представился. — и во всем его поведении даже не мелькнуло намека на то, как он отнесся к нарочитой холодноватой ироничности, с которой его встретили.

— А вы, случайно, не родственник Адаму Пэтчу? — спросил он у Энтони, выпуская из ноздрей две аккуратно расходящиеся струйки дыма.

Тот кивнул с намеком на улыбку.

— Прекрасный человек, — проникновенно заявил Бликман. — Настоящий американец.

— Да, — согласился Энтони, — несомненно.

«... Как я ненавижу этих выскочек, — с неприязнью думал он. — Так уж старается выглядеть на все сто. А самого бы на лопату, да обратно в печь, чтоб знал хоть о чем с людьми разговаривать».

Бликман покосился на свои часы.

— Пора бы и дамам появиться...

Энтони задержал дыхание: это уж за всякие рамки...

— ... хотя, с другой стороны, — все шире улыбаясь, — вы же знаете, что такое женщины.

Трое молодых людей кивнули. Бликман со скучающим видом принялся осматривать помещение; придирчиво обследовав потолок, его взгляд заскользил ниже. И если часть его повадки могла принадлежать фермеру из глубинки, не без гордости осматривающему свое пшеничное поле, то все остальное вполне подошло бы для актера, очень желающего знать, наблюдают ли за ним; впрочем, любой добропорядочный американец ведет себя на людях примерно так же. Закончив исследование, он энергичным движением обратился

к молчаливому трио, полный решимости задеть их за живое:

— Вы, наверное, студенты?.. Из Гарварда. Я, кстати, видел, как ребята из Принстона навалили вашим в хоккей.

Бедолага. Снова вытащил пустой билетик. Они уже три года как закончили университет и следили только за крупными футбольными матчами. Осознали мистер Бликман после неудачи этой вылазки, что находится в самой гуще циников, установить не представляется возможным, ибо...

Появилась Глория. Следом за ней — Мюриэл. А за ними — Рэйчел. После торопливого «Общий привет!», выкрикнутого Глорией и повторенного двумя остальными, вся троица исчезла в дамской комнате.

Минутой позже вновь возникла Мюриэл, на этот раз в состоянии тщательно продуманной раздетости и крадущейся походкой направилась к мужчинам. Она была во всем блеске: темные волосы гладко зачесаны назад, глаза густо подведены, и еще она распространяла вокруг аромат на редкость крепких духов.

Она использовала все, что было в ее власти, чтоб выглядеть сиреной, в просторечье — «вамп», покорительница и сокрушительница мужских сердец, неразборчивая в средствах, каменно-бесстрастная мастерица играть страстями. Что-то в самой чрезмерности стремления этой женщины с пышными бедрами изобразить кошачью грацию с первого взгляда очаровало Мори. Пока все еще минуты три ждали Глорию и, уж из вежливости предполагалось, что и Рэйчел, он был не в состоянии отвести от нее глаз. А она вдруг почувствовала, что просто должна откинуть голову назад и, опустив ресницы, закусить нижнюю губу, изображая крайнее смущение и, уперев руки в бедра, начать раскачиваться в такт музыке со словами:

— Вы когда-нибудь слышали такой шикарный рэгтайм? Ничего не могу поделать со своими плечами, когда его слышу.

Мистер Бликман вежливо захлопал в ладоши.

— Вам нужно выступить на сцене.

— Да я бы не прочь, — весело отозвалась Мюриэл, — а вы мне поможете?

— С удовольствием.

С подобающей скромностью Мюриэл прекратила свои телодвижения и вновь обратилась к Мори, на этот раз с вопросом, что он «видел» в этом году. Мори воспринял это как приглашение к разговору о драматическом искусстве и между ними завязался оживленный обмен мнениями примерно такого рода:

М ю р и э л. А вы видели «Любимая Пэгги»?

М о р и. Нет, не видел.

М ю р и э л (*воодушевляясь*). Это просто чудесно! Вам должно понравиться.

М о р и. А вы видели «Платочник Омар»?

М ю р и э л. Нет, но я слышала, что это просто замечательно. Очень хочу посмотреть. А вы видели «Красавица и хулиган»?

М о р и (*обрадованно*). Да.

М ю р и э л. Мне не понравилось. Дрянная пьеска.

М о р и (*покорно*). Это уж точно.

М ю р и э л. Но вот вчера вечером я смотрела «По закону». По-моему, это прекрасно. А вы видели «Маленькое кафе»?..

Так продолжалось до тех пор пока у них не иссяк запас названий. Тем временем Дик, преисполненный решимости намыть хоть сколько-нибудь благородного металла из этой малообещающей жилы, обратился к мистеру Бликману:

— Я слышал, что все новые романы, как только выходят в свет, сразу покупаются для киносценариев.

— В общем-то, да. Но для сценария нужен крепкий сюжет.

— Да, я понимаю.

— Большинство романов переполнено разговорами и психологией. Такие, естественно,

не представляют для нас ценности. Из них невозможно сделать что-либо интересное на экране.

— Значит, прежде всего вас интересует интрига, — пронизательно заметил Ричард.

— Конечно. Интрига — прежде всего... — Бликман замолчал, и взгляд его переместился. Он словно бы поднял палец, призывая к вниманию, и молчание распространилось на прочих. Из дамской комнаты в сопровождении Рэйчел явилась Глория.

В течение обеда, среди прочего, выяснилось, что Джозеф Бликман никогда не танцевал, а предпочитал проводить это время с терпеливо-утомленным видом, словно взрослый за детьми, наблюдая за другими. Он был достойный человек и имел все основания гордиться собой. Родившись в Мюнхене, он начал свою американскую карьеру продажей с лотка орешков в бродячем цирке. Восемнадцати лет он был зазывалой в ярмарочном балагане, позднее управлял тем самым балаганом, и вскоре после этого сделался владельцем второразрядного театра, где показывали водевили. В ту пору, когда кино, пройдя стадию курьезного новшества, уже обещало стать серьезной индустрией, он был честолюбивым молодым человеком двадцати шести лет с некоторой суммой свободных средств, удачно сочетавшим в себе финансовые способности и практическое знание шоу-бизнеса. С тех пор минуло девять лет. Киноиндустрия, отвергшая десятки людей с лучшими, чем у него финансовыми способностями, более богатым воображением и массой великолепных идей, именно его вынесла наверх... и вот теперь он сидел здесь, лицебезрел богоподобную Глорию, ради которой юный Стюарт Холком отправился из Нью-Йорка в Пасадену, и знал, что сейчас она закончит танцевать и подойдет, чтобы сесть по левую руку от него.

Он надеялся, что она поспешит. Устрицы были поданы уже несколько минут назад.

Тем временем Энтони, место которого было слева от Глории, танцевал с ней, держась все время одной и той же четверти площадки. Для других претендентов, если б таковые нашлись, это должно было означать: «Какого черта, вас только не хватало!» Ясно, что им было не до других.

— Должен заметить, — начал он, глядя на нее сверху вниз, — вы просто прекрасны сегодня.

Ее глаза сверкнули всего в полуфуте от его лица.

— Благодарю вас... Энтони.

— Мне даже делается не по себе, — добавил он. На этот раз без улыбки.

— Вы тоже выглядите неплохо.

— Ну разве это не здорово? — рассмеялся он. — Мы уже хвалим друг друга.

— А вы что, обычно никого не хвалите? — спросила она быстро, как бы ловя его на слове, как делала всегда, если в словах собеседника содержалось хоть что-то относящееся к ней и не до конца понятное.

Он понизил голос, и когда говорил, в его словах очень трудно было угадать насмешку.

— Разве священник хвалит Папу?

— Не знаю, но это, пожалуй, самый странный комплимент, который я когда-либо слышала.

— Может, мне лучше попробовать банальности?

— Нет, не стоит так напрягаться. Посмотрите лучше на Мюриэл! Вон там, недалеко от нас.

Он оглянулся. Мюриэл расположила свою раздуманную щеку на лацкане пиджака Мори Нобла, а ее напудренная левая рука обвилась вокруг его шеи. Невольно возникал вопрос, почему она упускает такую возможность схватить его за шкуру. Ее взгляд, устремленный в потолок, блуждал по какой-то весьма размашистой траектории, бедра покачивались, и еще она не переставала что-то вполголоса напевать. На первый взгляд могло показаться, что она переводила песню на какой-то иностранный язык, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что она просто пыталась заполнить такты музыки единственными словами, которые знала — словами из названия.

Он — любитель рэгги,
Любитель.
Такой любитель рэгги...
Любитель рэгги, ага, ага,
Такой любитель, ага, ага...

и дальше в том же духе, фразами еще более странными и варварскими. Когда она ловила на себе веселые взгляды Энтони и Глории, то полуприкрывала глаза и удостаивала их лишь слабой улыбкой, давая понять, что музыка, вливаясь в ее душу, погружает все ее существо в экстатический, бесконечно обольстительный транс.

Музыка кончилась, и они вернулись к своему столику, чей одинокий, но полный достоинства обитатель поднялся навстречу и одарил каждого из них такой благожелательной улыбкой, что у всех возникло ощущение, будто он пожал им руки и поздравил с блестящим выступлением.

— Блокхэд никогда не желает танцевать! Я подозреваю, что у него деревянная нога, — заметила Глория, обращаясь ко всем за столом. Трое молодых людей смущенно зашевелились, а джентльмен, имевшийся в виду, болезненно поморщился.

Это был тот самый камень преткновения в развитии отношений Бликмана и Глории. Она безжалостно коверкала его фамилию. Сначала это было «Блокхауз». потом еще более обидное «Блокхэд». Призвав на помощь все свое чувство юмора, он потребовал, чтоб она звала его по имени; она, покоряясь, несколько раз назвала, потом все как-то само собой, с насмешливым раскаянием, но неизбежно вернулось к «Блокхэду».

Конечно, это было зло и безрассудно.

— Боюсь, мистер Бликман подумает, что мы просто толпа насмешников, — вздохнула Мюриэл, указывая на него наколотой на вилку устрицей.

— Он, видимо, так и думает, — пробормотала Рэйчел.

Энтони старался припомнить, говорила ли она что-нибудь до сих пор. И не мог. Это были первые ее слова.

Неожиданно мистер Бликман принялся откашливаться, потом громко и отчетливо произнес:

— Напротив. Когда говорит мужчина, эта никого не удивляет. За его словами стоит, по меньшей мере, несколько тысячелетий традиции. А женщина — это, как бы выразиться, таинственный рупор будущего.

В оглушительной тишине, которую вызвало это поразительное наблюдение, Энтони вдруг поперхнулся устрицей и поспешно прижал к лицу салфетку. Рэйчел и Мюриэл попробовали рассмеяться, но это получилось жалко и довольно растерянно; делая отчаянные попытки, чтобы не расхохотаться, с красными от натуги лицами Дик и Мори присоединились к ним.

«Господи, — подумал Энтони. — Это ведь субтитры из какого-то фильма. Он что, заучивает их?»

Только Глория не издала ни звука. Она смотрела на Бликмана с молчаливым неодобрением.

— Ради всего святого! Где вы только это откопали?

Бликман настороженно взглянул на нее, еще не понимая, к чему она клонит. Но быстро пришел в себя и изобразил на лице вежливую, понимающе-терпеливую улыбку интеллектуала, попавшего в компанию незрелой и испорченной молодежи.

Из кухни прибыл суп — но одновременно с этим из бара появился дирижер оркестра, с лицом того оттенка, который может сообщить лишь большая кружка пива. Таким образом, супу было предоставлено остывать, а публике была предложена баллада под названием «Все у тебя в порядке, кроме жены».

Подали шампанское — и вечеринка обрела более раскованный характер. Мужчины, исключая Ричарда Кэрэмела, пили уже не стесняясь, Глория и Мюриэл тоже не забывали

потягивать из своих стаканов; Рэйчел Джеррил к спиртному не притрагивалась. Они пересидели вальсы, но танцевали под любую другую музыку — все, кроме Глории, которая выглядела усталой и предпочитала сидеть, покуривая, за столом и взгляд её то угасал, то загорался интересом, в зависимости от того слушала она Бликмана или замечала среди танцующих хорошенькую женщину. Несколько раз Энтони много дал бы за то, чтоб узнать, о чем говорил с ней Бликман. А тот жевал сигару, гоняя ее из одного угла рта в другой, и к концу обеда настолько расслабился, что позволял себе довольно развязные жесты.

Часов в десять Энтони пригласил Глорию танцевать. Когда они удалились от стола настолько, что их не могли слышать, она негромко сказала:

— Двигаемся к выходу. Я хочу спуститься в аптечный киоск.

Энтони покорно стал вести ее сквозь толпу в означенном направлении; в холле она оставила его и через минуту появилась уже с накинутым на руку пальто.

— Хочу купить желатиновых лепешек, — сказала она, как бы насмешливо извиняясь, — а для чего на этот раз, ни за что не догадаетесь. Просто захотелось погрызть ногти, и сейчас, похоже, начну, если не достану лепешек. — Она вздохнула, и когда они оказались в пустом лифте, продолжила. — Я, бывает, грызу их целыми днями. Потому что грызу себя. Извините за каламбур. Это получилось само собой — просто слова так сошлись. Глория Гилберт — женщина-каламбурист.

Добравшись до первого этажа, они, не сговариваясь, миновали гостиничный буфет, спустились по широкой парадной лестнице и, поблуждав по коридорам, уже в здании вокзала нашли аптечный киоск. После тщательного изучения прилавка с косметикой она купила то, что хотела. Затем, повинувшись какому-то общему невысказанному импульсу, они направились, рука в руке, не туда откуда пришли, а прямо на Сорок третью улицу.

В ночи лепетала капель; было почти тепло и легкий ветерок, ластившийся к тротуару, принес вдруг Энтони ощущение такой невозможной сейчас безмятежной весны. Над ними — в синем обломанном прямоугольнике неба, вокруг — в нежности веющего воздуха, витало обманчивое ощущение перемен, обещая освобождение от той давящей духоты, из которой они только что выбрались; и в какой-то момент приглушенные ночью звуки машин, бормотанье воды в сливных колодцах вдруг показались ему утратившим свою плоть продолжением музыки, под которую они только что танцевали. Слова Энтони возникли как бы сами собой из того затаенно-желанного, что эта ночь зачала в их сердцах.

— Давайте возьмем такси и прокатимся, — предложил он, избегая смотреть на нее. О, Глория, Глория!

Таксомотор зевал у тротуара. И когда он отчалил, как лодка, пускающаяся в бескрайний лабиринт, и затерялся среди первозданно огромных глыб неосвященных зданий, среди то затихающих, то бьющих прямо в уши выкриков и звонов, Энтони обнял девушку, притянул к себе и поцеловал во влажные детские губы.

Она ничего не сказала. Просто подняла к нему свое бледное лицо, по которому, как лунный свет сквозь листву, блуждали сумрачные полосы и пятна. Глаза были словно искрящаяся рябь на белом озере ее лица; тени волос очерчивали лоб отчетливым и отчужденным сумраком. Здесь не было и не могло быть никакой любви. Ее красота была холодна, как этот сырой ветер, как чуть влажная мягкость ее губ.

«Вы сейчас так похожи на лебедя», прошептал он наконец. Ответом было бормотанье тишины. В отдельные моменты он чувствовал, что все готово рассыпаться в прах, и удержаться на грани этого небытия, сохранить возникшее из мрака ощущение, что она, неудержимая, невесомая словно перышко все еще здесь, можно было только крепче сжимая ее в объятиях. Не в силах сдерживать переполнявшего его восторга и в то же время не желая, чтоб она заметила — тогда исчезла бы эта великолепная неподвижность ее черт, — Энтони, отворачивая лицо, беззвучно и ликующе смеялся. А поцелуй — он был словно цветок, прижатый к лицу, это невозможно было описать и еще труднее запомнить; словно божественное сияние ее красоты, уже истаивая, мимолетно коснулось его сердца.

... Громады зданий потонули в оттепельном мраке, это был уже Центральный Парк; прошло еще несколько минут, и вот огромный белый призрак музея «Метрополитен» проплыл величественно мимо, раскатисто откликаясь на шум мотора.

— Господи Боже мой, Глория!

Глаза ее внимательно смотрели на него сквозь тусклую толщу тысячелетий; все чувства, которые она могла испытывать, все слова, которые она могла произнести, были ничто в сравнении с полнотой ее молчания, немыми на фоне красноречия ее красоты... и ее тело, совсем рядом с ним, стройное и бесстрастное.

— Скажите ему, чтоб поворачивал, — проронила она, — и пусть едет побыстрее...

Наверху, в ресторанном зале было жарко. Стол, уставленный пепельницами, заваленный мятыми салфетками, состарился и обрюзг. Они вошли как раз в перерыве между танцами, Мюриэл Кэйн с неопишваемым лукавством подняла на них глаза:

— А где это вы были?

— Ходили звонить маме, — холодно отозвалась Глория. — Я ей обещала. Мы что, пропустили танец?

И тут произошло то самое, весьма незначительное по сути событие, которое Энтони имел причины вспоминать и много лет спустя. Джозеф Бликман, откинувшись на спинку стула, смерил его странным долгим взглядом, в котором непостижимым образом смешалось множество самых разных чувств. На появление Глории он отреагировал лишь поднявшись со стула и тут же вернулся к разговору с Ричардом Кэрэмелом о влиянии литературы на киноискусство.

Волшебство

Властительное и нежданное чудо прошедшей ночи таяло вместе с томительной смертью последних звезд и преждевременным рождением первых мальчишек-газетчиков. Пламя сжалось до размеров утлого платонического огонька, белый жар ушел из железа, сиянье покинуло угли.

Вдоль книжных полок, занимавших всю стену, крался дерзкий и холодный снопик солнечного луча, безразлично, даже словно бы неодобрительно касаясь Терезы Французской и Эни-суперженщины, Дженни из восточного балета и Зудейки-заклинательницы... даже Хужер Кора, — потом, скользнув вниз, в глубину веков, жалостливо прильнул к не знающим покоя теням Елены, Таис, Саломеи и Клеопатры.

Энтони, выбритый и умытый, сидел в самом глубоком из своих кресел и наблюдал за ним, пока тот, повинувшись движению солнца, не исчез, проскользнув по заискрившимся ворсинкам ковра.

Было десять часов. Брошенная у его ног «Санди Таймс» фотографией на первой странице и редакционной статьей, отделом общественных отношений и спортивной страницей вешала о том, что за истекшую неделю мир сильно преуспел в деле движения к некоей, пусть несколько туманной, но вполне величественной цели. Энтони, со своей стороны, за этот срок один раз побывал у деда, дважды у своего брокера и трижды — у портного, а в последний час последнего дня недели еще и поцеловал очаровательную и очень красивую девушку.

Когда он добрался домой, воображение его буквально кишело возвышенными и, в общем, несвойственными ему мечтами. Куда-то разом пропали все вопросы, исчезла вечная проблема решения и перерешивания. Он испытывал бесподобное ощущение, которое нельзя было назвать ни умственным, ни физическим, ни смесью этих двух; в тот момент, не оставляя места ничему иному, его поглотила любовь к жизни. Он готов был даже ничего не продолжать, а просто сохранять единственность и уникальность этого переживания.

Энтони был почти беспристрастно убежден, что ни одна из женщин, которых он знал, не шла ни в какое сравнение с Глорией. Она была глубоко своеобразна, искренность ее была бесподобна — по крайней мере в этих двух вещах он был уверен. Рядом с ней те две

дюжины школьниц и дебютанток, молодых замужних женщин и потаскушек, с которыми он имел дело, были просто особями женского пола в самом презрительном смысле слова. Предназначенные зачинать и вынашивать, они распространяли вокруг себя неистребимый запах пещеры и детской.

До сих пор, насколько он мог заметить, она не собиралась подчиняться его воле или тешить его тщеславие — правда, тешил уже сам факт, что она не пренебрегала его компанией. На самом деле у него вообще не было причин думать, что она одаривает его чем-то большим, нежели всех прочих. В этом тоже не было ничего странного. Самая мысль о какой-то особой связи, установившейся между ними после вчерашнего вечера, была смутной до раздражения. Да и сама она отвергла и погребла это происшествие со всей решительностью неправоты. Имелось просто двое молодых людей, достаточно разумных для того, чтоб отличить игру фантазии от чего-то настоящего, которые самой легкостью своих встреч и расставаний как бы спешили заявить о полнейшей невинности этой игры.

Придя к такому решению, он направился к телефону и позвонил в «Плаза».

Глории не было. Мать понятия не имела, куда она отправилась и когда вернется.

И это вдруг со всей очевидностью доказало, что все его прежние рассуждения никуда не годились. В том, что Глории не оказалось дома, был элемент какой-то черствости, даже непристойности. Он заподозрил, что своим отсутствием она именно хотела поставить его в дурацкое положение. Чтобы вернувшись, обнаружить его в роли воздыхателя. Неплохо задумано! Надо было подождать еще пару часов, дать ей время понять, что для него это тоже ничего не значит. Черт его дернул! Еще подумает, что он возомнил, будто она чуть ли не влюбилась в него. Вообразит, что он принял близко к сердцу этот вполне тривиальный эпизод.

Он вспомнил, как в прошлом месяце швейцар из его дома, которому он провозгласил довольно спонтанную лекцию о «мужском братстве», счел это достаточным поводом, чтоб явиться на следующий день просто поболтать и, усевшись на диван, занимался этим добрых полчаса. А что если и Глория, с ужасом подумал Энтони, воспринимает его так же, как сам он — этого привратника. Его — Энтони Пэтча! Кошмар!

И ему даже не пришло в голову, что он не играет во всем этом вообще никакой роли, и совсем не Глория управляет их отношениями, а некая куда более могущественная сила, для которой он был просто светочувствительной пластинкой, на каких делают фотографии. Какой-то вселенский фотограф навел свою камеру на Глорию, щелк! — и бедной пластинке ничего не остается, как только рисовать изображение; она — раба своей природы, как и все прочие вещи.

Вот и сейчас, лежа на диване, уставившись в оранжевое пятно абажура, перебирая тонкими пальцами темные пряди волос, он не переставая воображал картины. Вот она в каком-то магазине, представлял Энтони, изящно расхаживает среди бархата и мехов, жизнерадостно шурша на ходу своим платьем; это мир шелеста шелков и прохладного грудного смеха, мир запахов убитых, но еще живых цветов. И все эти Минни и Перл, Джуэл и Дженни кружат возле нее словно фрейлины, разворачивая истонченную хрупкость креп-жоржета, нежнейший шифон, отзывающийся едва уловимым пастельным тоном на румянец ее щек, бело-молочное кружево, готовое объять пенистым хаосом ее шею... камка в наши дни используется разве что для обивки диванов да на одеяния священников, а о тканях Самарканда помнят лишь поэты-романтики.

Теперь она где-то в другом месте, примеряет сотни шляпок, каждую стремясь увидеть на себе в сотне ракурсов, тщетно выискивая поддельные вишни, которые могли бы поспорить цветом с ее губами, или плюмажи под стать ее гибкому стану.

Настанет полдень и она будет спешить по Пятой авеню: нордический Ганимед, изящно развевающий меха при каждом шаге; щеки все румянее от ударов ветряной кисти, дыханье — восхитительный туман в морозном воздухе. И повернутся двери «Ритца», расступится толпа, и несколько десятков мужских взглядов дрогнут и замрут, вспомнив забытые мечты, которые она пробудит в мужьях всех этих тучных, неуклюжих женщин.

Час пополудни. Она терзает вилкой самое сердце влюбленного в нее артишока, в то время как ее сопровождающий довольствует себя бессвязным репертуаром уже покорившегося мужчины.

Четыре часа: ее маленькая ножка движется в такт мелодии, её лицо так выделяется среди толпы, партнер ее счастлив, словно приласканный щенок и не менее безумен, чем пресловутый шляпник ... А потом — потом неспешно надвинется вечер, и будет, возможно, другая оттепель. Рекламы расплещутся светом по улицам. И кто знает? Не более благоразумные чем он, может быть, они тоже попытаются вновь войти в эту картину из теней и света, которую Энтони с Глорией видели прошлым вечером на притихшей авеню. И, может быть, у них получится, кто знает! И тысяча такси будет зевать на тысяче углов; только для него тот поцелуй станет уже безвозвратным прошлым. В тысяче обликов Таис вновь будет подзывать такси, вновь вскидывать лицо для ласки. Бледность ее вновь будет девственной и прекрасной, а поцелуй ее будет целомудрен как лунный свет...

Он взволнованно вскочил на ноги. И почему, черт побери, ей вздумалось куда-то уйти! Наконец он понял, чего хотел — поцеловать ее еще раз, найти успокоение в ее великой неподвижности. Именно она могла положить конец его беспокойству, и все недовольство его коренилось в ней.

Энтони оделся, вышел на улицу — что, по сути, нужно было сделать уже давно — и направился к Ричарду Кэрэмелу: слушать последнюю редакцию последней главы «Демона-любownika». Он не звонил Глории до шести. Он не мог застать ее до восьми и — о, вершина падения — она сказала, что может встретиться с ним только после обеда во вторник. Он так брякнул трубку на рычаг, что по полу поскакали отлетевшие кусочки эбонита.

Черная магия

Вторник выдался решительно морозным. Когда он в промерзлые два часа пополудни явился к ней и они пожимали друг другу руки, Энтони с недоумением спрашивал себя: целовал ли он вообще когда-нибудь эту девушку; сейчас это казалось ему почти невероятным, а она вообще вряд ли помнила.

— В воскресенье я звонил вам четыре раза, — сообщил он.

— Неужели? А зачем?

В голосе ее прозвучало удивление, а на лице отразился некоторый интерес. Он молча выругал себя за то, что признался ей. Следовало бы догадаться, что ее гордыня едва ли польстится на столь жалкий триумф. Но тогда он даже не предполагал всей правды; никогда не страдая от недостатка мужского внимания, Глория почти не прибегала к обычным женским хитростям с заигрыванием и вождением за нос, что обыкновенно в такой чести у ее сестер по полу. Когда мужчина ей просто нравился, достаточно было легкого флирта, но если она начинала думать, что может влюбиться, следовал решительный и бесповоротный разрыв. Ее очарование обладало прекрасно развитым инстинктом самосохранения.

— Я очень хотел вас видеть, — признался он. — Нам нужно с вами поговорить, серьезно поговорить, и желательно в таком месте, где мы можем быть одни. Вы не против?

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду не за чайным столом, — сказал он.

— Ну ладно, только не сегодня. Сейчас мне хорошо бы размяться. Идемте гулять!

На улице было сыро и холодно. Вся лютая ненависть, копившаяся в бешеном сердце февраля, свилась в клубок пронизывающего ледяного ветра, который рвался из Центрального парка вдоль Пятой авеню. Разговаривать было почти невозможно, и весь этот дискомфорт лишь усиливал раздражение и рассеянность Энтони. Повернув на Шестидесят первую улицу, он вдруг заметил, что Глории рядом нет. Он оглянулся. Она стояла неподвижно футах в сорока позади, и лицо ее, полускрытое воротником шубы, выражало гнев, а может быть и насмешку — он не мог определить что именно. Энтони двинулся назад.

- Ну, стоит ли ради меня прерывать вашу прогулку! — воскликнула она.
- Простите, ради Бога, — отозвался он смущенно. — Я слишком быстро иду?
- Я замерзла, — объявила она, — и хочу домой. И вы идете слишком быстро.
- Простите.

Теперь, уже рядом, они направились к гостинице. Ему так хотелось заглянуть ей в лицо.

- Обычно, находясь в моем обществе, мужчины не бывают так погружены в себя.
- Извините.
- Это очень интересно — то, что вы говорите.
- Пожалуй, слишком холодно для прогулок, — отозвался он, едва скрывая раздражение.

Она ничего не ответила, а он старался угадать — простится ли она с ним у входа в отель. Не говоря ни слова, она проследовала через вестибюль и только входя в лифт, коротко обронила:

- Можете подняться, если хотите.
- Он колебался лишь долю секунды.
- Наверное, мне лучше зайти в другой раз.

— Как вам будет угодно, — было произнесено как бы между прочим. А главной заботой в жизни было поправить перед зеркалом выбившийся локон. Щеки ее раздумянились, глаза сверкали, — никогда еще не казалась она такой красивой, такой бесконечно желанной.

Презирая себя, он все-таки тащился по коридору десятого этажа в раболепном полушаге позади нее; торчал в гостиной, пока она выходила сбросить свои меха. Что-то не связывалось в сознании — в собственных глазах он потерял часть достоинства; по какому-то не очень понятному для него самого, но весьма важному счету, Энтони потерпел полное поражение.

Однако, к тому времени, как она опять появилась в гостиной, Энтони уже сумел на достаточно приемлемом уровне все себе объяснить. В конце концов, главного он добился. Он хотел подняться к ней — и вот он здесь. И все же унижение, которое он испытал в лифте, продолжало питать его чувства — ведь она так нестерпимо обидела его. Настолько нестерпимо, что когда Глория вошла в комнату, он невольно начал довольно резко:

- А кто этот Бликман, Глория?
- Деловой партнер отца.
- Станный он какой-то.
- Вы ему, кстати, тоже не понравились, — сказала она с неожиданной улыбкой.

Энтони тоже рассмеялся.

— Весьма этим польщен. Он, наверное, считает меня э-э... — и внезапно закончил. — Он влюблен в вас?

- Понятия не имею.
- Да уж наверное, — настаивал он. — Естественно, влюблен. Помню, как он смотрел на меня, когда мы вернулись к столу. И если б вы не сочинили про этот телефонный звонок, он наверняка организовал бы покушение на меня банды кинозлодеев где-нибудь в темном углу.
- Ничего подобного. Потом я рассказала ему, что было на самом деле.
- Рассказали, ему?
- Он спросил.
- Мне это совсем не нравится, — с укором начал он.

Глория рассмеялась.

- Кто бы мог подумать.
- И потом, какое ему дело?
- Никакого, поэтому я и рассказала.
- Энтони в бешенстве закусил губу.

— А почему мне нужно было лгать? — спросила она простодушно. — Я не стыжусь своих поступков. Оказалось, что его интересует, целовалась ли я с вами, а я была в хорошем настроении и удовлетворила его любопытство простым и ясным «да». И как человек по натуре благоразумный, он не стал больше касаться этой темы.

— Только сказал, что ненавидит меня.

— А вас это волнует? Хорошо, если вам так необходимо до конца выяснить этот огромной важности вопрос, — он не сказал, что ненавидит вас. Это и так было ясно.

— Меня это меньше всего...

— Ну так и хватит об этом! — воскликнула она, уже откровенно раздражаясь. — Меня это вовсе не интересует.

Энтони очень не хотелось отступать от этой темы, но немалым усилием он заставил себя, и они плавно перешли к извечной игре в вопросы и ответы, касающиеся прошлого друг друга и, постепенно, обнаруживая в старых, давно забытых своих воспоминаниях много сходства во вкусах и даже идеях, оба теплели. В чем-то они были даже более откровенны, чем сами хотели того — и каждый притворялся, по крайней мере на словах, что принимает откровения другого за чистую монету.

Процесс сближения выглядит примерно так. Сначала каждый рисует себя в лучшем свете, стремясь явить миру законченную яркую картину, приправленную легким блефом, умеренной ложью и юмором. Потом, когда возникает нужда в детализации, рисуется второй портрет, за ним — третий... пока все лучшие линии не исчезают, и наружу не показывается то, что тщательнее всего скрывалось; детали картин, смешавшись, выдают нас с головой, и сколько ни правь окончательный образ, цена ему — грош. И остается только надеяться, что хоть кто-то примет за правду ту жалкую и бессмысленную подделку под самих себя, которую мы преподносим нашим женам, детям и коллегам.

— Мне кажется, — честно признавался Энтони, — что положение человека, не обремененного обязанностями и лишённого амбиций, в общем-то, незавидно. Господь свидетель — мне грех жаловаться на судьбу, и все же порой я завидую Дику.

Ее молчание придавало ему смелости. Большого поощрения ждать от нее не приходилось.

— Конечно, для джентльменов, имеющих досуг, тоже придуманы достойные и более созидательные, чем задымление окружающего ландшафта или жонглирование чужими деньгами, занятия. В первую очередь — наука; я иногда жалею, что не потрудился получить солидной подготовки в этом плане, скажем, в Бостонском технологическом. А сейчас, чтоб оживить в голове все эти основы физики и химии, нужно сидеть как проклятому года два.

Она зевнула и отозвалась довольно нелюбезно:

— Я же говорила вам, что понятия не имею, чем должны заниматься люди, — и ее безразличие вновь породило в нем невольную злость.

— А вас что-нибудь интересует, кроме себя самой?

— Не особенно.

Он яростно сверкнул глазами; чуть начавшее появляться удовольствие от разговора было разорвано в клочья. Весь день она была раздражительна, словно мстила ему за что-то, и вот теперь ему казалось, что он просто ненавидит ее тупой эгоизм. Энтони угрюмо уставился на огонь.

Потом случилось нечто странное. Она повернулась к нему и улыбнулась; и стоило ему увидеть эту улыбку, как все остатки гнева, уязвленного самолюбия свалились с него, точно истлевшие лохмотья, будто сами его чувства были только слепком ее настроения и ни одна эмоция не вправе была родиться в его груди, пока она не находила нужным потянуть за всесильную ниточку.

Он придвинулся ближе и, взяв ее за руку, нежно повлек к себе, пока она не прилегла к его плечу. Глядя снизу вверх, она улыбнулась, и он поцеловал ее.

— Глория, — прошептал он еле слышно. Опять она творила волшебство, тончайшее, всепроникающее, словно запах разлитых духов, и он не мог этому противиться,

да и не хотел.

Потом, ни на следующий день, ни много лет спустя, он не мог вспомнить, что же происходило тогда. Захватило ли это ее? Говорила она что-то у него в объятьях или молчала? Какую меру наслаждения извлекла она из его поцелуев? И забылась ли хоть на мгновение?

А для него все стало предельно ясно. Он вскочил на ноги и принялся возбужденно расхаживать по комнате. Только такой и должна быть девушка; именно так должна сидеть, свернувшись в уголке дивана, как только что коснувшаяся земли, закончив ясный, быстрый лет, ласточка, глядя на него непостижимым взглядом. А он будет время от времени, поначалу всякий раз смущаясь, подходить к ней и, обняв, искать губами ее губы.

Он говорил ей, что она очаровательна. Что никогда прежде он не встречал такой. Насмешливо, но вполне серьезно он умолял гнать его прочь — он не хотел влюбляться. Он не собирался видеться с ней — и так она заняла слишком много места в его жизни.

Ну что за восхитительный роман! На самом деле он не испытывал ни страха, ни раскаянья — только это непомерное счастье быть рядом с ней, облакавшее радугой банальность его слов, представлявшее слезливость грустью, а позерство — мудростью. И он, конечно, придет еще — и готов приходить всегда. И как он не понимал этого раньше!

— Вот, собственно, и все. Было просто замечательно познакомиться с вами поближе; очень странно и чудесно. Но так не может продолжаться — просто не может.

Когда он говорил эти слова, то чувствовал внутри ту самую дрожь, которую мы принимаем в себе за искренность.

Потом он вспомнил, что ответила она на один из его вопросов. Именно в такой форме — хотя, быть может, он заменил неволью некоторые слова.

— Женщина должна уметь целовать мужчину достаточно страстно и романтично, даже если не собирается стать его женой или любовницей.

И как всегда, когда он бывал с ней, она, казалось, постепенно старилась, пока во взгляде ее не начинал сквозить холодок размышлений слишком глубоких для того, чтобы выразить их словами.

Минул час. Временами, словно вдруг обретая сладость в своей тающей жизни, вспыхивали в камине венчики огня. Было уже пять: об этом отчетливо объявили часы на каминной полке. Тогда, как если бы эти прозрачно-оловянные удары напомнили дремавшей в нем грубой рассудочности, что лепестки этого небывалого дня уже опадают, Энтони быстро поставил ее на ноги и, крепко сжав, лишил дыхания поцелуем, который уже не был ни игрой, ни подношением.

Ее руки бессильно упали вдоль тела. Но она тут же высвободилась.

— Нет, — произнесла она спокойно. — Я так не хочу.

Она опустила на дальний край дивана и уставилась в пространство перед собой. Хмурые складки собрались на переносье. Энтони присел рядом и накрыл ее ладонь своею.

Рука ее была безжизненна и безответна.

— Глория, что с вами? — Он сделал движение, будто собираясь ее обнять, но она отстранилась.

— Я так не хочу, — повторила она.

— Простите, — отозвался он с некоторым раздражением. — Я и не думал, что можно четко сознавать, хочешь этого или нет. Она не ответила.

— Так вы не хотите меня поцеловать?

— Нет, не хочу. — Ему показалось, что она замерла на целую вечность.

— Довольно крутой поворот, — раздражение в его голосе нарастало.

— Вы так думаете? — Он, похоже, совсем перестал ее интересовать. Она смотрела на него как на незнакомца.

— Может, мне лучше уйти?

Ответа не было. Он поднялся с дивана и выжидательно, еще ни на что не решаясь, посмотрел на нее. Потом опять сел.

— Глория, вы правда не хотите поцеловать меня?

— Нет, — произнесла она, едва шевельнув губами. Он снова вскочил на ноги, на этот раз не так решительно, еще менее уверенный в себе.

— Тогда я уйду.

Молчание.

— Ну ладно — я пошел.

Он знал, как непоправимо пошли все его слова. Всем существом чувствовал, как давит на него атмосфера этой комнаты. Ему хотелось, чтоб она заговорила, стала упрекать его, кричать — что угодно, только не эта пронзительная леденящая тишина. Он обзывал себя ни на что не годным дураком; больше всего ему хотелось задеть ее. увидеть, как она вздрогнет от обиды. И не в силах ничего больше придумать он промахнулся еще раз:

— Если вам надоело со мной целоваться, я лучше пойду.

Он заметил, как губы ее чуть скривились, и остатки достоинства покинули его. Наконец она произнесла:

— По-моему, вы это уже говорили.

Он судорожно огляделся, заметил на стуле свои пальто и шляпу, невероятно долго и мучительно натягивал их на себя. Взглянув еще раз в направлении дивана, он осознал, что она даже не обернулась, не пошевелилась. Сказав дрожащим голосом «прощайте» и тут же пожалев об этом, он уже без всякой заботы о достоинстве выскочил из комнаты.

Какое-то время Глория молчала. Губы ее все еще были поджаты; смотрела она прямо перед собой, высокомерно и отчужденно. Потом взгляд ее чуть затуманился и она, обращаясь к обреченному огню, вполголоса произнесла:

— Прощай, идиот!

Паника

Человек получил тяжелейший удар в своей жизни. Наконец он знал чего хотел и в то же время понимал, что до желанного уже не дотянуться. Домой он добрался в самом жалком состоянии; даже не сняв пальто, рухнул в кресло и сидел так больше часа, утомляя ум отчаянно-бесплодным самокопанием. Она прогнала его прочь! Эта мысль непереносимым бременем лежала на душе.

Вместо того, чтоб сгрести девушку и держать ее силой, пока она не покорится, вместо того, чтобы переломить ее волю силой собственного духа, он ушел от ее дверей бессильный и поверженный, с опущенными уголками рта, и даже та сила, которую, может быть, еще таили в себе его печаль и гнев, едва ли была различима за манерой поведения выпоротого школьника. Была ведь минута, когда он ей здорово нравился — да, она его почти любила. А в следующую он стал ей безразличен, дерзкий и умело униженный.

Он не особенно укорял себя, хотя было, конечно, и это, но гораздо важнее, настоятельнее, казалось сейчас другое. Энтони не столько влюбился в Глорию, сколько был без ума от нее. И если он не мог опять находиться рядом с ней, целовать ее, ощущать ее близость, податливость, он не хотел от жизни ничего. Тремя минутами непоколебимого безразличия эта девушка подняла себя с достаточно высокого, но все же вполне обыденного места в его сознании до положения владычицы его души. И сколько б его сбитые с толку мысли ни металась между страстным желанием целовать ее и столь же неистовым стремлением обидеть или унижить, в глубине его существа кристаллизовалась воля овладеть ее торжествующей душой, которая так и сияла сквозь эти три роковые минуты. Она была прекрасна... больше того, она была безжалостна. Эта сила, которая оказалась способна прогнать его прочь, должна была принадлежать ему.

Но в тот момент Энтони едва ли был способен к таким умозаключениям. Ясность его ума, все те неисчерпаемые ресурсы здравомыслия, которые, как он полагал, обеспечивала ему ирония, были отброшены в сторону. Не только в ту ночь, но и в последующие дни и недели, книги сделались для него лишь частью мебелировки, а друзья — только людьми, которые жили и двигались в том призрачном мире, который окружал его, из которого он так

старался вырваться, — этот мир был холодным, полным зловещего ветра, а тут вдруг на краткий миг ему удалось заглянуть в дом, где горел в очаге огонь.

Около полуночи он начал сознавать, что хочет есть. Он вышел на Пятьдесят вторую улицу, по которой несло таким холодом, что едва можно было разлепить глаза; пар от дыхания замерзал на ресницах и в углах его рта. Какая-то вселенская жуть валила с севера, цепеня пустые продроглые улицы, где черные, закутанные фигуры, казавшиеся еще чернее на фоне этой ночи, двигались наугад по тротуарам сквозь завыванья ветра, осторожно волоча, словно обутые в лыжи, ноги. Энтони свернул к Шестой авеню, он был так погружен в свои мысли, что едва ли замечал, как странно поглядывают на него встречные. Пальто его было распахнуто настежь, в складках бился ветер, стылый, полный безжалостной смерти.

...Потом к нему обратилась официантка, толстая женщина при пенсне в черной оправе, с которой свисал длинный черный шнурок.

— Слушаю, заказ ваш!

Голос ее показался Энтони совершенно излишне громким. Он возмущенно поднял на нее глаза.

— Заказывать будем, или чего?

— Так сразу? — запротестовал он.

— Да я уж три раза спросила. У нас тут не зал ожидания.

Энтони посмотрел на большие часы и с некоторым испугом обнаружил, что был третий час ночи. Он понимал, что находится где-то в районе Тридцатой улицы, и после некоторого усилия прочитал на витринном стекле, задом-наперед, расположенные полукругом белые буквы:

АДЛІАЧ ЕФАК

Помещение было негусто заселено тремя или четырьмя полузамерзшими, унылого вида личностями.

— Пожалуйста, яичницу с беконом и кофе.

Официантка обрушила на него последний презрительный взгляд и, выглядя нелепо-интеллектуально в своем пенсне со шнурком, заспешила прочь.

Боже! Глория! Как похожи на цветы были ее поцелуи! Он вспоминал — словно все это было годы назад — свежесть ее грудного голоса, прелестные линии тела, угадывавшиеся сквозь платье, лилейно-белое в свете уличных фонарей лицо... в свете фонарей.

Горечь вновь пронизала его, добавив к боли и тоске что-то вроде ужаса. Он потерял ее. Такова была правда — ни отмахнуться, ни смягчить. И еще одна мысль ожгла огнем — что с этим Бликманом? Что теперь должно случиться? Представим себе состоятельного человека достаточно средних лет, чтобы быть терпимым к красавице-жене, потакать ее прихотям, прощать безрассудство, словом — обращаться с ней так, как она, возможно, сама того хотела — как с ярким цветком в петлице, спасая и охраняя от всего, чего она боится. Он чувствовал, что мысль выйти замуж за Бликмана она держала про запас, и, вполне возможно, разочарование в Энтони могло толкнуть Глорию прямо к нему в объятия.

Эта мысль повергла Энтони в ребяческое неистовство. Он готов был убить Бликмана, заставить его расплатиться за свое гнусное самомнение. Стиснув зубы, с глазами расширенными от ненависти и страха, Энтони без конца повторял это про себя.

И все же, хоть и до непристойности ревнуя, Энтони в конце концов любил, любил так глубоко и искренне, как только мужчина может любить женщину.

Возле его локтя появилась чашка с кофе и некоторое время дымилась, остывая. Ночной распорядитель, сидя за своей конторкой, несколько раз поглядывал на одиноко застывшую у крайнего столика фигуру и когда стрелка на часах перечеркнула цифру три, со вздохом направился туда.

Мудрость

Минул еще один день, страсти улеглись, и Энтони стал проявлять некоторые признаки

здравомыслия. Да, он влюблен — неистово кричал он про себя. Те обстоятельства, которые еще неделю назад показались бы ему неодолимыми препятствиями — его ограниченный доход, его стремление ни за что не отвечать и быть независимым, — за эти сорок восемь часов размело как полому ветром его влюбленности. Если он не женится на ней, жизнь его станет жалкой пародией на его же собственное отрочество. Чтоб продолжать общаться с окружающими и быть в состоянии выдерживать неотвязные мысли о Глории, которые стали сутью его существования, нужно было обрести надежду. Поэтому он принялся отчаянно и упорно строить эту надежду из собственной мечты, надежду слишком хлипкую, чтоб надеяться, надежду, которая рушилась и рассыпалась по десять раз на дню, надежду, вскормленную насмешками над собой, — но все же надежду, которая должна была стать плотью и кровью его самоуважения.

Из этого родилась искра мудрости, истинного осознания себя на фоне аморфного, бездеятельного прошлого. «Память коротка», — думал он.

Так коротка, что короче не бывает. Возьмем, к примеру, президента какого-нибудь треста, попавшего в переplet, всеми презираемого потенциального преступника, которому не хватает лишь крохотного толчка, чтоб сделаться арестантом. Допустим, его оправдали — и в течение года все забыто. «Да, однажды у него были неприятности, но, я полагаю, чисто технического характера». Да, человеческая память коротка!

В общей сложности Энтони виделся с Глорией раз десять; скажем, две дюжины часов. Допустим, он оставит ее в покое на месяц, не будет делать никаких попыток повидаться или поговорить с ней, будет избегать тех мест, где может оказаться она. Не получится ли так — тем более, что она никогда его не любила, — что к концу этого срока поток событий изгладит его образ из ее сознания, а вместе с образом изгладятся его обида и унижение? Вполне возможно, ведь вокруг нее полно других мужчин. Он содрогнулся. Значение этих слов вдруг дошло до него — другие мужчины! Два месяца, о, Господи! Вот если бы недели три, а лучше две...

Он размышлял так на другой вечер после катастрофы, раздеваясь, перед тем как лечь в постель, но дойдя до этой мысли, бросился на кровать и замер, еле заметно дрожа и устремив взгляд под свод полога.

Две недели — это хуже, чем вовсе ничего. За две недели в его отношении к ней слишком мало что изменится, каким бы беспристрастным он ни старался быть — да и для нее он останется тем же самым человеком, который начал слишком резво, зашел слишком далеко, а потом вдруг ни с того ни с сего разнылся. Нет, две недели было слишком мало. Да и ей нужно время, чтоб притупились ощущения, которые она пережила в тот день. Он должен дать ей срок, в течение которого весь этот инцидент поблекнет в ее памяти; потом наступит новая фаза, и она постепенно вновь станет думать о нем; неважно, пусть вначале даже мимоходом и с пренебрежением, — в надлежащей перспективе вместе с унижением вспомнятся и достоинства.

Наконец он остановился на шести неделях, как на интервале лучше всего подходящем для его цели и, откинув эти дни на календаре, обнаружил, что срок пал на 9 апреля. Прекрасно, в этот день он позвонит и спросит, можно ли зайти. А до тех пор — молчание.

После этого решения его самочувствие стало заметно улучшаться. По крайней мере, он сделал шаг в том направлении, куда звала его надежда, и осознал, что чем меньше он будет сожалеть о ней, тем с большей легкостью произведет желаемое впечатление, когда они встретятся.

Через час он уже крепко спал.

В промежутке

Хотя вместе с убеганьем дней блеск ее волос заметно потускнел в его памяти и — побудь они в разлуке с год — может быть, вовсе рассеялся, тем не менее немало вечеров среди этих шести недель были откровенно мерзостны. Он не хотел встречаться с Диком

и Мори, вбив себе в голову, что им все известно, но когда они собрались втроем, центром внимания оказался вовсе не Энтони, а Ричард Кэрэмел — «Демон-любовник» был принят к немедленной публикации. И Энтони понял, что с этих пор их дороги расходятся. Он больше не желал искать в обществе Мори того тепла и безмятежности, которые не далее как в ноябре еще доставляли ему такую радость. Теперь все это могла дать ему только Глория и никто больше. Поэтому успех Дика порадовал его весьма условно и не на шутку обеспокоил. Это означало, что мир продолжает двигаться вперед — писать, читать, публиковать — и жить. Ему же хотелось, чтобы на эти шесть недель все вокруг затаили дыхание и замерли, ожидая пока Глория забудет.

Две неожиданные встречи

Самым большим наслаждением для него была компания Джеральдины. Однажды он пригласил ее пообедать, потом в театр, несколько раз они встречались у него на квартире. Когда он был с ней, она словно поглощала его, но совсем не так, как Глория, а, скорее, наоборот — снимая то чувственное возбуждение, которое возникало у него в связи с Глорией. И дело было вовсе не в том, как он целовал Джеральдину. Поцелуй, он и есть поцелуй, он для того и существует, чтоб получить максимум удовольствия в кратчайший срок. Для Джеральдины все было разложено по полочкам: поцелуи — это одно, а все, что дальше — уже совсем другое; в поцелуе не было ничего предосудительного, другие вещи шли под рубрикой «плохо».

Когда миновала половина срока, одно за другим произошли два события, которые возмутили его крепнувшее спокойствие и даже вызвали определенный рецидив.

Первое заключалось в том, что он встретился с Глорией. Это была мимолетная встреча. Оба раскланялись. Оба о чем-то говорили, но ни один не слышал другого. А когда все это кончилось, Энтони три раза подряд прочел одну и ту же колонку «Сан», не понимая в ней ни слова.

И кто бы мог подумать, что на Шестой авеню так легко можно натолкнуться друг на друга! Отказавшись от своего парикмахера в «Плаза», однажды утром он зашел побриться в парикмахерскую за углом, и вот, ожидая своей очереди, снял пальто, жилет и с расстегнутым воротничком стоял у входа в зал. Этот день был словно оазис в холодной пустыне марта, и тротуары пестрели толпами прогуливавшихся солнцепоклонников. Мимо проплыла затянута в бархат дородная дама с обвислыми от частого массажа щеками и рвавшимся с поводка пуделем — словно океанский лайнер на буксире, она оставляла за собой целый водоворот. Сразу следом за ней, с ухмылкой взирая на все это, двигался мужчина в синем костюме в полоску, на кривых ногах и в белых гетрах; встретившись взглядом с Энтони, он подмигнул ему через стекло. Энтони рассмеялся и мгновенно пришел в то расположение духа, когда все мужчины и женщины стали казаться ему неуклюжими, нелепыми фантомами, гротескно закругленными и извитыми среди этого, скроенного из прямых углов мира, который они сами же для себя построили. Примерно такие же чувства вызывали в нем странные, причудливых форм рыбы, обитавшие в эзотерическом зеленоватом сумраке аквариума.

Его внимание привлекли еще двое прохожих, мужчина и девушка — и тут, о ужас, девушка превратилась в Глорию. Он замер, не в силах шевельнуться; они подошли ближе, и Глория, заглянув внутрь, увидела его. Глаза ее расширились, она вежливо улыбнулась. Губы ее двигались. Она была меньше, чем в пяти футах от него.

— Добрый день, — пробормотал он без единой мысли в голове.

Глория, счастливая, прекрасная и юная — с мужчиной, которого он никогда прежде не видел!

Именно после этого он, сев в освободившееся кресло, три раза подряд прочел газетную страницу.

Второй инцидент случился на следующий день. Часов около семи, входя в бар

«Манхэттен», он столкнулся с Бликманом. Так уж случилось, что зал был почти пуст и, прежде чем они распознали друг друга, Энтони уже устроился не далее, чем в полуметре от Бликмана и заказал себе выпить; таким образом, разговор оказался просто неизбежен.

— Добрый день, мистер Пэтч, — поздоровался Бликман вполне дружелюбно.

Энтони пожал предложенную руку, последовал обмен трюизмами насчет непостоянства градусниковой ртути.

— Вы часто здесь бываете? — поинтересовался Бликман.

— Нет, очень редко. — Он не стал добавлять, что до недавних пор его излюбленным местом был бар «Плаза».

— Прекрасный бар. Один из лучших в городе.

Энтони кивнул. Бликман допил свой стакан и взялся за трость. Он был одет для вечернего приема.

— Всего хорошего, мне нужно торопиться. Обедаю сегодня с мисс Гилберт.

Из двух голубоватых глаз на Энтони пристально глянула смерть. Если бы Бликман объявил, что собирается незамедлительно прикончить своего визави, то и тогда едва ли произвел бы большее впечатление. От мгновенного удара, пронизавшего каждый нерв, Энтони наверное заметно покраснел. Огромным усилием воли он выдавил из себя натянутую — до самого последнего предела — улыбку и пробормотал стандартное «прощайте». А ночью до пятого часа лежал без сна, полупомешанный от горя, ужаса и отвратительных видений.

Слабость

И однажды, на пятой неделе, он решился ей позвонить. Он сидел у себя дома и читал «Воспитание чувств», но что-то в этой книге заставляло его мысли мчаться в том направлении, куда они, отпущенные на свободу, стремились теперь всегда, спеша словно лошади в родное стойло. С участвующим вдруг дыханием он направился к телефону. Когда он диктовал номер, ему казалось, что голос у него дрожит и осекает словно у школьника. Удары его сердца наверняка были слышны на телефонной станции. Щелчок поднятой на другом конце провода трубки был трубным гласом, а голос миссис Гилберт, мягкий, словно льющийся в банку кленовый сироп, показался одухотворенным ужаса в окончательности своего «хэлло-о-у?»

— Мисс Глория не очень хорошо себя чувствует. Она прилегла и заснула. А кто это звонит?

— Никто! — выкрикнул он.

В панике отшвырнул трубку и, весь в холодном поту, но задыхаясь от облегчения, кинулся в кресло.

Серенада

Первым, что он сказал ей, было: «Вы что, остригли волосы?» и она ответила: «Да, разве не здорово?»

Тогда это еще не было модно. Это должно было войти в моду лет через пять или шесть. А в то время считалось в высшей степени смело.

— На улице такое солнце, — сказал он с тяжелым чувством. — Не хотите прогуляться?

Она надела легкое пальто, причудливо-пикантную шляпку «а ля наполеон» серо-стального цвета, и они отправились по Пятой авеню, потом свернули к зоопарку, где насладились от души величием слонов и длиной жирафьей шеи, но к обезьяньему домику решили не ходить, так как Глория сказала, что обезьяны плохо пахнут.

Потом они брели обратно к «Плаза», болтая ни о чем, радуясь ликующей в воздухе весне и целебной силе солнца, в мгновение ока раззолотившего весь город. Справа от них

был Парк, а слева — любому, кто готов был слушать, глухо и неразборчиво бормотала свои миллионерские рассказы спесивая груда гранита и мрамора; что-то о том, что «я работал и копил и был хитрее всех остальных сынов Адама, и вот теперь, ей-богу, все это мое, и вот он я!»

На авеню, как по заказу, выкатили все лучшие и самые последние модели авто, а впереди, весь необычно белый и как никогда привлекательный, рисовался Плаза-отель. Гибкой и расслабленной походкой Глория шла на расстоянии полуденной тени впереди него, время от времени отпуская какие-то случайные замечания, которые, прежде чем достичь его ушей, недолго витали в искрящемся воздухе.

— Ах, — воскликнула она. — Как я хочу поехать на юг, в Хот-Спрингс. Выбраться на воздух, поваляться на свежей травке и забыть, что вообще бывает какая-то зима.

— Как я вас понимаю.

— Хочу услышать миллион малиновок. Как они галдят все разом! Вообще люблю птиц.

— А, по-моему, все женщины и есть птицы, — отважился заметить он.

— Тогда какой же породы я? — быстро и нетерпеливо.

— Мне кажется, ласточка, а иногда еще — райская птица. Большинство девушек, конечно, воробьи. Посмотрите на это собрание нянь, они уж точно воробьи. А может быть, сороки? Еще вы наверняка встречали девушек-канареек. А малиновок?

— А также лебедей и попугаев. Все пожилые женщины, мне кажется, ястребы или совы.

— А я кто тогда — канюк?

Она рассмеялась и покачала головой.

— Нет, вы совсем даже не птица, вам не кажется? Вы — русская борзая.

Энтони вспомнил эту породу собак, они были белые и выглядели всегда так, словно их очень долго не кормили. Но, с другой стороны, на фотографиях они обычно оказывались рядом с князьями или принцессами, поэтому он был все-таки польщен.

— Дик, конечно, фокстерьер, такой забавный, хитроватый фокстерьер, — продолжила она.

— А Мори — кот. — И тут же Энтони понял, как похож на здоровенного наглого борова Бликман. Но осмотрительно промолчал.

Позднее, расставаясь, Энтони спросил, когда сможет увидеть ее снова.

— А вы не пробовали назначать свидание прямо с утра? — отважился он. — Пусть это будет даже через неделю. Мне кажется, было бы прекрасно провести вместе целый день.

— Может быть, — на секунду задумалась она, — а почему бы и нет? Давайте в следующее воскресенье.

— Отлично. Я разработаю программу, чтобы ни одна минута не пропала даром.

Так он и поступил. Даже представил до последних мелочей, что должно произойти за те долгие два часа, когда они придут к нему пить чай, как покладистый Баундс широко откроет окна, чтобы впустить внутрь свежий ветерок, — но камин все же будет топиться, чтобы в воздухе не чувствовалось холода, — и повсюду в больших прохладных вазах будут охапки цветов, которые он купит специально для этого случая. Сидеть они будут на диване.

И когда назначенный день настал, они действительно сидели на диване. А через некоторое время Энтони уже целовал ее, потому что все вышло как-то само собой; на губах ее была та же нетронутая сладость, как будто они и не расставались. Ярко пылал огонь, ветерок шевелил шторы, веял мягкой свежестью, обещая май и целый мир лета. Душа его трепетала от нездешних гармоний; он слышал аккорды далеких гитар и лепетанье волн о теплый средиземноморский берег — ибо сейчас он был молод, как уже не будет больше никогда, сейчас он был сильнее смерти.

Шесть часов подкралось слишком быстро, и на углу грянула бранчливая мелодия колоколов церкви св. Анны. Сквозь густеющие сумерки они шли к Пятой авеню, где, наконец, после долгой зимы, словно узник, отпущенный на свободу, валила упругим шагом

толпа, империялы автобусов ломались от чистокровных королей, а магазины были полны прекрасных мягких вещей для лета, небывалого, сулящего только радость, лета, которое станет для любви тем же, чем была зима для денег. Жизнь зарабатывала на ужин пеньем на углу! Жизнь взбивала коктейли прямо на улицах! И обязательно в этой толпе были старухи, которые чувствовали, что могли бы пуститься бегом и выиграть еще забег на сто ярдов.

Свет был погашен, и тихая комната плыла в лунном свете, а Энтони лежал в постели и не мог заснуть, перебирая в памяти каждую минуту этого дня, как играет ребенок по очереди с каждым из вороха долгожданных рождественских подарков. Нежно, почти посреди поцелуя, он сказал, что любит ее; она улыбнулась, теснее прижалась к нему и, заглянув прямо в глаза, произнесла «я рада». В ее отношении к нему появилось что-то новое, неведомая дотеле эмоциональная напряженность, говорившая о быстром росте чисто физического влечения, и этого было достаточно, чтоб его руки сами собой сжались еще сильнее, и при одном воспоминании об этом замерло дыхание. Он чувствовал, что никогда прежде не были они так близки. В приступе небывалой радости он громко выкрикнул в пространство комнаты, что любит.

Он позвонил ни следующее утро — теперь без колебаний, без всякой неопределенности — вместо этого было горячее волнение, которое стало расти как снежный ком, едва он услышал ее голос.

— Доброе утро... Глория.

— Доброе утро.

— Я звоню просто, чтобы сказать это... дорогая.

— Рада, что ты позвонил.

— Как я хочу тебя видеть.

— Увидишь завтра вечером.

— Но это еще так нескоро.

— Да... — произнесла она, как бы нехотя.

Его рука сильнее сжала трубку.

— А, может, я приду сегодня вечером? — В сиянии и славе этого почти прошептанного «да» он видел что угодно.

— У меня назначено свидание.

— А-а...

— Но я могла бы... я наверное смогу его отменить.

— О! — И почти задыхаясь от восторга, — Глория?

— Что?

— Я люблю тебя.

Через минуту из далекого молчания.

— Я... Я рада.

Счастье, заметил однажды Мори Нобл, это лишь первый час после избавления от особенно жестокого страдания. И все-таки нужно было видеть лицо Энтони, когда он шел в этот вечер по коридору десятого этажа отеля «Плаза»! Его темные глаза сияли, а на линии вокруг рта просто любо было посмотреть. В тот вечер он был как никогда красив, именно той красотой, которая обязана своим рождением тем нечастым моментам бессмертия в нас, даже отраженного света которых памяти хватает на долгие годы.

Он постучал и, услышав ответ, вошел. В дальнем конце комнаты, глядя на него широко распахнутыми глазами, стояла неподвижно Глория, вся в чем-то розовом, накрахмаленная и свежая как цветок.

Едва он затворил за собой дверь, как она, издав тихий вскрик, быстро двинулась сквозь разделяющее их пространство, на ходу простирая руки в ожидании нежности. С шуршанием сминая складки ее платья, они слились в продолжительном и торжествующем объятии.

Книга 2

Глава 1 Лучезарный час

Недели через две Энтони и Глория начали находить вкус в «практических дискуссиях», как они называли те разговоры, когда под видом сурового реализма позволяли себе блуждать среди лунного света вечности.

— Но не так, как я тебя, — настаивал, бывало, критик belles-lettres . — Если бы ты действительно меня любила, то хотела бы, чтобы все об этом знали.

— Я и хочу, — защищалась она. — Хочу встать на углу среди улицы как продавец сэндвичей и сообщать об этом всем прохожим.

— Тогда назови все причины, по которым собираешься выйти за меня замуж в июне.

— Ну, потому что ты очень чист. Так же воздушно чист, как я. Знаешь, бывает два рода чистоты. Вот Дик: он чист, как начищенная кастрюля. А мы с тобой чисты, как ручьи или ветер. Когда я вижу человека, я сразу могу сказать, чист он или нет, и если да, то какого рода его чистота.

— Так мы с тобой близнецы. Что за восторг сознавать такое!

— Мама говорит, — Глория остановилась в нерешительности. — Мама говорит, что, бывает, души являются одновременно... и любят одна другую еще до рождения.

Никогда еще у билфизма не было столь легкой жертвы... Немного выждав, он задрал голову и беззвучно расхохотался прямо в потолок. Когда глаза его вновь обратились к ней, он заметил, что Глория злится.

— Чему это ты все время смеешься? — воскликнула она, — я уже два раза заметила. По-моему, в наших отношениях нет ничего смешного. Я сама не прочь повалить дурака и тебе не запрещаю, но в такие моменты это уж слишком.

— Ну прости меня.

— Ой, ради Бога! Если не можешь придумать ничего лучше, просто помолчи.

— Я люблю тебя.

— Мне все равно.

Оба замолчали. У Энтони сразу упало настроение... Наконец Глория пробормотала.

— Извини, я поступила дурно.

— Не стоит извиняться. Сам виноват.

Мир был восстановлен, и последовавшие за этим мгновения оказались гораздо более приятны, даже остры. Они были звезды на этой сцене, играя каждый для двоих, и страстность их притворства рождала искренность. В этом, в конце концов, и заключается сущность самовыражения. И все же, казалось, что их взаимное чувство больше выражается в Глории, чем в Энтони. Он нередко ощущал себя гостем, которого едва терпят на званом обеде в ее честь.

Разговор с миссис Гилберт привел его в немалое смущение. Она чопорно уселась на стуле и, часто моргая, с видом крайне сосредоточенного внимания приготовилась его слушать. Хотя наверняка обо всем догадывалась — уже недели три Глория ни с кем больше не встречалась — и не могла не замечать, как изменилось на этот раз поведение дочери. Через нее проходила вся почта, и как все матери, она, конечно, слышала, хотя и замаскированные с одного конца провода, но все же достаточно красноречивые разговоры...

...И все-таки она вполне естественно разыграла изумление и объявила, что несказанно рада; так оно, без сомнения, и было; радовались веточки цветущей герани в ящиках за окном; радовались таксисты, когда наши влюбленные искали романтического уединения в их повозках — вот уж странная причуда, — радовались солидные счета в ресторанах, на которых они царапали «ты знаешь, я тоже» и пододвигали посмотреть другому.

А между поцелуями Энтони и его золотая девушка постоянно спорили:

— Подожди, Глория, — кричал он, — дай мне объяснить!

— Ничего не надо объяснять. Поцелуй меня.

— Не думаю, что это лучший вариант. Если я чем-то обидел тебя, мы должны это обсудить. Мне не нравятся эти «поцелуй-и-забудь».

— Но я не хочу с тобой спорить. Ведь это чудесно, что мы можем поцеловать друг друга и забыть, а вот когда не сможем — настанет время спорить.

Было как-то раз, что совсем пустячное разногласие приняло вдруг такой угрожающий вид, что Энтони встал и готов был уже облачиться в свой плащ; мгновение казалось, что вот-вот — и повторится февральская сцена, но зная теперь, как равнодушна была к нему Глория, Энтони привел к согласию свои достоинство и гордость, и уже через минуту она рыдала у него в объятиях; ее прекрасное лицо при этом было несчастным и испуганным, словно у маленькой девочки.

Мало-помалу, невольно, по случайным намекам на прошлое, по неожиданным ответам или отговоркам, по пристрастиям или неприятиям, они все больше узнавали друг друга. Глория была настолько горда, что не снисходила до ревности, и это ее качество здорово задевало Энтони, потому что сам он был крайне ревнив. Пытаясь высечь из нее хоть искру этого чувства, он рассказывал о самых сумрачных эпизодах собственной жизни — но без толку. Сейчас он принадлежал ей, а о давно истлевших годах она и знать не желала.

— Ах, Энтони, — могла сказать она, — мне всегда так стыдно, когда я плохо обхожусь с тобой. Я могла бы отдать свою правую руку, только б тебе не было больно.

В такие моменты глаза ее наполнялись слезами, и она сама верила в то, что говорила. И все же Энтони знал, что бывают дни, когда они намеренно стараются уязвить друг друга — и получают едва ли не удовольствие от таких стычек. Она не упускала случая поставить его в тупик: то становясь обманно близкой и чарующей, как бы отчаянно стремясь к нежданному таинственному слиянию, то во мгновение ока угасая и охладевая; и тогда ее не могли тронуть никакие соображения об их взаимном чувстве и вообще никакие доводы. Потом уже он начал понимать, что зачастую причиной такой зловещей отчужденности бывало некое физическое недомогание — она никогда не жаловалась на него, пока оно не прекращалось, — либо его собственная невнимательность или самонадеянность; могло быть и так, что ей просто не понравился обед, хотя даже в таких случаях средства, с помощью которых она создавала вокруг себя эти непроходимые пустыни, оставались для него загадкой, зарытой где-то очень глубоко в этих двадцати двух годах непоколебимой гордыни.

— Почему тебе нравится Мюриэл? — спросил он однажды.

— И вовсе не нравится.

— Что же тогда ты всюду ходишь с ней?

— Просто, чтобы было с кем ходить. С такими девушками не надо напрягаться. Они готовы верить всему, что я говорю. Но вот Рэйчел мне, пожалуй, нравится. Мне кажется, она симпатичная — такая вся чистенькая и аккуратная. Как ты думаешь?.. У меня были когда-то подруги — в Канзас-сити и в школе, — но все случайные. Знаешь, такие девушки, которые попадают в поле зрения только потому, что мальчики пригласили вас куда-нибудь вместе, а потом исчезают. После того как окружение перестало сводить нас вместе, они меня никогда не интересовали. Теперь почти все они замужем. Да и какое это имеет значение — все они самые обычные.

— К мужчинам ты, по-моему, относишься лучше.

— Да, гораздо. У меня мужской склад ума.

— Твой ум похож на мой. Я не стал бы приписывать его определенному полу.

Позднее она рассказала ему о начале своей дружбы с Бликманом. Однажды они с Рэйчел зашли в «Дельмонико» и там случайно натолкнулись на мистера Гилберта, обедавшего с Бликманом. Из любопытства присоединились, и он ей, в общем-то, понравился. Потом стал чем-то вроде средства для отдыха от более молодых кавалеров, да и довольствовался очень немногим. Он веселил ее и сам всегда смеялся се шуткам, вне

зависимости от того, понимал их или нет. Они встречались несколько раз, несмотря на явное неодобрение родителей, а через месяц он попросил ее выйти за него замуж, обещая все — от виллы в Италии до блестящей карьеры на экране. Она рассмеялась ему в лицо — в ответ он тоже рассмеялся.

Но от своих намерений не отказался. Ко времени появления на арене Энтони он уже делал значительные успехи. Она относилась к нему достаточно тепло — разве что не уставала оскорблять разными обидными прозвищами — но в то же время осознала, что он, говоря фигурально, покорно крадет за ней только пока она идет по забору, но стоит ей оступиться, и он тут же схватит ее.

Она сообщила Бликману о помолвке накануне оглашения. Удар был тяжелый. Она не посвятила Энтони в детали разговора, но намекнула, что Бликман даже отговаривал ее. Энтони живо представил себе это объяснение на повышенных тонах, Глорию, покойно и невозмутимо лежащую в углу софы, и Джозефа Бликмана из «Пар Экселенс», расхаживающего по комнате с сузившимися глазами и склоненной головой. Глории, конечно, было жаль его, но она предпочитала не показывать этого. В последнем приступе добросердечия она даже пыталась внушить ему ненависть к себе, но это на самый конец. Кроме того, Энтони, зная, что безразличие Глории было сильнейшим средством привязать человека к себе, мог судить, сколь бесплодна была эта попытка. После этого он частенько, но без всякого интереса думал о Бликмане, и наконец совсем о нем забыл.

Зенит

Однажды они отыскиали два места на передке залитой солнцем верхней площадки автобуса и, не заботясь о времени, покатали от тающей в дымке площади Вашингтон-сквер вверх, вдоль пятнистой от грязи реки, а когда ошалевшие солнечные лучи заскользили вдоль западных улиц, они выплыли на вздувшуюся от движения, темнеющую, наполненную зловещим гулом магазинов Авеню. Движение все густело, пока наконец не застыло в неподвижности уличной пробки; упакованные по четыре в ряд автобусы возвышались над толпой экипажей как острова в ожидании свистка регулировщика.

— Вот здорово! — воскликнула Глория. — Ты только посмотри!

Впереди их автобуса двигался влекомый белой лошадей и ее черной напарницей, припорошенный до белизны мукой и управляемый напудренным клоуном фургон мельника.

— Что за жалость! — вздохнула она. — Вот если бы обе лошади были белые, это выглядело бы просто чудно. Особенно в сумерках. Все-таки, какое счастье быть именно в эту минуту, именно в этом городе!

Энтони покачал головой.

— А мне кажется, что этот город — шарлатан. Всегда только тщится приблизиться к тому впечатляющему образу свержгорода, которым его привыкли считать. Этакая романтическая игра в столичность.

— Ну уж нет. По-моему, он все-таки впечатляет.

— Да, на какой-то миг. А на самом деле, все это — откровенный и довольно бездарный спектакль. В нем есть свои разрекламированные звезды, недолговечные декорации из папиросной бумаги и, я согласен, величайшая из когда-либо собиравшихся армий статистов. — Он помолчал, усмехнулся и добавил. — Технически, возможно, верх совершенства. Но не убеждает.

— Наверняка полицейские думают, что все люди — дураки, — задумчиво произнесла она, наблюдая, как переводят через улицу внушительных размеров, но, видимо, трусоватую леди. — Они всегда видят людей испуганными, беспомощными, старыми... впрочем, они такие и есть, — добавила она. И, погодя. — Нам лучше сойти. Я обещала маме, что пораньше поужинаю и лягу спать. Она все время твердит, что у меня усталый вид.

— Скорей бы уж мы поженились, — пробормотал он уныло, — тогда не нужно будет этих расставаний, и мы сможем делать все, что нам вздумается.

— Да, на самом деле здорово! Давай все время путешествовать. Я хочу побывать на Средиземном море, в Италии. И хорошо бы немного поиграть на сцене, скажем, около года.

— Согласен. Даже напишу для тебя пьесу.

— Это же прекрасно! А я сыграю в ней. А потом, когда-нибудь, когда у нас будет больше денег, — таким изящным эвфемизмом неизменно обозначалась смерть старого Адама, — построим шикарное поместье, да?

— Конечно, с собственными бассейнами.

— Их будут десятки. И наши собственные речки. Вот бы прямо сейчас.

Странное совпадение — именно в этот момент ему захотелось того же. И вот они, словно ныряльщики, погрузились в темный водоворот толпы и, вынырнув на прохладных Пятидесятых, медленно и празднично направились к дому, бесконечно влюбленные... каждый в свой, обретенный в мечтах призрак, обитающий в дивном, заколдованном саду.

Безмятежные дни проплывали как лодки в медлительных водах рек; весенние вечера были полны грустной меланхолии, которая делала прошлое чуть горчащим и прекрасным, заставляла оглянуться назад и понять, что вместе с забытыми вальсами давно минувших весен умерла и любовь, волновавшая их тогда. Но лучше всего было, что их беспрестанно разделяли какие-то несусветные преграды; в театре их руки, чтоб соединиться, отдать и получить взамен нежное пожатие, должны были действовать украдкой в темноте; в набитых народом комнатах они только движеньем губ могли передавать друг другу то, что хотели сказать — не зная, что лишь следуют по стопам минувших поколений, но смутно понимая, что если правда — цель жизни, то счастье — разновидность правды, и нужно всеми силами лелеять его краткие, волнующие мгновения. А потом, в одну прекрасную ночь, май превратился в июнь. Теперь оставалось шестнадцать дней, пятнадцать... четырнадцать...

Три отступления

Перед самым оглашением помолвки Энтони отправился в Тэрритаун повидаться с дедом, который, еще больше высохший и поседевший в безнадежной игре с насмешливым временем, воспринял это известие с глубоким равнодушием.

— Хм, никак жениться собрался? — произнес он с такой подозрительной кротостью и так долго кивал, что у Энтони стало тяжело на душе. Не зная еще намерений деда, он все же полагал, что большая часть денег должна достаться ему. Конечно, крупные суммы пойдут на благотворительность, не менее крупные — на поддержание рефоматорства.

— А работать ты собираешься?

— Ну, — замялся Энтони, несколько обескураженный, — я, в общем-то, работаю. Вы же знаете...

— Э... я имею в виду настоящую работу, — проговорил бесстрастно Адам Пэтч.

— Я еще не решил, что буду делать. А потом, я ведь не совсем нищий, дедушка, — сказал он даже с чувством.

Старик обдумал это, не поднимая полуопущенных век, потом, почти примирительно, спросил:

— Сколько у тебя остается в год?

— Ничего. До сих пор не оставалось...

— Значит, ухитряясь проживать все деньги в одиночку, ты решил, что каким-то чудом вы и вдвоем сможете на них существовать.

— У Глории есть какие-то свои деньги. Достаточно, чтоб одеваться.

— Сколько?

Не принимая во внимание неуместность вопроса, Энтони ответил:

— Около сотни в месяц.

— То есть, всего примерно семь тысяч пятьсот в год, — молвил дед и вкрадчиво добавил. — Это немало. Если у тебя есть хоть капля здравого смысла, этого вполне

достаточно. Вопрос в том — есть ли она, эта капля?

— Я полагаю, что есть. — Энтони было стыдно, что приходится терпеть эту святошескую надменность старика, поэтому следующие слова он произнес более твердо, даже не без тщеславия. — У меня все будет в порядке. А вы, мне кажется, убеждены, что я совсем никчемный человек. Во всяком случае, я приехал сюда только сообщить вам, что в июне женюсь. До свидания, сэр.

С этими словами он повернулся и направился к двери, не подозревая, что именно в этот момент впервые понравился деду.

— Подожди, — позвал Адам Пэтч. — Я хочу с тобой поговорить.

Энтони обернулся.

— Что вам угодно, сэр?

— Присядь. Вечер еще длинный.

Несколько смягчившись, Энтони вернулся на место.

— Мне очень жаль, сэр, но вечером у меня встреча с Глорией.

— Как ее зовут?

— Глория Гилберт.

— Она из Нью-Йорка? Одна из твоих знакомых?

— Со Среднего Запада.

— Чем занимается ее отец?

— Служит в целлулоидной корпорации, или тресте, в общем, что-то вроде того. Они из Канзас-сити.

— Вы собираетесь устраивать свадьбу там?

— Конечно нет, сэр. Мы думали, лучше в Нью-Йорке, небольшую, скромную.

— А как насчет того, чтоб устроить ее здесь?

Энтони не знал, что сказать. Само предложение его не привлекало, но из соображений житейских было бы разумно пробудить у старика, если это возможно, хоть какой-то материальный интерес к их будущей семейной жизни. Кроме того, Энтони все же был тронут.

— Вы так добры, но не будет ли это слишком хлопотно?

— Все в жизни — сплошные хлопоты. Твой отец женился здесь, только еще в старом доме.

— Да? А мне казалось, что свадьба была в Бостоне.

Адам Пэтч стал припоминать.

— Это правда. Именно в Бостоне он и женился.

Энтони ощутил минутную неловкость из-за этой поправки и поспешил все сгладить.

— Хорошо, я поговорю с Глорией. Мне эта идея нравится, но вы же понимаете, что решать нужно вместе с Гилбертами.

Дед протяжно выдохнул, прикрыл глаза и, откинувшись назад, погрузился в кресло.

— Спешешь? — спросил он уже другим тоном.

— Не особенно.

— Интересно, — начал Адам Пэтч, окидывая кротким и любовным взглядом кусты сирени, что шелестели за окном. — Интересно, думаешь ли ты когда-нибудь о том, что ждет нас после жизни?

— Ну, я не знаю... Иногда.

— Я часто об этом думаю. — Глаза его совсем погасли, но голос звучал ровно и отчетливо. — Сегодня я сидел здесь, размышлял, что ожидает нас потом, и почему-то начал вспоминать, как однажды, почти шестьдесят пять лет назад, мы играли с моей младшей сестрой Анни там, где сейчас этот летний дом. — Он указал пальцем в сторону цветника, в глазах его дрожат слезы, и голос пресекался.

— Я начал думать... и мне кажется, что именно тебе нужно больше размышлять о том, что ждет тебя. Ты должен серьезнее относиться к жизни, — он замолчал, подыскивая слово, — быть более деятельным... в общем...

Тут выражение его лица изменилось, он весь как бы захлопнулся, словно капкан, и когда заговорил снова, мягкости уже не было в его голосе.

— Вот когда мне было всего на два года больше, чем тебе сейчас, — проскрипел он с ехидным смешком, — я уже отправил троих членов правления «Ренн и Хант» в богадельню.

Не зная, что на это сказать, Энтони пожал плечами.

— Ну ладно, до свидания, — добавил дед без всякой связи, — а то опоздаешь на поезд.

С необыкновенным облегчением покидал Энтони этот дом и все же ему было жаль старика: не потому что все его богатство не могло вернуть «ни молодости, ни здорового желудка», а скорее из-за того, что он попросил Энтони устроить свадьбу именно здесь, и еще из-за того, что забыл такие детали женитьбы собственного сына, которые полагалось бы помнить.

Ричард Кэрэмел, который был одним из шаферов, явился в последние недели причиной немалого беспокойства Энтони и Глории, постоянно оттесняя их из центра общественного внимания. «Демон-любовник» был опубликован в апреле, чем сразу нарушил течение их романа, как нарушал, можно сказать, все, с чем приходил в соприкосновение его автор. Это было в высшей степени оригинальное, хотя и несколько грешащее излишней детализацией, жизнеописание некоего Дон Жуана нью-йоркских трущоб. Как утверждали в один голос Мори и Энтони до того, и отмечали наиболее доброжелательные критики после, в Америке не было автора, с такой силой отразившего во многом атавистичные и, в общем-то, грубые чувства представителей этой прослойки общества.

Некоторое время книга пребывала как бы в подвешенном состоянии, а потом вдруг «пошла». Переиздания — сначала малым тиражом, потом все больше, — опережая друг друга стали выходить чуть ли не каждую неделю. Официальный представитель Армии Спасения осудил книгу, как циничное искажение всех позитивных тенденций, которые как раз набирали силу среди обитателей «дна». Ухватистые пресс-агенты распространили слух, что «Джипси» Смит возбуждает дело о клевете, потому что один из главных персонажей романа является, якобы, карикатурой на него. Книга была изъята из публичной библиотеки города Берлингтон, шт. Айова, а некий средне-западный обозреватель намекнул, что сам Ричард Кэрэмел пребывает в настоящее время в санатории на излечении от белой горячки.

Автор на самом деле проводил свои дни в состоянии близком к умиленному умопомрачению. Книга занимала три четверти времени в его разговорах — он постоянно донимал всех самыми последними новостями о своем романе; он мог войти в магазин и громким голосом заказать несколько экземпляров с доставкой на дом, — и все это для того, чтоб привлечь к себе хоть кроху внимания какого-нибудь помощника продавца или покупателя. Он постоянно, с точностью до города, знал, в какой части страны книга продавалась лучше всего, точно помнил что правил в тексте для каждого переиздания, и когда встречал кого-нибудь, кто еще не читал романа или — как бывало гораздо чаще — даже не слышал о нем, повергался в состояние глубокой депрессии.

Таким образом, для Энтони и Глории было вполне естественно прийти к рожденному завистью выводу, что он так раздулся от собственного тщеславия, что стал настоящим занудой. Глория, к великому негодованию Дика, стала всем подряд хвастать, что не читала «Демона-любовника» и не собирается этого делать, пока о нем вовсе не перестанут говорить. На самом деле у нее просто не было времени читать, потому что уже начинался поток подношений — сначала довольно вялый, затем подобный горному обвалу; он содержал в себе все — от безделушек, презентованных давно забытыми друзьями семьи, до фотографий не менее забытых бедных родственников.

Мори преподнес изысканный «набор для напитков», состоявший из нескольких серебряных кубков, шейкера и набора штопоров. Дик не отважился на такие траты и подарил чайный сервиз от Тиффани. От Джозефа Бликмана пришли простые, но весьма изящные дорожные часы и визитная карточка. Даже Баундс подарил сигаретницу; это растрогало Энтони чуть ли не до слез — да и на самом деле, было вполне естественно ожидать любого

проявления эмоций, вплоть до буйной истерики, у этой полудюжины людей, которые были просто смятены этим невиданным валом жертвоприношений на алтарь условности. Специально отведенная для этой цели комната была завалена подарками друзей по Гарварду, людей, которые имели хоть какое-то отношение к деду Энтони, напоминаниями Глории о днях в Фармоверовской школе и весьма жалостными трофеями от ее бывших кавалеров, которые сопровождались обычно полными скрытого смысла меланхолическими посланиями на карточках, тщательно упрятанных в недра подарка, начинавшимися: «Я и подумать не мог...» или «Уверен, что желаю вам всяческого счастья...» или даже «Когда Вы получите это письмо, я уже буду на пути в...»

Самый щедрый дар оказался одновременно и самым горьким разочарованием. Это была концессия от Адама Пэтча — чек на пять тысяч долларов.

Энтони к большинству подарков отнесся безучастно. Его неотступно преследовала мысль, что теперь в течение грядущего полустолетия они просто обязаны будут следить за изменением семейного статуса всех своих знакомых. Зато Глория радовалась каждому; с нетерпеливостью собаки, откапывающей кость, раздирала она оберточную бумагу и рылась в упаковочной стружке, затаив дыхание хваталась за ленту или металлический край и, вытащив наконец на свет божий всю вещь, критически осматривала ее, и никаких эмоций, кроме напряженного интереса, не отражалось на ее сосредоточенно серьезном лице.

— Взгляни-ка, Энтони!

— По-моему, чертовски мило!

И никакого ответа, пока часом позже она не даст ему обстоятельного и точного отчета, как ей понравился подарок, выиграл ли бы он от того, если б был больше или меньше, была ли она удивлена, получив его, и если была, то насколько именно.

Миссис Гилберт без конца обставляла и переобставляла их воображаемый дом, распределяя подарки по разным комнатам, быстро определяя их как «часы, но не самые лучшие», или «столовое серебро на каждый день», и смущая Энтони и Глорию полушутливыми намеками на комнату, которую называла детской. Подарком старого Адама Пэтча она была просто умилена, и тут же определила, что у него «по-настоящему» очень древняя душа. В силу того, что Адам Пэтч так и не смог решить, имела ли она в виду его прогрессирующее слабоумие или просто щеголяла своей метемпсихической терминологией, нельзя сказать, чтобы это ему понравилось. А в разговорах с Энтони он называл ее не иначе как «эта старуха мать», словно она была персонажем комедии, которую он видел уже много раз. В отношении Глории он так и не составил определенного мнения. Она ему нравилась, но, как она сама сказала Энтони, дед, видимо, решил, что она легкомысленна и похвалы не пойдут ей на пользу.

Пять дней! На лужайке в Тэрритауне уже строили помост для танцев. Четыре дня! Был заказан специальный поезд, чтобы доставить гостей из Нью-Йорка и отвезти обратно. Три дня!..

Дневник

Она была уже одета в голубую шелковую пижаму и стояла возле своей кровати с рукой на выключателе, готовая погрузить комнату во тьму, как вдруг передумала и, открыв ящик стола, вытащила небольшую книжицу в черном переплете — это был ее дневник. Она вела его уже семь лет. Многие из карандашных записей почти невозможно было прочесть, некоторые заметки относились к дням и ночам давно позабытым, и хотя начинался он сакраментальным «Я собираюсь вести эти записи для моих детей», это не был в полном смысле слова личный дневник. Когда она переворачивала страницы, казалось, что с них, сквозь полустершиеся буквы имен, глядят на нее глаза множества мужчин. Вот с этим она впервые отправилась в Нью-Хэйвен — в 1908 году, когда ей было шестнадцать, и в Йеле были в моде подкладные плечи; она была в восторге, потому что за ней «ухлестывал» весь вечер сам «Бомбардир Мишо». Она вздохнула, вспомнив взрослого фасона атласное платье,

которым так гордилась, и как оркестр играл «Яма-яма, май яма мэн» и «Джангл-таун». Как давно это было!.. а имена: Элтиндж Рирдон, Джим Парсонс, «Кудряшка» Мак-Грегор, Кеннет Коуэн, Фрай «Рыбий глаз» (который нравился ей именно своей некрасивостью), Картер Керби — он как-то прислал ей подарок, и Тюдор Бэрд тоже присылал... Марти Реффер, первый мужчина, в которого она была влюблена дольше одного дня, и Стюарт Холком, который увез ее на машине за город и пытался силой заставить выйти за него замуж. И Лэрри Фенвик, которым она не переставала восхищаться, потому что однажды он сказал ей, что если она не поцелует его, то может убраться из машины и идти домой пешком. Ах, что за список!

...Но в конце концов устаревший. Теперь она любила, готовилась к вечной любви, которая должна была вобрать в себя все, что она научилась чувствовать раньше, и все-таки ей было грустно, она сожалела обо всех этих мужчинах, о лунных вечерах, о своих бесконечных «переживаниях», и, конечно, о поцелуях. Прошлое... но это было ее прошлое, и сколько в нем было радости! И счастье было в ее жизни.

Рассеянно скользя по страницам, глаза ее едва останавливались на разрозненных записях последних месяцев. Но в самые недавние она вчиталась внимательнее.

1 апреля. Я уверена, что Билл Карстерс возненавидит меня за то, что я была так нелюбезна, но иногда я просто не переношу быть слишком чувствительной. Мы ехали в Рокиер-клуб, за деревьями кралась совершенно волшебная луна. А мое серебряное платье совсем износилось. Даже смешно, как просто забываются другие ночи в Рокиере — с Кеннетом Коуэном, когда я так его любила!

3 апреля. После двух часов со Шредером, у которого, как мне сказали, миллионы, я поняла, что необходимость долго говорить о чем-то одном просто изматывает меня, в особенности, когда «это» — мужчина. В конце концов, к чему такие жертвы — с сегодняшнего дня клянусь просто наслаждаться. Мы говорили «о любви» — что за банальность! Интересно, со сколькими мужчинами я говорила о любви?

11 апреля. Пэтч на самом деле позвонил сегодня! А ведь когда отрекался от меня примерно месяц назад, был просто вне себя от ярости. Я постепенно перестаю верить, что чувства могут смертельно ранить мужчину.

20 апреля. Провела целый день с Энтони. Может, я когда-нибудь и выйду за него. Мне нравятся его идеи, он пробуждает все оригинальное, что есть во мне. Около десяти появился «Блокхэд» и на своей новой машине повез меня на Риверсайд-драйв. Сегодня он мне понравился — такой предупредительный. Он понял, что я не хочу разговаривать, поэтому всю дорогу молчал.

21 апреля. Проснулась, думая об Энтони, и он конечно позвонил; голос его так мило звучал в трубке, что я отменила ради него свидание. Сегодня я чувствую, что ради него могла бы отменить что угодно, включая десять заповедей и самое себя. Он придет в восемь, я надена розовое платье и буду выглядеть свежо и невинно...

На этом месте она задержалась, вспомнив, что после того как он ушел, она раздевалась, вздрагивая от льющейся в окна апрельской прохлады. И все же она не чувствовала холода, согретая теми проникновенными банальностями, которые все еще горели в сердце.

Следующая запись была сделана несколькими днями позже.

24 апреля. Я хочу выйти замуж за Энтони, потому что мужья слишком часто — только «мужья», а мне нужен человек, которого я могу любить.

Существует четыре основных типа мужей.

1. Муж, который предпочитает вечером сидеть дома, не имеет порочных наклонностей и работает, чтоб получать зарплату. В высшей степени нежелателен.

2. Вечный тип собственника, который полагает, что жена существует лишь для того, чтоб доставлять ему удовольствие. Что-то вроде павлина, остановившегося в развитии; такие всякую хорошенькую женщину считают пустышкой.

3. Следующим идет боготворитель, делающий из жены идола, ставящий ее превыше всего в жизни, до полного забвения остального. Такому лучше всего подойдет в жены

умеющая хорошо изображать чувства притворщица. Боже, как это, должно быть, утомительно — разыгрывать из себя праведницу.

4. И Энтони — временами страстный любовник, у которого хватит рассудка понять, когда это кончится, и вообще, хватает ума сознавать, что это непременно кончается. Поэтому я хочу выйти замуж за Энтони.

Какими все-таки червями должны быть женщины, готовые ползти на брюхе через свой постылый брак. Семейная жизнь нуждается конечно в декорациях, но не должна сама превращаться в них. Мой брак будет необыкновенным. Он не может, не должен стать просто декорацией — он будет самым представлением, живым, прекрасным, романтическим спектаклем, и сценой для него должен стать весь мир. Отказываюсь посвящать свою жизнь потомству. Конечно, любой настолько же в долгу перед своим поколением, насколько и перед своими нежеланными потомками. Что за судьба — толстеть, становиться бесформенной тушей, терять любовь к себе, вертеться в кругу мыслей о молоке, овсянке, няньках и пеленках... Насколько милее сердцу воображаемые дети — очаровательные крошки, порхающие (все воображаемые дети непременно должны порхать) на золотистых крылышках...

Жаль только, что они, бедняжки, имеют так мало общего с семейной жизнью.

7 июня. Вопрос этический: надо ли было влюблять в себя Бликмана? Потому что, на самом деле, я именно это и сделала. Сегодня вечером он был почти очаровательно печален. Это оказалось так к месту, что у меня перехватывало дыхание, и я готова была заплакать. Но он уже прошлое — убран в шкаф и переложено лавандой.

8 июня. Сегодня я пообещала не кусать губы. Думаю, что смогу, но лучше бы он попросил меня не есть!

Выдуваем пузыри — вот что мы делаем с Энтони. Сегодня получались просто замечательные; они лопаются, а мы выдуваем все больше и больше. Думаю, так и будет, пока у нас не кончатся вода и мыло.

На этой ноте дневник кончался. Она принялась перелистывать его обратно, через восьмые июня 1912, 1910, 1907 годов. Самая ранняя запись кудрявилась пухленьким округлым почерком шестнадцатилетней девочки — это было имя, Боб Ламар, и еще одно слово, которое она не могла разобрать. Потом она поняла, что это было, и ощутила, как на глаза навернулись слезы. Перед ней в неясных сероватых очертаниях, полуистаявшая, как и тот сокровенный вечер на мокрой от дождя веранде семь лет назад, была запись о ее первом поцелуе. Казалось, еще чуть-чуть и она вспомнит, о чем они говорили в тот вечер; но не получилось.

Страницу совсем заволочло слезным туманом. Она плакала, сказала она себе, потому что может припомнить только дождь, мокрые цветы во дворе, резкий запах сырой травы.

...Потом она нашла карандаш. Держа его в дрожащих пальцах, она подчеркнула последнюю запись тремя жирными линиями, написала ниже большими печатными буквами слово «КОНЕЦ» и, спрятав книжку обратно в стол, скользнула в постель.

Дыхание пещеры

Вернувшись к себе после прощального обеда с друзьями, Энтони быстро выключил свет и, ощущая себя бестелесным и хрупким, словно фарфоровая чашка, ожидающая своего часа на сервировочном столике, повалился в кровать. Ночь была теплая — даже под одной простыней он чувствовал себя достаточно комфортно; сквозь раскрытые окна доносился будящий странные предчувствия смутный гул, какой можно услышать только летом. Энтони думал о том, что вот уже остались позади яркие, но пустые молодые годы, прошедшие под знаком не требующего особых усилий, да, в общем, и беззлобного глумления над прописными эмоциями людей, давно ставших прахом. Но теперь он узнал, что существует в жизни нечто выше этого. Это было единение его души с душою Глории, чье первородное сияющее пламя и есть тот самый живой материал, из которого возникает мертвая красота

книг.

Из самых недр ночи в его высокую комнату непрерывно струился то нарастающий, то едва уловимый утробный гул — словно город, как ребенок, играющий в мяч, что-то отшвыривал от себя и тут же снова старался поймать. В Гарлеме, Бронксе, Грамерси-парке, во всех припортовых кварталах, в крохотных гостиных или на усыпанных гравием, залитых лунным сиянием крышах этот звук производили тысячи влюбленных, выдыхая мельчайшие его фрагменты прямо в воздух. В синем сумраке летней ночи весь огромный город забавлялся этим звуком, выталкивая его вверх и тут же втягивая обратно, словно обещая, что еще чуть-чуть — и жизнь станет прекрасной как сказка, обещая счастье — и уже самим этим обещанием давая его. Самой своей неистребимой непрерывностью этот звук давал надежду любви. Так чего же еще?

Именно в этот момент из нежного стенанья ночи резким диссонансом выделилась новая нота. Звук доносился из заднего окна, источник его был не больше чем в сотне футов — звук женского смеха. Он начался тихо, непрерывный и стонущий — какая-нибудь горничная со своим дружком, подумал Энтони, — потом стал громче, и в нем все прибавлялось истеричных нот, пока он не напомнил Энтони безудержно хохотавшую девушку, которую он видел в водевиле. Тут смех затих, как будто прекратился, но только, чтоб начаться вновь, и уже со словами — какая-то грубая шутка, фраза из скабрёзного анекдота, — он так и не разобрал. Пауза длилась всего секунду, Энтони успевал уловить басовитое рокотанье мужского голоса, — но тут все начиналось вновь; и так до бесконечности, сначала только раздражая, потом почему-то приводя в ужас. Энтони передернуло и, поднявшись с кровати, он подошел в окно. Смех, напряженный и задышающийся, достиг своего апогея, перешел почти в крик — потом внезапно смолк, оставив после себя пустоту, зияющую и грозную, как та бесконечная пустота где-то там, вверху. Энтони постоял немного у окна перед тем, как вернуться в постель. Он чувствовал себя расстроенным и сбитым с толку. Из всех сил старался он подавить в себе это ощущение, но что-то безудержно-животное, таившееся в этом смехе, властно приковало к себе его мысли и впервые за последние четыре месяца возбудило его застарелое, переходящее в ужас отвращение ко всему этому процессу, именуемому жизнью. В комнате сделалось душно. Ему захотелось вылететь наружу, подняться на целые мили над городом, окунуться в холодный пронизывающий ветер, и замереть бесчувственно и отрешенно, существуя лишь потаенными углами ума. А жизнь — она лишь этот смех в ночи, неистово множась стон женской утробы.

— Господи, Боже мой! — выкрикнул он, глубоко и судорожно вздыхая.

Зарываясь лицом в подушку, он тщетно пытался занять свой ум делами грядущего дня.

Утро

Очнувшись в сером полумраке, он обнаружил, что было только пять часов. Он обругал себя, что проснулся так рано — на собственную свадьбу не рекомендуется являться усталым — и позавидовал Глории, которая хоть могла скрыть это надлежащей пигментацией.

В ванной он оглядел себя в зеркале и обнаружил, что необычайно бледен — на фоне этой утренней бледности ярче выступило с полдюжины других мелких недочетов его внешности; кроме того, за ночь отросла небольшая щетина, — оценив общий эффект, он признал, что находится не в лучшей форме, выглядит изможденным и полубольным.

На туалетном столике валялись в беспорядке вещи, которые нельзя было забывать; он перебрал их сделавшимися вдруг ватными пальцами — билеты в Калифорнию, книжка дорожных чеков, его часы, поставленные с точностью до полуминуты, ключ от квартиры, который он должен был не забыть отдать Мори и — самое важное — кольцо. Оно было платиновое, с маленькими изумрудами по ободку; Глория настояла на этом — она говорила, что всегда хотела обручальное кольцо с изумрудами.

Это был третий подарок, который он делал Глории; сначала было кольцо к помолвке, потом небольшой золотой портсигар. А теперь ему надлежало обеспечивать ее множеством вещей: платьями и драгоценностями, друзьями и развлечениями. Казалось нелепым, что теперь ему придется платить за все ее обеды и ужины. А в итоге получалось немало; он стал соображать, достаточно ли взял денег на поездку, и не надо ли обменять на наличные более крупный чек. Этот вопрос беспокоил его.

Потом захватывающая дух близость главного события отмела все мелкие соображения. Ведь это был день еще шесть месяцев назад немыслимый, нежеланный, а сейчас разгорающийся восходом в восточном окне, пританцовывающий на ковре, будто само солнце радовалось своей древней, бесконечно повторяющейся шутке.

— Черт побери, — пробормотал он, нервно усмехаясь, — я уже, можно сказать, женат!

Шаферы

Шестеро молодых людей в библиотеке «С е р д и т о г о П э т ч а», всё веселея под влиянием сухого «Мумм», спрятанного тайком в ведерках со льдом среди книжных шкафов.

Первый молодой человек. Не сойти мне с места! Клянусь, в следующей книге опишу свадебную сцену, которая сразит всех наповал!

Второй молодой человек. Кстати, встретил вчера одну дебютантку, она сказала, что ты написал просто мощную книгу. Как правило, эти молоденькие девушки падки на всякий примитив.

Третий молодой человек. А где Энтони?

Четвертый молодой человек. Бродит где-то по дому и разговаривает сам с собой.

Второй молодой человек. Ха! А ты священника заметил? Я таких странных зубов в жизни не видал!

Пятый молодой человек. Но они хоть настоящие. А некоторые чудачки вставляют себе золотые зубы.

Шестой молодой человек. Кому что нравится. Мой дантист рассказывал однажды, как к нему пришла женщина и потребовала, чтоб он поставил ей две золотые коронки. Без всякой причины. Просто ей так захотелось.

Четвертый молодой человек. Слыхал, ты выпустил книжку, Дики. Поздравляю!

Дик (*сдержанно*). Спасибо.

Четвертый молодой человек (*невинно*). О чем там? Какие-нибудь студенческие байки?

Дик (*еще более сдержанно*). Нет. Вовсе не студенческие байки.

Четвертый молодой человек. Жаль! Никто уже лет сто ничего толкового о Гарварде не написал.

Дик (*с обидой в голосе*). Почему бы тебе не заполнить этот пробел?

Третий молодой человек. Мне кажется, я вижу целую толпу гостей, только что свернувшую с дороги в «паккарде».

Шестой молодой человек. Может, откроем по этому случаю еще пару бутылок?

Третий молодой человек. Я просто обалдел, когда мне сказали, что старик разрешил устроить свадьбу со спиртным. Ведь он же ярый сторонник сухого закона.

Четвертый молодой человек (*с досадой прищелкнув пальцами*). Вот черт! Знал ведь, что обязательно что-то забуду. Все время помнил, что надо не забыть жилетку надеть.

Дик. Что забыл?

Четвертый молодой человек. Вот черт! Ну ты подумай!

Шестой молодой человек. Да в чем дело, в конце концов? Что за трагедия?

Второй молодой человек. Что ты забыл? Дорогу домой?

Дик (*с издевкой*). Он забыл сюжет своей книги о Гарварде.

Четвертый молодой человек. Нет, сэр, гораздо хуже, я забыл о подарке! Забыл купить старине Энтони подарок. Все откладывал, да откладывал, а потом забыл! Что люди подумают?

Шестой молодой человек (*веселясь*). А, так вот, наверное, почему не начинают.

(Четвертый молодой человек нервно взглядывает на часы. Общий смех.)

Четвертый молодой человек. Нет, ну черт возьми! Что я за осел такой!

Второй молодой человек. А как вам нравится подружка невесты, которая думает, что она Нора Баэз? Все уши мне прожужжала о том, как ей хочется, чтоб это была свадьба в стиле рэгтайм. Фамилия у нее Хэйнс или Хэмптон.

Дик (*торопливо прищипывая воображение*). Кэйн, ты имеешь в виду? Мюриэл Кэйн. Ну, это что-то вроде долга чести, я полагаю. Однажды она спасла Глорию, когда та стала тонуть, или что-то вроде того.

Второй молодой человек. Как же она смогла прервать свое тазовращение, пока плыла? Долей-ка мне, если тебе не трудно. Кстати, мы только что прекрасно поговорили со стариком о погоде.

Мори. С каким стариком? Со старым Адамом?

Второй молодой человек. Не, с отцом невесты. Он, наверное, из бюро прогнозов.

Дик. Отис, он все-таки мой дядя.

Отис. А что такого? Вполне приличная профессия. (*Смех.*)

Шестой молодой человек. Так значит, невеста — твоя двоюродная сестра?

Дик. Да, Кэйбл, она моя сестра.

Кэйбл. Она конечно красавица. В отличие от тебя, Дики. Держу пари, она призовет старину Энтони к порядку.

Мори. Почему всем женихам присваивают титул «старина»? Я полагаю, брак — это ошибка молодости.

Дик. Мори, ты профессиональный циник.

Мори. А ты, в таком случае, интеллектуальный жулик!

Пятый молодой человек. Отис, тут схватка высоколобых. Спешу, подбирай крохи мудрости.

Дик. Сам ты жулик! Ты же ничего не знаешь!

Мори. Зато ты у нас — кладезь премудрости.

Дик. Спрашивай о чем угодно. Из любой области знания.

Мори. Прекрасно. В чем заключается фундаментальный принцип биологии?

Дик. Да ты сам не знаешь.

Мори. Не увливай!

Дик. Ну, естественный отбор.

Мори. Неправильно.

Дик. Сдаюсь.

Мори. Филогения есть отражение онтогении.

Пятый молодой человек. На, получи!

Мори. Еще вопрос. Каково влияние мышей на урожайность клевера? (*Смех.*)

Четвертый молодой человек. А каково влияние крыс на Десять заповедей?

Мори. Заткнись, недоумок. На самом деле связь есть.

Дик. В чем же она состоит?

М о р и (*в растущем замешательстве*). Подожди, дай подумать. Забыл, как бы это поточнее. Что-то насчет того, что пчелы едят клевер.

Ч е т в е р т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. А клевер ест мышей! Ха-ха-ха!

М о р и (*нахмуриваясь*). Дайте минуту подумать.

Д и к (*внезапно выпрямляясь*). Послушайте!

(Из соседней комнаты доносятся раскаты веселого смеха. Шестеро молодых людей поднимаются, поправляя свои галстуки.)

Д и к (*авторитетно*). Нам лучше присоединиться к этим воякам. Полагаю, они собираются фотографироваться. Нет, это потом.

О т и с. Кэйбл, ты берешь на себя «рэгтаймшу».

Ч е т в е р т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. Черт, лучше бы я этот подарок по почте послал.

М о р и. Если вы дадите мне еще минуту, я додумаю эту мысль с мышами.

О т и с. В прошлом месяце я был шафером на свадьбе у старины Чарли Макинтайра и...

(Все медленно продвигаются к дверям, шум голосов становится похож на вавилонское столпотворение, среди которого слышны протяжные жалобные всхлипы органа Адама Пэтча, готовящегося взять пробные аккорды увертюры.)

Энтони

Пять сотен глаз буравили спину его свадебного фрака, и на неуместно буржуазных зубах священника сверкали солнечные блики. Он с трудом сдерживал смех. Глория что-то говорила звенящим от гордости голосом, и он заставлял себя думать, что происходящее сейчас не повторится больше никогда, что каждый миг полон значения, что именно в эти секунды его жизнь рассекается надвое, и самое лицо мира меняется у него на глазах. Он старался возродить то чувство экстаза, которое почти не покидало его десять недель назад, но все ощущения тех дней куда-то пропали, сейчас он не мог вызвать в себе даже простого нервного возбуждения — все казалось гигантской концовкой непонятно чего. Да еще эти золотые зубы! Ему стало интересно, женат ли священник; потом совсем не к месту заинтересовала проблема: может ли священник обвенчать сам себя...

Но когда он обнял Глорию, что-то неожиданно мощное буквально пронизало его. Кровь заструилась в его жилах. Нечто осязательно-весомое и вместе с тем приятное снизошло на него, неся с собой чувство ответственности и обладания. Он был женат.

Глория

Такое множество настолько спутанных эмоций, что ни одну из них нельзя было выплести из других! Хотелось плакать от жалости к матери, которая сама тихо плакала в нескольких шагах позади, и от невыразимой прелести июньского сияния, лившегося в окна. Сознание, казалось, отключилось. Только расцвеченное горячечным волнением ощущение безусловной важности всего происходящего — и вера, яростная и страстная, горящая в ней как молитва вера, что вот еще мгновение, и она окажется навеки в полной безопасности.

Однажды поздно вечером они приехали в Санта-Барбару, и ночной портье в отеле «Лакфаддио» отказался принять их на том основании, что они не женаты.

Этот клерк понимал, что Глория прекрасна. И не допускал мысли, что нечто столь прекрасное как Глория может иметь что-то общее с моралью.

«Con Amore»

Те первые полгода — поездка на Запад, месяцы ленивого блуждания по калифорнийскому побережью, серый дом вблизи Гринвича, где они жили, пока поздняя осень не сделала сельский пейзаж чересчур удручающим, — те дни и те места видели восхитительные часы. Захватывающая дух идиллия их помолвки уступила место сначала пылкой романтике более страстных отношений, но и эта захватывающая идиллия осталась позади, ускользнув к другим влюбленным; просто однажды они огляделись — а ее уже нет, и как это случилось, они едва ли сами понимали. Если б один из них ушел из жизни в дни той идиллии, то у другого осталось бы смутное неутолимое желание, которое может составить смысл существования. Но волшебство должно спешить дальше, а влюбленные остаются...

Идиллия минула, унося как непомерную плату за себя юность. Настал день, когда Глория обнаружила, что другие мужчины больше не раздражают ее; настал день, когда Энтони открыл, что опять не прочь засидеться вечером, болтая с Диком о тех потрясающих отвлеченностях, которые когда-то занимали все его мироздание. Зная, что уже взяли у любви все лучшее, они учились дорожить тем, что осталось. Теперь они длили любовь — долгими ночными разговорами, до тех застывших часов, когда ум, утончаясь, становится острым, а образы, взятые взаймы у снов, делаются тканью самой жизни; глубоко интимными проявлениями доброты друг к другу, которую учились находить в себе; смехом над тем, что обоим казалось глупо; сходными мыслями о благородстве и печали.

Но, прежде всего, это было время открытий. Черты, которые они открывали друг в друге, порой бывали столь противоречивы, так переплетены и вдобавок так обильно политы сиропом любви, что они вовсе не были склонны рассматривать их как нечто стоящее внимания — скорее, как случайные явления, о которых нужно узнать и тут же забыть. Энтони, например, обнаружил, что живет с девушкой в высшей степени вспыльчивой и неистово эгоистичной. Не прошло и месяца, как Глория, в свою очередь, узнала, что ее супруг постоянно и панически боится целого сонмища призраков, созданных его собственным воображением. Процесс этот, насколько она понимала, отличался цикличностью: боязнь то внезапно нарастала, становясь почти непристойно очевидной, то слабела до такой степени, что порой казалась Глории плодом ее собственной выдумки. Реакцию Глории на все это едва ли можно было назвать женской — в ней не обнаружилось ни презрения, ни поспешного материнского чувства. Сама практически лишенная чувства физического страха, она ничего не понимала, но прилагала максимум усилий к тому, чтоб находить в поведении Энтони черты, искупающие эту слабость; пусть в состоянии сильной взволнованности или нервного напряжения, когда совсем уж разыгрывалось воображение, он оказывался таким трусом, но ведь было в нем что-то вроде безрассудной отваги, которая, в те редкие минуты, когда проявлялась, вызывала почти восхищение Глории; была в нем и гордость, обычно заставлявшая держать себя в руках, когда он знал, что за ним наблюдают.

Сначала эта черта проявила себя в нескольких инцидентах просто как повышенная нервозность — его выговор таксисту в Чикаго за то, что тот слишком быстро ехал, отказ повести ее в одно из пользующихся дурной славой кафе, куда она так хотела попасть; все это, конечно, можно было объяснить, не выходя за рамки здравого смысла — он заботился прежде всего о ней, тем не менее слишком частое повторение этих случайностей настораживало ее. А после случая в Сан-Франциско, когда они были женаты неделю, подозрения ее переросли в уверенность.

Было за полночь, в комнате царил глубокий мрак. Глория уже засыпала и, слыша рядом ровное дыхание Энтони, думала, что он тоже спит, как вдруг увидела, что, приподнявшись на локте, он уставился в окно.

— Что такое, дорогой? — пробормотала она.

— Ничего, — он откинулся на подушку и повернулся к ней, — ничего, милая женушка.

— Не называй меня женой. Я твоя возлюбленная. «Жена» — такое противное слово. «Постоянная любовница» точнее, и мне больше нравится... Иди ко мне, — добавила она

в порыве нежности. — Мне так хорошо спится, когда я обнимаю тебя.

«Прийти» к Глории значило нечто вполне определенное. Для этого требовалось просунуть одну руку ей под плечи, сцепить руки у нее на груди, и как можно теснее прижаться к ней, изобразив из себя что-то вроде детской колыбельки, в которой ей было бы тепло и уютно. А Энтони, привыкший вертеться во сне, с окончательно затекающими после получаса таких упражнений руками, должен был ждать, пока она не заснет, и только после этого, нежно откатив ее на другую половину кровати, мог заняться собой и свернуться так, как было удобно ему.

Чувствуя, что ее любят, Глория наконец погрузилась в сон. На дорожных часах, подаренных Бликманом, протекло пять минут; на незнакомой и безликой мебели, на всем, что находилось в комнате, лежала тишина, и почти гнетущий потолок безмолвно таял по углам, переходя в невидимые стены. Вдруг что-то резкой стрекочущей дробью прошлось по стеклу; в безмолвном, сгустившемся воздухе звук получился отрывистым и громким.

Энтони рывком вскочил с кровати и замер рядом.

— Кто там? — выкрикнул он испуганно.

Глория лежала тихо, она уже совсем проснулась, но внимание ее занимал не столько этот треск, сколько замершая, затаившая дыхание фигура мужа, чей вопль прозвучал так жутко в этой зловещей темноте.

Звук прекратился, комната снова погрузилась в тишину — потом голос Энтони, торопливо бормочущий в трубку:

— Только что кто-то пытался проникнуть в комнату!.. Там, за окном кто-то есть! — Теперь голос его звучал настойчиво, хотя в нем еще чувствовалась дрожь. — Хорошо! Побыстрее... — Он повесил трубку и снова замер в неподвижности.

...У дверей послышался шорох, возня, потом постучали. Энтони открыл, на пороге показались взволнованный ночной портье и трое столпившихся позади, глазающих у него из-за плеча, коридорных. Большим и указательным пальцами портье угрожающе, словно оружие, сжимал перьевую ручку, один из коридорных вооружился телефонной книгой и теперь диковато косился на нее. Тут к группе присоединился поспешно вызванный гостиничный детектив, и все они, как один, разом ввалились в комнату.

Щелкнул выключатель, и все залило светом. Натягивая на себя одеяло, Глория зажмурила глаза и, наклонив голову, отвернулась, чтобы не видеть ужаса этого ни с чем не сообразного визита. В ее потрясенном сознании не было и следа другой мысли, кроме той, что ее Энтони совершил нечто позорное.

...Ночной портье говорил, стоя возле окна, и его тон больше подошел бы учителю, отчитывающему школьника, нежели слуге.

— Там никого нет, — вешал он безапелляционно, — да и быть не может. До земли добрых пятьдесят футов, целая пропасть, Боже ты мой. Вы просто услышали, как ветром дергает ставни.

— Ага...

Тогда ей стало жаль его. Захотелось успокоить, вновь нежно обвить руками, а этим всем сказать, чтоб они убирались, потому что то, из-за чего они пришли, было просто отвратительно. Но от стыда она не могла даже поднять головы. Она слушала обрывки фраз, извинения, слова, которые обычно говорят в таких случаях, несдержанный смешок одного из коридорных.

— Весь вечер я был чертовски взвинчен, — говорил Энтони, — и вот этот звук так подействовал на меня... я уже заснул наполовину.

— Да, да, я понимаю, — отвечал портье с приятным тактом, — с самим такое бывает.

Дверь закрылась, свет погас, Энтони тихо прошел по комнате и забрался в постель. Глория, делая вид, что так и не проснулась окончательно, тихонько вздохнула и скользнула к нему под руку.

— Что это было, дорогой?

— Ничего, — ответил он все еще чуть дрожащим голосом. — Я подумал, что кто-то

подкрался к окну, подошел посмотреть, но никого не увидел. Шум продолжался, поэтому я позвонил вниз. Извини, если потревожил тебя, но что-то я сегодня себя чертовски нервно чувствую.

Она внутренне вздрогнула, поняв, что он лжет — ведь он не подходил к окну, даже попытки не делал. Он постоял возле кровати, а потом от страха стал звонить.

— Ах, — вздохнула она и добавила. — Так спать хочется.

Примерно час они лежали рядом, не засыпая. Глория, так плотно зажмурилась, что перед ее мысленным взором возникли две голубые луны, которые бешено вертелись в непередаваемом лилово-розовом пространстве; Энтони, слепо уставившись во мрак над головой.

И лишь по прошествии многих недель, постепенно, все, что случилось в ту ночь, с помощью смеха и шуток, было извлечено на свет Божий. Они нашли и способ справиться с этим — когда бы сей неодолимый ночной ужас ни напал на Энтони, она лишь обовьет его руками и проворкует чуть слышно:

— Никому не отдам моего Энтони. Никто его не обидит.

Он обычно смеялся, воспринимая это просто как сценку, которую они разыгрывали для обоюдного удовольствия, но для Глории это никогда не было шуткой. Сначала это было глубокое разочарование, а потом ей всякий раз приходилось держать себя в руках.

А одной из главных повседневных забот Энтони постепенно сделалась необходимость справиться с раздражением Глории — портилось ли ее настроение из-за отсутствия горячей воды для ванны или просто от желания повздорить с мужем. А для этого только-то и требовалось: здесь — всего лишь промолчать, там — настоять на своем, в ином случае — чуть-чуть уступить, а иногда — просто заставить. Главным образом, непомерное своеобразие Глории проявлялось в приступах гнева, сопровождаемых вспышками жестокости. В силу природного бесстрашия и уверенности в собственной «избалованности», в силу неистовой и даже похвальной независимости суждений, и, наконец, благодаря сознанию, что она никогда не встречала девушки столь же красивой, как она сама, Глория развилась в последовательного, претворяющего свое учение в жизнь нищанца. И все это, естественно, с глубоким чувством.

Взять, к примеру, ее желудок. Привыкнув к определенным блюдам, она имела стойкое предубеждение против всех остальных. Поздний завтрак должен был состоять из лимонада и сэндвича с помидорами, потом легкий ланч из фаршированных, опять же, помидоров. Она требовала не просто выбора из дюжины блюд, готовить их требовалось тоже только определенным образом. Одни из самых неприятных минут в первые две недели после свадьбы они пережили в Лос-Анджелесе, когда несчастный официант принес ей помидор, фаршированный куриным салатом вместо сельдерея.

— Мы всегда готовим так, мадам, — дрогнувшим голосом пояснил он серым глазам, которые метали в него громы и молнии.

Глория промолчала, но когда официант благоразумно удалился, принялась с такой яростью молотить кулачками по столу, что зазвенели серебро и фарфор.

— Бедная Глория, — неосмотрительно рассмеялся Энтони, — все что-нибудь не так, как ей хочется.

— Я не могу это есть! — вся вспыхнула она.

— Сейчас верну официанта.

— Не смей! Он все равно ничего не поймет, проклятый дурак!

— Ну, они тоже не виноваты. Отошли блюдо обратно, или будь умницей и съешь.

— Заткнись! — оборвала она.

— Ну вот, а я в чем виноват?

— Ни в чем, — произнесла она плачущим голосом, — просто я это есть не могу.

Энтони беспомощно промолчал.

— Идем куда-нибудь в другое место, — предложил он.

— Не хочу больше никуда идти. Я устала блуждать по десяткам кафе, где нельзя

получить ничего съедобного.

— Когда это мы блуждали по десяткам кафе?

— А что еще нам остается в этом городе, — убежденно стояла на своем Глория.

Озадаченный Энтони попытался зайти с другой стороны.

— А почему бы тебе не попытаться это съесть? Может оказаться вовсе не так уж плохо.

— Просто потому, что я-не-люб-лю-ку-ри-но-е-мя-со!

Она взяла вилку и принялась брезгливо тыкать ею в помидор, Энтони ждал, что она вот-вот начнет расшвыривать содержимое тарелки во все стороны. Он понимал, что ярость Глории достигла высшей точки — в глазах ее проблескивала ненависть, направленная сейчас как на него, так и на все окружающее, — и в этот момент лучше всего было оставить ее в покое.

И тут он с изумлением увидел, как она нерешительно поднесла вилку ко рту и попробовала салат. Недовольное выражение не исчезло с ее лица, и Энтони настороженно наблюдал, не делая никаких замечаний, стараясь даже не дышать. Она еще попробовала салата — а в следующее мгновение уже просто ела его. Энтони с трудом подавил смех, а когда заговорил, то ни в коем случае не касался темы куриного салата.

Как некая траурная fuga этот инцидент со всевозможными вариациями развивался на протяжении всего первого года их семейной жизни; и неизменно это развитие ставило Энтони в тупик, раздражало и подавляло. Но еще более роковым оказалось для него изнурительное состязание их характеров на поприще мешков с грязным бельем, потому что в результате этих стычек он неизбежно оказывался решительно побежденной стороной.

Однажды в Коронадо, где они, сделав самую долгую остановку в своем путешествии, пробыли больше трех недель, Глория, собираясь к чаю, доводила до полного блеска свою внешность.

Энтони, который был внизу и слушал сводку последних известий о военных действиях в Европе, вошел в комнату, поцеловал ее в припудренную шею и направился к своему туалетному столику. Тщательно и безрезультатно обшарив все ящики, он обернулся к Незавершенному Шедевру.

— Слушай, у нас есть чистые носовые платки? — спросил он. Глория покачала своей золотой головкой.

— Ни единого. Я взяла твой.

— И, я так понимаю, последний, — саркастически усмехнулся он.

— Разве? — Она как раз обводила губы выразительным и очень изящным контуром.

— А из прачечной белье не приносили?

— Понятия не имею.

Энтони постоял в нерешительности, потом, пораженный внезапной мыслью, открыл стеной шкаф. Подозрение подтвердилось. На крюке, готовый к отправке, висел голубой мешок с эмблемой отеля. В нем было белье Энтони — он сам его туда укладывал. Но на полу под мешком громоздилась изрядная куча нескольких иных предметов туалета — женского белья, чулок, платьев, халатов, пижам, — большинство из которых было едва ношено, однако, по разумению Глории, подлежало отправке в стирку.

Он стоял, держа дверь шкафа нараспашку.

— Глория, что это такое?

— Что?

Линия губ подчищалась и корректировалась в соответствии с неким таинственным планом; футляр с помадой не дрогнул в ее пальцах, она даже не взглянула в его сторону. Это был полный триумф сосредоточенности.

— Ты что, ни разу не сдавала белье в стирку?

— А разве оно там?

— По всей видимости, да.

— Значит, не сдавала.

— Глория, — начал Энтони, садясь на кровать и стараясь поймать ее взгляд

в зеркале, — ты просто замечательный товарищ, на тебя во всем можно положиться! С тех пор, как мы уехали из Нью-Йорка, я все время сам отдавал белье в стирку, но примерно неделю назад мы договорились, что теперь твоя очередь. Все, что от тебя требовалось — затолкать этот хлам в мешок и вызвать горничную.

— Господи, ну что ты поднимаешь такой шум из-за этой стирки? — раздражаясь, воскликнула Глория. — Я все сделаю.

— Не поднимаю я никакого шума. Мне это так же неприятно, как и тебе, но когда в доме нет ни единого носового платка, самое время что-то делать по этому поводу.

Энтони считал, что изъясняется в высшей степени логично. Но Глория, видимо, так не считала, она отложила помаду и просто повернулась к нему спиной.

— Застегни-ка мне крючки, — предложила она. — Энтони, дорогой, я просто совсем забыла. Я собиралась, честное слово, и сегодня же сдам. Ну, не сердись на свою крошку.

И что тут оставалось делать Энтони, кроме как посадить ее себе на колени и стереть поцелуем помаду с губ.

— Кстати, я совсем не возражаю, — ворковала она, лучась великодушной улыбкой. — Можешь целовывать с моих губ всю помаду, когда тебе только вздумается.

Они спустились к чаю. В галантерейной лавочке поблизости купили несколько платков. Все было забыто.

Но через два дня Энтони заглянул в шкаф и увидел тот же самый мешок, безмятежно свисавший со своего крюка, зато красноречиво-живописная куча на полу удивительно прибавила в росте.

— Глория! — возопил он.

— О!.. — голос ее был полон неподдельного горя.

Энтони в отчаянии подошел к телефону и вызвал горничную.

— Мне кажется. — начал он укоризненно, — ты ждешь, что я стану у тебя чем-то вроде камердинера.

Глория так заразительно рассмеялась, что Энтони имел глупость улыбнуться в ответ. Несчастный! Тут же, совершенно nepостижимым образом, эта улыбка сделала ее хозяйкой положения. С видом оскорбленной невинности она продефилировала к шкафу и начала с остервенением наталкивать белье и мешок. Энтони наблюдал за ней — и ему было стыдно.

— Вот, пожалуйста, — сообщила она, всем своим видом показывая, что этим бесчеловечным заданием стерла себе пальцы по крайней мере до костей.

Энтони, тем не менее, счел, что преподал ей достаточно предметный урок, и на этом инцидент можно считать исчерпанным, но оказалось, что все только начиналось. Куча грязного белья следовала за кучей — через достаточно длительные промежутки времени; нехватка носовых платков за нехваткой — через более краткие; не говоря уже о постоянном дефиците носков, рубашек и всего прочего. Наконец Энтони понял, что нужно либо самому сдавать все в стирку, либо выдерживать все более ожесточенные словесные баталии с Глорией.

Глория и генерал Ли

Возвращаясь на восточное побережье, они остановились на пару дней и Вашингтоне, с некоторой неприязнью пробуя вписаться в здешнюю атмосферу грубоватой и отталкивающей светскости, в атмосферу отчужденности без свободы, помпезности без великолепия — Вашингтон показался им безликим и неловким. На второй день они отважились на необдуманное путешествие в Арлингтон, где располагался дом-музей генерала Ли.

Автобус, который сразу утомил их, был переполнен разгоряченными, невысокого пошиба людьми, и Энтони, уже достаточно изучивший Глорию, чувствовал, что собирается гроза. И она не замедлила разразиться в зоопарке, где экскурсия остановилась на десять минут. Весь зоопарк, казалось, пропах обезьянами. Энтони посмеивался, зато Глория

призывала все кары небесные на головы ни в чем не повинных животных, а заодно на всех пассажиров автобуса и их потных отпрысков, шумно устремившихся к вольерам.

Наконец автобус продолжил свой путь в Арлингтон. Там он встретился с другими автобусами, и сразу же возникла целая туча женщин и детей, которая, оставляя за собой россыпи арахисовой шелухи, двинулась по комнатам генеральского дома, и в конце концов сгрудилась в той, где генерал Ли женился. На стене этой же комнаты была помещена не лишенная приятности табличка, которая большими красными буквами гласила «Дамский туалет». Под этим ударом Глория сломалась окончательно.

— Какая мерзость! — цедила она разъяренно. — Кому вообще пришло в голову пустить сюда всех этих людей? И кто вообще позволяет делать из таких домов места увеселения?

— Ну, — возразил Энтони, — если б эти дома никто не ремонтировал, они давно бы развалились.

— Ну и пусть! — воскликнула она, когда они как раз пробирались к широкому, украшенному колоннами крыльцу. — Ты думаешь, здесь сохранился хоть какой-нибудь след 1860 года? Да все это целиком принадлежит тысяча девятьсот четырнадцатому.

— Ты что, против сохранения старины?

— Но ведь это невозможно, Энтони. Прекрасное, оно ведь тоже вырастает, потом теряет силы и увядает, а разлагаясь, выделяет из себя то, что мы называем памятью. Когда какой-то период времени исчезает из нашей памяти, вещи, ему принадлежащие, тоже должны исчезнуть; только так они могут сохраниться в тех немногих сердцах, которые, как мое, способны откликаться на них. Например, это старое кладбище в Тэрритауне. А те придурки, которые тратят деньги на их сохранение, только все портят. Спящей Долины больше нет; Вашингтон Ирвинг мертв, и его книги с течением лет превращаются в нашем понимании в труху — так пусть придет в упадок кладбище, как и положено ему, как положено всему на свете. Попытки сохранить какой-то век, подновляя его обломки, напоминают мне старания держать умирающего на лекарствах.

— Значит, ты считаешь, что как только эпоха рассыплется в прах, ее обиталища должны исчезнуть тоже?

— Конечно! Стал бы ты ценить свое письмо Китса, если бы буквы на нем были прописаны заново, чтоб продлить их век. Именно потому, что я люблю прошлое, я хочу, чтоб этот дом помнил славную пору своей юности и красоты, хочу, чтоб лестницы его скрипели, как они скрипели под шагами женщин в кринолинах и мужчин в сапогах со шпорами. А они превратили его в выбеленную и размалеванную шестидесятилетнюю старуху. Он не имеет никакого права иметь такой цветущий вид. Лучшей заботой о памяти Ли будет, если стены время от времени станут ронять кирпичи. И сколько этих... этих животных, — она повела рукой округ, — смогут извлечь хоть что-нибудь из этой поездки из-за всех этих рассказов по истории, путеводителей и реставрационных работ. А многие ли из тех, кто думает, в лучшем случае, что почитание — это разговоры вполголоса и семенение на цыпочках, приедут сюда, если это будет связано хоть с малейшими неудобствами? Я хочу, чтоб здесь пахло магнолиями, а не жареными орешками, хочу, чтоб под моими туфлями шуршал тот самый гравий, в который впечатывались сапоги Ли. Нет красоты без горечи, а горечь рождается чувством, что все в мире преходяще, смертно: люди, имена, книги, дома — всему суждено обратиться в прах...

Тут возле них появился маленький мальчик и, размахнувшись целой гроздью банановых шкурок, доблестно швырнул их в направлении Потомака .

Сентиментальность

Энтони и Глория прибыли в Нью-Йорк одновременно с падением Льежа. В ретроспективе эти шесть недель виделись им сказочно счастливыми. Они вполне осознавали, как осознает это в определенной степени большинство молодых пар, что теперь

у них масса общих идей, устоявшихся понятий и даже странных причуд; они стали в значительной мере товарищами.

Но требовались еще постоянные усилия, чтоб поддерживать многие их разговоры на уровне цивилизованной дискуссии. Глория не терпела никаких разумных возражений. Всю свою жизнь она общалась с людьми, отнюдь не превосходившими её в умственном отношении, или с мужчинами, которые, находясь под уничтожающим воздействием ее красоты, не решались ей противоречить; поэтому вполне естественно, что ее раздражало, когда Энтони стал нарушать порядок, при котором лишь ее мнение было непогрешимой и окончательной истиной.

На первых порах он не мог представить, что это было отчасти следствием ее «женского» образования, отчасти результатом ее красоты, и готов был включить Глорию вместе с другими представительницами её пола в число существ непоследовательных и поразительно ограниченных. Его сводило с ума полнейшее отсутствие у нее чувства справедливости. Однако, он обнаружил, что когда предмет разговора интересовал Глорию, ее мозг оказывался выносливее, чем его собственный. Но вот чего действительно не хватало ее уму, так это строгой телеологичности — чувства порядка и предопределенности, ощущения жизни как таинственно соотнесенного со многими другими кусочка единого лоскутного одеяла; хотя через некоторое время он согласился, что наличие в ней такого качества было бы совершенно нелепо.

А из нажитого ими вместе самым драгоценным была почти сверхъестественная способность тронуть сердце друг друга. В тот день, когда они укладывали вещи, готовясь к отъезду из Коронадо. Глория вдруг села на одну из кроватей и горько заплакала.

— Ну что ты, милая? — Его руки уже обнимали Глорию, он приклонил ее голову себе на плечо. — Что такое, моя бедная? Скажи мне.

— Вот мы и уезжаем, — рыдала она. — О, Энтони, это ведь как наш первый с тобой дом. Две наши кровати здесь — одна возле другой — они всегда будут ждать нас, а мы к ним никогда больше не вернемся.

И как это всегда бывало, ее слезы просто разрывали ему сердце. Сентиментальность овладела им, на глаза навернулись слезы.

— Глория, но мы ведь только переезжаем в другую комнату. Там тоже будут две кровати. Мы будем вместе всю жизнь.

Она заговорила торопливо, севшим, хриловатым голосом:

— Но ведь именно этого уже не будет — именно этих кроватей — уже никогда. Куда бы мы ни приехали, что бы ни изменили, каждый раз что-то теряется, что-то остается позади. Ничего нельзя повторить, а ведь здесь мне было так хорошо с тобой.

Страстно прижимая ее к себе, охваченный прозрением этой минуты, он вовсе не был склонен критиковать ее за сентиментальность, разве что за излишнюю уступчивость желанию поплакать... Глория, праздное существо, обожательница собственных грез, извлекающая остроту из памятных моментов жизни и юности.

Когда он вернулся со станции с билетами, то обнаружил, что она спит на одной из кроватей, нежно обвив рукой некий черный предмет, который Энтони поначалу не признал. Подойдя поближе, он понял, что это был его собственный ботинок, не особенно новый и не самый чистый, но ее заплаканное лицо было прижато к нему, и Энтони понял это самое древнее на земле и не требующее никаких пояснений послание. Он почти задыхался от счастья и нежности, когда будил ее, видел, как она улыбается ему, чуть смущенная, но вполне уверенная в том, что ее выдумка достигла цели.

Энтони никогда не задумывался над истинной ценой этих демонстраций, он сам считал, что только так и можно выразить любовь.

Серый дом

Именно на третьем десятке начинает угасать первоначальный жизненный импульс,

и воистину простодушен тот, кому в тридцать кажутся значительными и полными смысла те же вещи, что и десять лет назад. В тридцать лет любой шарманщик — просто побитый молью и судьбой человек, который вертит ручку шарманки; но ведь когда-то он был шарманщиком! Неизбежное проклятие человекоподобия касается и всех тех бесполезных и прекрасных вещей, которыми во всей их самоценной прелести способна владеть только юность. Блестящий, искрящийся светлым влюбленным смехом праздник изнашивает свои шелка и парчу, чтобы показать сквозь прорехи в них голый каркас человеческой сути — о, эта вечная рука! — и пьеса, в высшей степени трагичная и столь же божественная, становится лишь чередой речей, вымученных потом вечного плагиаторства в липкие от страха часы, а играют в ней люди, подверженные, кроме доводящей до судороги трусости, еще и всем человеческим слабостям.

В случае с Глорией и Энтони первый год их супружеской жизни и серый дом подкараулили их именно в тот момент, когда шарманщик уже начал неспешно свое неизбежное превращение. Ей было двадцать три, ему — двадцать шесть.

Сначала этот серый дом был только в голубых мечтах. Первые две недели после возвращения из Калифорнии они провели на квартире Энтони в какой-то судорожной спешке; в сгущенной атмосфере распакованных чемоданов, избытка посетителей и вечных мешков для прачечной. Занимались в основном тем, что обсуждали с друзьями наинасущнейшие проблемы своего будущего. Энтони просматривал составленный им список того, что «нужно» сделать и куда необходимо отправиться, в то время как Дик и Мори торжественно и почти глубокомысленно выражали свое согласие.

— Мне хотелось бы свозить Глорию за границу, — жаловался он, — если б не эта проклятая война... А потом хотелось бы поселиться где-нибудь в деревне, конечно недалеко от Нью-Йорка, где я мог бы писать... ну, или делать то, чем решу заняться.

Глория рассмеялась.

— Замечательно, правда? — стала допытываться она у Мори. — Чем он решит заняться! А я чем буду заниматься, если он решит работать? Мори, будете вы развлекать меня, если Энтони надумает работать?

— Я, вообще-то, пока работать не собираюсь, — быстро отозвался Энтони.

Между ними как-то смутно подразумевалось, что когда-нибудь, в туманном будущем, ему неплохо бы начать что-то вроде блестящей карьеры дипломата, чтобы правители и премьер-министры могли завидовать, какая у него красавица-жена.

— Ну ладно, — начала Глория, сдаваясь. — Все равно я уже ничего не понимаю. Мы говорим, говорим и никогда ни к чему не приходим. Когда начинаем спрашивать у друзей, они отвечают то, что нам хочется слышать. А нам нужно, чтоб хоть кто-нибудь дал нам дельный совет.

— Почему бы вам не поездить по окрестностям... ну, в Гринвич, или куда-нибудь еще? — предложил Ричард Кэрэмел.

— А что, неплохо, — сказала Глория, веселя. — Ты думаешь, там можно снять дом?

Дик пожал плечами, а Мори рассмеялся.

— Вы двое меня умиляете, — сказал он. — Просто витаєте в облаках! Как только упоминается какое-то место, вы уже ожидаете, что мы вытащим из карманов охапки фотографий всех сдающихся там бунгало анфас и в профиль.

— Вот этого я как раз не хочу, — капризно начала Глория, — эти душные, тесные домишки, куча детей по соседству и их папаша косит газон в рубашке с засученными рукавами...

— Ради всего святого, Глория, — перебил ее Мори, — никто не хочет запирать вас в бунгало. Кто вообще, черт побери, затеял разговор о каком-то бунгало? Но вы никогда и нигде не поселитесь, если сами не поедите и не поищите как следует.

— Поехать куда? Вы говорите «поехать и поискать как следует», но где?

Мягким и полным изящества движением лапо-руки Мори обвел комнату.

— Где угодно. По всей стране. Мест полным-полно.

— Благодарю.

— Послушайте. — Ричард Кэрэмел неистово завращал своим желтым глазом. — Ваша беда в том, что у вас нет никакого плана. Вот ты, например, знаешь что-нибудь о штате Нью-Йорк? Помолчи, Энтони, я разговариваю с Глорией.

— Н-ну, — признала она после долгого раздумья. — Меня приглашали раза два или три пожить в Портчестере и, там еще, в Коннектикуте... но, конечно, это уже другой штат, правда?.. И Морристаун тоже, — закончила она совсем растерянно.

Ответом был дружный хохот.

— Господи! — взмолился Дик, — да, Морристаун это не в штате Нью-Йорк, точно так же, как и Санта-Барбара. Теперь смотри. Начнем с того, что если у тебя нет кучи денег, такие места как Ньюпорт, Саутгемптон или Такседо обсуждать не стоит. Оставим их в покое.

С этим все сдержанно согласились.

— Лично я ненавижу Нью-Джерси. Но есть еще северная часть штата Нью-Йорк, выше Такседо.

— Слишком холодно, — кратко резюмировала Глория. — Я каталась там однажды на автомобиле.

— Хорошо, но ведь между Нью-Йорком и Гринвичем есть множество городков вроде Ри, где вы могли бы снять небольшой серенький дом и вполне...

При этих словах Глорию буквально подбросило от ликования. Впервые со времени их возвращения на Восток она знала, чего хочет.

— Да, да! — вскричала она. — Конечно! Решено: это будет серый домик, а вокруг все белое! И полным-полно кленов, таких же рыжих и золотых, как на той картине в галерее. Но где же мы найдем такой?

— Сожалею, я куда-то засунул свой список серых домиков, окруженных кленовыми рощами. Но обязуюсь его найти. А вы тем временем возьмите листок бумаги, напишите на нем названия семи подходящих городков и каждый день отправляйтесь в какой-нибудь из них. Это займет как раз неделю.

— Ну вот, — запротестовала Глория, чувствуя резкий упадок умственных сил. — Почему бы тебе не сделать это для нас? Я ненавижу поезда.

— Тогда наймите машину, и...

Глория зевнула.

— Я устала от этих разговоров. У меня такое ощущение, что мы только и спорим о том, где нам жить.

— Процесс думания утомляет мою утонченную жену, — иронично заметил Энтони. — Для поддержания нервных сил ей срочно требуется сэндвич с помидорами. Идемте куда-нибудь пить чай.

Самым прискорбным результатом этого разговора явилось то, что они приняли совет Дика всерьез и пару дней спустя отправились в Ри, где долго бродили по округе в сопровождении раздраженного агента по продаже недвижимости, напоминая заблудившихся в лесу детей. Им показали дома за сотню в месяц, притиснутые к точно таким же домам за сотню в месяц; им показали отдельно стоящие дома, которые неизменно вызывали у них непреодолимую неприязнь, однако они безропотно подчинялись призывам агента осмотреть печь — «да где вы еще видели такую!», потрясти изо всех сил дверные косяки или постучать по стенам, что, очевидно, имело своей целью доказать, что дом еще далек от немедленного разрушения, хотя впечатление именно таково. Они заглядывали через окна во внутренности домов, меблированных либо в коммерческом стиле — похожими на чурбаны стульями и непрогибаемыми кушетками, или «по-домашнему» — меланхолическими останками минувших дачных сезонов: скрещенными теннисными ракетками, продавленными диванами и унылыми изображениями гибсоновских девушек.

Чувствуя себя неполноценными, они осмотрели несколько по-настоящему хороших домов, уединенных, полных достоинства и прохлады — но за три сотни в месяц. Они покидали Ри с чувством искренней и глубокой признательности агенту.

На обратном пути в Нью-Йорк в переполненном вагоне сиденье позади них оказалось занято каким-то шумно дышавшим латиноамериканцем, который питался, похоже, одним чесноком. До своей квартиры они добрались с чувством глубокого, почти истеричного облегчения, и Глория тут же кинулась принимать горячую ванну в безупречной ванной комнате. Всю следующую неделю, как только речь заходила о поисках будущего жилища, оба они становились недееспособны.

В конце концов дело разрешилось само собой и довольно прозаическим образом. Однажды Энтони вбежал в гостиную, прямо-таки излучая то, что пришло ему в голову.

— Есть! — воскликнул он с таким видом, словно ему только что удалось поймать мышь. — У нас будет автомобиль.

— С ума сойти! Но у нас, по-моему, других забот хватает.

— Дай мне объяснить, хорошо? Представь, мы просто оставляем наши вещи Дику, просто загружаем в машину пару чемоданов: ну, в ту машину, которую собираемся купить — ведь если жить за городом, машина все равно нужна, — и просто двигаемся в направлении Нью-Хэйвена. Понимаешь, за пределами тех мест, до которых можно легко добраться из Нью-Йорка пригородным поездом, дома сдаются гораздо дешевле, и как только мы найдем дом, который нам подходит, тут же поселяемся в нем.

Этим частым и воодушевленным повторением слова «просто» он разбудил ее энтузиазм, впавший было в летаргию. Бегая с горячечно-победоносным видом по комнате, он на самом деле производил впечатление энергичного, не знающего преград предпринимателя.

— Завтра же покупаем машину!

Жизнь, всегда хромающая следом за семимильными шагами фантазии, все же увидела их неделю спустя за городом в дешевеньком, сверкающем свежей краской, двухместном автомобильном экипаже, и стала наблюдать, как они пробирались сквозь хаотично-безликий Бронкс, потом через обширную мрачноватую местность, где безрадостные голубовато-зеленые пустоши чередовались с пригородами, наполненными потрясающим и омерзительным копошением. Они оставили пределы Нью-Йорка в одиннадцать, и было уже далеко за жаркий и блаженный полдень, когда они, изрядно растеряв энтузиазм, катили сквозь какой-то Пэлем.

— Нет, это не города, — угрюмо резюмировала Глория, — это просто городские кварталы, без всякой мысли ляпнутые на эти пустоши. Я думаю, что у всех местных мужчин усы кофейного цвета, оттого что они слишком торопливо пьют свой кофе по утрам.

— И еще они играют в пинокль по дороге на работу.

— Что такое пинокль?

— Не придирайся. Откуда я знаю? Но звучит так, словно они просто обязаны в это играть.

— Да, мне нравится. Звук примерно такой, будто хрустишь суставами пальцев или что-то в этом роде... Дай мне повести.

Энтони подозрительно покосился на жену.

— А ты можешь присягнуть, что умеешь водить машину?

— С четырнадцати лет.

Он аккуратно притормозил на обочине, и они поменялись местами. Потом, с ужасающим скрежетом, который встревожил Энтони, и смехом Глории, который показался ему в высшей степени неуместным, машина тронулась с места.

— Ну, теперь поехали! — вскричала Глория. — У-ух!

Головы их дружно откинулись назад, словно у марионеток, насаженных на одну нитку, и автомобиль рванул вперед, едва успев обогнуть стоявший фургон молочника, водитель которого вскочил с сиденья и принялся орать им вслед. По древней дорожной традиции Энтони отозвался несколькими хлесткими фразами по поводу малопочтенности избранной молочником профессии. Однако он быстро оборвал свои замечания и повернулся к Глории с растущим подозрением, что совершил серьезную ошибку, уступив управление ей, и что

Глория была водителем слишком своеобразным и в высшей степени безответственным.

— Не забывай, — предупредил он нервно, — продавец говорил, мы не должны ездить быстрее двадцати миль в час, по крайней мере, первые пять тысяч.

Она кратко кивнула, но, явно намереваясь преодолеть эти пять тысяч как можно скорее, слегка увеличила скорость. Через минуту он сделал еще одну попытку.

— Видишь тот знак? Ты хочешь, чтобы нас задержали?

— Ой, ради Бога! — раздраженно воскликнула Глория. — Ты вечно все преувеличиваешь!

— Нет, просто не хочу, чтоб нас арестовали.

— Да кто тебя арестовывает? Ты такой упрямый, точно как вчера вечером из-за моих таблеток от кашля.

— Это было для твоей же пользы.

— Ха! С таким же успехом я могла продолжать жить с мамой.

— На твоём месте я не стал бы так говорить!

Из-за поворота показался полицейский и быстро исчез из виду.

— Видела? — требовательно спросил Энтони.

— Ой, ты меня с ума сведешь! Он что, арестовал нас?

— Когда арестует, будет поздно, — блестяще парировал Энтони.

Ее ответ был мрачным, почти оскорбленным.

— Так это старье не выжимает даже тридцати пяти?

— Это не старье.

— Да в нём уж никакого духу не осталось.

Таким образом, в этот день, как один из компонентов триады самоутверждения Глории, к мешкам из прачечной и аппетиту добавился автомобиль. Энтони предупреждал ее о железнодорожных переездах, указывал на приближающиеся автомобили и наконец настоял на своем: между городами Ларчмондом и Ри разъяренная и оскорбленная Глория уже безмолвно сидела рядом с водителем.

Но именно благодаря ее яростному молчанию их серый домик и материализовался из небытия; едва миновав Ри, Энтони покорился этому безмолвию и вновь отдал бразды правления. Правда, смотрел он умоляюще, и Глория, мгновенно повеселев, поклялась быть более осторожной. Но из-за того, что какой-то неучтивый трамвай нахально настаивал на том, чтоб остаться в своей колее, Глории пришлось свернуть в боковую улочку — и в этот день она уже так и не смогла вернуться на главную дорогу.

Улица, которую они в конце концов приняли за главную, утратила все признаки таковой, едва они отъехали пять миль от Кос Коб. Макадам сменился гравием, потом грязью — вдобавок к этому дорога сузилась и обзавелась бордюром из кленов, фильтруясь которыми лучи заходящего солнца творили свои бесконечные опыты с формами теней на рослой траве.

— Ну вот, теперь мы потерялись, — резюмировал Энтони.

— Прочти этот знак!

— Мариэтта, пять миль. Что такое Мариэтта?

— Никогда не слышала, но все равно поехали дальше. Тут разворачиваться негде, а там, может быть, есть выезд на главную дорогу.

Дорога была разъезжена глубокими колеями и выпирала коварными плечами валунов. На секунду показались и тут же спрятались три сельских дома. Скопищем тусклых крыш вокруг высокой белой колокольни вынырнуло поселение.

Затем Глория, замешкавшись на развилке, слишком поздно решила куда ехать и, налетев на пожарный гидрант, вдребезги разнесла трансмиссию.

Было уже темно, когда местный агент по продаже недвижимости показывал им серый дом. Они наткнулись на него сразу к западу от поселка, где он покоился на фоне неба, которое было похоже на теплый синий плащ, застегнутый на звезды. Этот серый дом уже стоял здесь, когда все женщины, державшие кошек, считались ведьмами, когда Пол Ревир

делал вставные зубы в бостонской подготовительной школе, чтобы пробудить патриотические чувства великой нации коммерсантов, когда наши славные предки толпами покидали Вашингтон. С тех пор дому укрепили слабый угол, значительно перепланировали его и оштукатурили изнутри, а также расширили кухню и добавили боковое крыльцо — но, за исключением тех мест, где какой-то чужак покрыл крышу кухни красной жестью, дом выглядел потрясающе колониально.

— А как это вас угораздило заехать в Мариэтту? — осведомился агент тоном, в котором слышалось что-то очень родственное подозрению. Он как раз показывал им четыре просторные, полные воздуха спальни.

— У нас произошла поломка, — пояснила Глория. — Я наехала на гидрант, и нам пришлось отбуксировать машину в гараж, а потом мы увидели вашу вывеску.

Агент кивнул, едва ли в силах уследить за непосредственностью ее мысли. В том, что сделка заключалась без многомесячной подготовки, все-таки было нечто аморальное.

Они в тот же вечер подписали договор и, ликующие, вернулись на машине агента в сонную и обветшавшую гостиницу «Мариэтта Инн», которая уже настолько утратила свою духовную и физическую крепость, что в ней не осталось места ни случайной аморальности, ни являющейся результатом этого веселости придорожного постоялого двора. Половину ночи они лежали без сна, планируя, чем будут здесь заниматься. Энтони собирался с потрясающей скоростью работать над своим исследованием и таким образом снискать расположение своего насмешливо-недоброжелательного деда. Когда починят машину, они смогут обследовать окрестности и вступить в ближайший «симпатичный клуб», где Глория будет иметь возможность играть в гольф «или во что-нибудь», пока Энтони пишет. Так, конечно, мыслил себе Энтони — Глория была уверена, что хочет лишь читать и мечтать, и чтобы какая-нибудь служанка ангельского вида — большего о ней пока нельзя было сказать — кормила ее исключительно сэндвичами с помидорами и поила лимонадом. Между абзацами Энтони будет приходить и целовать ее, а она будет вяло лежать в гамаке... Гамак! источник новых мечтаний, согласных с его воображаемым ритмом, когда его качает ветром и волны солнечного света колеблют тени на пшеничном поле, или пыльная дорога покрывается крапинами и темнеет от тихого летнего дождя...

И гости — здесь они долго спорили, оба стараясь проявить предельную зрелость суждений и дальновидность. Энтони заявлял, что им нужно будет общество, по крайней мере, каждый второй уикэнд «для разнообразия». Это спровоцировало страстную и глубоко прочувствованную отповедь на предмет того, что неужели Энтони не хватает разнообразия в обществе Глории. И хотя он уверял ее, что вполне хватает, она настаивала на том, что сомневается... В конце концов разговор приобрел извечную тональность: «А что потом? Что же мы будем делать все остальное время?»

— Ну, заведем собаку, — предложил Энтони.

— Не хочу собаку. Хочу кошечку. — И она начала обстоятельно и с большим энтузиазмом рассказывать историю жизни, привычек и вкусов кошки, которая у нее однажды была. У Энтони сложилось впечатление, что это было животное с ужасным характером, лишенное всякого обаяния и привязанности к хозяйке.

Наконец они заснули, чтобы пробудиться за час до рассвета, потому что призрак серого дома грезился в сияющем великолепии их воспаленному воображению.

Душа Глории

В эту осень серый дом принял их с таким напором чувства, который никак не вязался с его очевидно почтенным возрастом. Были, правда, и мешки из прачечной, был и аппетит Глории, была склонность Энтони к рефлексии и вызванная избытком воображения нервность, но случались и периоды безмятежного, ничем не омраченного счастья. Бывало, сидя на крыльце, прижавшись друг к другу, они ожидали, когда, явившись над темным лесом, луна прольет свой свет на серебряные акры фермерских полей, и волны этого лунного

прибоя докатятся до их ног. В лунном сиянии лицо Глории делалось проникновенным, светилось напоминающей о многом белизной, и требовалось совсем немного усилий, чтобы слетели затворы привычки и они могли обнаружить друг в друге почти ту же напряженность чувства, что и в минувшем июне.

Однажды ночью, когда ее голова покоилась у него возле сердца, и их сигареты тлели дрожащими пятнышками света под куполом тьмы над кроватью, она впервые, недомолвками, заговорила о тех мужчинах, которые стремились хоть краткий миг обладать ее красотой.

— Ты когда-нибудь думаешь о них? — спросил он.

— Невольно, если произойдет что-нибудь, напомнит конкретного человека.

— А что ты помнишь — их поцелуи?

— Разное... С женщинами мужчины совсем другие.

— В чем именно?

— Во всем... это невозможно описать. Например, мужчины, у которых была вполне сложившаяся репутация, в отношениях со мной могли предстать совершенно в другом свете. Грубияны бывали нежны, ничтожества проявляли удивительное постоянство, и оказывалось, что их можно полюбить, а прославленные своим благородством часто совершали такие поступки, которые никак благородными не назовешь.

— Например?

— Ну, был однажды парень из Корнелла по имени Перси Уолкотт, который в колледже считался настоящим героем: выдающийся спортсмен, спас, по-моему, много людей на пожаре. Но я очень скоро обнаружила, что он был опасно глуп.

— Как это?

— Насколько я помню, у него была какая-то примитивная теория, касающаяся женщины, которая «подошла бы ему в жены»; именно из-за этой теории я над ним здорово насмеялась, она меня просто выводила из себя. Ему требовалась девушка, ни с кем прежде не целовавшаяся, которая бы любила шить, сидела дома и тешила самомнение мужа. Я бы посмотрела, где он найдет такую идиотку, которая сидит дома и покорно ждет, пока он на стороне не теряет времени с более расторопными леди.

— Да уж, такой жене не позавидуешь.

— А я бы не стала такую жалеть. Только подумай, какой душой надо быть, чтобы не понять этого до свадьбы. Он из тех, чье понятие об уважении к женщине состоит в том, чтоб охранять ее от всяких развлечений. Такое, в лучшем случае, годится для средневековья.

— А как он относился к тебе?

— Вот я к этому и подхожу. Как я уже говорила тебе — не помню говорила или нет? — он был просто красавец: большие, честные карие глаза и улыбка из тех, которые гарантируют, что сердце у их владельца из чистого золота. Я была молода и доверчива, думала, что у него есть хоть какой-то такт, и однажды вечером, когда мы катались после танцев в Хомстедке возле Хот-Спрингс, я его довольно пылко поцеловала. Помню, стояли чудесные дни... разбросанные по всей равнине как хлопья зеленой пены дерева и туман, стелющийся между ними октябрьским утром, словно дым костров, зажженных, чтобы позолотить их листья...

— Ну, так что твой друг с его идеалами? — перебил Энтони.

— Видимо, поцеловав меня, он возомнил, что может добиться и большего, что меня нет нужды «уважать», как всем довольную Беатрису Ферфакс его мечты.

— И чего же он добился?

— Немногого. Прежде чем он успел что-то сделать, я столкнула его с шестнадцатифутовой насыпи.

— Ну и что с ним случилось? — поинтересовался Энтони со смехом.

— Сломал себе руку и растянул лодыжку. Он рассказал эту историю всему Хот-Спрингс, и когда его рука зажила, то человек по имени Барли, которому я нравилась, подрался с ним и сломал ее опять. О, это был ужасный скандал. Он пригрозил возбудить

дело против Барли, и кто-то видел как Барли — он был из Джорджии — покупал в городе пистолет. Но еще до этого мама увезла меня обратно на север, конечно, против моей воли, поэтому я так и не узнала, чем дело кончилось, хотя однажды видела Барли в вестибюле Вандербилт-билдинга.

Энтони долго и громко смеялся.

— Какая карьера! Мне бы, наверное, надо разъяриться из-за того, что тебя целовало так много мужчин. Но я почему-то не могу.

При этих словах она села на кровати.

— Странно, но я уверена, что те поцелуи не оставили на мне никакого следа — ни пятнышка неразборчивости в знакомствах, я имею в виду, — хотя один человек как-то сказал, что ему не нравится думать обо мне как о доступном всем стакане для питья.

— В нахальстве ему не откажешь.

— Я только посмеялась и посоветовала считать меня лучше круговой чашей, которая тоже переходит из рук в руки, но от этого не ценится меньше.

— Меня это почему-то не оскорбляет; с другой стороны, оскорбило бы, конечно, если б ты позволяла себе нечто большее, чем поцелуи. Но, я смотрю, ты абсолютно не способна ревновать, если это не ранит твое тщеславие. Почему ты не спросишь, чем я занимался в свое время? Неужели тебе не польстило бы, если б я был абсолютно невинен?

— Все зависит от того, какой след это оставляет в тебе. Я, например, целовалась потому, что мужчина был красив, или луна сводила с ума, или просто потому, что мне было грустно, или я была взволнована. Только и всего — это никогда не оставляло никакого следа. А ты помнишь так, что разрешаешь этим воспоминаниям беспокоить тебя.

— А ты целовалась с кем-нибудь так же, как со мной?

— Нет, — просто ответила она. — Я уже говорила тебе, мужчины пытались... много чего пытались. Каждая привлекательная девушка проходит через это... Видишь ли, — снова заговорила она, — мне все равно, сколько женщин было у тебя в прошлом, если это сводилось просто к удовлетворению физической потребности, но не думаю, что стала бы терпеть даже мысль о том, что ты когда-то достаточно долго жил с другой женщиной, или даже хотел жениться на другой девушке. Это уже совершенно другое. А если помнить все мелкие интимные подробности, это просто притупило бы остроту нынешних чувств, убило бы их свежесть, а они, в конце концов, и есть самая драгоценная часть любви.

Не в силах сдержать восторга, он уложил ее рядом с собой на подушку.

— Дорогая моя, — шептал он, — неужели ты думаешь, что я помню что-нибудь, кроме твоих драгоценных поцелуев?

Потом Глория, очень кротким голосом:

— Энтони, мне не послышалось, кто-то здесь говорил, что очень хочет пить?

Энтони расхохотался и с глуповатой, но довольной ухмылкой выбрался из постели.

— Только с маленьким кусочком льда в воде, — добавила она. — Как ты полагаешь, я могу себе это позволить?

Глория пользовалась прилагательным «маленький» всякий раз, когда о чем-либо просила — от этого просьба звучала не так категорично. Энтони опять рассмеялся — ведь хотела она только кусочек льда или целую глыбу, все равно ему надо было спускаться на кухню... Её голос следовал за ним через весь нижний этаж:

— И крохотный крекер с махоньким кусочком мармелада.

— Ну, чертова кукла! — выдохнул он, от восторга став внезапно грубым. — Она просто чудо, эта девчонка! Этого у нее не отнять.

— Когда у нас будет малыш, — начала она однажды (это должно было случиться, как они уже твердо решили, через три года), — я хотела бы, чтоб он был похож на тебя.

— За исключением ног, — вставил он лукаво.

— Вот уж да, кроме ног. У него должны быть мои ноги. Но все остальное — твое.

— А нос?

Глория засомневалась.

— Ну хорошо, пусть мой нос. Но, определенно, твои глаза... и мой рот, и, я полагаю, мой овал лица. И еще, мне кажется, он получился бы очень миленьким, если б у него были мои волосы.

— Уважаемая Глория, вы уже присвоили всего младенца.

— Прости, как-то само собой получилось, — извинилась она весело.

— Пусть у него будет, по крайней мере, моя шея, — настаивал он, с полной серьезностью рассматривая себя в зеркале. — Ты часто говорила, что тебе нравится моя шея, потому что не выступает кадык, а кроме того, у тебя шея слишком короткая.

— Ну уж нет! — вскричала она, негодуя, и повернулась к зеркалу. — Шея самой нормальной длины. Не думаю, что видела когда-нибудь шею лучше.

— А по-моему, слишком короткая, — повторил он, поддразнивая.

— Короткая? — ее голос выражал крайнюю степень удивления и недоверия. — Короткая? Да ты просто сумасшедший! — Она принялась вытягивать шею и вновь вбирать ее в плечи, чтоб убедить себя в ее змеиной гибкости. — Ты называешь это короткой шеей?

— Одна из самых коротких, что я видел.

Впервые за много недель на глазах Глории заблестели слезы, и взгляд, которым она окинула мужа, выражал неподдельную боль.

— Ну, Энтони...

— Господи, Глория! — он в замешательстве кинулся к ней и схватил за локти. — Ну, не плачь, пожалуйста! Неужели ты не понимаешь, что я просто шучу? Глория, ну посмотри на меня! Ну, милая, у тебя самая длинная шея, которую я когда-либо видел. Честно.

Ее слезы растворились в дрожащей улыбке.

— Хорошо, но тогда не надо было так говорить. Давай лучше поговорим о м-малыше.

Энтони мерил шагами комнату и вещал, словно готовясь к дебатам.

— Говоря коротко, мы могли бы иметь двух детей, двоих четко отличающихся друг от друга и построенных на разумных логических основаниях малышей. Вот ребенок, который будет сочетать в себе наши лучшие качества. Твое тело, мои глаза, мой ум, твою сообразительность... затем ребенок, в котором воплотится все худшее — мое тело, твой характер и моя нерешительность.

— Мне нравится этот второй ребенок, — сказала она.

— А чего бы мне хотелось больше всего, — продолжал Энтони, — так это завести две тройни с разницей в год и потом экспериментировать с этими шестерыми мальчишками...

— Бедная я, бедная, — вставила Глория.

— Я разослал бы их получать образование в разные страны, по разным системам, а когда им исполнилось бы двадцать три года, созвал бы всех вместе и посмотрел, на что они похожи.

— И пусть у них у всех будет моя шея, — предложила Глория.

Конец главы

Автомобиль был наконец отремонтирован и, словно мстя им за что-то, вновь сделался предметом постоянных раздоров. Кто будет вести? Как быстро следует ездить Глории? Эти два вопроса и порождаемые ими бесконечные встречные обвинения занимали порой целые дни. Они стали ездить по городкам, расположенным вдоль почтовой дороги: Ри, Портчестер, Гринвич и дюжинами приглашать к себе друзей — в основном подруг Глории, которые все, как оказалось, находились на разных стадиях выращивания младенцев и по этой причине, впрочем, как и по многим другим, ставили Глорию на грань нервного срыва. Примерно в течении часа после каждого такого визита она кусала себе руки от ярости, проявляя при этом склонность вымещать свою злость на Энтони.

— Ненавижу женщин, — восклицала она умеренно разъярившись. — Ну что, скажи, можно от них услышать, кроме этой бабьей болтовни? Я уже устала приходить в восторг от десятков младенцев, которых мне хочется просто задушить. Причем каждая из этих

молодых мамаш находится либо в начальной стадии подозрительности и ревности к своему супругу, если он привлекателен, или уже начинает тяготиться им, если нет.

— Значит, ты больше не хочешь видеть ни одной женщины?

— Не знаю. Мне кажется, они никогда не бывают чисты, никогда. За редким исключением. Констанс Шоу — ну, ты знаешь, та самая миссис Мерриам, которая приезжала к нам в прошлый вторник, — пожалуй, единственная. Она такая высокая и величественная и выглядит очень свежо.

— Мне не нравятся такие высокие.

Они побывали на нескольких вечеринках с танцами в окрестных клубах и решили, что эта осень в отношении «визитов» для них близка к завершению, да им уже не очень и хотелось. Он не любил гольф; Глория тоже не была большой поклонницей игры, и хотя однажды вечером получила немалое удовольствие от напряженной партии, в которой участвовала вместе с какими-то студентами, и была рада, что Энтони мог гордиться производимым ею впечатлением, от нее не укрылось, что хозяйка дома, некая миссис Грэнби, была всерьез обеспокоена тем фактом, что бывший сокурсник Энтони Алек Грэнби с нескрываемым энтузиазмом тоже включился в состязание. Грэнби никогда не звонили им после этого и хотя Глория только посмеивалась, это явно задевало ее.

— Видишь ли, — объясняла она Энтони, — если б я не была замужем, это бы ее не обеспокоило, но она явно насмотрелась в свое время фильмов и наверняка полагает, что я — та самая «вамп»! Но главное, что поддержание хороших отношений с такими людьми требует постоянных усилий, которых я просто не хочу делать... А эти маленькие смазливые новички, делающие глазки и говорящие idiotские комплименты! Я это переросла, Энтони.

В самом Мариэтте светской жизни практически не было. Вокруг городка шестиугольником располагалось полдюжины ферм, но они принадлежали древним старикам, которые показывались «в свет» либо в виде неподвижных, покрытых седыми волосами чурбанообразных голов на задних сиденьях своих лимузинов по дороге на станцию, либо по дороге туда же, но в сопровождении столь же престарелых, но вдвое более массивных жен. Жители городка принадлежали к типу на редкость малоинтересному; общественной жизнью заправляли по большей части старые девы, пределом воображения которых был школьный фестиваль, а души угрюмостью своей напоминали не терпящую ничего недозволенного архитектуру трех белых англиканских церквей. Единственным аборигеном, с которым они вступили в достаточно тесный контакт, была широкобедрая, широкоплечая девушка-шведка, приходившая к ним каждый день помогать по хозяйству. Она была молчалива и исполнительна, а Глория, застав ее однажды в кухне, когда она горько плакала, уткнувшись в сложенные на столе руки, стала испытывать перед ней неизъяснимый страх и уже не жаловалась на качество пищи. Благодаря этой своей невысказанной и таинственной скорби, девушка так и осталась в доме.

Сюрпризом для Энтони явилась склонность Глории к предчувствиям, а также приступы смутной веры в сверхъестественное. Либо какой-то комплекс должным образом и научно подавленный в раннем возрасте её матерью-билфисткой, а, может быть, какая-то унаследованная сверхчувствительность, делали её восприимчивой к любому намеку на мистику; весьма недоверчивая ко всему, что касалось побуждений живых, она была склонна принимать на веру любые, самые необычайные происшествия, относящиеся к причудливому миру усопших. Отчаянные поскрипывания, наполнявшие весь старый дом ветренными ночами, которые для Энтони означали грабителей с револьверами на взводе, Глории представлялись своенравными и злыми духами ушедших поколений, искупающими неискупимое заклятье, тяготевшее над этим древним, полным тайны обиталищем. Однажды ночью, разбуженные парой громких резких звуков, донесшихся снизу — Энтони, преодолевая страх, попытался выяснить их причины, но без особого успеха, — они лежали без сна почти до рассвета, задавая один другому вопросы из экзаменационного списка по мировой истории.

В октябре с двухнедельным визитом явилась Мюриэл. Глория позвонила ей по междугородному телефону, и мисс Кэйн закончила разговор типично в своем духе: «Чу-чу-чуд-ненько. Примчусь на всех парах!» И прибыла с дюжиной популярных пластинок подмышкой.

— В этой глуши вам нужно обязательно завести фонограф, — сказала она, — хотя бы патефончик, — есть очень недорогие. И тогда, как только вам взгрустнется, у вас прямо на дому будут и Карузо, и Эл Джолсон.

Она доводила Энтони до отупения разговорами о том, что он был «первый умный мужчина, которого она встретила в жизни, а она так устала от поверхностных людей». Он не мог поверить, что мужчины могут влюбляться в таких женщин. И все же он предполагал, что при соответствующе бесстрастном взгляде даже в ней можно усмотреть некую мягкость и глубину.

Зато Глория, без устали демонстрировавшая свою любовь к Энтони, просто мурлыкала от удовольствия.

Наконец, на многоречивый и для Глории нестерпимо литературный уикэнд приехал Ричард Кэрэмел. Их дискуссии с Энтони затягивались надолго после того, как она уже спала наверху сном младенца.

— В высшей степени занятная штука этот успех, — говорил Дик. Как раз перед появлением романа я безрезультатно пытался продать несколько рассказов. Потом, уже после выхода книги, я поправил три рассказа, и их приняли в один журнал, где раньше не брали. С тех пор я много раз так делал; за книгу издатели только зимой заплатят.

— Не даешь себе пасть жертвой обстоятельств.

— Хочешь сказать — пишу дрянь? — Он задумался. — Если ты имеешь в виду то, когда в каждую вещь намеренно наливают «воды», то я таким не занимаюсь. Хотя не так уж и слежу за этим. Сейчас я, определенно, пишу быстрее и уже не трачу столько времени на обдумывание. Может быть, из-за того, что мне не с кем пообщаться после того как ты женился, а Мори уехал в Филадельфию. Да и нет уже прежних страсти и честолюбия. Ранний успех, одним словом.

— И это тебя не беспокоит?

— Безумно беспокоит. У меня развилось то, что я называю словесной лихорадкой; должно быть, это похоже на охотничью лихорадку — что-то сродни непреодолимой литературной застенчивости, которая наступает, когда я стараюсь заставить себя писать. Но по-настоящему ужасны не те дни, когда мне кажется, что я не могу писать. Хуже всею, когда я спрашиваю себя: а стоит ли вообще писать?.. Может быть, я просто обласканный волей обстоятельств шут?

— Рад слышать, что ты так говоришь, — сказал Энтони полузабытым покровительственно-высокомерным тоном. — Я боялся, что ты немного свихнулся на своем литературном поприще. Читал где-то твое совершенно ужасающее интервью...

Дик судорожным движением перебил его.

— Господи! Не упоминай об этом. Его брала какая-то молодая, не в меру восторженная дама. Постоянно твердила, что моя работа «исполнена мощи», я слегка потерял голову и наделал много странноватых заявлений. Хотя было там и что-то дельное, тебе не кажется?

— Да, конечно; та часть о мудром писателе, который пишет для молодой части своего поколения, критиков следующего, и школьных учителей всех последующих поколений.

— Я на самом деле так считаю, — признался Ричард Кэрэмел, просветлев лицом. — Просто не надо было это разглашать.

В ноябре они переехали в квартиру Энтони, откуда и совершали триумфальные вылазки на футбольные матчи Йель — Гарвард и Гарвард — Принстон, на ледовый каток в день св. Николая, во все подряд театры и на всякую всячину других развлечений — от небольших спокойных танцевальных вечеров до роскошных балов, которые так любила Глория и какковые устраивались в тех немногих домах, где восхитительно сновали британского вида лакеи в пудренных париках под руководством монументального

мажордома. Еще они собирались отправиться за границу, в начале следующего года или, во всяком случае, когда закончится война. Энтони к тому времени завершил эссе о двенадцатом столетии в духе Честертона, которое мыслил как вступление к своей предполагаемой книге, а Глория провела обширное исследование на тему шубы из русских соборей — вообще, зима ожидалась весьма приятная, когда билфистский демиург в середине декабря вдруг решил, что душа миссис Гилберт в своем нынешнем воплощении уже достигла достаточного возраста. Вследствие этого Энтони пришлось взять несчастную и безутешную Глорию в Канзас-Сити, где, как повелось среди людей, они отдали ужасную, сводящую с ума дань уважения усопшей.

Мистер Гилберт являл собой, первый и последний раз в жизни, поистине трогательную фигуру. Эта женщина, которую он столько обламывал, чтобы обслуживать его тело и служить паствой для его ума, будто в насмешку покинула его — как раз в тот момент, когда он не смог бы уже достаточно долго содержать ее. Никогда больше не будет у него возможности с таким удовлетворением тиранить человеческую душу.

Глава 2

Симпозиум

Глория убаюкала ум Энтони. Она, которая казалась мудрейшей и прекраснейшей из всех женщин, повисла словно сверкающий занавес на его пути, загородив свет солнца. В те первые годы все, во что он верил, неизменно несло на себе отпечаток Глории; весь мир он видел только сквозь орнамент этого занавеса.

На следующее лето их привело в Мариэтту что-то вроде утомления. Всю золотую, навевающую истому весну они одержимо слонялись по калифорнийскому побережью, перемещаясь из Пасадены в Коронадо, из Коронадо в Санта-Барбару, лениво сумасбродничая и время от времени присоединяясь к другим компаниям, не задаваясь целями более конкретными, чем желание Глории танцевать все время под разную музыку или ловить неуловимые оттенки в изменчивом окрасе моря. Прямо из волн океана вздымались, приветствуя их, дикие скалы и не менее дикие гостиницы, построенные с таким расчетом, чтобы во время чая постояльцы могли «попасть» на апатичный, расположившийся в плетеных стульях базар, ошастливленный костюмами для поло с символикой Саутгемптона, Лэйк Форест, Ньюпорта и Палм-Бич. И подобно тому как со всплеском, искрясь и сверкая, встречаются волны при входе в безмятежную бухту, они примыкали то к одной, то к другой группе, переезжали с ними с места на место, проводя время в бессвязных разговорах о неизведанных и ни к чему не обязывающих увеселениях, которые ждут их прямо за этой зеленой и обильной долиной.

Это была школа непритязательных, здоровых развлечений, учениками которой не без удовольствия числятся лучшие из мужчин — этим они как бы вносят себя в список вечных кандидатов в члены некой эфемерной организации под названием, скажем, «Мраморная урна» или «Адамова голова», раскинувшей щупальца по всему миру; привлекательность здешних женщин обычно выше среднего уровня, они хрупко атлетичны и как хозяйки глуповаты, но как гости очаровательны и украсят любое общество. Невозмутимо и грациозно вытанцовывают они на пьедесталах своей избранности в восхитительные чайные часы, ухитряясь с достоинством выполнять те самые телодвижения, которые так чудовищно искажены по всей стране приказчиками и хористками. И делается грустно и смешно от того, что Америка превосходит всех именно в этом ничтожном и бесславном искусстве.

Протанцевав и проплескавшись всю щедрую весну, Энтони и Глория обнаружили, что потратили слишком много денег и поэтому должны на некоторое время «удалиться от мира». Предлогом стала «работа» Энтони. И еще не успев осознать этого, они снова оказались в сером доме, на этот раз отчетливее понимая, что совсем другие любовники когда-то спали здесь, другие имена произносили над перилами, другие парочки сидели на ступеньках

крыльца, вглядываясь в серо-зеленые поля и темную полосу дальнего леса.

Это был тот же самый Энтони, более нервный, но склонный шевелиться быстрее только под влиянием нескольких коктейлей, и совсем немного, почти незаметно охладевший к жене. А Глория — в феврале ей должно было исполниться двадцать четыре и она пребывала по этому поводу в состоянии не оскорбляющей чувств окружающих, но вполне искренней паники. Еще шесть лет — и тридцать! Если бы она меньше любила Энтони, это ощущение убегающего времени выразилось бы во вновь пробудившемся интересе к другим мужчинам, в настойчивом стремлении извлечь хоть мимолетную искру романтического чувства из каждого потенциального воздыхателя, который бросал на нее взгляды исподлобья над сияющим обеденным столом. Однажды она сказала Энтони:

— У меня такое чувство, что если б я чего-нибудь захотела, то просто взяла бы. Я всю жизнь так думала. Но получается, что я хочу тебя, поэтому во мне просто нет места для других желаний.

Они ехали на восток сквозь выжженную, безжизненную Индиану, и она оторвалась от одного из своих любимых журналов о кино, обнаружив, что случайный разговор внезапно принял серьезный оборот.

Энтони хмуро посмотрел на дорогу. Когда трасса пересекала какой-нибудь проселок, на нем тут же появлялся фермер в повозке; он неизменно жевал соломинку и был по всем приметам тем же самым фермером, которого они миновали уже добрый десяток раз. Как молчаливо неподвижный и угрожающий символ непонятно чего. Еще больше нахмурившись, Энтони повернулся к Глории.

— Мне неприятно это слышать, — сообщил он. — При определенных и очень мимолетных обстоятельствах я могу вообразить, что хочу другую женщину, но я не в силах себе представить, что на самом деле буду с ней.

— А я не могу, Энтони. Не могу изводить себя, сопротивляясь тому, чего хочу. Я так устроена, что мне не надо никого, кроме тебя.

— И все же, когда я думаю, что если б тебе случилось кем-нибудь увлечься...

— Ой, не будь идиотом! — воскликнула она. — Тут не может быть ничего случайного. Я даже представить себе не могу такой возможности.

На этой решительной ноте разговор закончился. Неизменная способность Энтони все понимать с полуслова и делала Глорию с ним счастливее, чем с кем бы то ни было. Она просто наслаждалась его обществом — она любила его. Лето начиналось почти так же, как и предыдущее.

Однако в хозяйственном отношении одна радикальная перемена все же произошла. Хладносердная скандинавка, чья аскетическая стряпня и сардоническая манера прислуживания за столом так угнетали Глорию, уступила место превосходно вышколенному японцу по имени Танахака, который однако признался, что откликается на любой зов, содержащий двусложие «Тана».

Тана был несколько маловат даже для японца и придерживался несколько наивной концепции, что он — человек светский. В первый же день по прибытии из «Агентства безупречной японской рабочей силы Р. Гудзимоники» он позвал Энтони к себе в комнату, чтобы продемонстрировать сокровища своего дорожного сундука. Они включали в себя большую коллекцию японских открыток, которые он тут же, все без исключения и каждую в отдельности готов был детально описать своему хозяину. Полдюжины из них были во всех отношениях порнографическими и явно американского происхождения, хотя изготовители скромно умалчивали о своих именах и координатах для связи по почте. Далее на свет божий явились несколько образцов его рукоделия — пара американских легких брюк, которую он сшил сам и два комплекта солидного шелкового белья. О цели, для которой эти последние были припасены, он сообщил Энтони конфиденциально. Следующим экспонатом была довольно приличная копия с гравюры, изображавшей Авраама Линкольна, чертам которого Тана придавал несомненно японский характер. Последней демонстрировалась флейта; он сам сделал ее, но она сломалась, и он вскоре собирался ее починить.

После этих вежливых церемоний, любовь к которым, как предположил Энтони, была отличительной чертой японцев, Тана произнес на ломаном английском языке длинную речь об отношениях хозяина и слуги, из которой Энтони заключил, что он работал в больших коллективах, но всегда ссорился с другими слугами из-за их недостаточной честности. Особенно подробно они остановились на слове «честный», и остались даже слегка недовольны друг другом: Энтони упорно настаивал, что Тана произносит это слово как «шершни» и дошел даже до того, что начал жужжать на манер мухи и махать руками, имитируя биение крыльев.

После трех четвертей часа Энтони была возвращена свобода с теплыми заверениями, что у них еще будут не менее приятные беседы, в которых Тана поведаст «как мы дераем эта в наша старание».

Такова была многословная премьера Тана в сером доме — и все обещанное в ней исполнилось. Добросовестный и честный, он был, кроме того, ужасно надоедлив. Он был, казалось, совершенно неспособен контролировать свой язык, часто двигаясь от абзаца к абзацу своей речи с выражением болезненного недоумения в маленьких карих глазках.

По воскресеньям и после обеда в понедельник он штудировал разделы комиксов и газетах. Однажды он увидел там рисунок, изображавший японского дворецкого, который несказанно развеселил его, хотя он и уверял, что персонаж, видевшийся Энтони определенно азиатом, имел вполне американское лицо. Но главная трудность с чтением комиксов заключалась в том, что когда он, с помощью Энтони, прочитывал подписи под тремя последними картинками и с умственным напряжением, какое примерно требуется от человека, постигающего кантовские «Критики», пытался усвоить их содержание, он уже напрочь забывал, о чем шла речь в первых картинках.

В середине июня Энтони и Глория отметили первую годовщину свадьбы, назначив друг другу «свидание». Энтони постучал в дверь, а она побежала ему открывать. Потом они сидели вместе на диване, перебирая имена, которые придумывали один другому: вечно новые сочетания извечных выражений нежности. И было жаль, что этому свиданию не хватало исполненного сожаления трепетного прощания.

В конце июня на Глорию, поразив ее и отшвырнув на полпоколения назад ее ясную душу, злобно глянул ужас. Потом он отступил, медленно канул во мрак, из которого явился, но безжалостно унес с собой частичку юности.

Безошибочным инстинктом драматурга он выбрал для действия крохотную железнодорожную станцию в заброшенной деревушке неподалеку от Портчестера. Весь день ее безлюдная, как прерия, платформа была предоставлена пожелтевшему от пыли солнцу и взглядам того крайне неприятного типа сельских жителей, которым соседство большого города уже сообщило некоторую щеголеватость, но не сумело внушить культурности. Примерно дюжина этих красноглазых и угрюмых, как пугала, увальней наблюдала все происшествие. Оно едва ли коснулось их бессвязных, невосприимчивых умов, скорее было рассмотрено в самом широком смысле как грубая шутка, а в самом утонченном, как «скандал». А между тем, именно в этот день, на этой платформе мир покинула часть его красоты.

Энтони провел все эти жаркие послеполуденные часы с Эриком Мерриамом за графином шотландского виски, в то время как Глория и Констанс Мерриам плавали и наслаждались солнышком на клубном пляже; последняя под полосатым зонтом, а Глория с чувством раскинувшись на мягком горячем песке, не в силах не подставить загару свои ноги; потом они все вчетвером поживились незамысловатыми сэндвичами, после этого Глория поднялась и постучала по колену Энтони своим зонтиком, чтоб привлечь внимание.

— Дорогой, нам нужно идти.

— Прямо сейчас? — он посмотрел на нее без всякого воодушевления. В этот момент для него, казалось, не было вещи более важной, чем сидеть вот так, развалясь, в тени крыльца, попивая выдержанное виски, в то время как хозяин, не чая добраться до конца, распространялся об эпизоде какой-то забытой политической кампании.

— Нам правда нужно идти, — повторила Глория. — Мы можем взять такси до станции... Ну, давай же, Энтони, — произнесла она чуть более повелительно.

— Так вот, слушай, — Мерриам, которому скомкали весь рассказ, произнес набор дежурных возражений, между тем наполняя стакан своего гостя порцией коктейля, которую нужно было посасывать еще минут десять. Но под раздраженное «Нам надо ехать!» Глории, Энтони выпил все единым махом, поднялся на ноги и подчеркнуто галантно поклонился хозяйке.

— Похоже, нам на самом деле «надо ехать», — произнес он с плохо скрываемым недовольством.

Через минуту он следовал за Глорией по дорожке сада среди высоких розовых кустов, слушая, как ее зонтик с тихим шуршанием задевает роскошную июньскую листву. Очень мило с ее стороны, думал он, когда они вышли к дороге. Чувствуя себя обиженным ребенком, он был уверен, что Глории не следовало прерывать столь невинное, никому не мешавшее времяпрепровождение. Принятое виски смягчало эти резкие мысли, но делало их все более неотступными. Ему пришло в голову, что она уже не первый раз так поступает. И что, теперь его удел — всегда отказываться от приятных минут, повинаясь прикосновению зонтика или движенью ее глаз? Его недовольство стало принимать формы вполне отчетливой злости, которая неудержимо вскипала в нем. Он молчал, но лишь благодаря тому, что упорно подавлял желание отчитать ее. Перед гостиницей они нашли такси; в молчании доехали до маленькой станции...

И там Энтони понял, чего он хочет — продемонстрировать свою волю этой бесчувственной, ничего не желающей знать девчонке, единым великолепным усилием обрести над ней превосходство, которого он внезапно и страстно возжелал.

— Давай заедем к Барнсам, — сказал он, не глядя на нее. — Мне не хочется домой.

У миссис Барнс, урожденной Рэйчел Джеррил, был летний дом в нескольких милях от Рэдгейта.

— Мы были там позавчера, — кратко ответила она.

— А я уверен, они будут рады видеть нас. — Он почувствовал, что высказался недостаточно сильно и, собрав в кучу всю свою решимость, добавил. — Я хочу видеть Барнсов. У меня нет никакого желания ехать домой.

— Ну, а у меня нет никакого желания ехать к Барнсам.

Они уставились друг на друга.

— Энтони, неужели ты не понимаешь, — начала она раздраженно, — сегодня воскресенье и они наверняка пригласили кого-нибудь на ужин. Почему мы должны появляться там в то время, когда?..

— Тогда почему мы не могли остаться у Мерриамов? — взорвался он. — Зачем ехать домой, когда мы так прекрасно проводили время? Они просили нас остаться на ужин.

— Да мы просто вынудили их. Дай мне деньги, я куплю билеты на поезд.

— И не подумаю! У меня нет настроения тащиться в этом чертовом душном поезде.

Глория притопнула ногой по платформе.

— Энтони, ты ведешь себя как пьяный.

— Напротив, я совершенно трезв.

Но голос вдруг сел и Глория мгновенно поняла, что это неправда.

— Если ты трезвый, то дай мне деньги на билеты.

Но было уже слишком поздно говорить с ним таким тоном. Его мозг заполонила единственная идея — что Глория ведет себя как эгоистка, что она всегда была эгоисткой, и останется эгоисткой, если здесь и немедленно он не поставит себя как ее хозяин. Был самый подходящий из всех подходящих случаев — ведь только что из-за прихоти она лишила его удовольствия. Его решимость окрепла, мгновенно достигнув степени тупой и угрюмой ненависти.

— Я не собираюсь садиться в поезд, — сказал он подрагивающим от злости голосом. — Мы отправляемся к Барнсам.

— Только без меня! — выкрикнула она. — Если ты собрался туда, я поеду домой одна.

— Счастливо.

Ни слова не говоря, она направилась к билетной кассе, а Энтони тут же вспомнил, что у нее есть с собой какие-то деньги и сообразил, что это вовсе не та победа, которой он хотел, совсем не то, чего он должен был добиться. Он бросился вслед за ней и схватил за руку.

— Слушай, — выговорил он, — одна ты никуда не поедешь.

— Еще как... Что ты делаешь?! — Это восклицание, в то время как она пыталась высвободиться, привело лишь к тому, что он усилил хватку.

Он смотрел на нее сузившимися, полными злобы глазами.

— Пусти! — в голосе ее зазвучала ярость. — Если у тебя осталась хоть капля порядочности, пусти меня!

— С какой это стати? — Он знал, с какой стати. Но, вместе с тем, не дать ей уйти стало для него уже чем-то вроде вопроса чести.

— Я еду домой, ты понимаешь? И ты меня отпустишь!

— Ни за что.

Теперь ее глаза пылали.

— Ты собираешься устроить сцену прямо здесь?

— Я сказал, ты никуда не едешь! Мне надоел твой вечный эгоизм.

— Я просто хочу домой. — Две гневные слезы скатились у нее из глаз.

— На этот раз ты будешь делать то, что я говорю.

Ее тело медленно выпрямилось, голова откинулась назад с выражением бесконечного презрения.

— Ненавижу тебя! — Сдавленные слова сочлились словно яд сквозь стиснутые зубы. — Да пусти же! Как я тебя ненавижу! — Она попыталась вырваться, но это привело лишь к тому, что он схватил ее и за другую руку. — Ненавижу тебя! Ненавижу!

Ярость Глории поколебала его уверенность, но он понимал, что зашел уже слишком далеко, чтоб отступать. Теперь ему казалось, что он всегда только и делал, что уступал ей, а она за это в душе презирала его. Да, сейчас она ненавидит его, но потом сама же будет восхищаться, ощутив его превосходство.

Приближающийся поезд дал предупредительный гудок, и его мелодраматически резкий звук докувыркался до них по блестящим голубым рельсам. Глория дернулась, напряглась, стараясь вырваться, и слова, более древние чем Книга Бытия, сорвались с ее губ.

— Скотина! — прорыдала она. — Ты — скотина! Как я тебя ненавижу! Скотина! О!..

Другие предполагаемые пассажиры, находившиеся на станционной платформе, начали оборачиваться на них; гул поезда делался все слышнее, перерастая в торжествующий рев. Глория удвоила свои усилия, потом покорила и замерла с широко раскрытыми пылающими глазами, дрожа от бессильного унижения, пока поезд с грохотом и шумом подкатывал к перрону.

Едва различимый среди свиста пара и лязганья тормозов, послышался ее голос:

— Если б здесь был хоть один мужчина, ты не посмел бы! Тебе бы не позволили! Ты трус! О, какой же ты трус!

Энтони, не произнося ни звука, весь дрожа, крепко держал ее, сознавая, что десятки любопытно-недвижных лиц, как во сне, уставились на него. Зашелся похожим на вопль боли металлическим дребезгом станционный колокол, раскручиваясь медленными кольцами, в небо взлетели клубы дыма, среди шума и сероватых клочьев пара тронулась и все быстрее поплыла мимо них линия лиц, превратилась в безликую полосу и пропала — осталось только солнце, бьющее через рельсы на восток и клубок звуков, пропадающих вдаль, словно шлейф, сделанный из жестяного грома. Он отпустил ее руки. Он победил.

Теперь, если б ему захотелось, он мог бы рассмеяться. Испытание было закончено, и он подкрепил свою волю насильем. Пусть по следам победы шагает снисходительность.

— А сейчас мы найдем такси и вернемся в Мариэтту, — провозгласил он с великолепной сдержанностью,

Вместо ответа Глория схватила его руку обеими своими и, поднеся ее ко рту, сильно укусила за большой палец. Он почти не ощутил боли; заметив кровь, рассеянно вытащил носовой платок и завязал рану. Это было тоже частью триумфа — поражение неизбежно вызывает желание отомстить — и как таковое не заслуживает внимания.

Она всхлипывала, почти без слез, безутешно и горько.

— Я не хочу ехать! Не хо... чу! Ты не... можешь заста... заставить меня ехать! Ты убил... убил всю мою любовь к тебе... все уважение. Но все, что еще осталось во мне, умрет прежде, чем я сдвинусь с этого места. О, если б я только могла подумать, что ты поднимешь на меня руку...

— Ты поедешь со мной, — сказал он грубо, — даже если придется волочить тебя силой.

Он повернулся, подзвал такси, сказал водителю, что нужно ехать в Мариэтту. Тот вылез из машины и распахнул дверцу. Энтони повернулся к жене и сквозь зубы произнес:

— Не желаете ли сесть? Или придется вам помочь?

Со сдавленным воплем бесконечной боли и отчаянья она покорила и полезла в машину.

Весь долгий путь в сгущавшихся сумерках она сидела, сжавшись в комок на своей стороне сиденья и нарушала тишину лишь отдельными отрывистыми всхлипами. Энтони смотрел в окно, мозг его тупо пытался осмыслить, что же на самом деле произошло. Что-то было не так — это последнее восклицание Глории словно оборвало какую-то струну, посмертно отозвавшуюся в его сердце странным беспокойством. Он уверял себя, что все сделал правильно — и все же сейчас она казалась ему такой маленькой и трогательной, сломленной и подавленной, униженной сверх всякой меры. Рукава ее платья были порваны, пропал забытый на платформе зонтик. Это было новое платье, вспомнил он, и еще утром, когда они выходили из дома, она так им гордилась.

...Ему стало интересно, видел ли кто-нибудь из знакомых то, что произошло. И постоянно вертелись в голове ее слова:

— Все, что еще осталось во мне, умрет...

На душе у него становилось все беспокойнее. И это так же чувствовалось в Глории, которая сжалась сейчас в углу — уже не воплощенной гордости, вообще не той Глории, которую он знал. Он спрашивал себя, возможно ли это. Он не верил, что Глория может разлюбить его — такого он даже в мыслях не допускал — и все же оставалось проблематичным, сможет ли Глория, лишенная своей надменной независимости, нетронутой самоуверенности и мужества, остаться девушкой, которой он гордился, той ослепительной женщиной, все бесценное очарование которой заключалось в том, что она неизменно и победоносно умела быть самой собой.

Даже сейчас он был еще очень пьян, пьян настолько, что сам не понимал степени своего опьянения. Когда они добрались до серого дома, он, все еще пытаясь безуспешно и угрюмо побороть сознанием то, что произошло, отправился в свою комнату и, повалившись на кровать, впал в состояние глубокого оцепенения.

Был второй час ночи и в доме стояла необычайная тишина, когда не заснувшая ни на секунду, даже глаз не сомкнувшая Глория, пройдя через холл, распахнула дверь его комнаты и стала на пороге. Он был слишком пьян, чтоб догадаться открыть окна, поэтому воздух в комнате был спертый, насыщенный парами виски. Она постояла секунду возле его кровати, стройная, невыразимо грациозная, в мальчишеской шелковой пижаме — потом в страстном отчаянии бросилась на него, наполовину разбудив неистовой силой своих объятий, роняя теплые слезы ему на шею.

— О, Энтони, — безутешно плакала она, — милый, ты даже не знаешь, что ты наделал!

А рано утром он пришел к ней в комнату, опустился на колени рядом с кроватью и заплакал как маленький мальчик, словно это его сердце было разбито.

— Прошлой ночью мне показалось, — говорила она печально, перебирая пальцами его волосы, — что вся та часть меня, которую ты любил, та часть, которая только чего-то

и стоила, все, вся гордость и огонь — все куда-то ушло. Я поняла, что та часть, которая осталась, будет всегда тебя любить, но никогда уже не так, как прежде.

И все равно, даже тогда она знала, что придет время и все забудется, знала, что так оно и бывает: жизнь берет не битьем, а катаньем. После этого утра инцидент никогда не упоминался, а глубокая рана от него была залечена руками Энтони и если это был триумф, то принадлежал он какой-то темной, могучей силе, едва ли понятной им самим, ей же достались и опыт, и плоды победы.

Свободолюбие Глории, как все искренние и глубокие качества, поначалу развивалось бессознательно, но когда очарованный этим открытием Энтони обратил на него внимание самой Глории, оно приобрело очертания некоего кодекса. Из высказываний Глории можно было заключить, что вся ее энергия и жизненные силы уходили на страстное утверждение антипринципа «Плюй на все».

— Мне ни до кого и ни до чего нет дела, — говорила она, — кроме себя самой и, следовательно, Энтони. Это — закон жизни и даже если б это было не так, я все равно придерживалась бы такого взгляда. Никто бы пальцем не пошевелил ради меня, если б это не доставляло удовольствия им самим, и я бы сделала для них не больше.

Говорила все это Глория на парадном крыльце дома самой симпатичной в Мариэтте дамы, а как только закончила, издала короткий странный вскрик и рухнула в обмороке прямо на пол веранды.

Дама привела ее в чувство и привезла домой. А рассудительной Глории пришло на ум, что она, возможно, беременна.

Она лежала на кушетке в холле. За окном лениво скользил теплый день, прикасаясь к поздним розам, оплетавшим колонны парадного крыльца.

— Я все время думаю только о том, что люблю тебя, — жаловалась она. — Я ценю свое тело лишь потому, что оно тебе кажется прекрасным. И это мое тело, то есть твое, неужели оно должно стать уродливым и бесформенным? Это просто невыносимо. О, Энтони, я не боюсь боли.

Он изо всех сил утешал ее, но тщетно. Она продолжала.

— И, потом, после этого у меня, может быть, раздадутся бедра, я сделаюсь бледной, пропадет вся моя свежесть и волосы потускнеют.

Засунув руки в карманы, он мерил шагами комнату, потом спросил:

— Ты уверена в этом?

— Я ничего не знаю. Всегда ненавидела ходить к этим гинекологам или как их там. Я думала, что рано или поздно нужно заводить ребенка. Но не сейчас.

— Только, ради Бога, не надо лежать здесь и так расстраиваться из-за этого.

Стенания прекратились. Благостные сумерки, наполнив комнату, успокоили и Глорию.

— Включи свет, — попросила она. — Дни пролетают так незаметно... Когда я была маленькая... мне казалось, что... в июне дни... длиннее.

Вспыхнули лампочки, а за окнами и за дверью словно упал синий занавес из нежнейшего шелка. Ее бледность, ее неподвижность, теперь уже без печали, пробудили в нем сострадание.

— А ты хочешь, чтоб я родила? — спросила она вяло.

— Мне все равно. То есть, я отношусь в этому нейтрально. Если у тебя будет ребенок, я, наверное, буду рад. Если не будет, что ж — тоже ничего плохого.

— Я хочу, чтоб ты все-таки решил, что для тебя лучше.

— Давай лучше ты сама это решишь.

Она посмотрела на него пренебрежительно, не достаивая ответом.

— Ты думаешь, что это бесчестье из всех женщин земли случилось только с тобой?

— Да хоть бы и так! — выкрикнула она сердито. — Для них в этом нет ничего недостойного. Это единственное, что оправдывает их существование. Единственная вещь, для которой они годны. А для меня это — унижение.

— Послушай, Глория, что бы ты ни решила, я на твоей стороне, только ради всего

святого, не нужно так расслабляться по этому поводу.

— Ой, только не занудствуй! — взмолилась она.

Они молча обменялись не особенно осмысленным, но довольно яростным взглядом. Потом Энтони взял с полки книгу и упал в кресло.

Через полчаса из напряженной тишины, переполнявшей комнату, повисший в воздухе словно фимиам, донесся ее голос.

— Завтра съезжу повидаться с Констанс Мерриам.

— Хорошо. А я отправлюсь в Тэрритаун к деду.

— Понимаешь, — добавила она, — не то чтобы я боюсь — этого, или чего-нибудь еще. Просто стараюсь быть собой.

— Я понимаю, — согласился он.

Деловые люди

Адам Пэтч, в праведном гневе против немцев, питался, в основном, военными сводками. Стены его дома были оклеены истыканными булавками картами, на столах, чтоб быть под рукой, толстым слоем лежали атласы вперемежку с «Хроникой мировой войны в фотографиях», официальными бюллетенями и «Личными впечатлениями» военных корреспондентов и рядовых X, Y и Z. Во время визита Энтони секретарь его деда, Эдвард Шаттлуорт, в свое время «Опытный водкоцелитель» из «Ирландской слободы» в Хобокене, теперь тоже подкованный праведным негодованием, несколько раз появлялся с дополнительными материалами. Старик с неистощимой яростью набрасывался на каждую бумажку, немедля вырезая те заметки, которые казались ему достаточно ценными, и тут же подшивал их в одну из своих и так уже достаточно объемистых папок.

— Ну, что же ты подделывал? — беззлобно спросил он Энтони. — Ничего? Я так и думал. Все лето хотел выбраться повидать вас.

— Я писал. Разве вы не помните эссе, которое я послал вам — то, которое я продал во «Флорентину» прошлой зимой?

— Эссе? Ты не посылал мне никакого эссе.

— Ну как же, посылал. Мы ведь говорили об этом.

Адам Пэтч слегка покачал головой.

— Не-ет. Мне ты не посылал никакого эссе. Может быть, ты думал, что послал, но до меня оно так и не добралось.

— Как же, ведь вы его читали, дедушка, — настаивал Энтони, теряя терпение, — вы читали и оно вам не понравилось.

И тут старик внезапно вспомнил, но это выразилось только в том, что у него приоткрылся рот, обнажив сероватые десны. Глядя на Энтони зеленым древним взглядом, он колебался между желанием признать свою ошибку и стремлением скрыть ее.

— Значит, ты пишешь, — произнес он быстро. — Хорошо, а почему бы тебе не поехать и не написать об этих немцах? Напиши что-нибудь настоящее, о современности, то что смогут читать люди.

— Не всякий может быть военным корреспондентом, — возразил Энтони. — Потом, нужна газета, которая захочет купить твой материал. А у меня нет денег, чтоб отправиться туда в качестве неаккредитованного журналиста.

— Я дам тебе денег, — неожиданно предложил дед. — Ты поедешь как собственный корреспондент любой газеты, которую выберешь.

Энтони испытал ужас от такой перспективы и одновременно чем-то она его привлекла.

— Я... я не знаю.

Для этого нужно было оставить Глорию, вся жизнь которой стремилась к нему и этим во многом определяла его собственную. Да еще эта беременность. Нет, просто нереально... и все же... он представил себя в хаки, опирающимся, как делали все военные корреспонденты, на массивную трость, с портфелем под мышкой — старающимся выглядеть

как англичанин.

— Я хотел бы обдумать это, — признался он. — Конечно, вы так добры. Я подумаю над этим и дам вам знать.

Обдумывание поглощало все его мысли до самого Нью-Йорка. Он испытывал одно из тех внезапных прозрений, которые рано или поздно случаются со всеми мужчинами, находящимися под влиянием властной и любимой женщины, прозрение, которое вдруг показывает им мир более сильных мужчин, более сурово воспитанных, готовых вступить в схватку не только с призраками собственного воображения, но даже с самой войной. В этом мире руки Глории могли существовать только как жаркие объятия случайной возлюбленной, которые бесстрастно ищут и быстро забывают...

Эти неожиданные видения продолжали толпиться вокруг него, когда он садился на свой поезд в Мариэтту на Центральном вокзале. Вагон был переполнен, он занял последнее свободное место и прошло несколько минут, прежде чем он бросил случайный взгляд на человека рядом с собой. А когда сделал это, то увидел тяжелые очертания челюсти и носа, круглый подбородок и маленькие, утопленные в мешки глаза и тут же узнал Джозефа Бликмана.

Одновременно оба полупривстали, полусмутились и обменялись тем, что можно назвать полурукопожатием. Потом, как бы завершая начатое, оба полурассмеялись.

— Да, — заметил Энтони без воодушевления, — давненько мы не виделись. — И тут же, пожалев о сказанном, чтоб сказать хоть что-то еще, начал: — А я и не знал, что вы живете по этому направлению. — Но Бликман, предупреждая дальнейшее, вежливо осведомился:

— Как поживает ваша жена?..

— Спасибо, хорошо. А вы как поживаете?

— Отлично, — подчеркнул он голосом великолепие этого слова.

Энтони показалось, что за прошедший год чувство собственного достоинства выросло у Бликмана неизмеримо. От напряженной нервозности не осталось и следа, похоже было, что наконец он «достиг». Кроме того, он не был больше разодет. Не всегда оправданная фривольная цветистость его галстуков уступила место продуманно-серьезной гамме, а его правая рука, на которой прежде красовались два тяжелых перстня, сейчас была лишена не только этой орнаментики, но даже не носила на себе явных следов усилий маникюрши.

Подобные же знаки достоинства появились во всей его внешности. Исчезла былая аура удачливого коммивояжера — та нарочитая угодливость, худшей формой проявления которой служит готовность завести скабресный разговор в вагоне для курящих. Могло показаться, что объятия финансового благополучия сделали его независимым, а былой недостаток общественного признания приучил быть сдержанным. Но что бы ни придавало ему веса, кроме его собственной массы, Энтони больше не ощущал подобного превосходства в его присутствии.

— А вы помните Кэрэмела, Ричарда Кэрэмела? Мне кажется, вы как-то с ним встречались.

— Да, помню. Он писал книгу.

— Потом он продал ее для сценария и ее отдали какому-то сценаристу по имени Джордан. Ну вот, Дик договорился в каком-то бюро, чтоб ему присылали вырезки всех рецензий, и представьте себе его ярость, когда он узнал, что половина обозревателей расписывает силу и мощь «Демона-любовника», только уже Вильяма Джордана. И ни слова о бедном Дике. Можно подумать, что этот парень, Джордан, сам придумал и написал все это.

Бликман понимающе кивнул.

— Вообще-то большинство контрактов составляется так, что имя писателя — автора идеи, включается в любую оплачиваемую рекламу. А что, Кэрэмел все еще пишет?

— Да. Он много пишет. Рассказы.

— Что ж, это прекрасно, просто прекрасно... А вы часто ездите на этом поезде?

— Примерно раз в неделю. Мы живем в Мариэтте.

— Неужели? Замечательно! Я сам живу возле Кос Коб. Совсем недавно купил там дом. Это всего в пяти милях от вас.

— Вы должны обязательно навестить нас, — Энтони сам удивился собственному радушию. — Уверен, что Глория будет рада повидать старого друга. Вам любой скажет, где нас найти, мы уже второй сезон живем там.

— Благодарю. — И потом, словно желая отозваться чем-нибудь приятным на вежливость. — А как ваш дед?

— Спасибо, здоров. Я сегодня с ним завтракал.

— Великий человек, — произнес Бликман с полной серьезностью. — Настоящий американец.

Торжество летаргии

Жену свою Энтони обнаружил погруженной в гамак, растянутый на веранде, сладострастно увлеченной лимонадом и сэндвичем с помидором и поддерживающей, по всей видимости, занимательную беседу с Тана на одну из предложенных им непростых тем.

— В моей старанна, — узнал Энтони неизменную преамбулу, — все время... рюди... есть рис... потому что у них нет. Не можешь есть, что нет.

И если б его национальная принадлежность не была так отчаянно очевидна, можно было подумать, что он черпает знания о своей родине из учебника географии для американской начальной школы.

Когда Восток в его лице был принужден замолчать и удален на кухню, Энтони вопросительно повернулся к Глории.

— Все в порядке, — объявила она, широко улыбаясь. — И я этому удивилась больше, чем ты.

— И никаких сомнений?

— Никаких! И быть не может!

И они беззаботно развеселились, радуясь вновь обретенной безответственности. Потом он рассказал ей о возможности поехать за границу и о том, что ему было почти жаль отказываться.

— Что ты думаешь об этом? Только скажи честно.

— Но, Энтони, — глаза у нее были испуганные. — Неужели ты хочешь уехать? Без меня?

Лицо его помрачнело — и все же, когда она только спрашивала, он знал, что уже слишком поздно. Ее прекрасные руки, объятия которых невозможно было разорвать, уже оплели его и все свои выборы такого рола он уже сделал в той комнате в Плаза-отеле год назад. Это был анахронизм из той поры, когда такие мечты были еще возможны.

— Ну что ты, Глория, — лгал он, вдруг с ужасающей отчетливостью поняв все это, — конечно нет. Я просто думал, что ты могла бы поехать санитаркой, или можно еще что-нибудь придумать. — Ему стало интересно, как бы отнесся к этому дед.

И когда она улыбнулась, он еще раз понял, как она прекрасна, необыкновенная, непередаваемой свежести девушка с проникновенно искренним взглядом. С чарующей живостью она ухватила за его предложение и, держа его над собой как собственное рукотворное солнце, грелась в его лучах. И тут же набросала изумительный сценарий их военных походов.

После ужина Глория уже зевала, пресытившись обсуждением. Теперь она хотела не разговаривать, а только читать «Пенрода», что и делала, раскинувшись на кушетке, пока около полуночи не заснула. А Энтони, после того как в лучших романтических традициях отнес ее наверх, еще остался бодрствовать, чтобы поразмыслить над прошедшим днем; смутная злость на Глорию и недовольство томили его.

— Ну, и что же мне теперь делать? — начал он за завтраком. — Мы вот уже год женаты, а все как-то мыкаемся бестолково, даже бездельничать толком не научились.

— Да, ты должен чем-нибудь заняться, — легко согласилась она, пребывая в болтливом настроении. Это был не первый из подобных разговоров, но так как в них обычно главным действующим лицом становился Энтони, она привыкла избегать их.

— Не то чтобы я испытываю угрызения совести из-за того, что не работаю, — продолжал он, — но дед может умереть завтра, а может протянуть еще десять лет. В то время как мы, проживая больше, чем можем себе позволить, нажили только фермерский автомобиль, да кое-что из одежды. Мы держим квартиру, в которой жили всего три месяца, и этот прелестный старинный особнячок у черта на куличках. Все это нам иногда надоедает и все же мы не хотим приложить никаких усилий, чтоб познакомиться с кем-нибудь, кроме той самой толпы, которая все лето слоняется по Калифорнии в спортивной одежде и в ожидании смерти кого-нибудь из родственников.

— Как ты изменился, — заметила Глория. — Когда-то ты говорил мне, что не понимаешь, почему американец не способен красиво и с удовольствием бездельничать.

— Но, черт возьми, я тогда не был женат. И ум работал на полную катушку, а сейчас крутится вхолостую, как зубчатое колесо, которому не за что зацепиться. На самом деле я думаю, что если б не встретил тебя, то сумел бы чего-то добиться. Но ты делаешь праздность такой утонченно-праздничной...

— Да, конечно, во всем виновата я.

— Ты прекрасно понимаешь, что я не это имел в виду. Но вот мне уже почти двадцать семь и...

— О! — перебила она раздраженно, — ты меня утомил! Как будто я возражала или запрещала тебе!

— Но, Глория, я же только хотел обсудить. Неужели я не могу обсудить?..

— Мне кажется, ты должен иметь достаточно воли, чтоб решать...

— ...обсудить что-либо с тобой без этих...

— ...свои собственные проблемы без моей помощи. Ты все время твердишь, что собираешься работать. Я могла бы с легкостью расходовать и больше денег, но я же не жалуясь. Работаешь ты или нет — я все равно люблю тебя.

Ее последние слова упали нежно, как невесомый снег на стылую землю. Но именно в этот момент ни один из них не слушал другого — каждый был занят полировкой и подгонкой собственной позы.

— Но я все же работал. — Эта попытка Энтони оправдать себя была очень опрометчива. Глория рассмеялась и неизвестно чего больше было в этом веселье — удовольствия или насмешки; ее возмущала его софистика и в то же время она восхищалась его беспечностью. Она никогда не стала бы винить его за ничегонеделание, пока он был в этом искренен, исходя из убеждения, что ни одно занятие не стоит того, чтоб им заниматься.

— Работа! — фыркнула она. — Бедный мой трудяга! Обманщик! Твоя работа — это опять постоянные приборки на письменном столе, установка света, бесконечная чинка карандашей и «Глория, прекрати петь!» или «Пожалуйста, не подпускай ко мне этого проклятого Тана», или «Давай я прочту тебе самое начало», или «Это займет у меня довольно много времени, поэтому ложись», и непомерное питье чая или кофе. И на этом — все. А примерно через час я слышу, как перестает скрипеть твой карандаш и подглядываю. Ты уже достал книгу и что-то в ней «ищешь». Потом ты читаешь. Потом зеваешь — и наконец ложишься в постель; тогда начинается бесконечное ворчанье, потому что ты напичкал себя кофеином и спать уже не можешь. А через две недели все представление повторяется.

Энтони с большим трудом сохранял скудное подобие достоинства.

— Во-первых, это, мягко говоря, преувеличение. Ты прекрасно знаешь, что я продал эссе во «Флорентину» — и оно привлекло достаточное внимание, учитывая тираж «Флорентины». Больше того, Глория, ты ведь знаешь, что я сидел до пяти утра, заканчивая его.

Словно поддразнивая, она хранила молчание. Если ее победа и не была полной, то в чем-то она все же одержала верх.

— По крайней мере, — закончил он вяло. — Я вполне готов быть военным корреспондентом.

Того же мнения была и Глория. Они оба этого хотели — очень, и уверяли в этом друг друга. Вечер закончился на невыразимо сентиментальной ноте; говорилось о величии досуга, о плохом здоровье Адама Пэтча, о любви любой ценой.

— Энтони! — донесся сверху голос Глории, примерно через неделю после их разговора, — к нам кто-то приехал.

Энтони, который полулежал в гамаке на крапчатом от солнца южном крыльце, побрел вокруг дома к переднему входу. Машина иностранной марки, большая и внушительная, словно огромный, насосавшийся крови клоп, припала к земле у начала дорожки через газон. Мужчина в мягком чесучовом костюме и такой же кепке приветствовал его.

— Добрый день, Пэтч. Решил вот заехать к вам.

Это был Бликман; как всегда ставший чуть лучше, с более изысканным выговором, более убедительный в своей раскованности.

— Ужасно рад, что вы заехали. — Энтони возвысил голос, обращаясь к оплетенному лозой окну. — Глория! У нас гость!

— Я в ванне, — вежливо откликнулась Глория. Мужчины с улыбкой признали неузвимость ее алиби.

— Сейчас спустится. Идемте сюда, на боковое крыльцо. Хотите выпить? А Глория всегда в ванне — по крайней мере, раза три на день.

— Жаль, что она живет не в Саунде.

— Нам это не по карману.

Такие слова, исходящие от внука Адама Пэтча, Бликман принял за форму вежливости. После пятнадцати минут, заполненных надлежащими изъяснениями остроумия, появилась Глория, свежая, в чем-то хрустяще-желтом, животворя все вокруг себя.

— Хочу стать киносенсацией, — заявила она. — Я слышала, что Мэри Пикфорд зарабатывает миллион долларов в год.

— А вы знаете, вы могли бы, — сказал Бликман. — Думаю, вы хорошо смотрелись бы на экране.

— Ты разрешишь мне, Энтони? Если я буду играть только невинные роли?

По мере того как беседа продолжалась в столь же высокопарном ключе, Энтони становилось все более странно, что когда-то для них с Бликманом эта девушка была самым волнующим, самым будоражающим чувства явлением в жизни а теперь они сидели здесь втроем как хорошо смазанные механизмы, не испытывая не то что страха, а даже неприязни или хотя бы малейшего подъема настроения; покрытые толстым слоем эмали крохотные фигурки, спрятавшиеся за своими наслаждениями от мира, в котором война и смерть, дурацкие амбиции и напыщенная дикость покрыли мраком ужаса целый континент.

Через минуту он позовет Тана и они будут вливать в себя веселящую и нежную отраву, которая, пусть ненадолго, но вернет их в мир полного радостным волнением детства, когда каждое лицо в толпе несло на себе отпечаток великолепных и значительных событий, происходивших где-то во имя некой величественной, превосходящей всякое воображение цели... Жизнь была не больше, чем этот летний полдень; легкий ветерок, трогающий кружевной воротник платья Глории, медленно густеющая на солнцепеке сонливость веранды... Казалось, все они застыли в невыносимой неподвижности, лишённые малейшего душевного движения. Даже красоте Глории не хватало необузданных эмоций, остроты, фатальности...

— В любой день на следующей неделе, — говорил Бликман Глории. — Вот, возьмите карточку. Они просто попробуют вас на небольшом кусочке сотни в три футов и. уже исходя из этого, смогут сказать со всей определенностью.

— Как насчет среды?

— Прекрасно. Только позвоните мне и я сам вас представлю.

Он поднялся, сдержанно пожал руки — и вот его машина была только удаляющимся клубом пыли на дороге. Энтони в изумлении повернулся к жене.

— Глория, что происходит?

— Ты ведь не будешь возражать, если я попробую, Энтони? Всего одна проба? И потом, в среду мне все равно нужно в город.

— Но это же глупо! Ведь не хочешь же ты на самом деле сниматься в кино — болтаться целый день в студии с толпой этих статистов.

— Мэри Пикфорд болтается — и ничего!

— Ну, положим, не каждый может стать Мэри Пикфорд.

— Хорошо, но я не понимаю почему ты против того, чтоб я попробовалась.

— Мне это не нравится. Вообще, не люблю актеров.

— Ты меня утомил! Может, ты думаешь, что мне нравится впадать в спячку на этом крыльце?

— Ты не имела бы ничего против, если бы любила меня.

— Вот именно, что я люблю тебя, — нетерпеливо сказала она и продолжила, придумывая на ходу. — Я это и делаю потому, что мне надоело смотреть, как ты тут пропадаешь от безделья, все время твердя, что надо работать. Может быть, если б я попробовала заняться этим хоть на какое-то время, это и тебя подвигнуло бы на что-нибудь.

— Это лишь твоя вечная жажда развлечений и ничего больше.

— Может быть! Но это вполне естественная жажда, тебе не кажется?

— Хорошо, я скажу тебе только одно. Если ты будешь сниматься в кино, я отправляюсь в Европу.

— Прекрасно, можешь отправляться! Я тебя не держу!

И чтоб показать, что на самом деле не держит, беззвучно и печально расплакалась. Вместе они выстроили целые армии сентиментов — слов, уверений, саморазоблачений, поцелуев. И пришли к своему всегдашнему достижению — не достигли ничего. Наконец, в гаргантюанском всплеске эмоций каждый из них сел и написал письмо. Письмо Энтони предназначалось деду, Глория писала Джозефу Бликману. Триумф летаргии был полным.

Однажды, в начале июля, вернувшись во второй половине дня из Нью-Йорка, Энтони позвал Глорию. Не получив ответа, он подумал, что она спит и поэтому отправился в буфетную за одним из тех маленьких сэндвичей, которые всегда готовились про запас. Там он обнаружил Тана, сидевшего за кухонным столом перед живописной кучей разномастного хлама — сигарных коробок, ножей, карандашей, крышек от консервных банок и нескольких клочков бумаги, покрытых замысловатыми рисунками и диаграммами.

— Какого черта ты тут делаешь? — спросил Энтони с подозрением.

Тана вежливо осклабился.

— Я покажу вам, — воскликнул он воодушевленно. — И расскажу.

— Строишь собачью конуру?

— Нет, са, — Тана опять осклабился. — Дерая писча машина.

— Пишущую машинку?

— Да, са. Я думаю, все время думаю, режу кровать и думаю про писча машина.

— И, значит, ты додумался, что можешь сделать такую же?

— Подождите. Я скажу.

Энтони, жуя сэндвич, облокотился для удобства на раковину. Тана несколько раз открыл и закрыл рот, словно проверяя его на работоспособность. Потом внезапно начал:

— Я думар... писча машина... иметь эта, многа, многа, многа, многа штук. Так многа, многа, многа, многа.

— Много клавиш. Я понимаю.

— Не-е. Да — кравша! Многа, многа, многа, многа буква. Как эта... а, б, ц.

— Да, ты прав.

— Подождите. Я скажу. — Он скривил лицо в громадном усилии выразить себя. — Я думар... много сров — один конец. Вот как и-н-г .

— Точно. Целая куча таких слов.

— Поэтому я дераю... писча машина... чтоб быстро. Не так много буква.

— Отличная идея, Тана. Экономись время. Заработаешь целое состояние. Нажимаешь одну клавишу и сразу печатаешь целое окончание. Надеюсь, ты сделаешь свою машину.

Тана пренебрежительно рассмеялся.

— Подождите. Я скажу.

— Где миссис Пэтч?

— Ее нет. Подождите, я скажу. — Он опять скривил лицо, прежде чем запустить его в работу. — Моя писча машина...

— Где она?

— Вот, я дераю, — он указал на грудку хлама на столе.

— Я имею в виду миссис Пэтч.

— Ее нет, — успокоил его Тана. — Она говорит вернется пять часов.

— Пошла в деревню?

— Нет. Ушла еще на завтрак. Уедет мистер Брикман.

Энтони вздрогнул.

— Уехала к мистеру Бликману?

— Вернется пять часов.

Не говоря ни слова, Энтони выскочил из кухни, хотя вслед ему неслось безутешное «я скажу». Так вот, значит, каким образом решила она развлечься! Черт побери! Кулаки его сжались сами собой; всего мгновение понадобилось ему, чтоб возвести себя в невообразимую степень негодования. Он подошел к двери и выглянул наружу; в пределах видимости не было ни единой машины, а его часы показывали уже без четырех пять. Пытаясь унять ярость, он добежал до конца дорожки — на целую милю вокруг, до самого поворота шоссе не было видно ни единой машины — кроме — нет, это всего лишь фермерский грузовик. Постояв, он попытался обрести достоинство, не имея к тому достойных средств и с этой целью со всех ног бросился под прикрытие дома.

Шагая взад-вперед по гостиной, он начал репетицию разгневанной речи, которую бросит ей в лицо — пусть только она появится...

— Значит, это и есть любовь! — начнет он... Нет, слишком похоже на затертую фразу «Значит, это и есть Париж!» Он должен быть разгневан, обижен, опечален. Что-нибудь в этом роде. — Вот, значит, чем ты занимаешься, когда я мотаюсь целый день по делам в душном городе. Неудивительно, что я не могу писать! И стоит ли удивляться, что я не могу оставить тебя без присмотра! — Теперь, развивая тему, нужно приблизиться к самому главному. — Вот что я тебе скажу, продолжил он. — Я скажу... — Он задумался, уловив в этой фразе знакомый отзвук, потом понял — это было то самое «я скажу», которое он слышал от Тана.

И все же Энтони не рассмеялся, даже не показался себе нелепым. Его распаленному воображению представлялось, что уже шесть — семь — восемь, а ее все нет! Бликман, обнаружив, что ей все надоело и она несчастна, уговорил ее уехать с ним в Калифорнию...

А потом у переднего крыльца послышался шум, радостное «хэй, Энтони!» и он поднялся, весь дрожа, и внезапно ослабев от радости, смотрел, как она порхает на дорожке к дому. За нею, с кепкой в руке, следовал Бликман.

— Дорогой мой! — воскликнула она. — Просто восхитительная прогулка — прокатились по всему штату.

— А теперь мне пора, — несколько поспешно вставил Бликман. — Жаль, что вас не было дома, когда я заехал.

— Очень сожалею, — сухо отозвался Энтони.

Когда Бликман удалился, Энтони вдруг понял, что не знает, как себя вести. Страх ушел из его сердца, и все же он чувствовал, что хотя бы ради приличия нужно заявить какой-

нибудь протест. Глория сама разрешила все его колебания.

— Я знала, что ты не будешь возражать. Он приехал как раз перед ланчем, сказал, что ему нужно съездить по делам в Гаррисон и спросил, не хочешь ли я поехать с ним. Ему, похоже, было так одиноко, Энтони. И потом, я всю дорогу сама вела.

Энтони равнодушно уронил себя в кресло; его ум устал — устал ни от чего и от всего, от тяжести этого мира, которую, не спросясь, взвалили ему на плечи. Как всегда; он как всегда был беспомощен и бесполезен здесь. Одна из тех личностей, которые, несмотря на все свои старания, так и не могут себя выразить; наследник богатейшей традиции человеческого неудачничества — и все, да еще предчувствие смерти.

— Да, я наверное не буду возражать — отозвался он.

Вообще, на все эти вещи нужно смотреть проще; Глория, будучи молодой и красивой женщиной, не может не пользоваться этим. И все же его раздражало, что он не мог с этим смириться.

Зима

Она перевернулась на спину и какое-то время лежала неподвижно в этой огромной кровати, наблюдая, как свет февральского солнца мучительно приобретает свое чахлое изящество, сочась сквозь мутно-свинцовые стекла. Потом еще сколько-то времени она не могла обрести надлежащего чувства пространства, не могла вспомнить вчерашних или позавчерашних событий; потом, словно отведенный маятник, память начала отбивать свой рассказ, открывая с каждым качанием неведомый прежде отрезок времени, пока к Глории не вернулась вся ее жизнь.

Теперь она слышала рядом с собой затрудненное дыхание Энтони, могла ощущать запах виски и сигаретного дыма. Потом заметила, что не владеет своим телом; когда она пыталась двинуться, это не было согласованное движение, имевшее результатом мышечное напряжение, легко распределяемое по всему телу — это было громадное усилие нервной системы; всякий раз она словно гипнотизировала себя, готовясь выполнить что-то совершенно невыполнимое...

Потом она обнаружила, что стоит в ванной комнате, чистит зубы, чтобы избавиться от этого нестерпимого вкуса во рту; потом опять сидит на краю кровати, слушая, как брякает ключами у входной двери Баундс.

— Вставай, Энтони, — сказала она решительно.

Потом забралась к нему под бок и закрыла глаза.

Пожалуй, последнее, что она помнила, был разговор с Лэйси. «Вы точно не хотите, чтоб мы взяли вам такси?» говорила миссис Лэйси, и Энтони отвечал, что, по его мнению, им вполне по силам дойти пешком по Пятой авеню. Затем они оба сделали весьма опрометчивую попытку откланяться — потому что тут же совершенно непонятным образом рухнули на целую батарею пустых молочных бутылок, оказавшихся совсем рядом с дверью. Дюжины две, не меньше, молочных бутылок, разинув свои горла, стояли в темноте. Она не могла придумать этому никакого разумного объяснения. Возможно, эти бутылки были привлечены пением в доме Лэйси и, разинув рты от любопытства, поспешили понаблюдать за весельем. Короче говоря, они здорово намучились — казалось, что ни она, ни Энтони так и не смогут уже встать на ноги, эти упрямые посудины так катались...

Все же они нашли такси. «У меня сломался счетчик, и вам будет стоить полтора доллара попасть домой», — сказал водитель. «Ну, если так, — сказал Энтони, — то я — молодой Паки Макферленд и если ты выйдешь из машины, я тебя так отделаю, что ты не встанешь!..» На этом месте таксист уехал без них. И все-таки, надо думать, они нашли такси, потому что как-то ведь попали домой...

— А который час? — Энтони сидел в постели, уставившись на нее неподвижным свиным взглядом.

В высшей степени риторический вопрос. Глория понятия не имела, почему это она

должна знать, сколько сейчас времени.

— Боже, как мне плохо! — лишенным выражения голосом промычал Энтони. Лишившись последних сил, он рухнул обратно на подушку. — Ну, посылай же своего безжалостного косаря!

— Энтони, как мы в конце концов добрались вчера домой?

— На такси.

— О! — и позже, после паузы. — И ты донес меня до постели?

— Не знаю. Мне кажется, это ты донесла меня до постели. Какой сегодня день?

— Вторник.

— Вторник? Очень надеюсь. Потому что, если среда, то я должен приступить к работе в этой идиотской конторе. Предполагается, что я должен являться туда в девять или еще в какое-то немилосердное время.

— Спроси Баундса, — вяло предложила Глория.

— Баундс, — позвал он.

Вполне жизнеспособный и трезвый — отзвук того мира, который они, казалось, уже два дня как утратили навсегда, Баундс, часто топоча, проследовал по гостиной и появился в полумгле дверного проема.

— Какой сегодня день, Баундс?

— Двадцать второе февраля, я полагаю, сэр,

— Я имею в виду — какой день недели?

— Вторник, сэр.

— Благодарю.

И после паузы:

— Вы уже готовы позавтракать, сэр?

— Да... и, Баундс, пока вы не занялись завтраком, не затруднит ли вас принести кувшин воды и поставить его рядом с кроватью? Что-то пить хочется.

— Конечно, сэр.

Сказал Баундс и удалился, унося с собой собственное трезвое достоинство.

— День рождения Линкольна, — констатировал Энтони без всякого воодушевления, — или Валентинов день, или еще чей-нибудь. Когда мы начали эту сумасшедшую вечеринку?

— В воскресенье вечером.

— Наверняка благословясь, — предположил он сардонически.

— Мы носились по всему городу на нескольких такси, Мори сидел рядом со своим шофером, ты разве не помнишь? Потом мы вернулись домой и он пытался поджарить бекон — вышел из кухни с обугленными остатками и доказывал, что именно так бекон жарят до «пресловутой хрустящей корочки».

Оба неожиданно, хотя и с некоторым трудом рассмеялись и, лежа рядом на кровати, принялись восстанавливать цепь событий, которые закончились этим горчащим и сумбурным рассветом.

Они жили в Нью-Йорке уже почти четыре месяца, с тех пор как в конце октября в деревне стало слишком холодно. От Калифорнии они в этом году отказались — частью из-за нехватки денег, частью из-за намерения поехать за границу, если эта бесконечная война, тянувшаяся уже второй год, все-таки кончится этой зимой. В последнее время их доход как-то утратил свою растяжимость, его уже не хватало на покрытие веселых причуд и приятных излишеств и Энтони проводил немало головолomных и бесплодных часов над густо испещренным цифрами листком блокнота, составляя восхитительные балансы, в которых получались солидные остатки на «развлечения, поездки и т. д.», и при этом стараясь оценить, хоть приблизительно, их последние расходы.

Он вспоминал время, когда отправляясь втроем на «вечеринку», они с Мори неизменно платили больше, чем приходилось на их долю. Каждый из них готов был купить билеты в театр и они бывало пререкались из-за того, кому платить за обед. И это казалось само

собой разумеющимся. Дик с его наивностью и с тем невыносимым количеством информации, которой был набит, оставался на ролях забавного подростка — придворного шута для их величеств. Теперь все изменилось. Именно у Дика постоянно бывали деньги, а Энтони, познавший прелести всегдашней их нехватки — за исключением таких вот случайных, воодушевленных спиртным, неистовых и расточительных вечеринок — стал тем Энтони, который на следующее утро с видом торжественно скорбным говорил угрюмой, с отвращением слушавшей его Глории, что в следующий раз им «следует быть осторожнее».

За два года, прошедших со времени публикации «Демона-любownika», Дик заработал больше двадцати пяти тысяч и больше всего именно в последнее время, когда из-за ненасытного голода киноиндустрии на интригующие сценарии стала беспрецедентно расти его цена как сочинителя рассказов. Он получал семьсот долларов за каждый сюжет — внушительное по тем временам вознаграждение для столь молодого человека; ведь ему не было еще и тридцати — а за каждую историю, которая содержала достаточно «действий» (поцелуев, стрельбы и жертвоприношений), годную для воплощения на пленке, ему платили еще тысячу. Его рассказы менялись, они были живо написаны, на всех лежал отпечаток врожденного мастерства, но ни один уже не был так силен, как «Демон-любownik», а некоторые Энтони считал откровенной дешевкой. Эти вещи, строго внушал ему Дик, были призваны расширить его читательскую аудиторию. Кто возьмется опровергнуть, что все люди, достигшие по-настоящему прочной известности, от Шекспира до Марка Твена, обращались не только к избранным, но и к широкой публике?

Хотя Энтони и Мори не соглашались с этим, Глория всегда напутствовала Дика действовать в том же духе и делать столько денег, сколько получится — это единственная вещь, которая в любом случае принимается во внимание...

Мори, слегка располневший, обзаведшийся чуть приторным добродушием и обходительностью, уехал работать в Филадельфию. Раз или два в месяц он наезжал в Нью-Йорк и по такому случаю они все вчетвером устремлялись нахоженными тропками от обеда к театру, оттуда в «Забаву», или, бывало, по требованию ненасытно пытливого Глории, в какой-нибудь из погребков Гринвич-виллидж, овеянный неистовой, хотя и мимолетной славой очередного «нового поэтического направления».

В январе, после особенно обильных монологов, обращенных к непреклонно молчаливой жене, Энтони решил «присмотреть какое-нибудь занятие» хотя бы на зиму. Он хотел убажить деда и даже, до какой-то степени, посмотреть, как ему самому это понравится. После нескольких пробных полуофициальных звонков он обнаружил, что работодатели не очень-то интересуются молодым человеком, который только «намеревается попробовать себя в течение одного или двух месяцев». Как внука Адама Пэтча его принимали везде с подчеркнутой вежливостью, но сейчас старик уже «вышел в тираж» — расцвет его славы, сначала как «угнетателя», а потом как возродителя людей пришелся на последние двадцать лет до его ухода на покой. Энтони столкнулся даже с несколькими молодыми людьми, которые находились под стойким впечатлением, что Адам Пэтч уже немало лет как умер.

Наконец он отправился прямо к деду и спросил совета; суть последнего свелась к тому, что ему неплохо бы поработать агентом на рынке ценных бумаг — предложение, которое не могло не показаться Энтони скучным, но именно его он и решил в конце концов принять. Зарабатывание денег путем искусных манипуляций, во всяком случае, имело свое очарование, в то время как почти любая разновидность производительного труда казалась ему невыразимо утомительной. Он подумывал еще о работе газетчика, но пришел к выводу, что ее график составлялся явно не для женатых мужчин. Достаточное количество времени провел он в приятных мечтаниях, представляя себя то редактором блестящего еженедельного обозрения, такого американского «Меркюр де Франс», то преуспевающим продюсером сатирической комедии или музыкального ревью в парижском стиле. Однако доступ в вышеозначенные гильдии был затруднен тем, что требовал знания неких профессиональных секретов. Люди обычно двигались к ним извилистыми тропами

писательства или актерского ремесла. Было категорически невозможно работать в журнале, если ты не делал этого прежде.

В конце концов, посредством дедова письма, он получил доступ в Святая Святых Америки, где за своим «незапятнанным столом» восседал президент «Вильсон, Хаймер и Харди», и вышел оттуда уже работающим человеком. К своим непосредственным обязанностям ему нужно было приступить двадцать третьего февраля.

В ознаменование этого судьбоносного события и была назначена затянувшаяся на два дня пирушка, потому что, как говорил Энтони, после того как он начнет работать, ему всю неделю придется рано ложиться. Из Филадельфии с визитом, целью которого было повидать какого-то человека на Уоллстрит (но увидеться с которым ему так и не случилось), прибыл Мори Нобл, а Ричард Кэрэмел был втянут во все это наполовину убеждением, наполовину — обманом. В понедельник днем они снизошли до посещения какой-то особенно шумной свадьбы со множеством выпивки и к вечеру наступила развязка: Глория, превысив свою обычную норму из четырех точно рассчитанных по времени коктейлей, устроила им самую блестящую и восхитительную вакханалию, которую они когда-либо видели, обнаружив при этом изумительное знание балетных «па» и некоторых песенок, каковые были, как она призналась, преподаны ей кухаркой еще в ту пору, когда она была семнадцатилетня и невинна. И в течение всего вечера она, по требованию слушателей, не уставала повторять их с таким искренним увлечением, что даже Энтони, которого они ничуть не раздражали, приветствовал этот явно новый источник наслаждений. Были и другие памятные моменты — продолжительная беседа Мори с усопшим крабом, которого он держал на весу за кончик уса, на предмет того в полном ли объеме был сведущ краб в областях приложения биномиальной теоремы, а также вышеупомянутая гонка в двух такси, с погруженными в себя, внушительными силуэтами Пятой авеню в качестве зрителей, окончившаяся беспорядочным бегством во мрак Центрального парка. В завершение всего Энтони и Глория нанесли визит какой-то совершенно безумной молодой паре — этим Лэйси — где и рухнули на пустые молочные бутылки.

Теперь в их распоряжении было утро — чтоб подытожить чеки, рассыпанные там и сям по клубам, магазинам, ресторанам. Выветрить застойный, спертый дух вина и сигарет из высокой голубой гостиной, собрать осколки битого стекла и оттереть запятнанную обивку стульев и диванов, сказать Баундсу, чтоб он отнес в чистку платья и костюмы; наконец вытащить свои задохшиеся, полугорячие тела и расслабленно-подавленные души на морозный февральский воздух, чтоб жизнь могла продлиться в них, а «Вильсон, Хаймер и Харди» могли обрести к девяти часам следующего утра услуги энергичного сотрудника.

— А помнишь, — кричал из ванной Энтони, — как Мори вышел на углу Сто десятой улицы и начал подражать регулировщику? Одни машины пропускал, а другие задерживал? Все наверное подумали, что он частный детектив.

После каждого подобного воспоминания оба они безудержно смеялись; переутомленные нервы отзывались на радость так же остро и нестройно, как и на боль.

Глядя в зеркало, Глория удивлялась великолепию цвету и свежести своего лица — казалось, она никогда не выглядела так хорошо, хотя ощущения в желудке весьма этому не соответствовали, а голова просто раскалывалась от боли.

И потянулся день. Энтони, отправившись на такси к своему брокеру, чтобы занять денег под долговое обязательство, обнаружил, что в кармане у него всего два доллара. Плата за такси могла стоить ему всего достоинства, но он чувствовал, что именно сегодня подземки не выдержит. Значит, когда счетчик достигнет предела его платежеспособности, придется выйти и двигаться пешком.

Наткнувшись на эту мысль, его ум отправился в одно из своих привычных блужданий... Там он мгновенно разобрался, что счетчик работает слишком быстро — водитель бесчестно подрегулировал его. Сохраняя спокойствие, он достиг места своего назначения и тогда беззаботно вручил шоферу то, что ему на самом деле полагалось. Тот выразил готовность подраться, но не успел даже принять стойку, как Энтони единственным

ужасающим ударом сбил его с ног. Когда он поднялся, Энтони резко ушел в сторону и окончательно уложил его хлестким ударом в висок.

...Потом был суд. Судья приговаривал его к штрафу в пять долларов, но у него не было с собой денег. Примет ли суд его чек? Да, но суду не известно кто он такой. Ну, его личность они могли бы установить путем звонка к нему на квартиру.

...Так и сделали. Да, это говорит миссис Энтони Пэтч — но откуда она может знать, что этот человек на самом деле ее муж? Как это можно удостовериться? Пусть сержант спросит, помнит ли он молочные бутылки...

Он поспешно подался вперед и постучал по стеклу. Такси было только возле Бруклинского моста, а счетчик показывал уже доллар восемьдесят центов, давать на чай меньше десяти процентов было для Энтони просто неприемлемо.

Домой он вернулся под вечер. Глории тоже почти весь день не было дома — она ходила по магазинам, а теперь спала, свернувшись калачиком в углу дивана и для надежности обхватив руками свое приобретение. Лицо ее было безмятежно, как у маленькой девочки, а предмет, который она крепко прижимала к груди, оказался детской куклой — могучий, бесконечно целительный бальзам для ее растревоженного ребяческого сердца.

Судьба

Именно с этой вечеринкой, и в особенности с той ролью, которую сыграла в ней Глория, были связаны решительные изменения, постигшие весь их жизненный уклад. Великолепная позиция на все наплеватьства в течение одной ночи претерпела коренную трансформацию; из чистого умозрения Глории она превратилась в целую систему примирения с тем, что они избрали в качестве образа действий и оправдания последствий, к которым это привело. Хранить спокойствие, не выдавать себя ни единым стоном сожаления, жить руководствуясь высоким кодексом чести в отношении друг с другом, а мимолетных мгновений счастья искать так пылко и настойчиво, как это только возможно.

— Всем наплевать на нас, кроме нас самих, — сказала она однажды. — Было бы глупо с моей стороны жить, притворяясь, что я чувствую какие-то обязательства по отношению к окружающим, а что подумают обо мне люди, абсолютно все равно. Еще в детстве, в школе танцев, меня критиковали матери тех девочек, которые не пользовались таким же успехом, и я привыкла смотреть на критику как на восхищение, смешанное с завистью.

Это было связано с вечеринкой в «Буль-Миш» однажды ночью, где Констанс Мерриам увидела ее в качестве члена изрядно взбодренной спиртным четверки. И как старая школьная подруга она взяла на себя труд пригласить Глорию на следующий день вместе позавтракать, с тем, чтоб информировать ее, как все это ужасно.

— Я ей сказала, что у меня совсем другое мнение, — говорила Глория Энтони. — Эрик Мерриам — это что-то вроде окультуренного Перси Уолкотта — помнишь, тот парень в Хот-Спрингс, о котором я тебе рассказывала — его идея хорошего отношения к жене состоит в том, чтобы держать ее дома с помощью шитья, ребенка, книг и тому подобных безвредных развлечений, в то время как сам он таскается по всем вечеринкам, на которых ожидается хоть что-то, кроме смертной скуки.

— Ты ей так и сказала?

— Естественно. Я сказала, что все ее возмущение вызвано только тем, что я провожу свое время веселее, чем она.

Энтони был восхищен. Он ужасно гордился Глорией, гордился тем, что она неизменно затмевала всех других женщин в компании, каковы бы они ни были, гордился тем, что мужчины всегда были рады собраться возле нее большим шумным кружком, даже не надеясь на большее, чем просто наслаждаться ее красотой, теплом ее жизнелюбья.

Постепенно такие «вечеринки» сделались для них главным источником увеселения. Все еще влюбленные, все еще бесконечно интересные друг другу, они однако с приближением весны заметили, что оставаться вечерами дома слишком тягостно; книги

не давали ощущения реальности, былая магия уединенности давным-давно исчезла — теперь они предпочитали утомить себя глупой музыкальной комедией или отправиться обедать с самыми неинтересными из своих знакомых и длить обед пока достанет выпивки, чтобы разговор за столом не казался смертельно скучным. Россыпь молодых женатых мужчин, с которыми они были дружны в школе или в колледже, так же как и широкий ассортимент холостяков, инстинктивно обращались к ним мыслью, как только требовалось добавить в жизнь немного яркости и веселья, поэтому дня не проходило без телефонных звонков, без «хотел спросить, что вы собираетесь делать сегодня вечером». Жены, как правило, относились к Глории с опаской — из-за той легкости, с которой она завладевала общим вниманием, и вполне невинного, но тем не менее тревожащего свойства становиться любимицей их мужей, — все это подспудно вызывало в них глубокое недоверие к ней, подогреваемое еще и тем фактом, что ко всем попыткам сближения, которые предпринимали женщины, Глория оставалась, по большей части, безразлична.

Явившись в назначенную среду во внушительный офис Вильсона, Хаймера и Харди, Энтони выслушал массу маловразумительных инструкций от молодого энергичного человека примерно одного с ним возраста по имени Калер, который носил на голове вызывающий, соломенного цвета кок и, назвавшись секретарем-помощником, тут же дал понять, что этой должности можно удостоиться только за исключительные способности.

— Вы обнаружите здесь людей двух типов, — наставлял он. — Тех, кто становятся секретарями-помощниками или казначеями и попадают в представительский список, еще не достигнув тридцати, и тех, которые попадают туда в сорок пять. Человек, который попадает туда в сорок пять, остается там до конца жизни.

— А как насчет тех, кто попадает в тридцать? — вежливо поинтересовался Энтони.

— Ну, они, естественно, поднимаются уже сюда, — Калер показал на список помощников вице-президентов в той же рекламной брошюре. — А могут дорасти до президента, или секретаря, или казначея.

— А как насчет тех, вот в этом списке?

— Этих? А, это попечители — люди с капиталом.

— Понимаю.

— Сейчас некоторые думают, — продолжал Калер, — что засидятся они на старте или нет, зависит от того, есть ли у них высшее образование. Но они неправы.

— Понимаю.

— У меня, например, было; я учился в Бакли, выпуск девятьсот одиннадцатого года. Но когда пришел на Улицу, то вскоре понял, что помогут мне здесь вовсе не те премудрости, которые я изучал в колледже. Так и случилось, много всякой ученой ерунды пришлось выкинуть из головы.

Энтони было очень интересно, каким это премудростям могли его научить в Бакли в тысяча девятьсот одиннадцатом году. И в продолжение всего разговора он не мог избавиться от мысли, что, скорее всего, это было рукоделие.

— Видите вон того человека? — Калер показал на моложавого мужчину с благообразной сединой, сидевшего за столом в загородке из красного дерева. — Это мистер Эллингджер, первый вице-президент. Везде побывал, все видел, получил прекрасное образование.

Напрасно Энтони старался открыть свой ум романтике финансового дела; он мог думать о мистере Эллингджере только как об одном из покупателей прекрасных, в коже, изданий Теккерей, Бальзака, Гюго и Гиббона, рядами тянувшихся на полках больших книжных магазинов.

Весь сырой, унылый март его готовили к карьере торговца. Не особенно стремясь им стать, он способен был разглядеть в окружавших его суматохе и суете только бесплодное всепроникающее стремление к некой непостижимой для него цели, осязаемо олицетворявшейся только громадами соперничавших с их собственным особняков мистера Фрика и мистера Карнеги на Пятой авеню. А то, что эти напыщенные вице-президенты

и попечители на самом деле могли оказаться отцами той «золотой молодежи», которую он знал в Гарварде, просто не укладывалось у него в голове.

На обеденных перерывах в комнате для персонала наверху он все время испытывал неприятное ощущение, что его разыгрывают; в течение всей первой недели его очень интересовало: неужели все эти десятки молодых клерков, некоторые едва окончив колледж, ревностные и безупречные, жили пламенной надеждой забраться всей толпой до роковых тридцати на эту узенькую полоску картона. Их прошитые повседневной рабочей рутиной разговоры были все об одном. Обсуждали, как сделал свои деньги мистер Вильсон, какой метод для этого применял мистер Хаймер и средства, которые предпочитал мистер Харди. Кто-то пересказывал древние, но неизменно приводящие в восторг анекдоты о состояниях, с головокружительной быстротой нажитых на Уолл-стрит неким «мясником», или «барменом», или «ей-богу, чертовым посыльным!» а потом кто-нибудь принимался рассуждать о текущей биржевой игре и о том, лучше ли гнаться за сотней тысяч в год или довольствоваться двадцатью. В течение всего прошлого года один из секретарей-помощников вкладывал все свои сбережения в «Бетлехем Стил». История его ослепительного восхождения к величию, его надменной отставки в январе и роскошного дворца, который он строил теперь в Калифорнии, была излюбленной темой разговоров в офисе. Самое имя этого человека обрело некую магическую значимость, воплотившую в себе вожеления всех добропорядочных американцев. И о нем тоже рассказывались анекдоты — как один из вице-президентов посоветовал ему продавать, не сойти мне с этого места, но он все придерживал, даже на самом краю все прикупал, «и теперь посмотри, где он!»

В этом, со всей очевидностью, и заключался смысл их существования — впереди головокружительный триумф, слепящий всем глаза, а пока — обманные песни цыганской сирены, чтобы примирить себя с весьма скромным жалованьем и арифметической невозможностью всеобщего преуспевания.

В Энтони все это рождало чувство ужаса. Он понимал — для того, чтоб преуспеть здесь, сама идея успеха должна захватить воображение человека, ограничить его собой. Ему казалось, что одной из главных черт этих людей здесь наверху была вера, что именно их занятие является сутью и смыслом человеческой жизни. При прочих равных условиях самоуверенность и способность кривить душой главенствовали над знанием дела; но было также ясно, что большая часть работы, требующей настоящей квалификации, протекает возле самого дна — поэтому настоящим специалистам с должной ловкостью не давали с этого дна подняться.

Его решимость оставаться в будни вечерами дома не протянула и недели, и добрую половину времени он являлся на работу с трещавшей от тошнотворной боли головой, и ужас утренней толчеи в подземке еще долго адским эхом стоял у него в ушах.

Потом, внезапно, он уволился. Однажды в понедельник просто не встал с постели и поздно вечером, охваченный одним из приступов угрюмого отчаяния, которым был подвержен, написал и отправил мистеру Вильсону письмо, в котором признавался, что считает себя не совсем подходящим для данной работы. Глория, вернувшись из театра с Ричардом Кэрэмелом, обнаружила, что он лежит на кушетке, молчаливо разглядывая высокий потолок, в настроении столь подавленном и унылом, какого она не помнила за все время их совместной жизни.

Ей хотелось, чтоб он жаловался. Тогда она могла бы строго отчитать его, потому что была не на шутку рассержена, но он всего лишь лежал здесь, такой вопиюще несчастный, что ей стало жаль его и, опустившись рядом на колени, она стала гладить его по голове, говоря, как мало это все значит, насколько мало что-либо значит вообще, раз они друг друга любят. Это было словно в их первый год и, отзываясь на ее прохладную ладонь, на ее голос, такой же мягкий как и дыхание возле его уха, Энтони почти развеселился и стал делиться с нею своими планами на будущее. Перед тем как отправиться спать, он даже пожалел про себя, что так поспешно отослал письмо об отставке.

— Даже когда кажется, что все плохо, не нужно поддаваться этой мысли, — говорила Глория. — В конце концов, важен только результат всех твоих рассуждений.

В середине апреля пришло письмо от агента по продаже недвижимости из Мариэтты, призывавшее их снять серый дом еще на год при несколько повысившейся арендной плате, к нему прилагался уже составленный договор об аренде, требовавший только подписи. Примерно с неделю договор и письмо валялись без всякого внимания на столе у Энтони. У них не было желания возвращаться в Мариэтту. Они устали от этого места и, вообще, прошлое лето слишком утомило их. Кроме того, их автомобиль превратился в дребезжащую массу страдающего ипохондрией металла, а приобретение нового было финансово нецелесообразно.

Но по причине очередного дикого загула, который продолжался в целом четыре дня, и в котором на разных стадиях участвовало около полутора десятков человек, они все же подписали этот договор; к собственному неопишуемому ужасу они подписали и отослали его и сразу же словно услышали знакомое дыхание — серый дом предстал пред ними во всей своей уныло-зловещей сути, облизываясь, готовясь поглотить их.

— Энтони, где этот договор? — спросила она в страшной тревоге однажды воскресным утром, достаточно протрезвевшая, чтобы воспринимать реальность. — Где ты оставил его? Он был здесь!

И тогда она все вспомнила. Вспомнила ту попойку у них дома на высшей точке всего этого безудержного веселья, вспомнила комнату, полную людей, которым, даже если бы не было так весело, все равно не было бы никакого дела до них с Энтони, хвастливую речь Энтони о непостижимых достоинствах и уединенности серого дома, о том, что, в силу его изолированности, абсолютно не имеет значения, какой шум вы там поднимаете. Потом Дик, навещавший их там, начал вдохновенно орать, что это был лучший домик, какой только можно себе представить, и что они будут просто идиотами, если не снимут его еще на одно лето. А потом стало очень легко довести себя до ощущения, как раскален и пустынен становится город, как прохладны и благоуханны чары Мариэтты. Энтони, схватив договор, неистово размахивал им, обнаружив счастливую уступчивость Глории, и с последним всплеском болтливой решимости, в течение которого все присутствующие скрепили торжественным рукопожатием готовность навещать их...

— Энтони, — закричала она, — мы подписали и отослали его!

— Что?

— Договор!

— Какого черта?

— О, Энтони!

В ее голосе звучало неподдельное горе. На все лето, на целую вечность они выстроили себе тюрьму. Кроме того, этот шаг был способен подрубить самые корни их благосостояния. Энтони думал, что можно бы уладить это с агентом. Они больше не могли позволить себе платить двойную ренту, и отъезд в Мариэтту означал отказ от городской квартиры, от его безупречной квартиры с этой исключительных качеств ванной, с комнатами, для которых он сам покупал мебель и портьеры, которые были свидетелями четырех наполненных впечатлениями лет в этом больше всего похожем для Энтони на собственный дом жилище.

Но с агентом они так ничего и не решили, и вообще ничего не сделали. В удрученном состоянии, без обычных разговоров о том, что нужно предпринять все возможное, даже без всеобъемлющего «мне все равно» Глории, они еще раз отправились в дом, который — теперь они точно знали — не хранил ни любви их, ни юности, только разбросанные и несоединимые осколки памяти, которыми они никогда уже не поделятся друг с другом.

Зловещее лето

Этим летом в доме поселился ужас. Он явился туда вместе с ними и сразу же пал на все вокруг угрюмой пеленой, пропитал собою нижние комнаты; постепенно распространяясь,

он взбирался по узким ступеням, пока не проник удушающим гнетом в самый их сон. Энтони и Глория стали бояться оставаться одни в своих комнатах. Ее спальня, которая казалась прежде такой розовой, юной и нежной, так сочеталась с пастельными тонами ее белья, разбросанного тут и там по стульям и кровати, теперь словно шептала шелестеньем штор: «Ах, моя прекрасная юная госпожа, ты не первая, чьи свежесть и изящество цвели под этим летним солнцем... поколения не знавших ответной любви женщин украшали себя перед этим зеркалом для деревенских кавалеров, которые не обращали на это внимания... Юность входила в эту комнату в нежнейше-голубых одеждах грусти и покидала ее в серых саванах отчаяния, и долгие ночи напролет множество девушек лежало без сна именно здесь, где стоит теперь эта кровать, излучая во тьму волны страдания».

Наконец Глория, собрав в охапку всю свою одежду и косметические снадобья, бесславно покинула свою спальню, объявив, что переходит жить к Энтони, что одна из оконных сеток там совсем сгнила и пропускает насекомых. Таким образом, ее комната была предоставлена лишенным сентиментальности гостям, а они вдвоем переодевались и спали в комнате мужа, которую Глория почему-то сочла «подходящей», словно присутствие Энтони действовало в качестве уничтожителя всех безрадостных теней прошлого, которые могли витать в ее стенах.

Самое это различие между «хорошим» и «плохим», установленное давным-давно по общему согласию, исходя из совокупного опыта, было теперь восстановлено в иной форме. Глория настаивала на том, чтобы любой приглашенный в серый дом обязательно был «хорошим»; в случае с девушкой это означало, что она должна быть либо простой и безупречной, либо — если таковых качеств у нее не было — должна обладать определенной твердостью и силой воли. И в былое время предельно скептические, теперь ее суждения в отношении сестер по полу связывались еще с решением проблемы: чиста каждая конкретная женщина или нет. Причем нечистота, в ее разумении, могла проявляться исключительно по-разному: недостатком гордости, неряшливостью в самом широком смысле слова и, прежде всего, аурой распущенности, которую нельзя было спутать ни с чем.

— Женщины легко теряют чистоту, — говаривала она, — гораздо легче, чем мужчины. Если девушка не особенно молода и недостаточно владеет собой, то ее деградация непременно сопровождается некой истеричной животностью, лживой, грубой животностью. Мужчины совсем другие — вот почему, я полагаю, один из самых распространенных персонажей любовных романов кавалер, доблестно шествующий прямо в пекло.

Ей нравились многие мужчины, главным образом те, которые воздавали ей дань искренним восхищением и неиссякаемыми развлечениями, но часто в приступе пронизательности она сообщала Энтони, что тот или иной из его друзей просто использует его, следовательно лучше всего с ним расстаться. Энтони по привычке возражал, настаивая на том, что обвиняемый был из «хороших», но обычно обнаруживал, что ее точка зрения более верна, особенно очевидным это становилось несколько раз, когда он оставался один на один с целой кипой ресторанных счетов.

Больше из-за боязни одиночества, чем из желания лишний раз испытать суету и нудь вечеринки, они каждый уик-энд, а зачастую и среди недели, наполняли дом гостями. Эти субботние «приемы» были до одури похожи один на другой. Когда прибывали трое или четверо приглашенных мужчин, полагалось выпить, а затем — шумный обед и поездка в недорогой местный клуб «Крэйдл Бич», если и не модный, то достаточно оживленный, почти необходимый именно для таких случаев. Больше того, никто там не обращал особого внимания на то, чем вы занимаетесь, и до тех пор пока компания Пэтчей оставалась в пределах разумной неслышимости, имело очень небольшое значение, видели законодатели мнений «Крэйдл Бич» разгоряченную и неумеренно часто поглощавшую весь вечер коктейли Глорию в комнате для ужинов или нет.

Кончалась суббота, как правило, очаровательной сумятицей — частенько оказывалось, что отяжелевшим гостям требовалась основательная поддержка, чтоб добраться до постели. Воскресенье приносило нью-йоркские газеты и неспешное отрезвление на крыльце, а вторая

половина воскресного дня означала прощание с одним или двумя гостями, которым необходимо было вернуться в город, и великолепное возобновление питания в компании одного или двух оставшихся до следующего дня, кончавшееся оживленным, если не сказать больше, вечерним бдением.

Верный Тана, педагог по природе и мастер на все руки по профессии, вернулся вместе с ними. Среди наиболее частых гостей в отношениях с ним сложилась целая традиция. Мори Нобл каким-то образом обнаружил, что его настоящая фамилия была Танненбаум, и сам он являлся германским агентом, внедренным в эту страну, чтобы сеять тевтонскую пропаганду в округе Вестчестер, и после этого сбитою с толку азиатку начали поступать из Филадельфии таинственные письма, адресованные «лейтенанту Эмилю Танненбауму»; они содержали несколько зашифрованных посланий, подписанных «Генеральный штаб» и были украшены ажурной двойной колонкой псевдояпонского письма. Энтони всегда вручал их Тана без тени улыбки; следующие несколько часов получатель проводил на кухне, озадаченно склонившись над этими посланиями и время от времени заявляя, что изображенные в них символы, состоявшие из перекрещенных черточек, не только не являются японскими иероглифами, но даже их не напоминают.

Глория испытывала к нему сильную неприязнь с того самого дня, когда, вернувшись неожиданно из Мариэтты, застала его полулежащим на кровати Энтони и изучающим газету. Так уж инстинктивно получалось у всех их слуг — они были влюблены в Энтони, а по отношению к Глории испытывали чувства прямо противоположные; Тана не был исключением из правила. Он, правда, изрядно побаивался хозяйки и проявлял свою антипатию лишь в моменты угрюмого настроения, искусно адресуя Энтони замечания, предназначенные для ее ушей:

— Что мис Пэтч хочет обедать? — мог сказать он, глядя на хозяина. Или, например, мог таким образом высказаться по поводу жестокой самовлюбленности «некоторых американцев», что не оставалось никаких сомнений в том, кого именно он имел в виду.

Но они не решились расчитать его. Такой шаг был просто несовместим с их инертностью. Они терпели Тана точно так же как смиряются с плохой погодой, телесным недугом и непогрешимой волей Господней — впрочем, точно так же они мирились со всем остальным, включая самих себя.

Во тьме

Как-то знойным днем в конце июля из Нью-Йорка позвонил Ричард Кэрэмел и сообщил, что они с Мори выезжают, прихватив с собой некоего приятеля. Они явились около пяти, слегка навеселе, в сопровождении невысокого коренастого человека лет тридцати пяти, которого представили как мистера Джо Халла, одного из лучших парней, каких только Энтони и Глория когда-либо встречали.

Джо Халл был обладателем соломенного цвета щетины, которая неукротимо и яростно пробивалась сквозь его кожу и низкого голоса, варьировавшего между глубоким басом и хриплым шепотом. Энтони, заноса чемодан Мори наверх, прошел за его владельцем в комнату и осторожно прикрыл дверь.

— Что это за тип? — требовательно спросил он.

Мори залихватски ухмыльнулся.

— Кто, Халл? А, с ним все в порядке. Он хороший.

— Да, я понимаю, но кто он такой?

— Халл? Да просто хороший парень. Он принц. — Смешок Мори возобновился с удвоенной силой и сопровождался серией приятных кошачьих гримас. Энтони не знал, улыбаться ему тоже или хмуриться.

— По-моему, он странный. И одет как-то непонятно, — он помедлил. — У меня смутное подозрение, что вы подобрали его где-то прошлой ночью.

— Пальцем в небо, — объявил Мори. — Я его почти всю жизнь знаю.

Однако, в силу того, что он завершил свою декларацию каскадом коротких смехоподобных звуков, Энтони был вынужден добавить:

— Да уж, так я тебе и поверил.

Позднее, перед самым обедом, пока Мори и Дик что-то обсуждали на весьма повышенных тонах, а Джо Халл внимал им в молчании, потягивая из своего стакана, Глория увлекла Энтони в столовую.

— Мне совсем не нравится этот Халл, — сказала она. — Пусть он моется в ванной Тана.

— Но я же не могу сказать ему об этом.

— А я не хочу, чтоб он пользовался нашей ванной.

— Да что тебе в нем не нравится?

— На нем белые туфли, как перчатки. Сквозь них пальцы видны. Бр-р! Кто он вообще такой?

— Спроси что-нибудь полегче.

— Ясно. Но это конечно нахальство — взять и притащить его сюда. У нас ведь не ночлежка для матросов!

— Они были уже на взводе, когда звонили. Мори сказал, что они со вчерашнего вечера что-то празднуют.

Глория сердито встряхнула головой и, не говоря ни слова, вернулась на крыльцо. Энтони видел, как она старается избавиться от своих подозрений и посвятить себя целиком наслаждению вечером.

День выдался поистине тропический, и даже в поздних сумерках с раскаленной дороги накатывали слабо дрожащие, словно желе, волны духоты. Небо было безоблачно, только за дальними лесами в направлении Саунда временами погромыхивало. Когда Тана объявил, что обед готов, мужчины, с разрешения Глории не надевая пиджаков, прошли в лом.

Мори затянул песенку, которую они довели до совершенства, пока ели первое. В ней было всего две строки и исполнялась она на мотив популярной «Дорогая Дэйзи». А слова были такие:

Жут-кая па-аника нас охватила,

С нею исче-езла моральная си-ила!

Каждый повтор приветствовался взрывом энтузиазма и продолжительными аплодисментами.

— Развеселитесь, Глория! — предложил Мори. — Ну-ка, ей богу, все! Давайте развеселим Глорию!

— Мне и так весело, — солгала она.

— Сюда, Танненбаум, — позвал он через плечо. — Я налил тебе выпить. Давай!

Глория попыталась остановить его руку.

— Пожалуйста, не надо, Мори.

— Но почему? Может быть, после обеда он сыграет нам на флейте. Сюда, Тана!

Тана, ухмыляясь, удалился со своим стаканом на кухню. Через несколько минут Мори налил ему еще один.

— Веселее, Глория! — кричал он. — Ради всего святого, не будьте так печальны!

— Дорогая, выпей еще, — советовал Энтони.

— Ну, пожалуйста.

— Веселее, Глория, — развязно вставил Джо Халл.

Глория вздрогнула при этом, ничем не обусловленном, обращении к ней по имени, и огляделась вокруг — заметил это еще кто-нибудь или нет? Это слово, столь легко скользнувшее с губ человека, к которому она не испытывала ничего, кроме неприязни, покорило ее. Минутой позже она заметила, что Джо Халл налил Тана еще выпить, и ее гнев, усиленный отчасти влиянием алкоголя, возрос неимоверно.

— ...и вот однажды, — рассказывал Мори, — мы с Питером Грэнби отправились в турецкие бани в Бостоне, примерно в два часа ночи. Там не было никого, кроме хозяина,

и мы затолкали его в уборную, а дверь заперли. Потом приперся какой-то бродяга и захотел попариться. Он подумал, что мы массажисты, ей-богу! Ну мы и взяли его в охапку да макнули в бассейн прямо в одежде. Потом вытащили, положили на стол и обрабатывали до тех пор, пока он синяками не пошел. «Полегче, ребята», помню, вякал он, «ой, полегче, пожалуйста!..»

«Неужели это Мори?» думала Глория. Рассказанная кем угодно другим эта история, может быть, и развлекла бы ее, но выслушивать такое от во всех отношениях положительного Мори, этого олицетворения такта и предупредительности...

Жутка-ая па-а-аника нас охвати-ила.
С нею исче-езла-а-а...

Раскат грома заглушил остаток песни; Глория вздрогнула и попыталась допить содержимое своего стакана, но первый же глоток вызвал у нее тошноту, и она отставила недопитое. Обед был закончен, и все проследовали в гостиную, захватив с собой несколько бутылок и графинов. Кто-то прикрыл дверь на крыльцо, чтобы не было сквозняка, и вскоре в без того уже спертом воздухе завилась тугие шупальца сигарного дыма.

— Вызывается лейтенант Танненбаум! — вновь это была какая-то карикатура на Мори. — Принесите нам флейту!

Энтони и Мори кинулись в кухню; Ричард Кэрэмел завел фонограф и подошел к Глории.

— Потанцуй со своим знаменитым кузенком.

— Я не хочу танцевать.

— Тогда я буду носить тебя на руках.

И словно выполняя какую-то очень важную и ответственную работу, он поднял ее своими толстоватыми маленькими ручками и тяжело затрусил по комнате.

— Поставь меня, Дик! У меня голова кружится! — требовала она.

Он кулем свалил ее на диван и с криком «Тана! Тана!» выбежал на кухню.

Потом она почувствовала, как ее без всякого предупреждения обхватили еще чьи-то руки, ощутила себя оторванной от дивана. Джо Халл, держа ее на весу, пытался в пьяном задоре подражать Дику.

— Отпустите меня, — резко приказала она. Его хмельной смех и зрелище заросшей рыжеватой щетиной скулы возле своего лица, вызвали у нее нестерпимое отвращение. — Сейчас же!

— Жу-уткая па-а... — начал он, но продолжить не смог, ибо рука Глории, описав в воздухе короткую дугу, впилась в его щеку. При этом он внезапно отпустил ее, и она полетела на пол, успев еще вскользь удариться плечом о стол...

Потом комната наполнилась мужчинами и табачным дымом. Среди всего этого двигался Тана в своем белом пиджаке, он шатался, и Мори поддерживал его. Он выдувал из своей флейты какую-то дикую смесь звуков, которая была известна, как оповещал всех криком Энтони, под названием японской «дорожной» песни. Джо Халл нашел где-то коробку со свечами и жонглировал ими, вскрикивая «Еще одна в минусе!» всякий раз, когда свеча выпадала у него из рук, а Дик, видимо танцуя сам с собой, зачарованно кружился вокруг собственной оси, двигаясь при этом взад-вперед по комнате. Глории вдруг представилось, что все находящееся в комнате, лишившись опоры, проваливается сквозь переплетение туманно-голубых плоскостей в невообразимый четырехмерный круговорот.

А снаружи на удивление разыгралась непогода — редкие затишья между ударами грозы были наполнены шорохом трущихся о стены кустов, дробным гулом дождя, падающего на жестяную крышу кухни. Молнии сверкали почти непрерывно, роняя густую дробь грома, похожую на грохот чугунных чушек, валящихся из добела раскаленной печи. Глория видела, как во все три окна заливают дождь, но не могла двинуться, чтоб их закрыть...

...Она была в холле. Она пожелала всем спокойной ночи, но никто не услышал этого и на нее не обратил никакого внимания. На мгновение ей показалось, что кто-то, перегнувшись через перила, наблюдает сверху за ней, но она не могла заставить себя вернуться в гостиную — лучше сойти с ума, чем смотреть на это сумасшествие.

...Наверху она никак не могла нащупать в темноте выключатель, пока сполох молнии, наполнивший комнату, не показал ей кнопку на стене. Но вместе с тем как вновь сомкнулась непроглядная темнота, выключатель опять ускользнул из-под ее нетерпеливых пальцев, тогда она стащила платье, нижнюю юбку и обессилено упала на сухую сторону вымоченной дождем постели.

Она закрыла глаза. Снизу доносился гомон веселящихся, в который время от времени вплетались фрагменты нестройного прерывистого пения, слышался внезапный резкий всплеск разбитого стакана, потом еще один...

Потом, просто складывая вместе эти кусочки времени, Глория подсчитала, что лежала наверху, наверное, больше двух часов. Она была в полном сознании, даже отдавала себе отчет, что прошло довольно много времени, прежде чем шум внизу затих, и гроза стала отходить на запад, оставляя за собой томительно-неспешные ливни звуков, которые падали, безжизненные и тяжкие, словно ее душа, где-то среди промокших полей. Долго еще слышались медлительные и неохотные россыпи дождя и звуки ветра, пока за окном все не стихло, кроме робкого перестука капель и тихого царапанья мокрых веток вьющейся по стене лозы о подоконник. Она лежала в полудреме, и сон никак не мог превозмочь явь... ее мучило желание освободиться от этой тяжести, которая теснила грудь. Она чувствовала, что если б только могла заплакать, этот гнет мгновенно растворился бы в слезах; сжимая веки, она пыталась вызвать спазмы в горле... но тщетно...

Кап! Кап! Кап! Звук был приятен ей — он напоминал весну, безмятежные дожди ее детства, которые развозили веселую грязь на заднем дворе и поливали крохотный садик, который она вскапывала маленькой лопаткой, рыхлила крохотными граблями и мотыгой. Кап — ка-ап! Он напомнил ей дни, когда дождь сыпался с золотых небес, которые таяли перед самыми сумерками, косо бросая последний сияющий столб света во влажную тьму деревьев. Так ясно, прохладно и чисто — и в центре этого мира, прямо в центре этого дождя была мама, неподвластная ему, надежная и сильная. Глория так хотела, чтобы мама была здесь, сейчас, но мамы уже не было, она уже ушла за пределы видимого и осязаемого навсегда. А этот темный гнет, он так давил на нее, так давил... Господи, как он невыносимо давил!

Она замерла и вся напряглась. Кто-то подошел к двери и стоял там, не шевелясь, разглядывая ее, лишь едва заметно покачиваясь. В смутном полумраке она отчетливо различала очертания его фигуры. Ниоткуда не доносилось ни звука, только огромная неодолимая тишина — пропал даже капельный перестук... только эта фигура, мерно качающаяся в дверном проеме, квинтэссенция ужаса, мертво глядящего из темноты, воплощение зла, столь же отвратительного под своим лаком, как оспины под слоем пудры. И только измученное, потрясенное сердце Глории, колотившееся так, что содрогалась грудь, уверяло, что в ней еще теплится жизнь...

Эта минута или непрерывный ряд минут растягивались в бесконечность; под взглядом Глории, который с детской настойчивостью пытался проникнуть в тайну мрака, притаившегося у двери, расплывчатое, дрожащее пятно стало во что-то складываться. Был миг, когда ей показалось, что какая-то невообразимая сила готова расколоть вдребезги её жизнь, лишить существования... потом фигура в дверном проеме — а это был Халл, она ясно видела, Халл — медленно повернулась, продолжая покачиваться, сделала шаг и пропала, поглощенная тем непостижимым мерцанием, которое и породило ее.

Кровь наконец рванулась по всему ее телу, вместе с этим пришла и жизнь. Мощный толчок заставил ее сесть на постели, она перемешала свое тело, пока ноги не коснулись пола рядом с кроватью. Глория знала, что должна была сделать — сейчас, немедленно, пока еще не поздно. Она должна была вырваться отсюда на волю, в эту прохладную свежесть ночи,

ощутить возле ног шелест сырой травы и холодную влагу на лбу. Механически она влезла в свое платье, нащупала в непроглядной тьме платяного шкафа шляпку. Она должна была уйти из этого дома, где таилось нечто постоянно давившее ей на грудь, а то и превращавшееся в неприкаянные, расплывчатые фигуры во мраке.

Охваченная паникой, она бестолково вертела в руках пальто и уже нашла рукав, но тут услышала на нижней площадке шаги Энтони. Медлить было нельзя, он мог не пустить ее, ведь даже Энтони был частью этой тяжести, частью этого злого дома, той угрюмой темноты, которая ширилась вокруг...

Значит, через холл... и вниз по задней лестнице, уже слыша голос Энтони в спальне, откуда она только что выбежала:

— Глория! Глория!

Но она уже добралась до кухни и через дверной проем выбежала в ночь. Сотни капель, стряхнутые порывом ветра с мокрого дерева, окатили ее, и она радостно размазала их по лицу разгоряченными ладонями.

— Глория! Глория!

Голос донесся из непостижимого далека приглушенный, обескровленный стенами, из которых она только что вырвалась. Она обогнула дом и по тропинке пустилась к проезжей дороге, в состоянии близком к ликованию свернула на нее и, осторожно двигаясь в полной темноте, пошла по щетке короткой придорожной травы.

— Глория!

Она бросилась бежать, споткнулась об изгиб открученной ветром ветки. Голос был уже снаружи. Убедившись, что в спальне никого нет, Энтони вышел на крыльцо. Но неведомое нечто гнало ее вперед; оно оставалось там, с Энтони, и ей нужно было продолжать свой бег под этими тусклыми гнетущими небесами, гнать себя сквозь это безмолвие, расстилавшееся впереди, как сквозь вполне реальную преграду.

Она шла какое-то время вдоль едва различимой дороги, примерно в полумиле от дома миновала одинокий заброшенный амбар, который смутно зиял во мраке черным предвестием беды; это было единственное строение между серым домом и Мариэттой. На развилке она выбрала дорогу, которая втягивалась в лес, и побежала меж двух высоких стен из листьев и ветвей, которые почти смыкались над головой. Вдруг на дороге впереди себя она заметила тонкую серебристо мерцающую вертикальную полоску, похожую на лезвие меча, брошенного прямо в грязь. Когда она подошла поближе, у нее вырвался негромкий возглас облегчения — это была колесная колея, наполненная водой; подняв глаза вверх, она увидела в небе светлую расселину и поняла, что взошла луна.

— Глория!

Она вздрогнула от неожиданности. Энтони был не дальше, чем в семидесяти ярдах позади нее.

— Глория, подожди меня!

Она крепко сжала губы, чтобы не закричать, и лишь ускорила шаги. Меньше чем через сто ярдов лес кончился, скатавшись назад, словно темный чулок с ноги дороги. В трех минутах ходьбы перед собой она увидела подвешенное прямо в бесконечно раздвинувшемся пространстве ажурное переплетение мерцающих лучей и блесток, которые, волнообразно сближаясь через равные промежутки, стягивались к какому-то невидимому центру. Внезапно она поняла, куда ей нужно идти. Это был огромный каскад проводов, которые, как лапы гигантского паука, глазами которого были маленькие зеленые огоньки в будке стрелочника, взмывали ввысь над рекой и неслись вместе с железнодорожным мостом прямо к станции. Станция! А там будет поезд, чтоб увезти ее отсюда.

— Глория, это я! Это я, Энтони! Глория, я не собираюсь тебя удерживать! Бога ради, где ты?

Вместо ответа она побежала, держась середины дороги и перепрыгивая через блески луж — иллюзорные пятна тончайшего, бесплотного золота. Потом резко свернула налево и пошла по узкой грунтовой дороге, обходя какие-то темные массы на земле. С одинокого

дерева скорбно заухал филин, и Глория подняла голову, чтоб посмотреть на него. Она уже видела впереди себя эстакаду, ведущую на мост, к ней поднималась лесенка. Станция была за рекой.

Еще один звук напугал ее — унылая сирена приближающегося поезда; и почти одновременно — повторяющийся зов, теперь еле слышный и далекий.

— Глория! Глория!

Энтони, должно быть, так и не свернул с главной дороги. Она злорадно рассмеялась, довольная тем, что сумела ускользнуть от него; теперь у нее есть время, чтоб переждать поезд.

Теперь совсем близкий гудок опять наполнил воздух; потом без всякого подготовительного грохота и лязга из-за поворота на высокой насыпи показалась темная изгибающаяся масса, и не издавая иных звуков, кроме шума рассеяемого воздуха и похожего на тиканье часов рельсового перестука, двинулась к мосту — это был поезд с электровозом. Два ярких пятна голубого сияния над локомотивом образовывали между собой потрескивающую сверкающую полосу, которая, словно внезапно вспыхнувшая рядом с покойником лампа, осветила на миг удаляющиеся ряды деревьев и заставила Глорию инстинктивно перейти на дальний край дороги. Свет показался тепловатым — температуры теплой крови... Перестук внезапно слился в дробный грохот; растягиваясь в тяжеловесной упругости, состав прогрохотал мимо нее, с громоподобным тарарамом въехал на мост и, догоняя мертвенно-бледный луч собственного прожектора, помчался над темной, безмолвной рекой. Потом стал быстро сжиматься, утягивая за собой весь свой шум, пока не осталось лишь раскатистое эхо, долго замиравшее на дальнем берегу.

Осторожная тишина вновь пала на промокшую насквозь округу; опять стало накапывать — и вдруг на Глорию обрушился целый ливень тяжелых капель, выведя из бесчувственного оцепенения, в которое повергло ее зрелище проходящего поезда. Она быстро побежала по склону к берегу и стала взбираться по железной лесенке на мост, припоминая, что нечто подобное ей хотелось сделать всегда и что впереди ее ждет не менее волнующее удовольствие пройти над рекой по метровой ширины мосткам, которые были проложены рядом с рельсами.

Добралась! Так-то лучше. Теперь она была наверху и окрестности представлялись ей грядами уходящих вдаль холмов, исчерканных полупрозрачными ажурными рядами или темными заплатами древесных насаждений, залитых холодным светом луны. Справа от нее, в полумиле вниз по реке, которая, тускло серебрясь схваченными отблесками света, уходила вдаль, напоминая блестящий клейкий след улитки, перемигивались разбросанные огни Мариэтты. Не дальше чем в двух сотнях ярдов, там где кончался мост, припали к земле станционные строения, отмеченные единственным тусклым фонарем. Давящее чувство пропало — верхушки деревьев под ней укачивали новорожденный лунный свет, навевая ему спасительную дрему. Жестом обретенной свободы она широко раскинула руки. Вот чего она хотела — стоять вот так одной высоко среди пустого и холодного пространства.

— Глория!

Как внезапно испугавшийся ребенок, она устремилась по мосткам — быстрым шагом, перебежками, вприпрыжку, с возбуждающим чувством собственной легкости, почти невесомости. Пусть теперь догоняет — она больше не боялась этого, она только должна первой добраться до станции, потому что теперь это было частью игры. Глория была счастлива. Сорванная с головы шляпка была крепко зажата в руке, короткие завитые пряди подпрыгивали вокруг ушей. Она думала, что больше никогда уже не ощутит себя такой молодой, но это была ее ночь и сейчас весь мир принадлежал только ей. Преодолев мостки, она торжествующе рассмеялась, добежала до деревянной платформы и совершенно счастливая приземлилась рядом с железным столбом, поддерживающим навес.

— Наконец-то! — воскликнула она, безмятежная в своем ликовании, словно утренняя заря. — Я здесь, Энтони, дорогой... Верный мой, ты обо мне беспокоился.

— Глория! — Он добрался до платформы и теперь бежал к ней. — Ты цела? —

Подбежав, он опустился на колени и заключил ее в объятия.

— Да.

— Что случилось? Почему ты ушла? — встревожено спрашивал он.

— Мне нужно было... там было что-то, — она замолчала и призрак тревоги вновь мелькнул в ее сознании, — там было что-то, оно сидело на мне, вот здесь. — Она положила руку себе на грудь. — Я должна была уйти, убежать от этого.

— Что ты подразумеваешь под «этим»?

— Не знаю. Этот человек, Халл...

— Он обидел тебя?

— Он пришел к моей двери, пьяный. Я думаю, что со мной в тот момент случилось что-то вроде помешательства.

— Глория, родная моя...

Усталым движением она положила голову ему на плечо.

— Идем назад, — предложил он. Она вздрогнула.

— О, нет, я не смогу. Это снова придет и сядет на меня. — Ее голос поднялся до крика, который жалобно повис во мраке. — Оно придет...

— Ну, ну, — утешал он ее, прижимая к себе. — Если не хочешь, не надо. А чего ты хочешь? Просто посидеть здесь?

— Я хочу... хочу уехать отсюда.

— Куда?

— Да куда угодно!

— Господи, Глория! — воскликнул он, — да ты еще пьяная!

— Вовсе нет. И вечером не пьяная была. Я поднялась наверх, ну... я не знаю, примерно через полчаса после того, как кончился ужин... Ой!

Он нечаянно коснулся ее правого плеча.

— Больно. Я где-то ударилась плечом. Не знаю... кто-то поднял меня, потом уронил.

— Глория, идем домой. Уже поздно и сыро.

— Я не могу, — жалобно сказала она. — Ох, Энтони, не уговаривай меня! Завтра я смогу. Иди домой, а я буду здесь ждать поезда. Поеду в какой-нибудь отель...

— Я еду с тобой.

— Нет, тебе здесь нечего делать. Мне нужно побыть одной. Я хочу спать... да, я хочу спать. А вот завтра, когда ты выветришь весь этот запах виски и сигарет из дома, все утрясется и не будет этого Халла, я вернусь. А если бы я вернулась сейчас, опять это, о!.. — Она закрыла глаза ладонью, и Энтони понял тщетность всех попыток убедить ее.

— Я был совершенно трезвый, когда ты ушла, — сказал он. — Дик спал на диване, а мы с Мори о чем-то спорили. Халл куда-то ушел. Потом до меня дошло, что тебя уже несколько часов не видно и я решил подняться наверх...

Он замолчал, потому что из темноты вдруг донеслось гулкое и приветственное «Эй, вы там!» Глория вскочила, он поднялся следом за ней.

— Это голос Мори, — встревожено проговорила она. — Если Халл вместе с ним, пусть держатся подальше, не подпускай их!

— Кто здесь? — крикнул Энтони.

— Только Дик и Мори, — донеслись два успокаивающих голоса.

— Где Халл?

— В постели. Отрубился.

Их силуэты смутно обрисовались на краю платформы.

— Какого черта вы с Глорией тут делаете? — поинтересовался Ричард Кэрэмел, слегка очумелый спросонья.

— А вас чего сюда принесло?

Мори рассмеялся.

— Понятия не имею. Мы пошли за тобой и хлебнули, надо сказать, горя, пока догнали вас. Я услышал, как ты вышел на крыльцо и стал звать Глорию, тогда я разбудил Кэрэмела

и внушил ему, правда не без труда, что если организуется поисковая экспедиция, то нам лучше принять в ней участие. Но он только мешал мне, то и дело присаживаясь прямо на дорогу и спрашивая, что, собственно, происходит. Твой след мы находили по восхитительному аромату «Канадского Клуба».

Под низким навесом платформы разразился целый водопад слегка истеричного хохота.

— Ладно, как же вы нас все-таки нашли?

— Ну, сначала мы двигались по шоссе, потом вдруг потеряли тебя. Подумали, что ты свернул на грунтовую дорогу. Потом нас кто-то окликнул и спросил, не ищем ли мы молодую девушку. Мы подошли и увидели маленького дрожащего старикашку, который как гном сидел на поваленном дереве. «Она свернула вон туда, — сообщил он, — и едва не наступила мне на башку, так спешила; потом мимо пробежал какой-то хмырь в коротких штанах для гольфа и тоже кинулся туда. И еще бросил мне вот это». Старикан помахал перед собой долларовой бумажкой...

— О, бедный старичок! — воскликнула Глория, глубоко тронутая.

— Я бросил ему еще один доллар и мы поспешили дальше, хотя он просил нас остаться и рассказать ему все от начала до конца.

— Бедный старик, — горестно вздыхала Глория.

Дик, все еще полусонный, уселся на какой-то ящик.

— Ну, и что теперь? — поинтересовался он тоном стоического самоотвержения.

— Глория расстроена, — пояснил Энтони. — и мы с ней отправляемся в город ближайшим поездом.

Мори вытащил из кармана смутно забелевшее в темноте расписание.

— Зажги спичку.

Из непроглядного мрака явился крохотный огонек, едва осветив четыре лица, нелепые и очень мало похожие на себя посреди бескрайней ночи.

— Давайте-ка посмотрим. Два, два тридцать... нет, это вечер. Черт возьми, да тут до половины шестого ни на чем не уедешь.

Энтони явно колебался.

— Ну, — пробормотал он неуверенно, — все равно мы решили дожидаться здесь поезда. А вам двоим никто не мешает вернуться и лечь спать.

— Ты тоже иди, Энтони, — стала настаивать Глория. — Я хочу, чтоб ты пошел и хоть немного поспал, дорогой. Ты и так весь день на привидение похож.

— Что за глупости ты несешь!

Дик зевнул.

— Прекрасно. Вы остаетесь — мы остаемся.

Он вышел из-под навеса и принялся обозревать небеса.

— Довольно приятная ночь, в конце концов. Звезды светят и все такое. И подобраны с исключительным вкусом.

— Я тоже хочу посмотреть, — Глория двинулась следом за ним, остальные двое присоединились к ней. — Давайте сядем здесь, — предложила она. — Мне так гораздо больше нравится.

Энтони с Диком превратили какой-то длинный ящик в спинку и нашли достаточно сухую доску, чтобы предложить Глории в качестве сиденья. Энтони опустился рядом с ней, а Дик после некоторых усилий уместился неподалеку, на бочке из-под яблок.

— Тана заснул в гамаке на крыльце, — заметил он. — Мы перенесли его и положили рядом с печью на кухне, чтоб просох. Он был насквозь мокрый.

— Вечное ним какие-то неприятности, — вздохнула Глория.

— Приветствую вас! — донесся сверху звучно-замогильный голос; вздрогнув от неожиданности, они задрали головы и увидели Мори, который каким-то образом забрался на навес, где и сидел теперь, свесив ноги через край и смутно выделяясь, как тень фантастической химеры, на фоне сверкающего звездами неба.

— Должно быть, именно для таких случаев как этот, — начал он мягко; слова его,

казалось, медленно скользили вниз с неизмеримой высоты, мягко опускаясь на плечи внимающих, — праведники земли сей украшают железные дороги рекламными щитами, утверждающими в желтых и красных тонах, что «Иисус Христос — Бог», с непостижимым тактом располагая их рядом с утверждениями типа «Виски Гюнтерс — это класс».

Раздался негромкий смех и головы троих, расположившихся внизу, остались задранными вверх.

— Меня томит желание рассказать вам историю моего образования, — продолжал Мори, — в свете этих сардонически пылающих созвездий.

— Давай, давай! Ну, пожалуйста!

— На самом деле стоит?

Они с надеждой взирали, пока он справится с раздумчивым зевком, адресованным белой улыбающейся луне.

— Ну хорошо, — начал он, — в младенчестве я много молился. Я запасал молитвы на случай будущих прегрешений. Однажды за год я запас тысячу девятьсот «На сон грядущий».

— Кинь, пожалуйста сигарету, — попросил кто-то.

Небольшая пачка достигла платформы одновременно с громоподобным возгласом:

— Тихо! Я собираюсь облегчить себя от бремени памятных замет, хранимых для темноты именно такой земли и сияния именно таких небес.

Внизу от сигареты к сигарете прошла зажженная спичка. Голос продолжал:

— Я был большой знаток насчет того, как одурачить Господа. Согрешив, я тут же начинал молиться и это привело к тому, что постепенно для меня исчезла всякая разница между проступком и молитвой. Я веровал, что если кто-то восклицает «Боже мой!» в тот момент, когда на него падает несгораемый шкаф, это в первую очередь доказывает, как глубоко укоренилась в нем вера. Потом я пошел в школу. В течение четырнадцати лет пять десятков честнейших людей твердили мне, указывая па допотопные кремневые ружья: «Вот настоящая вещь. А эти новые винтовки — лишь глупая поверхностная имитация». Они осуждали книги, которые я читал и предметы, о которых я думал, называя их аморальными; потом мода изменилась, и они стали критиковать эти же вещи, называя их теперь «заумными».

Поэтому, будучи достаточно сообразительным для своих лет, я повернулся от профессоров к поэтам, вслушиваясь в лирический тенор Суинберна или драматический тенор Шелли, в огромного диапазона первый бас Шекспира или второй бас Теннисона с его случайными фальцетами; не чужды были мне басы профундо Мильтона и Марло. Я вникал в скорый говор Браунинга, декламации Байрона, бубнение Вордсворта. Это, но крайней мере, не приносило мне вреда. Я кое-что узнал о красоте — как раз достаточно, чтобы понять, что она не имеет ничего общего с правдой; больше того, я обнаружил, что не существует единой литературной традиции, есть только традиция неизбежного умирания всякой литературной традиции...

Потом я вырос и прелесть незамутненных иллюзий слетела с меня. Ткань моего ума огрубела, а зрение сделалось невыносимо острым. Жизнь вздымалась словно бурное море вокруг моего острова, и я сам не заметил, что уже плыву по нему.

Переход был практически неуловим — все это, оказалось, давно поджидало меня. Это такая вещь, что в ней найдется с виду безобидная, но достаточно коварная западня для всякого. А что же случилось со мной? Нет — я не пытался совратить жену привратника, не бегал нагишом по улице, возглашая о своей половой зрелости. Сама страсть никогда не побуждает к действию — действуют всегда одежды, в которые она рядится. Мне сделалось скучно жить — и все. Скука, каковая есть псевдоним, а зачастую и маска, за которой скрывается жажда жизни, стала бессознательным мотивом всех моих действий. Красота осталась позади — вы понимаете? Я окончательно вырос. — Он сделал паузу. — Конец школьных лет и ученья в колледже. Начинается часть вторая.

Три неспешно блуждавшие огонька указывали местоположение его слушателей.

Глория теперь полулежала у Энтони на коленях. Он так крепко обнял ее свободной рукой, что она могла слышать биение его сердца. Ричард Кэрэмел, водрузившись на бочку из-под яблок, время от времени принимался шевелиться, издавая при этом негромкое ворчание.

— Повзрослев, я очутился в стране джаза и прочей хренотени и немедленно впал в состояние почти осязаемого замешательства. Жизнь возвышалась надо мной подобно не обремененной строгой моралью классной даме и вносила поправки в мое упорядоченное мироощущение. Но я, все еще веруя в силу разума, продолжал брести своей дорогой. Я читал Смита, который, смеясь над милосердием, настаивал, что именно глумление — высшая форма самовыражения, и вот этот Смит, заменив собой милосердие, до сих пор застит мне свет. Я начитался Джонса, который так изящно расправился с индивидуализмом — и вот пожалуйста! Джонс все еще путается у меня под ногами. Я не думал — я был полем битвы для мыслей множества других людей, или еще лучше сказать, я был похож на одну из тех соблазнительных, но бессильных стран, по территории которых прокатываются туда-сюда армии великих держав.

Я достиг зрелости, находясь под впечатлением, что весь этот накапливаемый опыт должен направить мою жизнь прямо к счастью. На самом деле я просто совершил не такой уж редкий подвиг, научившись решать всякий вопрос в воображении еще задолго до того, как он возникал передо мной в жизни, но от ударов и перипетий существования это все равно не избавляло. Однако, отведав несколько раз этого последнего блюда, я быстро насытился. Послушай! сказал я себе. Твой драгоценный Опыт дается тебе слишком дорого. Это не мед, который вливается прямо в твой раскрытый рот, это стена, на которую приходится карабкаться изо всех сил. Таким образом, я облачился в то, что считал неуязвимым скептицизмом и решил, что мое образование завершено. Но было слишком поздно. Решив ради собственной защиты не обзаводиться новыми связями с раздираемым трагическими страстями и обреченным человечеством, я попался на остальном. Я променял борьбу против любви на борьбу с одиночеством, а борьбу против жизни — на борьбу со смертью.

Он сделал паузу, чтоб подчеркнуть это свое последнее наблюдение, через минуту зевнул и продолжил:

— Дебют второй фазы моего образования, начатой вопреки всем моим устремлениям, ради какой-то непостижимой цели и конечного результата, который я вряд ли себе представлял, был сопряжен с ужасным разочарованием... Если он, конечно, вообще может существовать, этот результат. Этот был нелегкий выбор. Классная дама прямо так и говорила: «Мы будем играть в футбол, и ни во что, кроме футбола. Если ты не хочешь играть в футбол, значит, не будешь играть вообще...»

Что мне было делать — игрового времени так мало!

Но все же я чувствовал, что нас лишают права испытать даже то жалкое утешение, которое переживает, поднимаясь с колен, сбитый на площадке футболист. И вы, верно, думаете, что я упился этим пессимизмом, схватился за него, как за надежное и не слишком вгоняющее в депрессию — во всяком случае, не больше, чем тусклый осенний лень у костра — средство? Нет, такого со мной не было. Я был слишком горяч для этого, слишком еще жив.

И еще мне казалось, что для человека не может существовать какой-то окончательной цели. Человек начал нелепую, ожесточенную борьбу с природой — той самой природой, которая посредством божественного и великолепного стечения обстоятельств вознесла нас на то место, с которого мы можем швырнуть ей же в лицо перчатку. Она изобрела пути избавить человечество от худших и, таким образом, дала силу оставшимся осуществить ее более возвышенные — или, давайте назовем это, более затейливые, — хотя все еще достаточно неосознанные и случайные намерения. И вот, воодушевленные высочайшими дарами просвещения, мы стали изобретать способы обойти ее по кривой. В этой республике я видел, как черное начинает смешиваться с белым — в Европе имела место быть экономическая катастрофа, призванная спасти три или четыре больных и отвратительно

управляемых нации от единственной власти, которая могла направить их к материальному процветанию.

Мы создаем Христа, который может возвысить прокаженного — и вот сейчас размножившиеся потомки этого прокаженного предстают перед нами как соль земли. Если кто-либо способен извлечь из этого урок — счастливого ему пути.

— А мне кажется, из жизни можно извлечь один-единственный урок, — перебила Глория, не противореча, а как бы грустно соглашаясь.

— Ну, и что это за урок? — живо откликнулся Мори.

— То, что из жизни невозможно извлечь никакого урока.

Немного помолчав, Мори сказал:

— Юная Глория, эта прекрасная и немилосердная дама, первой взглянула на мироздание с такой фундаментальной изошренностью, которой всегда пытался достичь я, которой никогда не достигнет Энтони, а Дик даже не осмыслит полностью.

С яблочной бочки донеслось презрительно-возмущенное хмыканье. Энтони, привыкший к темноте, мог ясно видеть сверканье желтого глаза Ричарда Кэрэмела и выражение негодования на его лице, когда он кричал:

— Ты просто сумасшедший! Ведь, следуя твоему же собственному заявлению, уже пытаюсь, я приобретаю какой-то опыт.

— Пытаясь что? — свирепо отозвался Мори. — Пытаясь пронзить мрак политического идеализма каким-нибудь отчаянно-диким рывком навстречу правде? Застывши, сидеть день за днем на жестком стуле в бесконечном удалении от жизни и, глядя сквозь ветки деревьев на верхушку церковного шпиля, пытаться отделить раз и навсегда познаваемое от того, что не может быть познано? Пытаться выхватить кусок реальности и, присовокупив к нему жар собственной души, сообщить те невыразимые свойства, которыми он и так обладает в жизни, но безвозвратно теряет при переносе на бумагу или холст? Бесконечные годы изнурять себя в лаборатории среди сонмища шестеренок или пробирок ради единственной крохи истины сомнительного качества...

— А ты пробовал?

Мори помедлил, и в ответе его, когда он прозвучал, слышалась некая усталость, горький обертон, который отдавался еще какое-то время в ушах всех троих, пока не увлекся вверх и прочь, словно пузырек воздуха, притянутый прямо к Луне.

— Нет, только не я, — отозвался он мягко. — Я родился усталым — но с каким-то материнским умом, даром женщин подобных Глории, — и несмотря на все мои разговоры и послушания, тщетное ожидание всеобъемлющего откровения, которое — так и кажется — лежит совсем рядом, скрывается за любым рассуждением, я не добился ничего, ни к чему не добавил ни йоты.

Неясный звук в отдалении, который слышался уже несколько минут, вырос в жалобный утробный рев гигантской коровы и обозначил себя примерно в полумиле жемчужной точкой прожектора. На этот раз, грохоча и постанывая, состав тянул паровоз; проносясь мимо них и не прекращая своих громогласных жалоб, он обдал платформу целым ливнем искр и крупинок шлака.

— Ни единой йоты! — Голос Мори долетел до них словно с огромной высоты. — Что за немощная вещь разум с его несмелыми шажками, колебаниями, метаниями взад-вперед и самоубийственными отскоками! Интеллект — всего лишь инструмент обстоятельств. Есть люди, которые утверждают, что вселенную построил именно разум — но, Боже мой, разум никогда и паровоза бы не построил! Его построили обстоятельства. А интеллект — не больше, чем линейка, которой мы измеряем непостижимые свершения обстоятельств.

Я мог бы сослаться на философию наших дней — но нам слишком хорошо известно, что все это отрицательство, которым так поглощены сегодняшние интеллектуалы, эта победа Христа над Анатоном Франсом, в ближайшие пятьдесят лет может превратиться в свою собственную противоположность. — Он подумал и добавил. — Но я уверен в той громадной важности, которую представляю сам для себя, в необходимости признания этой важности

для моего самосознания — то есть в тех вещах, с пониманием которых уже родилась наша мудрая и прекрасная Глория. Существует только это и болезненная бесполезность попыток постичь что-либо еще.

Ну хорошо, я ведь начал рассказывать вам о своем образовании. Но, как видите, ничему я не научился, даже о себе узнал очень немного. И если б мне суждено было узнать, я умер бы с плотно сжатыми губами и колпачком на авторучке, как до сих пор и поступали мудрейшие из людей — во всяком случае, со времен провала некоего знаменательного предприятия — странного, между прочим, предприятия. Оно касалось некоторых скептиков, которые думали, что дальновидны, точно как мы с вами. Разрешите мне поведать о них вместо вечерней молитвы, пока вы еще не отошли ко сну.

Как-то давным-давно все умные и талантливые люди в мире обратились в одну веру — точнее сказать, в безверие. Но их очень огорчала мысль о том, что пройдет очень немного лет после их смерти, и им станут приписывать множество верований и суеверий, о которых они и не помышляли, множество предсказаний, которых они и не собирались делать. Поэтому они сказали друг другу:

Давайте объединим наши усилия и создадим великую книгу, которая станет вечной насмешкой над легковерием человечества. Давайте убедим наших самых искусных в описании любви поэтов написать о радостях плоти, попросим поднаторевших в этом деле журналистов включить несколько знаменитых любовных историй. Мы включим туда все наиболее нелепые небылицы, которые сейчас в ходу, подберем самого забористого сатирика, который слепил бы из всех божеств, которым ныне поклоняется человечество, одно божество, которое будет более величественным, чем любое из старых, но в то же время таким по-человечески слабым, что станет поводом для насмешек всего мира, мы припишем ему самые абсурдные мысли, какие только можно придумать, непомерное тщеславие и неистовство, которые заставят предположить, что всем этим он занимается ради собственной забавы; в общем, чтобы люди, читая нашу книгу, начинали размышлять над ней, и в мире прекратится глупость.

И, наконец, давайте позаботимся о том, чтоб эта книга обладала всеми высотами стиля, чтобы она действительно могла стать вечной и свидетельствовать о нашем глубочайшем скептицизме и нашей всеобъемлющей иронии.

Так эти люди и поступили, и почили.

А книга их действительно пережила века, ибо так прекрасно была она написана и настолько изумляла совершенством своей выдумки, которую эти мудрецы и гении вложили в нее. Правда, они не позаботились снабдить ее заглавием, но после того, как все они умерли, книга стала известна как Библия.

Когда он замолчал, никто не отозвался. Всех присутствующих словно околдовала сырая неподвижность, дремотно повисшая в ночном воздухе.

— Как я уже говорил, я собирался продолжить историю моего образования. Но коктейли во мне уже перегорели, да и ночь почти выдохлась, и скоро начнется это несносное, неистребимое копошенье — на деревьях, в домах, в этих двух магазинчиках вон там за станцией — и на несколько последующих часов на земле установится несусветная беготня... Ладно, — заключил он со смешком, — мы четверо, хвала Господу, можем двигаться к вечному успокоению, утешая себя тем, что сделаем этот мир чуть лучше самим фактом своего присутствия в нем.

Потянул предутренний ветерок, принося с собой полусонные блуждающие огоньки жизни, распластавшейся на фоне неба.

— Твои высказывания становятся все более бессвязными и необидительными, — сонно пробормотал Энтони. — Ты ожидал одного из тех чудес вдохновения, посредством которых излагаешь свои наиболее блестящие и содержательные сентенции именно в том оформлении, которое может спровоцировать идеальный обмен мнениями. Однако, тем временем Глория продемонстрировала свою дальновидную беспристрастность, элементарным образом заснув... Могу судить об этом по тому, что она сумела сконцентрировать весь свой вес

на моем измученном теле.

— Я вас утомир? — поинтересовался Мори, несколько озадаченно заглядывая под навес.

— Нет, просто разочаровал. Ты выпустил множество стрел, но не поразил ни единого воробья.

— Я оставил этих воробьев Дику, — незамедлительно отозвался Мори. — Мой удел — сумбур и бессвязность.

— Ну, сейчас ты меня этим не достанешь, — пробормотал Дик. — Мой ум слишком занят разного рода существенностями. Я слишком хочу в горячую ванну, чтоб заботиться о защите престижа моей профессии и о том, какая часть из нас представляет собой жалкое зрелище.

Рассвет все смелее заявлял о себе копившейся над рекой на востоке молочной белизной и то стихающим, то вновь набирающим силу птичьим гомоном в ближних деревьях.

— Без четверти пять, — вздохнул Дик, — почти час еще. Посмотри-ка! Эти двое отъехали. — Он указывал на Энтони, чьи веки уже сомкнулись. — Сон семейства Пэтчей...

Но в следующие пять минут его собственная голова, несмотря на множасьщиеся вокруг шелесты и щебет, склонилась на грудь, клюнула другой раз, третий...

Только Мори Нобл, сидя на станционной крыше, оставался бессонен, его широко раскрытые глаза неотрывно, до боли всматривались в отдаленный зачаток утра. Он с некоторым удивлением размышлял об эфемерности всех идей, о блекнущем сиянии бытия, об этих невольных и не очень тревожащих пока приступах задумчивости, которые однако все более настойчиво прокрадывались в его жизнь, словно крысы в ветшающий дом. Сейчас ему ни до кого не было дела — а в понедельник утром будет привычная работа, а позднее будет девушка из другой общественной прослойки, девушка, для которой он был всем; именно это было дороже всего его сердцу. И в этой небывалости разгорающегося дня казалось верхом самонадеянности, что он когда-то пытался о чем-то думать с помощью такого слабого и убогого инструмента как человеческий ум.

Вставало солнце, разливая по всей земле огромные сверкающие потоки тепла; вокруг была жизнь, суетящаяся словно рой мошкары, деятельная и беспорядочная — черное пыхтенье дыма из паровозной трубы, повелительное «по вагонам!» и звон колокола. Мори смущенно отводил глаза, замечая на себе заинтересованные взгляды публики, заполнившей «молочный поезд», слышал скоротечную перебранку Энтони и Глории, выяснявших, ехать ли ему с ней в город — потом последний сполох шумных протестов, и она уехала, а они втроем, бледные как привидения, остались никчемно стоять на платформе, слушая, как чумазый угольщик, ехавший в кузове грузовика, хриплой песней возносит хвалу летнему утру.

Глава 3

Разбитая лира

Семь тридцать, августовский вечер. Окна в гостиной серого дома широко распахнуты, безропотно обменивая насыщенную испарениями спиртного и табачным дымом атмосферу комнаты на полусонную свежесть поздних жарких сумерек. В воздухе витает умирающий запах цветов, тонкий, едва уловимый, словно уже намекающий, что и лето минет в свой черед. Но август еще настойчиво напоминает о себе тысячью сверчков возле бокового крыльца и одним, который, прорвавшись в дом и надежно укрывшись за книжным шкафом, время от времени возвещает о своем недюжинном уме и неукротимой целеустремленности.

Комната в жутком беспорядке. На столе блюдо с фруктами, они вполне настоящие, хотя и выглядят как муляжи. Возле него сгрудилось угрюмое и пестрое сообщество графинов, стаканов и наполненных с верхом пепельниц, последние еще исходят лесенками дыма, завивающимися в душном воздухе — картина,

которой не хватает лишь черепа, чтоб походить на почтенную цветную литографию, когда-то необходимую принадлежность любой интеллигентской «берлоги», которая с чувством восторга, замешанного на почтительном ужасе, представляет атрибуты разгульной жизни.

Через некоторое время жизнеутверждающее соло суперсверчка скорее прерывается новым звуком, чем сливается с ним — это меланхолический вой руководимой неуверенными пальцами флейты. Ясно, что музыкант скорее упражняется, чем демонстрирует свое искусство, ибо время от времени напев обрывается, после чего, минуя фазу невнятного бормотанья и возобновлений, звучит с новой силой.

Как раз перед седьмым фальшстартом в это уныло-нестройное неблагозвучье вносит свой вклад третий звук. Это шум такси, подъехавшего к дому. Минутная тишина, потом опять такси, его шумная ретирада почти заглушает звук шагов на гравийной дорожке. По дому разносятся тревожные вскрики звонка.

Из кухни, торопливо застегивая лакейский пиджак из белой парусины, появляется маленький изможденный японец. Он открывает переднюю сетчатую дверь и впускает приятной наружности молодого человека лет тридцати, одетого со вкусом, отражающим благородные намерения, свойственные тем, кто посвятил себя служению человечеству. Во всем его поведении непременно чувствуются эти благородные намерения: во взгляде, которым он окидывает комнату, смешаны любопытство и непреходящий оптимизм; когда он смотрит на Т а н а, в его глазах отражаются все громадные усилия по возвышению того нехристя до собственного духовного уровня. Его зовут Ф р е д е р и к И. П э р э м о р. Он вместе с Э н т о н и учился в Гарварде, где, в силу сходства начальных букв фамилий, они были постоянно помещаемы рядом друг с другом в аудиториях. Возникло поверхностное знакомство, но со студенческих лет они никогда не встречались.

Тем не менее, П э р э м о р входит в комнату именно с тем видом, который имеет гость, явившийся на целый вечер.

Т а н а отвечает на вопросы.

Т а н а (*заискивающе скалясь*) . Уехари гастиниса на обеда. Будет через порчас. Уехари паравина седмой.

П э р э м о р (*замечая стаканы на столе*) . У них гости?

Т а н а. Да. Гостя. Миста Карамер, миста и миссас Барнес, мисс Кэйн, все оставаяся здесь.

П э р э м о р. Понимаю. (*Добродушно.*) Смотрю, они тут славно развлекаются.

Т а н а. Моя не понимая.

П э р э м о р. Я имею в виду, что они хорошо покутили.

Т а н а. Да, да купири. Многа, многа, многа пить купири.

П э р э м о р (*деликатно уклоняясь от темы*) . А я не мог слышать звуков музыки, когда подходил к дому?

Т а н а (*сдавленно хихикнув*) . Да, моя играю.

П э р э м о р. На каком-нибудь японском инструменте.

(Совершенно ясно, что он подписывается на «Географический журнал».)

Т а н а. Моя играю на фрю-у-ута, японский фрю-у-ута.

П э р э м о р. А что за песню вы исполняли? Одну из ваших японских мелодий?

Т а н а (*в неимоверном усилии морщит лоб*) . Моя играю песню поезд. Как вы говорите?.. зарезнодорожный песня. Так называют в моя старанна. Как поезд. Он уходит у-у-у-у; значит свистит. Значит поехар. Потом идету-у-у-у... Значит, быстро идет. Так примерно поручается. Все так рюбят у нас эта песню. Примерно детская песня.

П э р э м о р. Да, звучит приятно.

(В этот момент становится очевидно, что лишь огромное напряжение воли

удерживает Т а н а, чтобы не ринуться наверх за своими открытками, включая и те шесть, которые были произведены в Америке.)

Т а н а. Моя дерает коктейр дря господина?

П э р э м о р. Нет, спасибо. Я не пью. *(С улыбкой.)*

(Т а н а возвращается на кухню, оставляя дверь слегка приоткрытой. Через щель внезапно доносится мелодия японской дорожной песни — на этот раз исполнитель явно не репетирует, а дает представление, вдохновенное, полновесное представление.)

(Звонит телефон. Т а н а, погруженный в свои гармонии, не обращает на него внимания, поэтому П э р э м о р поднимает трубку.)

П э р э м о р. Здравствуйте... Да... Нет, его сейчас нет, но он может вернуться в любую минуту... Баттерворт? Алло, я не разобрал фамилию... Алло, алло, алло. Алло!.. А, черт!

(Телефон упорно отказывается издать хоть какой-либо звук.)

П э р э м о р кладет трубку.

(В этот момент вновь вступает тема такси, приносящая на своих крылах второго молодого человека; в руках он держит чемодан и открывает входную дверь, не позвонив.)

М о р и *(в холле)* . Ау, Энтони! Ау! *(Входит в большую комнату и видит П э р э м о р а.)* Добрый день.

П э р э м о р *(все внимательнее взглядываясь в него)* . Неужели?.. Неужели это Мори Нобл?

М о р и. Он самый. *(Идет вперед, улыбаясь и протягивая руку.)* Как поживаете, старина? Целую вечность вас не видел.

(Лицо смутно ассоциируется у него с Гарвардом, но он не совсем уверен. А вот имя, если он когда-то и знал, то давным-давно забыл. П э р э м о р у, однако, нельзя отказать в тонкой чувствительности и, в равной степени — в достойном похвалы милосердии, он все понимает и тактично выходит из положения.)

П э р э м о р. Не помните Фреда Пэрэмора? Мы вместе были в группе по истории у старого Анка Роберта.

М о р и. Постойте, постойте. Анк... то есть, я имею в виду — Фред. Фред был, я хочу сказать, Анк... да, он был замечательный старик. Вы со мной не согласны?

П э р э м о р *(с улыбкой покивав)* . Крепкой закалки старик. Теперь таких нет.

М о р и *(после небольшой паузы)* . Да, он был такой. А где Энтони?

П э р э м о р. Слуга-японец сказал мне, что он в какой-то гостинице. Обедает, я полагаю.

М о р и *(взглянув на часы)* . Давно уехали?

П э р э м о р. Думаю, да. Японец сказал мне, что они скоро вернуться.

М о р и. Как вы насчет выпить?

П э р э м о р. Спасибо. Я не пью спиртного. *(Улыбается.)*

М о р и. Не возражаете, если я выпью? *(Позевывая, наливает себе из бутылки.)* Чем вы занимались после колледжа?

П э р э м о р. О, самым разным. Я вел очень активную жизнь. Стучался в любые двери *(его тон подразумевает все что угодно: от охоты на львов до организованной преступности)* .

М о р и. А в Европе бывали?

П э р э м о р. Нет, к сожалению, не был.

М о р и. Думаю, мы все там в скором времени побываем.

П э р э м о р. Вы серьезно так считаете?

М о р и. Конечно! Нам уже больше двух лет твердят, что война — это замечательно. Любой свихнется. Все хотят немного поразмяться.

П э р э м о р. Значит, вы не верите, что на карту на самом деле поставлены идеалы?

М о р и. Да никаких особенных идеалов. Просто людям время от времени хочется встряхнуться.

П э р э м о р (*с растущим интересом*). Это очень интересно — то, что вы говорите. Как-то я беседовал с человеком, который побывал там...

(Во время последующего благоговения, которое предоставляем читателю самому заполнить примерно такими фразами: «Видел собственными глазами», «Высокий дух Франции», «Спасение цивилизации», М о р и сидит, полужакрыв глаза, всем своим видом выражая усталое безразличие.)

М о р и (*при первой же возможности*). Кстати, вам, случайно, не известно, что именно в этом доме есть немецкий агент?

П э р э м о р (*сдержанно улыбаясь*). Вы это серьезно?

М о р и. Абсолютно. Просто считаю своим долгом предупредить вас.

П э р э м о р (*доверчиво*). Гувернантка?

М о р и (*шепотом, показывая большим пальцем не кухонную дверь*). Тана! Это не настоящее его имя. Я слышал, что он постоянно получает корреспонденцию, адресованную лейтенанту Эмилю Танненбауму.

П э р э м о р (*смеясь со всем терпением, на какое способен*). Вы меня разыграли.

М о р и. Конечно, может быть, я и зря его обвиняю. Но вы так и не рассказали, чем вы занимались.

П э р э м о р. Ну, начнем с того, что я пишу.

М о р и. Беллетристику?

П э р э м о р. Нет. В другом роде.

М о р и. Что же это может быть? Род литературы, которая наполовину выдумана и наполовину документальна?

П э р э м о р. Лично я предпочитаю придерживаться фактов. Я много занимался общественной работой.

М о р и. Ага...

(Быстрая искорка подозрения мелькает в его взгляде. Это все равно, как если бы П э р э м о р объявил себя карманником-любителем.)

П э р э м о р. В настоящее время я нахожусь по делам службы в Стэмфорде. И только на прошлой неделе узнал, что совсем поблизости живет Энтони Пэтч.

(Их прерывает доносящийся снаружи шум, который можно безошибочно определить как разговор и смех представителей обоих полов. Потом в комнату толпой входят Э н т о н и, Г л о р и я, Р и ч а р д К э р э м е л, М ю р и э л К э й н, Р э й ч е л Б а р н с и Р о д м а н Б а р н с, ее муж. Все они устремляются к Мори, невольно отвечая «Прекрасно» на его общее «Привет!»)

...Э н т о н и тем временем приближается к другому своему гостю.)

Э н т о н и. Ну черт меня побери! Как поживаешь? Ужасно рад тебя видеть!

П э р э м о р. А я как рад, Энтони. Я тут обосновался в Стэмфорде и подумал, что надо бы навестить тебя. (*Шутливо.*) Почти все время приходится работать на пределе сил, поэтому можем позволить себе несколько часов отдыха.

(Отчаянно пытаюсь сосредоточиться, Э н т о н и припоминает, как зовут его гостя. После напряжения, сравнимого разве что с родовыми схватками, память разрешается кратким «Ф Р Е Д», вокруг которого он торопливо строит предложение «Просто здорово, Ф р е д!» Компанию тем временем охватывает легкое смятение, предшествующее знакомству. М о р и, который в силах разрешить ситуацию, предпочитает со зловредным наслаждением наблюдать.)

Э н т о н и (*в отчаянии*) . Леди и джентльмены, это... Фред.
М ю р и э л (*с легкомысленной любезностью*) . Привет, Фред!

(Р и ч а р д К э р э м е л и П э р э м о р приятельски приветствуют один другого по имени, последний, припоминая, что Д и к был одним из тех на курсе, кто никогда не снисходил до разговоров с ним — Д и к, тщетно надеясь, что П э р э м о р — некто, с кем он раньше встречался в доме Э н т о н и.

Три молодые женщины поднимаются вверх.)

М о р и (*вполголоса Диду*) . Не видел Мюриэл со свадьбы Энтони.
Д и к. Да, она прямо расцвела. Ее последняя фразочка: «Ну, я вам доложу!»

(Э н т о н и какое-то время выдерживает схватку с П э р э м о р о м, наконец пытается вовлечь в разговор остальных, предлагая всем выпить.)

М о р и. Я уже изрядно потрудился над этой бутылкой. Спустился от слова «хранить» до «изготовлено». (*Показывает на этикетке.*)

Э н т о н и (*обращаясь к Пэрэмор*) . Невозможно угадать, когда эти двое заявятся. Однажды попрощался с ними под вечер, часов в пять, и, черт меня побери, в два часа ночи они уже снова приперлись. Подъезжает к самому крыльцу наемный лимузин из самого Нью-Йорка, и из него, естественно, выходят эти двое и, естественно, пьяные в лоск.

(П э р э м о р с благоговением смотрит на обложку книги, которую держит в руках. М о р и и Д и к обмениваются взглядами.)

Д и к (*с невинным видом Пэрэмор*) . Вы работаете здесь в городе?

П э р э м о р. Нет, в поселке Лэйрд-стрит в Стэмфорде. (*Поворачиваясь к Энтони.*) Вы и представить себе не можете, насколько бедны эти небольшие коннектикутские городки. Итальянцы и другие эмигранты. В основном католики, вы знаете, поэтому очень сложно достучаться до них.

Э н т о н и (*вежливо*) . Ну, и преступность, конечно?

П э р э м о р. Не столько преступность, сколько невежество и грязь.

М о р и. Я считаю, что всех невежественных и немых людей надо немедленно казнить на электрическом стуле. Но я обеими руками за преступников — придают жизни яркость. Беда в том, что если вы решите наказывать невежд, вам придется начать с первых семейств государства, потом придется переключиться на киношников и наконец заняться Конгрессом и духовенством.

П э р э м о р (*заставляя себя улыбнуться*) . Я имел в виду более фундаментальное невежество... даже в смысле языка.

М о р и (*задумчиво*) . Да, тяжело им приходится. Нельзя даже за новинками поэзии следить.

П э р э м о р. Только проработав месяцы в таком поселении, начинаешь понимать, насколько тяжела ситуация. Как сказал мне наш секретарь, грязи под ногтями незаметно, пока не вымоешь руки. Конечно, мы уже привлекаем большое внимание.

М о р и (*грубо*) . Ваш секретарь с таким же успехом мог сказать, что если засунуть бумагу в печь, то она немедленно загорится ярким пламенем.

(В этот момент к компании присоединяется свежеподкрашенная, воделеющая поклонения и наслаждений Г л о р и я, сопровождаемая двумя подругами На какое-то время беседа рассыпается на части. Г л о р и я отзывает Э н т о н и в сторону.)

Г л о р и я. Пожалуйста, Энтони, не пей много.

Э н т о н и. Почему?

Г л о р и я. Потому что, когда напиваешься, ты делаешься такой простоватый.

Э н т о н и. Господи Боже мой! Теперь еще что такое?

Г л о р и я (*помолчав и холодно глядя ему прямо в глаза*) . Сразу несколько пунктов. Во-первых, почему ты рвешься за все платить сам? У обоих этих господ денег гораздо больше, чем у тебя.

Э н т о н и. Ну, и что такого, Глория! Они же мои гости!

Г л о р и я. Это не повод для того, чтобы платить за бутылку шампанского, которую разбила Рэйчел Барнс. Потом Дик пытался оплатить этот второй счет за такси, но ты не дал ему.

Э н т о н и. Но, Глория...

Г л о р и я. Когда нам приходится продавать облигации, чтоб оплачивать счета, по моему, самое время отказаться от чрезмерной щедрости. Более того, на твоём месте я не обращала бы столь пристального внимания на Рэйчел Барнс. Её мужу это нравится не больше, чем мне.

Э н т о н и. Что ты, Глория...

Г л о р и я (*зло передразнивая его*) . «Что ты, Глория!» Но почему-то этим летом такое случается слишком часто — с каждой хорошенькой женщиной, которая попадает тебе на глаза. Это становится чем-то вроде дурной привычки, и я не намерена этого терпеть! Если ты можешь резвиться с кем попало, то у меня тоже получится. (*Потом, как бы вспомнив.*) Между прочим, вот этот Фред, он не окажется вторым Джо Халлом?

Э н т о н и. Ну уж нет. Он, скорее всего, явился подвигнуть меня выдоить из деда немного денег для своего стада.

(Г л о р и я отворачивается от заметно поскучевшего Э н т о н и и возвращается к гостям.)

К девяти часам все общество можно поделить на два класса — тех, кто пил постоянно, и тех, кто пил мало или вообще не пил. Ко второй группе относятся Б а р н с ы, М ю р и э л и Ф р е д е р и к, и П э р э м о р.)

М ю р и э л. Хотела бы я тоже уметь писать. У меня возникает множество идей, но, похоже, я никогда не смогу превратить их в слова.

Д и к. Как выразился Голиаф: я понимаю, что чувствует Давид, только сказать не могу . Это замечание было немедленно взято филистимлянами в качестве лозунга.

М ю р и э л. Что-то не улавливаю. Должно быть, глупею к старости.

Г л о р и я (*двигаясь нетвердой походкой среди публики, словно подвыпивший ангел*) . Если кто-нибудь хочет есть, на столе в столовой осталось немного французских пирожных.

М о р и. Просто невыносимо, даже на пирожных эти викторианские вензеля.

М ю р и э л (*с явным удовольствием*) . Ну, я вам доложу, вы и нагузились, Мори.

(Её грудь — все еще мостовая, которую она готова предоставить копытам любого проезжего жеребца в надежде, что их железные подковы смогут высечь хоть искру романтического чувства из этого мрака жизни...)

Чета Б а р н с о в и П э р э м о р увлечены беседой о чем-то благочестивом, настолько благочестивом, что м-р Б а р н с несколько раз пытается проникнуть в область более порочной атмосферы возле центрального дивана. И остается

непонятным: длит П э р э м о р свое присутствие в сером доме только из вежливости и любопытства, или задавшись целью когда-нибудь со временем создать социологическое исследование о декадансе американского образа жизни.)

М о р и. Фред, мне представлялось, что вы человек широких взглядов.

П э р э м о р. Так оно и есть.

М ю р и э л. Я тоже. И мне кажется, что одна религия ничем не лучше другой, точно так же, как и все остальное.

П э р э м о р. В любой религии есть что-то хорошее.

М ю р и э л. Я — католичка, но — как я всегда говорю — не прикладываю к этому особых усилий.

П э р э м о р (*с незыблемым смирением*) . Католическая религия, это очень... очень могучая религия.

М о р и. Я считаю, что человек, способный к таким обобщениям, просто должен оценить тот вздымающийся вал ощущений и раскрепощенного оптимизма, который содержится в этом коктейле.

П э р э м о р (*с видом решившегося на все человека берет выпивку*) . Спасибо, я попробую... один.

М о р и. Один? Это оскорбление! Здесь, можно сказать, собрался весь курс 1910 года выпуска, а вы отказываетесь даже слегка поддать. Ну, давайте же!

Эту за здоровье Чарли-короля,
Эту за здоровье Чарли-короля,
Принеси побольше чарку для меня...

(П э р э м о р искренне, с задором подхватывает.)

М о р и. Наполни кубок, Фредерик. Ты ведь понимаешь, что все подчинено велениям природы, а из тебя она намерена сделать отъявленного пьяницу.

П э р э м о р. Если человек умеет пить как джентльмен...

М о р и. А что такое, кстати, джентльмен?

Э н т о н и. Человек, который никогда не носит булавок в лацкане пиджака.

М о р и. Чепуха! Социальный ранг человека определяется тем, съедает он весь сэндвич или только то, что положено на хлеб.

Д и к. Это человек, который предпочтет первое издание книги последнему выпуску газеты.

Р э й ч е л. Человек, который никогда не производит впечатления наркомана.

М о р и. Американец, который способен осадить английского дворецкого и заставить его думать, что он такой и есть.

М ю р и э л. Человек, который происходит из хорошей семьи, получает образование в Йеле, Гарварде или Принстоне, имеет деньги, хорошо танцует, ну и все такое.

М о р и. Наконец-то прекрасное определение! Кардинал Ньюмен не придумал бы лучше.

П э р э м о р. Я думаю, нам следует рассмотреть этот вопрос более широко. По-моему, Авраам Линкольн сказал, что джентльмен это тот, кто никому не причиняет боли?

М о р и. Это относилось, я полагаю, к генералу Людендорфу .

П э р э м о р. Вы, конечно, шутите.

М о р и. Лучше выпей еще.

П э р э м о р. Мне не следовало бы. (*Понижая голос, так чтобы слышал один Мори.*)
А что, если бы я вам сказал, что пью всего третий раз в жизни?

(Д и к заводит граммофон, который побуждает М ю р и э л подняться и раскачиваться из стороны в сторону, прижав к бокам согнутые в локтях руки и выставив то, что ниже локтя, перпендикулярно телу, словно рыбы плавники.)

М ю р и э л. О, давайте уберем эти ковры и будем танцевать!

(Это предложение принимается Э н т о н и и Г л о р и е й с внутренними стонами и кислыми улыбками молчаливой покорности.)

М ю р и э л. Давайте же, вы, лентяи. Поднимайтесь и отодвиньте мебель.

Д и к. Подождите, я хоть допью.

М о р и (*сосредоточившись на своей цели напоить П э р э м о р а*). Вот что я вам скажу. Пусть каждый наполнит свой стакан, выпьет его — а потом уж будем танцевать.

(Волна протестов, которая разбивается о каменную непреклонность М о р и.)

М ю р и э л. Теперь у меня голова просто идет кругом.

Р э й ч е л (*вполголоса Э н т о н и*). Ну что, говорила тебе Глория держаться от меня подальше?

Э н т о н и (*смущенный*). Да нет, ничего такого. Да и с чего ей говорить?

(Р э й ч е л загадочно улыбается ему. Прошедшие два года наделили ее тяжеловесной, ухоженной красотой.)

М о р и (*поднимая свой стакан*). Давайте выпьем за поражение демократии и падение христианства.

М ю р и э л. Ну ничего себе!

(Она бросает насмешливо-осуждающий взгляд на М о р и, потом выпивает. Все выпивают с неодинаковой степенью легкости.)

М ю р и э л. Очистить пол!

(Понимая, что этого все равно не миновать, Э н т о н и и Г л о р и я включаются в громкую передвижку столов, громожденье в кучи стульев, скатывание ковров и разбивание лампочек. Когда вся мебель свалена в уродливые груды вдоль стен, образуется свободное пространство размером примерно восемь на восемь футов.)

М ю р и э л. Ну, где же музыка?

М о р и. Сейчас Тана изобразит нам серенаду в стиле глаз-ухо-горло-нос.

(Среди некоторого замешательства, обусловленного тем фактом, что Т а н а уже лег спать, совершается подготовка к представлению. Наконец, одетый в пижаму японец, с флейтой в руке, замотанный шерстяным шарфом, помещается в кресло, поставленное на один из столов, где и разыгрывает свой нелепо-гротескный спектакль. П э р э м о р заметно пьян и настолько захвачен идеей постановки, что усиливает эффект, карикатурно изображая движения пьяного человека, даже отваживаясь время от времени икать.)

П э р э м о р (обращаясь к Глории). Не хотите ли потанцевать со мной?

Г л о р и я. Нет, сэр! Я хочу устроить лебединый танец. Умеете?

П э р э м о р. С-само собой. Т-танцую все.

Г л о р и я. Прекрасно. Вы начинаете с того конца комнаты, а я с этого.

М ю р и э л. Поехали!

(И тут уж из всех выпитых бутылок начинает сочиться вопиющий Дух Безумия: Т а н а устремляется в таинственные лабиринты «дорожной» песни, заунывные «ту-утл-ту-ту-у-у» которой сливаются свои меланхолические каденции с «бабочке бедной (чики-чик) грустно на цветке», исполняемой граммофоном. М ю р и э л настолько ослабела от смеха, что в состоянии только отчаянно цепляться за Б а р н с а, который, танцуя с мрачной непреклонностью армейского офицера, без тени юмора топчется почти на месте. Э н т о н и старается расслышать шепот Р э й ч е л — и не привлечь внимания Г л о р и и...

Но уже готово совершиться нелепое, невероятное, как будто нарочно придуманное событие, одно из тех, в которых жизнь вдруг пытается стать похожей на экзальтированную имитацию бульварного романа. П э р э м о р старается превзойти Г л о р и ю и в то время, когда всеобщая суматоха достигает своего пика, начинает кружиться все быстрее и быстрее, головокружительнее и головокружительнее — он теряет равновесие и вновь обретает его, теряет и вновь обретает, и наконец, летит в направлении холла... почти в объятия старого А д а м а П э т ч а, чье прибытие среди столпотворения, царящего в комнате, прошло совершенно незамеченным.

А д а м П э т ч очень бледен. Он опирается на трость. Человек, его сопровождающий — не кто иной как Э д в а р д Ш а т т л о р т, и именно он хватает П э р э м о р а за плечо и отклоняет траекторию его падения от почтенного филантропа.

Время, которое понадобилось, чтобы тишина, подобно некоей огромной завесе опустилась на комнату, может быть оценено примерно в две минуты, хотя в течение недолгого периода после этого еще квакает граммофон и ноты японской «дорожной» продолжают сочиться из раструба флейты Т а н а. Из девяти ранее присутствовавших только Б а р н с у, П э р э м о р у и Т а н а неизвестна личность вновь прибывшего. И никто из девятерых не знает, что именно этим утром А д а м П э т ч внес пятидесятитысячную лепту в дело запрещения спиртных напитков по всей стране.

Именно П э р э м о р у принадлежит честь нарушить эту нарастающую тишину; и та невероятная ремарка — самый большой грех, который он совершил в своей жизни.)

П э р э м о р (*быстро ползя на четвереньках в направлении кухни*) . Я... я не гость... я здесь работаю.

(И вновь падает тишина — на этот раз настолько глубокая, настолько чреватая передающимся от человека к человеку дурным предчувствием, что Р э й ч е л нервно и сдавленно хихикает, а Д и к обнаруживает, что беспрестанно бормочет себе под нос строчку из Суинберна, очень неожиданно и странно подходящую к данной ситуации:

Единственный и бездуханный мак...

...Из тишины всплывает трезвый и сдавленный голос Э н т о н и, говорящий что-то А д а м у П э т ч у, но и он скоро замирает.)

Ш а т т л о р т (*страстно*) . Ваш дедушка подумал, что ему следует приехать посмотреть, как вы живете. Я звонил из Р и и просил передать вам.

(В наступившую паузу пунктиром, словно из ниоткуда, падает серия прерывистых вздохов, издаваемых непонятно кем. Э н т о н и — цвета мела. Губы Г л о р и и полуоткрыты, она смотрит на старика остановившимся взглядом, напряженно и со страхом. В комнате нет ни единой улыбки. Так ли уж? Или все-

таки искривленные губы С е р д и т о г о П э т ч а вздрагивают и слегка приоткрываются, чтоб продемонстрировать два ровных ряда редких зубов. Он что-то говорит — четыре кратких и простых слова.)

А д а м П э т ч. Теперь едем обратно, Шаттлуорт.

(Вот и все. Он поворачивается и, поддерживаемый тростью, направляется через холл, выходит в переднюю дверь, и вот уже его нетвердые шаги дьявольским предвестьем беды шелестят по гравию дорожки под августовской луной.)

Ретроспектива

В этом отчаянном положении они были похожи на двух золотых рыбок в банке, из которой вылили всю воду; они не могли даже подплыть друг к дружке.

В мае Глории исполнилось двадцать шесть. И, как сама она говорила, ей нечего было желать, кроме того, чтоб еще долго оставаться молодой и красивой, веселой и счастливой, а также денег и любви. Она хотела примерно того же, чего хочет большинство женщин, только желание её было более неистовым и страстным. Она была замужем больше двух лет. Сначала были дни безмятежного взаимопонимания, доходившего до экстазов обладания и гордости. С этим чередовались недолгие и спорадические приступы неприязни, забывчивость, длившаяся не дольше, чем до вечера. Так было примерно с полгола.

Потом безмятежная ясность, чувство взаимной удовлетворенности сделались менее яркими, как бы подернулись серой пеленой — хотя очень редко, в приступах ревности или во время вынужденной разлуки, полузабытые порывы возвращались как доказательство родства их душ, не изжитого еще душевного волнения. Но она уже могла по целому дню ненавидеть Энтони или по целой неделе, невзирая ни на что, негодовать. Ласковое внимание друг к другу сменилось взаимными упреками, которые воспринимались как нечто приятное, почти как развлечение; и были ночи, когда они лежали перед сном, припоминая, кто первым вышел из себя и кому теперь надлежит дуться на следующее утро. А когда подошел к концу второй год, их брак обогатился двумя новыми приобретениями. Глория поняла, что Энтони обрел способность относиться к ней в высшей степени безразлично, эта индифферентность была мимолетна, подобна какому-то полузабытью, но она уже не могла нежно прошептаным словом или специально предназначенной для этого улыбкой пробудить его от этого сна. Настали дни, когда его начали тяготить ее ласки. Глория конечно замечала, но даже себе не признавалась, что такое может случиться с ней.

А совсем недавно она осознала, что несмотря на свое преклонение перед ним, ревность, готовность рабски служить ему, гордиться им, она глубоко презирала его — и это презрение уже примешалось ко всем ее чувствам... Все это и составляло ее любовь — ту живую, сотворенную женщиной иллюзию, предметом которой однажды апрельской ночью стал именно он.

Что касается Энтони, то несмотря на все эти оговорки, он все-таки был поглощен только Глорией. Случись ему потерять ее, и он на всю жизнь остался бы сломленным человеком, сентиментальным горемыкой, погруженным в воспоминания о ней. Но он уже редко проводил с ней наедине целый день, потому что не получал от этого удовольствия, и, за редким исключением, предпочитал, чтобы между ними присутствовал кто-то еще. Бывали периоды, когда он чувствовал, что сойдет с ума, если не останется совершенно один, а бывали и такие моменты, когда он определенно ненавидел ее. В легком подпитии он стал способен на непродолжительные увлечения другими женщинами, но пока это были всего лишь успешно подавляемые всплески неугомонного физического влечения.

В ту весну, в то лето они размышляли о будущем счастье — как они будут путешествовать от одной полуденной земли к другой, в конце концов возвращаясь

в роскошное поместье к возможным идиллическим детям, потом на время входя в дипломатию или политику, чтобы свершить там нечто прекрасное и значительное, и, наконец, седовласой парой (восхитительно, шелковисто седовласой) они должны были купаться в своей немеркнущей славе, боготворимые буржуазией страны... Такие моменты обычно начинались со слов: «когда мы получим свои деньги»; и надежды их основывались больше на таких мечтах, чем на результатах все более беспорядочной, теряющей последние очертания жизни. Безрадостными утрами, когда все остроты прошлой ночи ссыхались до банального похабства, лишеного всякого достоинства, они могли, скорее по привычке, извлечь на свет божий эту связку общих надежд и перетряхнуть их, потом улыбнуться друг другу и, сведя весь предмет разговора к лаконичному, тем не менее искреннему, ницшеанизму Глории, упрямо повторить: «А, все равно!»

Дела их ощутимо ухудшались. Все более надоедливо и зловеще вставал финансовый вопрос; пришло понимание, что пьянство сделалось обязательной составной частью их увеселений — далекое от необычного явление среди британской аристократии лет сто назад, но нечто, могущее вызвать тревогу в обществе, упорно становящемся все более умеренным и осмотрительным. Больше того, оба они, казалось, слабели духом, и не столько в том, что они делали, сколько в способности приспособливаться к обществу. У Глории развилось некое качество, в котором она до сих пор абсолютно не нуждалась — пока только скелет, но тем не менее явно обозначенный, предмет ее всегдашнего отвращения — совесть. Это совпало с медленным угасанием ее физической смелости.

И вот однажды августовским утром после неожиданного визита Адама Пэтча они пробудились усталые и отвратительные сами себе, разочарованные жизнью, способные испытывать лишь одно, всеобъемлющее чувство — страх.

Паника

— Ну? — Энтони сидел на кровати и смотрел на нее сверху вниз. Уголки его губ были скорбно опущены, голос звучал напряженно и пусто.

Вместо ответа она поднесла руку ко рту и начала медленно и сосредоточенно покусывать палец.

— Вот и приехали, — сказал он, помолчав; потом, раздраженный ее молчанием, спросил. — Чего же ты молчишь?

— А что ты хочешь от меня услышать?

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем.

— Тогда прекрати жевать свой палец!

Последовала краткая, скомканная дискуссия о том, способна ли она думать вообще. Для Энтони было очень важно, чтоб она высказала вслух свое суждение о постигшем их прошлой ночью несчастье. Ее молчание рассматривалось просто как способ свалить всю ответственность на него. Она, со своей стороны не видела никакой необходимости что-либо говорить — момент требовал, чтоб она, как нервный ребенок, просто грызла свой палец.

— Я должен разъяснить это дурацкое недоразумение с моим дедом, — говорил он с мрачной убежденностью. Слабое новорожденное уважение к старику было отмечено использованием слов «моим дедом» вместо «дедушкой».

— Ничего у тебя не выйдет, — заявила она убежденно. — Ты не сможешь... никогда. Он тебя не простит до конца жизни.

— Может быть, — уныло согласился Энтони. — И все же я, наверное, смогу убедить его, что постараюсь исправиться, и вообще...

— Он выглядел больным, — перебила она, — лицо белое, как мука.

— Он ведь болеет. Я говорил тебе месяца три назад.

— Лучше бы ему умереть неделю назад, — сказала она раздраженно. — Бесчувственный старый дурак! Никто из них даже не улыбнулся.

— Но все же я хочу сказать, — добавила она уже спокойно. — В следующий раз, когда я увижу, что ты ведешь себя с какой-нибудь женщиной так, как вел вчера с Рэйчел Барнс, я от тебя уйду — вот так возьму и уйду! Я больше не собираюсь это терпеть.

Энтони откровенно струсил.

— Да не говори ты глупостей, — принялся протестовать он. — Ты же знаешь, что для меня не существует на свете ни одной женщины, кроме тебя — ни одной, дорогая.

Но эта попытка сыграть в регистре нежности была слабой и жалкой — на авансцену вновь вернулось ощущение более реальной опасности.

— Что если бы я поехал к нему, — предположил Энтони, — и рассказал, с подобающими цитатами из Библии, что слишком долго шел неправедным путем, но наконец увидел свет... — Тут он прервал себя и странно посмотрел на жену. — А интересно, что бы он сделал?

— Не знаю.

Она размышляла о том, хватит ли у их гостей ума разъехаться сразу после завтрака.

Прошла неделя, а Энтони так и не собрался с духом для поездки в Тэрритаун. Сама перспектива этого мероприятия была ему отвратительна и, будь его воля, он ни за что бы не поехал — но если его решительность и износилась за последние три года, то же произошло и с его способностью отказывать. Глория просто заставила его поехать. Она сказала, что хорошо бы недельку выждать, это даст время неистовой враждебности деда поутихнуть, но ждать дольше было бы ошибкой — чувство могло и окрепнуть.

Весь дрожа, он поехал... и напрасно. Адам Пэтч был нездоров, сообщил ему негодующий Шаттлуорт. Были даны категорические инструкции никого к нему не пускать. Под мстительным взглядом бывшего «водкоцелителя» боевые порядки Энтони дрогнули. Он шел к своему такси почти крадучись — и немного восстановил самоуважение только когда сел на поезд; как мальчишка радуясь, что может наконец вновь убежать, устремляясь к своим чудо-дворцам утешения, которые все еще высились и блистали в его воображении.

Глория приняла его в Мариэтте с насмешкой и презрением. Почему он не вошел внутрь силой? Уж она бы стесняться не стала!

Они решили сочинить старику письмо, которое после бесконечных переработок было наконец составлено и отослано. Это было наполовину извинение, наполовину попытка оправдаться вопреки всякой очевидности. Ответа не последовало.

И вот пришел сентябрьский день, расплосованный на части солнцем и дождем, только солнце уже не согревало, а дождь не приносил свежести. В этот день они покинули свой серый дом, который был свидетелем цветенья их любви. Четыре дорожных сундука и три чудовищные корзины высились среди оголившейся комнаты, той самой, где двумя годами раньше они бродили, грезя наяву — влюбленные, всем довольные и такие теперь далекие. Теперь пустота отзывалась эхом. Глория, в новом коричневом платье, отороченном мехом, молча сидела на сундуке, Энтони нервно расхаживал туда-сюда, дымя сигаретой, и оба ждали грузовика, который должен был забрать их вещи в город.

— Что это такое? — спросила она, указывая на книги, сложенные стопкой на одной из корзин.

— Это коллекция марок, которую я когда-то собирал, — смущенно признался он. — Забыл упаковать ее.

— Энтони, глупо всюду таскать их с собой.

— Ну, я просто просматривал ее в тот день, когда мы уезжали из Нью-Йорка весной и решил не сдавать на хранение.

— А их нельзя продать? Разве у нас и так недостаточно всякого хлама?

— Ну прости, — отозвался он смиренно. С громоподобным грохотом к дверям подкатил грузовик. Глория стиснула кулачок и с вызовом погрозила пустым стенам.

— Я так рада, что уезжаю! — крикнула она, — так рада... Господи! Господи, как я ненавижу этот дом!

Итак, наша ослепительно прекрасная дама в сопровождении супруга отправилась в Нью-Йорк. В том самом поезде, который уносил их прочь, они и поссорились — ее безжалостные упреки повторялись с такой же частотой, регулярностью и неизбежностью, с какой мелькали станции, мимо которых они проезжали.

— Ну не сердись, — жалобно просил Энтони. — Ведь, в конце концов, у нас ничего нет, кроме друг друга.

— Зачастую у нас даже этого нет, — восклицала Глория.

— Когда это такое было?

— Множество раз — начиная с того случая на платформе в Редгейте.

— Уж не хочешь ли ты сказать?..

— Нет, — ледяным тоном перебила она. — Я не хочу ворошить этого. Было — и прошло, но уходя захватило кое-что с собой.

Она внезапно замолчала. Энтони тоже сидел молча, смущенный и подавленный. Спеша друг за другом, пронеслись однообразные видения придорожных Мамаронека, Ларчмонта, Ри, Пэлем Мэнора, разделенные пространствами унылых захламленных пустошей, не слишком эффектно изображавших из себя сельскую местность. Энтони почему-то вспомнилось, как однажды летним утром они вдвоем отправились из Нью-Йорка на поиски счастья. Может быть, они никогда и не надеялись особенно найти его. и все же сами по себе эти поиски оказались самым большим счастьем в его жизни. А жизнь, как оказалось, должна состоять в окружении себя подпорками — иначе она была бы сплошным бедствием. В ней не было ни отдохновения, ни покоя. Он впустую растратил лучшие годы в стремлении только плыть по течению и мечтать; ни один из плывущих по течению не миновал своего мальстрёма, никому еще не удавалось вдоволь намечтаться без того, чтоб его грезы не слились в фантастический кошмар рефлексии и сожалений.

Пэлем! Именно в Пэleme они поссорились, потому что Глории понадобилось сесть за руль. И когда она поставила свою маленькую ножку на акселератор, автомобиль яростно рванул вперед, а их головы резко дернулись назад, словно у кукол, подвешенных на одной нитке.

Бронкс — теснящееся скопище домов, сверкающих под солнцем, которое стремительно катилось к краю необъятного сияющего небосвода, обрушивая целые каскады лучей на городские улицы. Нью-Йорк, он считал, был его домом — город роскоши и тайны, несбыточных надежд и экзотических мечтаний. А здесь, на его задворках, то и дело возносились на фоне равнодушного заката нелепые оштукатуренные дворцы и, провисев мгновение в своей невозмутимой нереальности, скользили прочь, уступая место путаной сумятице Гарлем-ривер. Вознесенный на эстакаду поезд катил сквозь густеющие сумерки мимо полусотни веселых и потеющих улиц верхнего Ист-Сайда, каждая из которых пролетала мимо вагонного окна, как пространство между спицами гигантского колеса, каждая со своим удивительно ярким, полным жизни откровением в виде бедно одетых ребятишек, копошащихся в какой-то лихорадочной активности, как юркие муравьи на дорожках из красного песка. Из окон густозаселенных многоквартирных домов, словно созвездия этого убогого небосвода, свешивались их округлые луноподобные матери, женщины, чем-то напоминающие тусклые необработанные самоцветы, женщины наводящие на мысль об овощах, женщины, похожие на мешки отвратительно грязного белья.

— Мне нравятся эти улицы, — заметил Энтони вслух, — у меня такое чувство, что здесь передо мной словно бы разыгрывается какой-то спектакль, и через секунду после того, как я исчезну, они перестанут прыгать и смеяться, сделаются вместо этого очень печальными, вспомнив как они бедны, и с опущенными головами удалятся в свои дома. Такое часто ощущаешь за границей, но здесь — очень редко.

Внизу, на хвастливо-оживленной торговой улице он прочитал в ряду магазинных вывесок с десятков еврейских фамилий; в дверях каждого магазинчика стоял маленький темноволосый человек, наблюдая внимательными глазами за прохожими — и светились эти глаза подозрительностью, гордыней, пронизательностью, алчностью и сметливостью.

Нью-Йорк — он не мог отделить его теперь от медленного вползания этих людей наверх — эти маленькие магазинчики, растущие, движущиеся, объединяющиеся, расплзающиеся — они множились по всем направлениям, озирая все вокруг хищным взором, по-пчелиному внимательным к мелочам. Это впечатляло — в перспективе виделось потрясающим.

В его мысли ворвался голос Глории, удивительно созвучный им:

— Интересно, где провел это лето Бликман?

Квартира

После ясности юных лет наступает период напряженной и нестерпимой сложности. У продавца газированной воды этот период настолько краток, что на него почти не обращается внимания. Человек, занимающий на общественной шкале место повыше, дольше застревает на попытках сберечь первородную незамутненность отношений ко всему, сохранить «непрактичные» представления о порядочности. Но на подходе к тридцати это занятие становится слишком обременительным, и то, что до сих пор казалось необходимым, задевало чувства, отходит на задний план, теряет остроту. Словно сумерки на резких тонов пейзаж наваливается повседневность, смягчая его и делая вполне терпимым. Вся сложность жизни в ее неуловимой изменчивости становится нам не по карману: с утратой живости ощущений резко меняются ценности, начинает казаться, что прошлое не может научить нас ничему, с чем можно предстать перед будущим, — и вот мы теряем способность к душевному движению и восприимчивости, перестаем быть людьми, которых интересуют четкие границы этических понятий, мы подменяем честь правилами поведения, безопасность ценим выше романтики, мы совершенно незаметно для себя делаемся прагматиками. Уделом очень немногих остается озабоченность нюансами взаимоотношений — да и эти немногие занимаются сим только в специально отведенные для этих целей часы.

Энтони Пэтч перестал быть личностью, исполненной умственной отваги и любознательности, вместо этого он сделался личностью исполненной пристрастий и предрассудков, при страстном желании оставаться непоколебленным эмоционально. Это постепенное изменение, происходившее в нем в течение последних лет, ускорялось еще и непрерывной чередой тревог, терзавших его ум. Прежде всего это было чувство, что все распадается и гибнет, постоянно дремавшее в его сердце и теперь разбуженное обстоятельствами. В минуты особенной неуверенности его преследовала мысль, что в жизни все-таки есть смысл. В первые годы после двадцати убежденность в бесплодности всех усилий, в мудрости отрицания, была подкреплена философами, которыми он восхищался, равно как и общением с Мори Ноблом, а позднее — с собственной женой. И все же бывали случаи — например, перед первой встречей с Глорией, или когда дед предложил ему поехать военным корреспондентом за границу — что недовольство собой едва не подвигло его на решительные шаги.

Однажды, как раз перед окончательным отъездом из Мариэтты, в процессе бесцельного перелистывания страниц «Бюллетеня выпускников Гарварда», он обнаружил колонку, где говорилось о том, кем стали за истекшие шесть лет его однокашники. Большинство из них, правда, вращалось в бизнесе, несколько человек было занято обращением язычников Китая и Америки к туманным истинам протестантизма, но некоторые, как он обнаружил, плодотворно занимались работой, которую нельзя было назвать ни синекурой, ни рутинной. Был Келвин Бойд, который, едва закончив медицинский факультет, уже открыл новый способ лечения тифа, потом отправился за границу, чтобы смягчить цивилизаторские меры, которые великие державы применяли к Сербии; был Юджин Бронсон, чьи статьи в «Нью Демокраси» говорили о нем как о человеке, чьи идеи выходили за рамки вульгарной своевременности и всеобщей истерии; был человек по фамилии Дали, изгнанный с факультета некоего благонамеренного университета за то, что проповедовал с кафедры марксистские доктрины. В искусстве, науке, политике тоже появились достойные своего времени люди — среди них был даже Северенс, защитник футбольной команды, вполне

достойно и благородно отдавший свою жизнь в иностранном легионе на Эне .

Он отложил журнал и какое-то время был погружен в размышления об этих таких разных людях. В дни своего ненарушенного целомудрия он принялся бы отстаивать свое отношение до последнего — Эпикур в Nirване , он стал бы кричать, что бороться — означает верить, а верить — значит ограничивать себя. Он начал бы ходить в церковь, потому что его привлекала перспектива бессмертия, но не раньше, чем попробовал бы себя в выделке кож, потому что напряженность конкурентной борьбы удерживала бы его от печальных мыслей. Но теперь в нем не было столь тонкой щепетильности. Этой осенью, когда ему пошел двадцать девятый год, он был более склонен захлопывать свой ум для многого, избегать кропотливого исследования мотивов и первопричин, а больше всего стремился защититься от мира и от себя. Он не любил бывать один, но, как уже было сказано, зачастую страшился оставаться и вдвоем с Глорией.

Из-за той пропасти, которую разверз перед ним визит деда, и последовавшего за этим отказа от того образа жизни, который они вели в последнее время, необходимо было оглядеться в этом ставшем внезапно враждебным городе в поисках друзей и среды обитания, которая когда-то казалась самой теплой и наиболее безопасной. Первым его шагом была отчаянная попытка заполучить обратно свою старую квартиру.

Весной 1912 года он подписал договор на четыре года на условиях тысячи семисот долларов ренты в год, с правом возобновления. Этот договор истек в прошлом мае. Когда он в первый раз снимал эти комнаты, они были едва ли отличимой от остальных «заготовкой» квартиры, но Энтони разглядел их скрытые возможности и отметил в договоре, что, как он, так и хозяин должны были потратить определенную сумму на их улучшение. За истекшие четыре года квартирная плата выросла, и вот прошлой весной, когда Энтони временно отложил возобновление договора, домохозяин, некий мистер Зогенберг, понял, что может получить гораздо больше за то, что теперь было уже во всех отношениях уютной квартирой. Таким образом, когда Энтони посетил его в сентябре, то получил встречное предложение Зогенберга о трехлетнем найме уже за две с половиной тысячи в год. Это показалось Энтони несправедливым. Кроме того, означало, что плата за квартиру будет поглощать более трети их годового дохода. Тщетно доказывал он, что это его собственные деньги, его идеи перепланировки сделали эти комнаты такими привлекательными.

Тщетно предлагал он две тысячи долларов, две тысячи двести, хотя и такое мог позволить себе с большим трудом — мистер Зогенберг был неумолим. Оказалось, что на квартиру претендовали еще два джентльмена; такие квартиры пользовались сейчас спросом, и было бы едва ли разумно «отдавать» ее мистеру Пэтчу. Помимо прочего, хотя он никогда не упоминал об этом раньше, некоторые жильцы жаловались прошлой зимой на шум — пение и танцы поздней ночью, ну, и тому подобное. Внутренне негодуя, Энтони поспешил вернуться в «Ритц», чтобы сообщить Глории о своем поражении.

— Да я прямо вижу, — бушевала она. — как ты позволяешь ему положить себя на обе лопатки!

— А что я мог сказать?

— Ты мог сказать ему, кто он такой. Я бы не стала такого терпеть. Ни один человек на свете не стал бы такого терпеть! Ты просто разрешаешь людям помыкать собой, обманывать себя, просто предлагаешь брать над собой верх, словно ты глупенький мальчик. Просто нелепость какая-то!

— Ради Бога, только не выходи из себя.

— Я понимаю, Энтони, но все же ты такой осел!

— Хорошо, возможно. Хотя мы все равно не можем позволить себе эту квартиру. Но это все равно дешевле, чем жить в «Ритце».

— Кстати, именно ты настоял, чтоб мы остановились здесь.

— Да, потому что знал, как унижала бы тебя жизнь в дешевом отеле.

— Конечно унижала бы.

— В любом случае, нам нужно искать квартиру.

— Сколько мы можем платить? — требовательно спросила она.

— Ну, мы можем заплатить и его цену, если будем продавать больше облигаций, но мы ведь договорились прошлой ночью, что пока я не найду себе занятие, мы...

— Ой, все это я прекрасно знаю. Я спрашиваю, сколько мы можем платить, исходя только из наших доходов?

— Считается, что на квартиру не следует тратить больше четверти.

— И как велика эта четверть?

— Сто пятьдесят в месяц.

— Ты хочешь сказать, что у нас всего шестьсот долларов месячного дохода? — В ее голос закричала испуганная нотка.

— Естественно! — сердито отозвался он. — Ты что, думаешь, мы все время тратили больше двенадцати тысяч в год, не влезая в основной капитал?

— Я знала, что мы продавали облигации, но... неужели мы тратили столько денег? Как нам это удавалось? — Голос у нее был уже откровенно испуганный.

— Ну, я могу конечно заглянуть в счетные книги, которые мы так аккуратно вели, — язвительно заметил он, потом добавил. — Плата за две квартиры почти все время, одежда, путешествия... каждая из этих весен в Калифорнии обходилась нам примерно в четыре тысячи. Этот чертов автомобиль был от начала до конца сплошной тратой денег. Потом вечеринки, развлечения... да какая разница — то или другое.

Оба они были взволнованы и не на шутку опечалены. Теперь, в пересказе для Глории, ситуация выглядела еще хуже, чем когда он впервые открыл ее для себя.

— Мы должны где-то достать денег, — вдруг сказала она.

— Я понимаю.

— И ты должен сделать еще одну попытку повидаться с дедом.

— Хорошо.

— Когда?

— Как только мы устроимся.

Это в конце концов случилось неделей позже. Они сняли за сто пятьдесят долларов в месяц небольшую квартиру на Пятьдесят седьмой улице. Располагалась она в полупустом белокаменном многоквартирном доме и состояла из спальни, гостиной, кухоньки и ванной, и хотя комнаты оказались слишком малы, чтоб надлежащим образом расставить даже лучшую из мебели Энтони, они были чистые, новые, в светлом и гигиеничном стиле, не лишённые даже привлекательности. Баундс отбыл за границу служить в британской армии, а на его месте появилась худая ширококостная ирландка, которую они, скорее, терпели, нежели наслаждались ее услугами, и которую Глория ненавидела за то, что, сервируя завтрак, она неизменно вещала о триумфах «Шин Фэйн». Но они поклялись не нанимать больше японцев, а слуги-англичане были в дефиците. Как и Баундс, она готовила только завтрак. В остальном приходилось довольствоваться отелями и ресторанами.

Окончательно подвигло Энтони сломя голову рвануться в Тэрритаун сообщение в нескольких газетах о том, что Адам Пэтч, мультимиллионер, филантроп, почтенный попечитель духовного подъема нации серьезно болен, и выздоровления не ожидается.

Котёнок

Нет, видеть его Энтони не может. Доктора не разрешают ему ни с кем разговаривать, сообщил мистер Шаттлуорт и милостиво предложил принять любое послание, какое только Энтони заблагорассудится верить его попечению и передать оно Адаму Пэтчу, как только позволит его здоровье. Но всей этой риторикой он лишь подтвердил мрачное предположение Энтони, что блудный внук был фигурой в особенности нежелательной у постели больного. В этом месте беседы Энтони, имея в виду решительные наставления Глории, сделал движение, как бы собираясь прошмыгнуть мимо секретаря, но Шаттлуорт с улыбкой

расправил свои мускулистые плечи, и Энтони понял, насколько тщетной была бы такая попытка.

До крайности обескураженный, он вернулся в Нью-Йорк, где муж и жена провели беспокойную неделю. Однажды вечером случился маленький инцидент, показавший до какой степени были натянуты их нервы.

Когда они возвращались после обеда домой. Энтони заметил на перекрестке бродячую кошку, крадущуюся вдоль изгороди.

— Когда я вижу кошку, мне всегда хочется ее пнуть, — от нечего делать сообщил он.

— А мне они нравятся.

— И однажды я поддался этому желанию.

— Когда?

— А, давно... Мы еще не были знакомы. Однажды ночью вышел на улицу в антракте. Ночь холодная была, как сейчас, а я слегка на взводе — это вообще был один из первых случаев, когда я напился, — добавил он. — Бедная нищенка искала место, где бы поспать, я думаю, а у меня настроение было дурацкое, вот и пришло в голову пнуть ее...

— О, бедная кошечка! — воскликнула Глория, искренне тронутая.

Вдохновленный собственным рассказом, Энтони принялся развивать тему.

— Да, я поступил некрасиво, — признал он. — Бедная зверюшка обернулась и жалобно смотрела на меня, словно надеясь, что я возьму ее на руки и приласкаю... Это был почти котенок, он ничего не успел понять, когда огромный башмак, явившись невесть откуда, опустился на его тщедушную спину...

— Боже мой! — крик Глории был полон неподдельной муки.

— А ночь была такая холодная, — продолжал он злорадно, нагнетая мрачность в голосе. — Я думаю, он ждал хоть какого-то участия, но получил в ответ только страдания...

Внезапно он умолк — Глория всхлипывала. Они дошли до дома и когда поднялись в квартиру, она бросилась на диван и принялась рыдать так горько, словно была уязвлена в самое сердце.

— Бедная кошечка, — жалобно повторяла она, — бедная, бедная... Ей было так холодно...

— Глория...

— Не подходи ко мне! Ради Бога, не подходи. Ты убил бедную беззащитную кошечку!

Растроганный Энтони опустился рядом с ней на колени.

— Господи, — говорил он. — Ну, Глория, милая. Ведь это неправда. Я все сочинил — от первого до последнего слова.

Но она уже не могла ему верить. В самих деталях, которые Энтони выбрал для своего рассказа, было нечто такое, из-за чего она плакала весь вечер, пока не заснула — о котенке, об Энтони, о себе, о всей боли, горечи и жестокости этого мира.

Кончина американского моралиста

Старый Адам умер в конце ноября, в полночь, шепча своими истончившимися губами благочестивые комплименты своему Господу. Он, кому так много льстили, сам, растворяясь в небытии, льстил Всемогущей Абстракции, которую, ему казалось, должно быть чем-то разозлил в самые беспутные дни своей юности. Было возвещено, что он подписал что-то вроде перемирия с Господом, условия которого не обнародовались, хотя полагали, что в них включены крупные суммы контрибуций. Все газеты напечатали его биографию, а две поместили короткие редакционные статьи, где говорилось о его безупречной репутации, и его роли в драме индустриальной революции, вместе с которой он возрос. Сдержанно упоминалось о покровительствуемых и финансируемых реформах. И сквозь все газетные колонки, словно поджарые привидения, шествовали ожившие образы Комстока и Катона Старшего.

Каждая газета отмечала, что усопшего пережил единственный внук, Энтони Комсток Пэтч из Нью-Йорка.

Похороны состоялись на семейной делянке кладбища в Тэрритауне. Энтони и Глория ехали в первом экипаже, слишком обеспокоенные, чтоб ощущать нелепость всего происходящего, и оба отчаянно пытались хотя бы на лицах слуг, бывших с ним до самого конца, разглядеть отблеск того богатства, которое их ожидало.

В неистовом волнении они подождали ради приличия неделю, потом, не получив никаких сообщений. Энтони позвонил адвокату деда. Мистера Бретта не было в конторе — его ожидали через час. Энтони оставил свой номер.

Тянулся последний день ноября, снаружи было холодно и хрустко, в окна уныло заглядывало тусклое солнце. Пока они, делая вид, что углубились в чтение, ждали телефонного звонка, атмосфера внутри и снаружи, казалось, пропитывалась острым предощущением непоправимой, чудовищной ошибки. После неизмеримой бездны времени телефон зазвонил и Энтони, сильно вздрогнув, поднял трубку.

— Алло, — голос его был напряжен и лишен всяких интонаций. — Да, я звонил. А кто это, будьте добры... Да... Ну, это касалось имущества. Естественно, я заинтересован, и я не получил ни слова о чтении завещания. Я подумал, может быть, у вас нет моего адреса... Что?... Да...

Глория опустила на колени. Интервал между репликами Энтони были словно турникеты, вертящиеся прямо у нее в сердце. Наконец она обнаружила, что без всякой мысли крутит большие бархатные пуговицы на диванной подушке.

— Это... это очень, очень странно... да, очень странно... это очень странно. Ни единого упоминания... ага, ни единого упоминания, ни... ага... и никакой причины?..

Голос его звучал слабо и как бы издали. Она издала тихий, со всхлипом, крик.

— Да, я так и сделаю... Хорошо, спасибо... Спасибо...

Щелкнул рычаг. Взгляд ее, устремленный на пол, уловил, как его ноги пересекают узор солнечных пятен на ковре. Она поднялась, посмотрела прямо в глаза ему серым взглядом, и его руки сомкнулись вокруг нее.

— Родная моя, — голос его пресекался. — Он все-таки сделал это, черт его побери!

На следующий день

— А кто наследники? — спросил мистер Хейт. — Понимаете, когда вы так мало можете рассказать мне о деле...

Мистер Хейт был высокий, сутуловатый, с мохнатыми бровями. Его рекомендовали Энтони как хваткого и проницательного адвоката.

— Я знаю только в общих чертах, — отвечал Энтони. — Некий человек по имени Шаттлуорт, который был у него чем-то вроде любимчика, получил право распоряжаться всем как администратор, или опекун, или что-то в этом роде — всем, кроме прямых благотворительных взносов, содержания, оставленного слугам, и того, что отписано двум родственникам в Айдахо.

— Какова степень их родства?

— Не знаю, в третьем или четвертом колене. Я никогда даже не слышал о них.

Мистер Хейт понимающе кивнул.

— И вы хотите опротестовать условия завещания?

— Полагаю, что так, — покорно согласился Энтони. — Я хочу добиться наибольшего из всего, что возможно... хочу, чтоб вы сказали мне, что можно сделать.

— Вы хотите, чтоб отложили утверждение завещания?

Энтони помотал головой.

— Мне трудно ответить. Я понятия не имею, что такое «утверждение» завещания. Я просто хочу получить свою долю.

— Тогда, может быть, вы мне расскажете обо всем подробнее? Знаете ли вы почему

завещатель лишил вас наследства?

— Ну... да, — начал Энтони. — Понимаете, он всегда был таким вдохновенным борцом за моральные реформы, ну и всякое такое...

— Я знаю, — перебил мистер Хейт без тени улыбки.

— ...и трудно предположить, что он был обо мне высокого мнения. Я не посвятил себя бизнесу, как он. Но я уверен, что до прошлого лета я все-таки был в числе наследников. У нас был дом за городом, в Мариэтте, и вот однажды вечером деду пришло в голову приехать навестить нас. А случилось так, что именно в то время у нас была довольно шумная вечеринка, на которую он и явился без всякого предупреждения. Ну, он окинул все единым взглядом, и с ним еще был этот человек, Шаттлуорт, развернулся и унесся обратно в Тэрритаун. После этой он ни разу не ответил на мои письма, не разрешил мне даже повидаться с ним.

— Он был сторонником сухого закона, не так ли?

— Он был все вместе взятое — настоящий религиозный маньяк.

— Как задолго до его смерти было составлено завещание, лишившее вас наследства?

— Недавно, я думаю, не раньше августа.

— И вы полагаете, что прямой причиной, лишившей вас наследства, явилось его негодование по поводу ваших недавних действий?

— Именно так.

Мистер Хейт задумался. На каких основаниях Энтони намерен опротестовать завещание?

— А разве здесь не прослеживается что-нибудь вроде злонамеренного влияния?

— Такое влияние может явиться основанием... но это в высшей степени трудно осуществить. Вам придется доказать суду, что такое давление было направлено именно на то, чтоб привести больного в такое состояние, когда он распорядился собственностью не по своей воле.

— Ну, предположим, что этот Шаттлуорт приволок его в Мариэтту специально, когда, по его расчетам, у нас могло быть какое-то торжество?

— Это никак не повлияет на ход дела. Существует четкое различие между советом и влиянием. Вам придется доказывать, что секретарь действовал с дурными намерениями. Я бы предложил несколько иные основания. Завещание опротестовывается автоматически в случае недееспособности, алкоголизма, — здесь Энтони улыбнулся, — или слабоумия, обусловленного старческим возрастом.

— Но, — возразил Энтони, — его личный врач, являясь одним из наследников, с готовностью засвидетельствует, что он не был слабоумным. Он и на самом деле не был. Суть в том, что он, возможно, поступил со своими деньгами именно так, как ему хотелось — это полностью согласуется с тем, что он делал в своей жизни.

— Видите ли, слабоумие, в определенном смысле, весьма напоминает злонамеренное влияние — и то, и другое подразумевает, что собственностью распорядились не так, как намереваюсь изначально. Правда, наиболее распространенное основание — принуждение, то есть физическое давление.

Энтони покачал головой.

— Боюсь, что на это не много шансов. Злонамеренное влияние, по-моему, лучше.

После дальнейшего обсуждения, которое из-за насыщенности его техническими терминами Энтони едва понимал, он нанял мистера Хейта в качестве советника. Адвокат предложил ему встретиться с Шаттлуортом, который вместе с Вильсоном, Хаймером и Харди являлся распорядителем по завещанию. Встречу назначили несколькими днями позже.

В газеты уже просочилось, что состояние оценивается примерно в сорок миллионов долларов. Самой большой суммой, назначенной отдельному лицу был один миллион долларов Эдварду Шаттлуорту, который, кроме того, получал тридцатитысячное жалование как администратор тридцатимиллионного трастового фонда, основанного с целью

осуществлять вспомоществования разным благотворительным организациям и реформаторским обществам практически по собственному усмотрению распорядителя фонда. Остальные девять миллионов были в определенной пропорции поделены между двумя родственниками из Айдахо и примерно двадцатью пятью другими бенефициариями: друзьями, секретарями, слугами и работниками, которые в то или иное время заслужили печать Адамова одобрения.

Недели через две мистер Хейт на гонорар по договору в пятнадцать тысяч долларов начал приготовления к опротестованию завещания.

Зима тревоги

Не провели они и двух месяцев в маленькой квартирке на Пятьдесят седьмой улице, как для каждого из них жизнь в ней приобрела тот самый трудноуловимый, но почти осязаемый физически оттенок, которым было пропитано все их существование в сером доме. Оба беспрестанно курили, поэтому все кругом пропиталось запахом табака; он был повсюду — в их одежде, одеялах, шторах, в засыпанных пеплом коврах на полу. Вдобавок к этому — тошнотворная аура застоялых винных паров, наводившая на неизбежные предположения о превратившейся в тлен красоте и омерзительные воспоминания о былых попойках. Вокруг набора стеклянных бокалов на буфете этот запах был особенно силен. А стол красного дерева в гостиной был окольцован желтоватыми кругами, отмечавшими места, куда ставились стаканы. Попоек было множество — и люди, естественно, ломали мебель, людей тошнило в ванной комнате Глории, люди проливали вино и, наконец, устраивали невероятный бардак в крохотной кухоньке.

Все это стало неотъемлемой частью их существования. Несмотря на многочисленные резолюции, принимаемые по понедельникам, с приближением уик-энда молчаливо устраивалось так, что и он будет отмечен каким-либо богопротивным мероприятием. Когда приближалась суббота, они без особого обсуждения знали, что позвонят тому или иному члену устоявшегося круга своих безалаберных друзей и предложат встретиться. И только после того, как друзья собирались, и Энтони выставлял на стол графины, он мог как бы вскользь заметить: «Ну, и я с вами, пожалуй, немного выпью...»

А дальше они выпадали из жизни на два дня — только на мрачном похмельном рассвете понимая, что опять были самыми шумными и обращали на себя больше всего внимания среди самой шумной и привлекающей к себе внимание компании в «Буль-Миш» или в клубе «Рамей», или в ином, гораздо меньше следящем за поведением своих клиентов, месте отдыха. Они привычно обнаруживали, что опять каким-то непостижимым образом промотали восемьдесят или девяносто долларов и привычно приписывали это обстоятельство всегдашней стесненности в средствах, которую испытывали сопровождавшие их «друзья».

Вполне обычным стало для самых искренних из их друзей даже на самой вечеринке начать увещевать их, предсказывая обоим мрачный конец, вследствие утраты Глорией «красоты», а Энтони «здоровья». Подробности памятнопрерванной попойки в Маризетте тоже, естественно, просочились наружу — «Мюриэл вовсе не собиралась рассказывать этого всем подряд, — убеждала Глория Энтони, — но она уверена, что каждый, кому она рассказывает, именно тот, единственный, которому она собиралась рассказать», — и окутанная весьма прозрачной вуалью, эта история заняла подобающее ей место в пантеоне Городских Сплетен. Когда же публике стали известны условия завещания Адама Пэтча и газеты начали публиковать материалы, касающиеся судебного процесса, затеянного Энтони, история обросла весьма унижительными для него домыслами. Слухи об их жизни стали доноситься отовсюду, слухи обычно не совсем лишены оснований, но явно перегруженные нелепыми и злонамеренными подробностями.

Внешне они не выказывали никаких признаков износа. Глория в двадцать шесть все еще выглядела на двадцать; свежий, юный цвет ее лица все еще был достойным

обрамлением для ее ясных глаз, все еще по-ребячьи прелестные волосы с годами медленно темнели — от блеска пшеницы до мерцания тусклого золота, а стройное тело неизменно напоминало о нимфах, резвящихся среди орфических роц. Когда она шла через вестибюль отеля или по проходу в театре, мужские взгляды, десятки мужских взглядов зачарованно следовали за ней. Мужчины просили представить себя ей, впадали в длительные состояния искреннего восхищения, непременно начинали за ней ухаживать — ибо до сих пор она была существом исключительной, невероятной красоты. А Энтони, со своей стороны, скорее даже выиграл, чем потерял во внешности; в выражении лица его появился некий неуловимый, но вполне отчетливый оттенок трагизма, романтически контрастировавший с опрятностью и безупречностью его внешнего вида.

В начале зимы, когда все разговоры вращались вокруг возможности вступления Америки в войну, когда Энтони делал искренние и отчаянные попытки писать, в Нью-Йорк явилась Мюриэл Кэйн и тот же час пришла повидаться с ними. Было похоже, что она, как и Глория, не собиралась меняться. Она знала все самые свежие словечки, танцевала самые свежие танцы и рассказывала о самых свежих песнях и спектаклях с таким же жаром, как и в первый свой сезон нью-йоркского гуляки. Ее застенчивость была вечно новой и вечно бесплодной; одевалась она по самой последней моде, а черные волосы были теперь коротко острижены, как у Глории.

— Я приехала на зимний бал в Нью-Хэйвене, — объявила она, словно открывая невероятный секрет.

И хотя была старше любого студента в колледже, она всегда ухитрялась заполучить для себя то или иное приглашение, грезя, что на следующем балу обязательно случится та интрижка, которая должна завершиться на алтаре любви.

— А где ты была? — поинтересовался Энтони, не упуская случая доставить себе удовольствие.

— Проводила время в Хот-Спрингс. Этой осенью там было просто шикарно — и столько мужчин!

— Так ты влюблена, Мюриэл?

— А что ты называешь «любовью»? — Это был риторический вопрос года. — Кстати, хочу вам кое-что сказать, — начала она, внезапно меняя тему. — Я понимаю, что это не мое дело, но, думаю, настало время вам уgomониться.

— Да мы уж давно уgomонились.

— Рассказывай, — лукаво усмехнулась она. — Куда ни придешь, всюду только и слышишь о ваших выходках. Позвольте сообщить, что имела немало неприятных минут, отстаивая вашу честь.

— Не стоило беспокоиться, — холодно отозвалась Глория.

— Ну как же, — запротестовала та, — ведь ты знаешь, что я — одна из твоих лучших подруг.

Глория молчала. Мюриэл продолжила:

— То, что женщина пьет — еще полбеды, но ведь Глория — такая красавица, многие обращают на нее внимание, узнают, и это, естественно, бросается в глаза...

— Ладно, рассказывай, что ты слышала, — потребовала Глория, склоняя свою гордыню перед любопытством.

— Ну, например, что эта гулянка в Мариэтте убила деда Энтони.

Муж и жена мгновенно напряглись от досады.

— Это уж совсем нахальство.

— Так говорят, — настаивала Мюриэл.

Энтони принялся ходить по комнате.

— Глупость какая-то, — наконец заявил он. — Те самые люди, которых мы приглашаем к себе, кричат об этом на всех углах и рассказывают как анекдот — и вот, в конце концов, это все возвращается к нам в форме таких страшилищ.

Глория стала поправлять пальцами выбившийся рыжеватый локон. Мюриэл облизнула

губы, коснувшись языком вуалетки и, решившись, сказала главное из того, что хотела:

— Вам нужно завести ребенка.

Глория утомленно посмотрела на нее.

— Мы не можем себе этого позволить.

— Даже в трущобах у всех есть дети, — торжествующе объявила Мюриэл.

Энтони и Глория обменялись улыбками. Они уже достигли стадии злобных ссор, после которых никогда не мирились до конца, которые тлели под пеплом, готовые разразиться в любой момент или угаснуть в силу полнейшего равнодушия сторон — но этот визит Мюриэл на какое-то время сблизил их. Когда о том дискомфорте, в состоянии которого они существовали, высказывалась третья сторона, это давало им дополнительный импульс предстать перед этим безжалостным миром сплотившись. Теперь очень редко случалось, чтоб этот импульс к единению исходил изнутри их союза.

Энтони обнаружил, что чувствует какое-то родство собственного существования с образом жизни ночного лифтера в их доме, бледного человека лет шестидесяти с жидкой порослью вместо бороды, весь вид которого говорил о том, сколь долго ему пришлось падать до своего нынешнего состояния. Может быть, благодаря этому свойству он и сохранял свое место; это делало его запоминающейся и жалкой фигуркой неудачника. Энтони без улыбки вспоминал бородатую шутку о том, что вся жизнь лифтера — сплошные взлеты и падения — и уж, во всяком случае, это была в буквальном смысле замкнутая жизнь, наполненная скукой. Каждый раз, входя в кабину лифта, он, затаив дыхание, ждал обычного стариковского: «Ну вот, сегодня, я думаю, нам и солнышко немного посветит». А Энтони гадал, в какой же это мере можно наслаждаться легким дождиком или солнечным светом, будучи запертым в эту тесную клетку, не видя ничего, кроме лишенного окон, насквозь прокуренного вестибюля.

Загадочная фигура, он сумел-таки сделать трагедию даже из того пошлого материала, который предоставила ему жизнь. Однажды в дом проникли трое громил, они связали лифтера и бросили на кучу угля в подвале, пока сами орудовали в кладовой. Когда швейцар нашел его на следующее утро, он уже окоченел от холода. Четыре дня спустя он умер от пневмонии.

Его место занял говорливый негр с Мартиники, с нелепым британским акцентом и явной тенденцией к грубости, который вызывал у Энтони отвращение, смешанное с ненавистью. Смерть старика оказала на Энтони примерно такое же действие, как в свое время история с котенком — на Глорию. Она напомнила ему о жестокости жизни вообще и, как следствие — о множасьихся горестях его собственной.

Он занялся писательством — и наконец-то серьезно. Отправился к Дикю и битый час выслушивал наставления о тонкостях процесса, на который до сих пор посматривал свысока и довольно презрительно. Деньги ему нужны были немедленно — каждый месяц приходилось продавать облигации, чтобы заплатить по счетам. Дик был откровенен и высказывался определенно:

— Если заняться статьями по литературным проблемам, которые идут в этих малотиражных журналах, то ими ты и на оплату квартиры не заработаешь. Конечно, если у человека есть дар юмориста, неплохая биография или какие-нибудь специальные знания, он может сделать из этого деньги. Но тебе остается только беллетристика. Ты говоришь, тебе нужны деньги прямо сейчас?

— Именно так.

— Ну, роман тебе раньше чем через полтора года никаких денег не принесет. Попробуй рассказы в каком-нибудь популярном жанре. Между прочим, если уж они окажутся не особо талантливы, пусть будут хоть веселы и занимательны — это самые пробивные их качества и самое верное средство заработать.

Энтони вспомнил о последних творениях самого Дика, которые недавно появились в популярном ежемесячнике. Они касались, главным образом, нелепых походов группы набитых опилками персонажей, которые, как уверяли читателя, были представителями нью-

йоркского света; вертелось в них все, как правило, вокруг чисто технических вопросов девственности героини, уснащаясь насмешливо-социологическими обертонами типа: «сумасшедшие из этих четырех сотен».

— Но ведь твои рассказы... — утратив над собой контроль, громко воскликнул Энтони.

— О, это совсем другое дело, — к изумлению друга заверил его Дик. — Понимаешь, у меня есть определенная репутация, поэтому от меня ждут проблемных вещей.

Энтони внутренне содрогнулся, поняв по тону замечания, сколь низко пал Ричард Кэрэмел. Неужели он на самом деле думает, что эти его последние поделки так же хороши, как и первый роман?

Вернувшись домой, Энтони сел за работу. Вскоре он понял, что не последним делом при этом было сохранять оптимизм. После полудюжины тщетных попыток он отправился в публичную библиотеку и целую неделю исследовал подшивки популярных журналов. Потом, уже во всеоружии, довел до конца свой первый рассказ «Диктофон судьбы». В основу его легло одно из тех немногих впечатлений, которые он вынес из шести недель пребывания на Уолл-стрит год назад. Все замышлялось как веселая сказочка о молодом служащем, который совершенно случайно напел па диктофон чудесную мелодию. Цилиндр был обнаружен братом босса, известным продюсером мюзиклов — и потом немедленно потерян. Дальше, в основном, описывались поиски пропавшего цилиндра и последующая женитьба благородного юноши (теперь процветающего композитора) на мисс Руни, добродетельной стенографистке, составленной примерно в равных пропорциях из черт Жанны д'Арк и Флоренс Найтингейл.

Он был уверен, что именно этого хотели все журналы. Он предложил в качестве главных героев привычных обитателей розово-голубого литературного мира, настолько обваляв их в сахарине сюжета, что они не оскорбили бы ни единого желудка даже в Мариэтте. Он напечатал рукопись через два интервала — последнее очень рекомендовалось в брошюре «Легкий путь к писательскому успеху» Р. Меггса Видлстайна, который уверял воспылавших амбициями водопроводчиков в глупости потения на собственной работе, в то время как после изучения данного, состоящего из шести уроков, курса, можно было зарабатывать, по крайней мере, тысячу долларов в месяц.

После прочтения рассказа скучающей Глории — заручившись ее древним как мир резюме, что «это лучше многого из того, что печатают в журналах», он насмешливо пометил свое творение псевдонимом Жиль де Сад, присовокупил подходящий конверт для ответа и отослал пакет.

Оценив гигантский труд, потребовавшийся для этого зачатия, он решил не начинать другого рассказа, пока не получит известий о первом. Дик сказал, что он может заработать и двести долларов. А если по какой-либо причине случится так, что рассказ не подойдет, ответ редактора, без сомнения, подскажет, какие изменения нужно внести.

— Я уверен, что это самое отвратительное литературное творение, когда-либо существовавшее, — повторял Энтони.

Редактор, как выяснилось, оказался вполне с ним согласен. Он вернул рукопись с запиской об отказе. Энтони отослал рассказ куда-то в другое место и принялся за следующий. Он назывался «Маленькая открытая дверь» и был написан за три дня. Он касался вопросов оккультизма: отдаляющуюся друг от друга пару свело вместе на эстрадном представлении выступление медиума.

Всего их было шесть. Шесть убогих, вызывающих жалость попыток «написать что-нибудь», сделанных человеком, который никогда прежде не пробовал по-настоящему что-нибудь написать. Ни в одном из них не проблескивало даже искры жизненности, а изящества и веселости во всех вместе взятых было меньше, чем в обычной газетной полосе. Циркулируя по редакциям, они собрали в общем тридцать одну отказную записку — надгробные плиты на бандеролях, которые он находил лежащими у себя под дверью, подобно мертвым телам.

В середине января умер отец Глории и им снова пришлось отправиться в Канзас-

Сити — печальное путешествие, ибо Глория почти все время была мрачно-сосредоточенна, но не на смерти отца, а на смерти матери. После выяснения финальных обстоятельств Рассела Гилберта они стали обладателями примерно трех тысяч долларов и огромного количества мебели. Вся она хранилась на складе, ибо последние дни свои он провел в небольшом отеле. Благодаря этой смерти Энтони сделал еще одно открытие, касающееся Глории. На обратном пути она, к его немалому изумлению, всерьез проявила свои билфистские наклонности.

— Но, Глория! — восклицал он, — не хочешь же ты сказать, что веришь во все это?

— А что такого, — с вызовом отвечала она, — почему бы и нет?

— Потому... потому что все это — фантастика. Ты же сама понимаешь, что, в любом смысле этого слова, ты — агностик. Ты насмехаешься над любой ортодоксальной формой христианства — и вдруг заявляешь, что веришь в какие-то глупые рассказы о переселении душ.

— А что, если на самом деле верю? Я ведь слушала тебя и Мори, и любого другого, чей интеллект вызывает у меня хоть какое-то уважение, и согласно всему этому — жизнь, в том виде как она предстает перед нами, в высшей степени бессмысленна. Но мне всегда казалось, что если б я узнала что-то, пусть бессознательно, еще здесь, это значило бы, что жизнь не бессмысленна.

— На самом деле ничего ты не узнаешь — только мучаешь себя. Но если ты не можешь без веры во все эти примиряющие с правдой жизни штуки, выбери из них такую, которая может взволновать воображение не только склонных к истерии дамочек. Человек вроде тебя не должен ничего принимать на веру без достаточных обоснований.

— Да плевать мне на правду. Я счастья хочу.

— Но если у тебя достаточно развитый ум, то содержание твоего счастья определяется именно этой правдой. А во всякую чушь могут верить только простаки.

— Мне все равно, — упрямо повторяла она, — кроме того, я ведь ничего не проповедую.

На этом их разговор и закончился, но потом, в мыслях, Энтони несколько раз возвращался к нему. Было не очень приятно обнаружить в ней это застарелое заблуждение, очевидно перешедшее от матери и еще раз воплотившееся в бессмертном обличье врожденной идеи.

После расточительной и безрассудной недели, проведенной в Хот-Спрингс, в марте они добрались до Нью-Йорка, и Энтони возобновил свои бесплодные попытки на поприще беллетристики. Чем яснее становилось им обоим, что путь к избавлению лежит не в области популярной литературы, тем стремительнее исчезали их вера друг в друга и мужество. Между ними непрерывно происходила принимающая самые различные формы и подчиненная каким-то запутанным правилам схватка. Все усилия снизить расходы ни к чему не приводили из-за их крайней инертности, и к марту они вновь начали использовать любой предлог, чтоб устроить «вечеринку». Глория с безрассудным упорством выдвигала предложение взять все деньги и кутить до тех пор, пока они не кончатся — что угодно казалось лучше, чем просто наблюдать, как они все равно растекаются по пустякам.

— Глория, тебе ведь не меньше моего нужны эти вечеринки.

— Не обо мне речь. Все, что я делаю, находится в полном соответствии с моими идеалами: хоть в эти годы, пока я молода, повеселиться как следует, не теряя ни одной минуты.

— А что потом?

— Да наплевать мне на то, что потом.

— Это сейчас тебе так кажется.

— Может быть, но тогда уж с этим все равно ничего нельзя будет поделать. Буду утешаться тем, что хоть повеселилась вволю.

— Да брось, ничего и тогда не изменится. В конце концов, мы действительно неплохо проводили время, вдоволь похулиганили, а сейчас просто расплачиваемся за это.

Деньги, тем не менее, продолжали таять. Как-то сам собой установился бесконечный, почти неизменный цикл — два дня веселья, два дня мрачного похмелья. Крутые подъемы, когда они случались, выражались для Энтони во всплесках трудовой активности, в то время как Глория, нервная и угрюмая, просто валялась в постели или сопровождала это же отрешенным покусыванием пальцев. После дня или двух такого времяпрепровождения они обычно кого-нибудь приглашали — и какое значение имело все остальное! Эта ночь, полная сияния, конец всем тревогам, и ощущение, что если жизнь и не имеет смысла, все равно она полна очарования! Вино придавало их скольжению вниз видимость блеска и некой бесшабашности.

Процесс тем временем продвигался медленно, с бесконечными допросами свидетелей и выстраиванием показаний в надлежащем порядке. Наконец предварительные процедуры, относящиеся к разделу имущества, были закончены. Мистер Хейт не видел никаких причин, почему дело не могло бы поступить в суд уже к лету.

В конце марта в Нью-Йорке появился Бликман; он около года был в Англии по делам «Филмз пар Экселенс». Процесс его всесторонней респектабилизации шел полным ходом — одевался он все лучше, интонации его голоса становились все приятнее, а в манерах теперь была заметна определенная уверенность, что все прекрасное в этом мире принадлежит ему по естественному и неотъемлемому праву. Он посетил их жилище, посидел около часа, в течение которого говорил главным образом о войне, и удалился, пообещав, что зайдет еще. В его следующий визит Энтони не было дома, и вернувшегося под вечер мужа встретила взволнованная и чем-то явно увлеченная Глория.

— Энтони, — начала она, — ты все еще будешь возражать, если я попробую сниматься?

Сердце его словно окаменело при этих словах. Как только она, пусть лишь в его воображении, пыталась отдалиться, ее присутствие делалось не просто драгоценным, а отчаянно необходимым для него.

— Но, Глория!..

— Бликман сказал, что мог бы взять меня — но только если я вообще собираюсь чего-то добиться, начинать нужно прямо сейчас. Им нужны только молодые женщины. Подумай о деньгах, Энтони!

— Для тебя — конечно. А как насчет меня?

— Неужели ты не понимаешь, что все, чем владею я, принадлежит и тебе?

— Да что это за карьера такая! — взорвался наконец высокоморальный, бесконечно осмотрительный Энтони, — да и публика там такая, что хуже поискать. Кроме того, мне чертовски надоело, что этот славный малый Бликман является сюда и сует во все нос. Ненавижу эти театральные штучки.

— Это вовсе не театр! Это совсем другое.

— А мне что прикажешь делать? Гоняться за тобой по всей стране? Жить на твои деньги?

— Тогда заработай сам.

Дискуссия переросла в одну из самых диких ссор, которые у них когда-либо случались. Вслед за последовавшим примирением и неизбежным периодом морального транса, она поняла, что он лишил ее планы заняться кино всякого очарования, отнял у них жизнь. Никто из них даже не упомянул, что Бликман действует небескорыстно, но оба знали, что именно этого и боялся Энтони.

В апреле была объявлена война Германии. Вильсон и его кабинет — своим единообразием чем-то странно напоминавший двенадцать апостолов — спустили долго содержащихся на голодном пайке псов войны, и пресса начала истерично вопить об опасности зловещей морали, зловещей философии, зловещей музыки, созданных тевтонским духом. Те, кто воображал себя особенно терпимыми, все-таки тонко замечали, что до истерии их довело исключительно германское правительство; остальные довели себя до состояния тошнотворной непристойности сами. Любая песня, содержащая в себе слово

«мать» или слово «кайзер», была обречена на устрашающий успех. И наконец-то у всех было о чем поговорить — и почти все на полную катушку наслаждались этим, словно их отобрали на роли в мрачной фантазмагорической пьесе.

Энтони, Мори и Дик подали прошения о зачислении на офицерские курсы и теперь двое последних ходили всюду, чувствуя себя непривычно восторженными и безупречными; они совсем как первокурсники болтали между собой о том, что лишь война может являться единственным извинением и оправданием жизни аристократа, воображали себе невероятное офицерское сословие, которое будет состоять главным образом из наиболее достойных выпускников трех или четырех университетов восточного побережья. Глории казалось, что в этом бескрайнем потоке кровавого света, затопившего всю страну, даже у Энтони прибавилось обаяния.

Солдат Десятого пехотного полка, прибывших в Нью-Йорк из Панамы, к их немалому недоумению, сопровождала из одного кабака в другой толпа патриотичных граждан. Впервые за многие годы на улицах стали замечать вестпойнтовцев, и всем казалось, что все великолепно, но даже не вполнину так великолепно, как очень скоро будет, что все вокруг прекрасные ребята, и каждая нация — великая нация (исключая, разумеется, немцев), и в любом слое общества все парии и козлы отпущения должны были только явиться в военной форме, чтобы быть прощены, поощрены и облиты слезами родственников, экс-друзей и просто незнакомцев.

К несчастью, некий маленький и дотошный доктор решил, что у Энтони не все в порядке с кровавым давлением. Он не мог допустить его на офицерские курсы, не погрешив против собственной совести.

Разбитая лира

Их третья годовщина прошла не то что не отмеченной, а даже незамеченной. В свое время настала оттепель, потом еще чуть потеплело, и все, растаяв, пролилось в поначалу сдержанное, потом забурлившее лето. В июле завещание было предложено на официальное утверждение и после опротестования направлено на доследование и подготовку для суда. Процесс был отложен до сентября — возникли трудности с подбором беспристрастного состава присяжных, потому что в обсуждение вовлекались моральные соображения. К разочарованию Энтони, приговор оказался в пользу завещателя, после чего мистер Хейт возбудил апелляционный иск, направленный уже против Эдварда Шаттлуорта.

По мере того, как потихоньку убывало лето, Энтони и Глория все обсуждали, что будут делать, когда получат деньги, говорили о тех местах, куда собираются поехать после войны, когда они будут «опять во всем согласны друг с другом», ибо они оба все еще надеялись, что придет время, когда их любовь, возродившаяся словно феникс из собственного пепла, увлечет их вновь в свои таинственные непостижимые дебри.

В начале осени его призвали на службу, и проверявший врач не имел ничего против его низкого кровяного давления. И однажды ночью, без всякой цели, просто от жалости к себе, Энтони сказал Глории, что больше всего на свете он хотел бы быть убитым. Но, как всегда, и жалели они друг друга не так и невпопад...

Они решили, что, по крайней мере пока, ей незачем ехать с ним на Юг, где в тренировочном лагере располагалась его часть. Ей лучше было остаться в Нью-Йорке и, в целях экономии, «пользоваться квартирой», а еще следить за продвижением дела, болтавшегося теперь где-то в отделе апелляций, который, как сказал им мистер Хейт, обычно просрочивал все сроки.

Едва ли не последней их беседой была совершенно бессмысленная ссора по поводу дележа дохода — безусловно, каждый хотел отдать все другому. И было очень логично для неразберихи и сумятицы их существования, что в тот октябрьский вечер, когда Энтони приказано было явиться на Центральный вокзал для отправки в часть, Глория сумела добраться туда, только чтобы поймать его прощальный взгляд поверх колыхавшегося моря

непроходимой толпы. В тусклом свете огней дебаркадера их взгляды устремились навстречу друг другу сквозь этот хаос истерики, наполненный желтыми всхлипами и запахом нищенского женского несчастья. Наверняка они подумали о том, что сделали друг другу, и каждый обвинил себя, что именно он начертил тот мрачный лабиринт, извилами которого брели они так слепо и трагично. А под конец они были разделены слишком большим расстоянием, чтобы видеть слезы друг друга.

Книга 3

Глава 1 Вопрос цивилизации

Повинуясь истошной команде, изошедшей из какого-то невидимого источника, Энтони ощупью направился в вагон. Он думал о том, что впервые больше чем за три года должен расстаться с Глорией дольше, чем на одну ночь. Непоправимость этого взывала к нему всей своей отчаянной тоской. Ведь он покидал свою чистую и прекрасную девочку.

По его мнению, они все же пришли к наилучшему решению финансовых проблем: ей оставалось триста семьдесят пять долларов в месяц — не такая уж большая сумма, учитывая, что больше половины ее будет уходить в уплату за квартиру — а он, в дополнение к своему жалованью, брал себе пятьдесят. В большем он не видел нужды: пища, одежда и место проживания будут оплачены, а общественных обязанностей у рядового нет.

Вагон был переполнен, даже воздух в нем, казалось, загустел от дыхания. Это был один из вагонов типа известного как «туристический», что-то вроде пародии на пульман, с голым полом и сомнительного вида сиденьями, которые явно не мешало помыть. Тем не менее Энтони был рад и этому. Он смутно подозревал, что путешествие на Юг могло произойти и в товарном вагоне, в одном конце которого будут помещены восемь лошадей, а в другом — сорок человек. Он так часто слышал рассказы об этих «48 человеколошадях», что они перепутались у него в голове и преследовали, как зловещий призрак.

Двигаясь нетвердым шагом вдоль прохода, со свисающим с плеча, словно огромная голубая колбаса, вещмешком, он не видел ни одного незанятого места, однако некоторое время спустя взгляд его приметил свободное место, оккупированное, правда, в данный момент ногами маленького смуглого сицилийца, который, надвинув на глаза шляпу, сгорбился в углу и был готов к отпору. Когда Энтони остановился рядом с ним, он смерил его хмурым взглядом, явно намереваясь показаться грозным; должно быть, он усвоил это как защитную реакцию против всей этой гигантской уравниловки. В ответ на резкое обращение Энтони «Место занято?» он очень медленно, словно это было что-то очень хрупкое, приподнял свои ноги и заботливо поместил их на пол. И все это, не сводя глаз с Энтони, который тем временем сел и расстегнул френч, выданный ему днем раньше в Кэмп-Аптоне. Китель жал под мышками.

Не успел Энтони рассмотреть других обитателей соседних скамеек, как в головной конец вагона влетел молодой младший лейтенант, и со скоростью ветра понесся по проходу, резко выкрикивая устрашающим голосом:

— Никакого курения в вагоне! Не курить! Эй, парни, не курите в вагоне!

Не успело его вынести в тамбур, как на противоположном конце вагона уже поднялось, в знак несогласия, с десятков маленьких облачков.

— Ой, напугал!

— Ну, Боже ты мой!

— Как это — не курить!

— Эй, друг, вернись, давай все обсудим!

— Что за приколы такие?

Две или три сигареты вылетели через открытые окна. Другие остались в вагоне, хоть

и были припрятаны. Из разных мест с оттенком бравады, насмешки, смиренного юмора послышалось несколько реплик, которые быстро растаяли в не принявшей вызова нарастающей тишине.

Четвертый обитатель секции, в которой находился Энтони, внезапно высказался:

— Прощай свобода, — угрюмо выдавил он из себя. — Прощай все, будем теперь как псы у этих офицеров.

Энтони посмотрел на него. Это был высокий ирландец, на лице которого застыло выражение безразличия, смешанного с отчаянной надменностью. Его взгляд упал на Энтони, словно он ждал какого-то ответа, потом переместился на других. Получив в ответ только вызывающий взгляд итальянца, он со стоном вздохнул и, шумно сплюнув на пол, с величавым видом погрузился в молчание.

Через несколько минут дверь вновь распахнулась, и уже привычно официальный зефир внес в вагон младшего лейтенанта, выпевавшего на этот раз иную новость.

— Все в порядке, ребята, курите, если хотите! Я ошибся, парни! Все в порядке! Давайте, закуривайте, я ошибся!

На этот раз Энтони удалось его рассмотреть. Молодой, худенький и уже увядший, он чем-то напоминал собственные усы: тем что был похож на охапку лоснящейся соломы. У него почти не было подбородка и это разительно противоречило такой великолепной и неубедительной суровости, которую Энтони должен был научиться в течение грядущего года связывать вообще с лицами молодых офицеров.

Все немедленно закурили — даже те, кто раньше не курил. Сигарета Энтони тоже внесла свою лепту в сизую дымку окислов, которая, казалось, прокатывалась по вагону опалесцирующим приливом и отливом, подчиняясь движению поезда. Разговоры, которые прекратились в промежутке между двумя столь знаменательными визитами юного офицера, вновь нехотя ожили; кое-кто через проход от Энтони начал проводить довольно неуклюжие эксперименты, выясняя способность плетеных кресел обеспечить хотя бы минимальный комфорт. Вяло составились две карточные партии, вскоре привлечшие нескольких наблюдателей, которые уселись на поручнях сидений. А еще через несколько минут в сознание Энтони вторгся неприятный повторяющийся звук — маленький заносчивый сицилиец во всеулышанье заснул. Было утомительно наблюдать эту наделенную движением протоплазму, разумность которой можно было признать лишь из вежливости, запертую непостижимыми законами общественного бытия в этот вагон и влекомую теперь куда-то для делания смутного чего-то без цели, без смысла, без последствий. Энтони вздохнул, развернул газету, которую не помнил как купил и начал читать в тусклом желтом свете.

Десять часов душно уперлись в одиннадцать; время сбивалось в ком, путалось, в чем-то вязло и замедлялось. Совершенно неожиданно поезд остановился один на один с непроглядной сельской темнотой, время от времени отваживаясь на короткие обманные движения взад или вперед и высвистывая хриплые пеаны прямо в бездонную октябрьскую ночь. Когда он прочитал газету из конца в конец, включая редакционные статьи, карикатуры и военные стихи, взгляд его упал на полуколонку, начинавшуюся словами: Шекспирвилл, Канзас. Оказалось, что в шекспирвиллской торговой палате недавно состоялись энергичные дебаты по поводу того, как лучше называть американских солдат: «Сэмми» или «Сражающиеся христиане». Мысль позабавила его. Он отложил газету, зевнул и пустил свой ум блуждать по касательной. Его заинтересовало, почему опоздала Глория. Теперь это, казалось, было уже так давно — он ощутил болезненный укол одиночества. Потом постарался представить, под каким углом она должна рассматривать свое новое положение, какое место достанется ему в ее мыслях и планах. Такие думы только усугубили его плохое настроение — он открыл газету и снова принялся читать.

Члены торговой палаты Шекспирвилла решили остановиться на «Солдатах свободы».

Два дня и две ночи они тряслись на юг, делая загадочные, необъяснимые остановки в местах, которые были, судя по всему, безжизненной пустыней, а потом, с напыщенным видом сильно спешащих куда-то, проскакивали насквозь большие города. Непредсказуемые

прихоти передвижений этого поезда явились для Энтони предвестьем прихотливой непредсказуемости всего уклада армейской жизни.

В безводных пустошах их снабжали из багажного вагона бобами и беконом, которые он поначалу был не в состоянии есть — он скудно пообедал остатками молочного шоколада, который им выдавали в какой-то деревенской войсковой лавке. Но на второй день продукция багажного вагона начала представляться ему на удивление аппетитной. На третий день по составу прокатился слух, что не далее как через час они прибудут в пункт своего назначения, Кэмп-Хукер.

В вагоне становилось нестерпимо жарко и все сидели без френчей. В окна било солнце, усталое древнее солнце, желтое как пергамент; от движения поезда оно казалось расплывшимся, потерявшим форму. Оно старалось войти в вагон торжествующими квадратами, а получалась только суматоха рваных пятен — и вот уж их игра была до отвращения неизменна, настолько, что Энтони стало беспокоить, почему не он — центр вращения всех этих взбесившихся лесопилок, деревьев и телеграфных столбов, которые проворно кружились за окном. А снаружи солнце исполняло свое тяжеловесное тремоло над оливковыми дорогами и коричневато-желтыми хлопковыми полями, за которыми бежала неровная линия леса, прерываемая всплесками серого камня. Близлежащий пейзаж изредка оживлялся точками жалких латаных-перелатаных хибарок, среди которых время от времени мог промелькнуть апатичный представитель сельского населения Южной Каролины или бредущий куда-нибудь чернокожий с угрюмым и недоуменным взглядом.

Потом леса раздвинулись и они выкатили на широкую равнину, похожую на поджаристую корочку гигантского пирога, как сахаром усыпанную бесчисленными палатками, организованными в некие геометрические фигуры. Поезд как-то не очень уверенно остановился, солнце, столбы и деревья застыли на месте, вселенная, медленно покачиваясь, вернулась в состояние обыденности, в самом центре которой находился Энтони Пэтч. Когда все люди, расслабленные и потные, толпой вывалили из вагона, он ощутил тот незабываемый аромат, который пропитывает насквозь все постоянные армейские лагеря — благоухание отбросов.

Кэмп-Хукер являл собой удивительный и наглядный пример новообразования; глядя на него, хотелось сказать: «Основан как горняцкий поселок в 1870 году... Две недели от роду». Состоял он из деревянных хижин и серовато-белых палаток, связанных сетью дорог с утоптанymi учебными плацами, обсаженными по краям деревьями. То тут, то там попадались зеленые дома «Христианского союза молодежи», малообещающие оазисы, пропитанные спертым запахом прелой фланели и закрытых телефонных будок — напротив каждого из них обычно располагалась солдатская лавка, бурлящая жизнью, вяло руководимой офицером, который при помощи мотоцикла с коляской умудрялся превратить свой наряд в приятное и непринужденное времяпрепровождение.

Туда и обратно по пыльным дорогам, тоже на мотоциклах с колясками, спешили солдаты интендантской службы. Туда-сюда разъезжали в своих правительственных автомобилях генералы, делая время от времени остановки, чтоб поднять боевой дух недостаточного бдительного наряда, сурово нахмуриться, взирая на капитана, марширующего во главе роты, в общем, сделать достойный себя ход в той грандиозной игре показухи, которая величественно велась на всей этой территории от края до края.

Первая неделя после прибытия призыва Энтони была заполнена чередой бесконечных прививок и медицинских осмотров, а также начальной боевой подготовкой. Эти дни отчаянно вымотали его. Разбитной, беззаботный сержант-снабженец выдал ему ботинки не того размера и вскоре ноги у него так распухли, что последние часы занятий становились настоящей пыткой. Первый раз в жизни он мог в перерыве между обедом и сигналом на вечернюю подготовку броситься на койку и, словно погружаясь с каждой секундой в ее бездонные глубины, моментально заснуть; при этом шум и смех вокруг него тускнели, таяли, превращаясь в дремотный летний гул. По утрам он просыпался словно скованный, с болью во всем теле, невесомый и пустой как привидение, и спешил куда-то, чтоб

встретиться с такими же призрачными фигурами, которые уже роились в рассветной мгле среди палаток, пока охрипшая сигнальная труба верещала и брызгала слюной прямо в серые светлеющие небеса.

Его определили в неукомплектованную пехотную роту примерно из ста человек. После завтрака, неизменно состоявшего из жирного бекона, холодного тоста и каши, вся сотня дружно устремлялась к отхожим местам, которые, как бы хорошо они не содержались, всегда выглядели невыносимо, напоминая уборные в дешевых гостиницах. Строем на поле, потом врассыпную — хромающий человек слева от Энтони невольно передразнивает его вялые усилия не сбиваться с шага, а взводные сержанты либо свирепо показушничают, чтобы произвести впечатление на офицеров и рекрутов, либо преспокойно прячутся неподалеку от беговой дорожки, избегая тем самым упражнений и не попадаясь на глаза начальству.

Как только добежали до площадок, немедленно начиналась физзарядка — на время упражнений они снимали с себя рубашки. Это была единственная часть дня, которая доставляла Энтони удовольствие. Лейтенант Кретчинг, руководивший этим бурлеском, был крепкий и мускулистый и Энтони добросовестно повторял его движения с чувством, что делает что-то, по крайней мере, полезное для себя. Другие офицеры и сержанты бродили среди рядовых словно задиристые школьники, собираясь то там, то здесь возле какого-нибудь несчастного с плохой координацией движений, советуя и подавая команды, которые лишь сбивали беднягу с толку. Когда они обнаруживали особенно безнадёжного, недокормленного индивида, они могли развлекаться вокруг него битых полчаса, делая язвительные замечания и пересмеиваясь между собой.

Особенно надоедливым был один невысокого роста офицер по фамилии Хопкинс, служивший в регулярной армии сержантом. Войну он воспринимал как дар благих богов, дававший ему возможность отыгаться на подчиненных и постоянным предметом его разглагольствований было нежелание этих салаг понять и оценить всю тяжесть и ответственность «службы». Он был убежден, что себя до своего нынешнего величия поднял сам, сочетая дальновидность и неукротимое рвение. Теперь он опробовал на подчиненных все виды издевательств всех офицеров, под началом которых когда-то служил сам. Мрачность была вморожена в его чело — прежде чем дать рядовому увольнительную записку, он должен был всесторонне оценить возможное влияние его отсутствия на боеспособность роты, армии, на благосостояние воинского ремесла во всем мире.

Светловолосый, флегматичный и тупой лейтенант Кретчинг в своей занудной манере познакомил Энтони с особенностями команд «смирно», «направо-налево равняйся» и «вольно». Главным его недостатком была забывчивость. Стоя перед строем и объясняя какое-либо новое движение, он мог пять минут держать роту по команде «смирно» — в результате только люди, находившиеся в центре, знали о чем шла речь; у тех, кто был на флангах, все силы уходило на неподвижное глядение прямо перед собой.

Занятия продолжались до полудня. Состояли они в последовательном затверживании каких-то не имеющих ничего общего с жизнью сведений и хотя Энтони понимал, что в этом и состоит логика войны, все равно это раздражало. Точно так же как одно и то же кровяное давление, которое оказалось недостойно офицера, никак не влияло на выполнение обязанностей рядового. Иногда, выслушивая бесконечные инвективы, относящиеся к нудному и, по всей видимости, абсурдному предмету, известному как «воинский этикет», он начинал подозревать, что скрытая цель войны заключается в том, чтоб дать возможность офицерам регулярной армии — людям с кругозором и жизненными устремлениями младших школьников — проявить себя в какой-нибудь настоящей бойне. И вот Энтони непостижимым образом достался двадцать лет ждавшему этого Хопкинсу!

Из трех его соседей по палатке — плосколицего отказника по религиозным убеждениям из Теннесси, толстоватого, вечно испуганного поляка и того надменного кельта, который сидел рядом с ним в вагоне — первые двое проводили вечера за бесконечным

писанием писем домой, в то время как ирландец сидел у выхода из палатки, вновь и вновь насвистывая себе под нос полдюжины пронзительно-монотонных птичьих рулад. И вот, скорее с целью хоть на час избавиться от их общества, чем в надежде на развлечение, в конце недели, когда был снят карантин, Энтони отправился в город. Он вскочил в одно из переполненных маршрутных такси, которые в избытке каждый вечер сновали по лагерю и уже через полчаса его высадили на душно-дремотной главной улице перед отелем «Стоунуолл».

В густеющих сумерках город казался неожиданно привлекательным. Тротуары были заполнены ярко одетыми, обильно накрашенными девушками, переговаривающимися между собой ленивыми низкими голосами, десятками такси, водители которых кидались к проходившим мимо офицерам со словами: «Куда прикажете, лейтенант?» и, между всем этим, потоком оборванных, шаркающих ногами раболепных негров. Неспешно бредя в теплой полумгле, Энтони впервые за много лет ощутил тягучее, похотливое дыхание Юга, разлитое в самой пряной мягкости воздуха, в обволакивающем бездумье, когда перестаешь замечать время.

Он миновал почти квартал, когда был внезапно остановлен прозвучавшим у самого уха грубым окриком:

— А вас не учили отдавать честь офицерам?

Он непонимающе уставился на человека, который обращался к нему; это был дородный черноволосый капитан, гневно мерявший его выпученными карими глазами.

— Смир-рна! — прозвучало подобно грому. Несколько проходивших рядом людей остановились и стали смотреть. Большеглазая девушка в сиреновом платье хихикнула, обращаясь к своей подружке.

Энтони стал по стойке «смирно».

— Номер части и рота?

Энтони ответил.

— А теперь запомните, что когда встречаете на улице офицера, нужно вытягиваться в струнку и приветствовать его!

— Конечно!

— Нужно говорить: «Так точно, сэр!»

— Так точно, сэр.

Дородный капитан что-то проворчал, резко повернулся и, печатая шаг, продолжил свой путь. Спустя секунду пошел и Энтони, только город не казался ему больше праздным и экзотическим; все волшебство единым махом выветрилось из сумерек. Взглядом, обращенным внутрь, он увидел всю недостойность и униженность своего положения. Он ненавидел этого офицера, всех офицеров — жизнь была невыносима.

Пройдя еще с половину квартала, он вдруг понял, что та девушка в сиреновом платье, которая хихикнула, наблюдая его конфуз, теперь шла с подружкой шагах в десяти перед ним. Она несколько раз оборачивалась и взглядывала на него с задорным смехом в больших глазах, которые, казалось, были того же цвета, что и платье.

На углу она и ее компаньонка заметно замедлили шаг, поставив его перед выбором — присоединиться к ним, или, не замечая, пройти мимо. Он обогнал их, но передумал и тоже замедлил шаги. Через минуту парочка вновь поравнялась с ним, теперь просто изнемогая от смеха — но не того откровенно призывного, какого можно было ожидать от участниц этого столь знакомого спектакля на Севере, а мягкого, серебристо-переливчатого, словно избыток неведомого тонкого веселья, которое вызвал он, нечаянно сказав что-то смешное.

— Здравствуйте, — заговорил Энтони.

Глаза у нее казались бархатными, как сама темнота. Были они на самом деле фиолетовыми, или это темная их голубизна мешалась с серой гаммой сумерек?

— Приятный вечер, — неопределенно начал он.

— Да уж, — откликнулась вторая девушка.

— Для вас он, похоже, был не слишком удачным, — вздохнула та, что в сиреновом.

Ее голос казался настолько же частью этой ночи, как и полусонный ветерок, шевеливший широкие поля ее шляпы.

— Ему просто необходимо было покрасоваться, — сказал Энтони с презрительным смешком.

— Это точно, — согласилась она.

Они свернули за угол и стали вяло подниматься по боковой улочке, словно их тянули на буксире. В этом городе казалось вполне естественным огибать вот так углы, идти, никуда в особенности не направляясь, ни о чем не думая... Боковая улица была погружена во мрак; внезапный провал в область колючих изгородей из шиповника и маленьких тихих домиков в глубине дворов.

— Куда вы направляетесь? — осведомился он вежливо.

— Да просто гуляем, — ответ был как бы извинением, вопросом и одновременно пояснением.

— А можно мне пройтись с вами?

— Да сколько угодно.

В том, что она говорила совсем не так, как на Севере, было свое преимущество. Он не мог определить по её выговору, к какому классу она принадлежит — в Нью-Йорке девушка из нижних слоев общества обязательно покажется грубой, непереносимой, на нее можно смотреть разве что сквозь розовые очки опьянения.

Темнота кралась за ними по пятам. Почти не разговаривая — Энтони было нечего сказать, кроме случайных, ни к чему не обязывающих вопросов, девушки молчали по провинциальной привычке экономить слова и мысли — они добрались до следующего угла, потом до еще одного. Посреди квартала под фонарным столбом остановились.

— Я живу здесь, рядом, — пояснила вторая девушка.

— А я через пару кварталов, — сказала девушка в сиреновом.

— Можно мне вас проводить?

— До угла, если уж так хотите.

Вторая девушка отступила на несколько шагов. Энтони приподнял фуражку.

— Вам полагается козырнуть, — сказала девушка в сиреновом со смехом. — Все солдаты отдают честь.

— Обязательно научусь, — вполне серьезно отозвался он.

Вторая девушка сказала: «Ну, ладно, — и, поколебавшись, добавила, — позвони мне завтра, Дот» и вышла из желтого круга под фонарем. Потом Энтони с девушкой в сиреновом молча миновали три квартала и подошли в небольшому, хрупкому на вид строению, которое и было её домом. Возле деревянной калитки она остановилась в нерешительности.

— Ну... спасибо.

— А вам действительно надо идти?

— Да, вообще-то.

— Мы не могли бы погулять еще немного?

Она посмотрела на него ничего не выражающим взглядом.

— Я вас даже не знаю.

Энтони рассмеялся.

— Так в чем же дело, еще не поздно.

— Лучше уж я домой пойду.

— Я просто подумал, что мы могли бы сходить в кино.

— Неплохо придумано.

— А потом я могу проводить вас домой. У меня как раз хватит времени. В часть мне нужно к одиннадцати.

Было так темно, что он едва мог разглядеть ее. Различал лишь едва заметно шевелимое ветерком платье и два прозрачных влажно поблескивающих глаза.

— Почему вы не хотите... Дот? Вам не нравится кино? Идемте.

Она покачала головой.

— Не стоит.

Энтони понимал, что не соглашается она просто, чтобы произвести впечатление и этим она ему нравилась. Он шагнул к ней и взял за руку.

— А если мы вернемся к десяти, пойдете? Только в кино.

— Ну ладно... так и быть...

Рука в руке они шли обратно к центру городка вдоль подернутой дымкой сумрачной улицы, где черный газетчик в традиционной каденции местных продавцов, которая своей музыкальностью была ничем не хуже песни, предлагал экстренный выпуск.

Дот

Отношения Энтони с Дороти Рэйкрофт были неизбежным результатом его растущего небрежения к самому себе. Он связался с ней не из желания обладать желаемым, не спасовал перед личностью более сильной, более властной, как это случилось четыре года назад, когда он встретил Глорию. Он просто скатился в эту интрижку по неспособности хоть как-то оценить свое поведение. Он не мог сказать «нет» ни мужчине, ни женщине; заимствователь, равно как и искусительница, находили его благодушным и уступчивым. На самом деле он вообще редко принимал решения, да когда и принимал, это были, скорее, полуистеричные намерения, созревавшие в панике, словно спросонья.

Слабость, которой он потакал в этом случае, была обусловлена желанием внести в свою жизнь какую-то остроту, обрести хоть какой-то внешний стимул. Он чувствовал, что впервые за четыре года может вновь хоть в чем-то выразить себя. Эта девушка манила его успокоением; часы, проводимые в ее компании каждый вечер, смягчали болезненные и утомительно бесполезные порывы его воображения. Он сделался настоящим трусом — совершеннейшим рабом сотен разрозненных, постоянно атакующих его мыслей, вызванных к жизни внезапным прекращением глубочайшей и постоянной зависимости от Глории, которая, в основном, и не давала его неполноценности вырваться наружу.

В тот первый вечер, когда они стояли у калитки, он поцеловал Дороти и предложил ей встретиться в следующую субботу. Потом он отправился в лагерь и, украдкой запалив лампу, написал длинное письмо Глории, пылкое, полное сентиментального тумана, памятных ароматов цветов, неподдельной и безмерной нежности — всего, о чем он вспомнил вновь всего лишь час назад в поцелуе, отданном и полученном в роскошной неге лунного сияния.

Когда настал субботний вечер, Дороти ожидала его у входа в кинотеатр «Бижу». Она была, как и в прошлую субботу, одета в свое сиреневое платье из тончайшей кисеи, но с тех пор явно побывавшее в стирке и накрахмаленное — таким уж свежим и неприкосновенным оно выглядело. Дневной свет подтвердил его впечатление, что Дот была по-своему, как-то незавершенно и ошибочно красива. Она была аккуратно сложена, черты лица у нее были мелкие, неправильные, но выразительные и словно подобранные друг к другу. Она была похожа на темный недолговечный маленький цветок — и все же Энтони казалось, что он замечает в ней какую-то затаенную духовную силу, черпаемую из пассивного восприятия окружающего. В этом он ошибся.

Дороти Рэйкрофт было девятнадцать. Ее отец держал небольшой и не особенно процветающий магазинчик и она закончила школу в худшей четверке класса за два дня до его смерти. В школе она пользовалась отнюдь не безупречной репутацией. Честно говоря, ее поведение на классном пикнике, с чего и начались все слухи, было всего лишь несдержанным, а невинность она сохраняла еще больше года после того. Парень был конторщиком в магазине на Джексон-стрит и на следующий день после случившегося неожиданно отбыл в Нью-Йорк.

Он уже давно собирался туда уехать и просто ожидал завершения этого амурного предприятия.

Через некоторое время она призналась во всем подружке, а потом, наблюдая, как

та удаляется от нее по залитой пыльным зноем сонной улице, во внезапной вспышке прозрения поняла, что теперь ее тайна принадлежит всему миру. И все же, рассказав о ней, она почувствовала себя гораздо лучше, хоть и немножко обиделась и, насколько была способна, стала приближаться к своей репутации, идя навстречу следующему мужчине уже с откровенным намерением вновь побаловать себя. Как правило, все это выходило у Дот само собой. Она не была слаба, потому что никакое внутреннее чувство не говорило ей, что она слаба. Она не была сильной, потому что никогда не знала, что некоторые поступки, ею совершаемые, требуют определенного мужества. Она никому не бросала вызовов, старалась быть сама собой и редко шла на компромиссы,

У нее не было чувства юмора, но его с лихвой возмещал веселый нрав, благодаря которому она, находясь в компании мужчин, смеялась именно в те моменты, когда требовалось. У нее не было определенных намерений — просто иногда она смутно сожалела, что ее репутация не дает ей обрести надежную пристань в жизни. Открыто ее репутация не утвердилась и дома не обсуждалась: мать ее следила только за тем, чтобы она каждое утро вовремя отправлялась из дома в ювелирный магазин, где зарабатывала четырнадцать долларов в неделю. Но некоторые из молодых людей, которых она знала еще по школе, теперь, проходя мимо в компании «хороших девочек», отворачивались, и это оскорбляло ее чувства. Когда такое случалось, она приходила домой и плакала.

Кроме конторщика с Джексон-стрит, она встречалась еще с двумя мужчинами, первый из которых был морской офицер, случайно оказавшийся в городе в самом начале войны. Он вышел, чтобы кого-нибудь присмотреть на ночь и когда она проходила мимо, стоял, лениво прислонясь к одной из колонн Стоунуолл-отеля. Он пробыл в городе четыре дня. Она думала, что любит его — во всяком случае, именно на него она расточила всю ту первую истерию страсти, которая должна была достаться малодушному конторщику. Форма морского офицера — а их встречалось не так много в то время — оказала свое действие. Он уехал, сбивчиво бормоча какие-то обещания, и уже в поезде обрадовался, что не сказал ей своего настоящего имени.

Развившаяся в результате всего этого депрессия бросила ее в объятия Сайруса Филдинга, сына местного торговца мануфактурой, который окликнул ее однажды из окна автомобиля, когда она шла по тротуару. Она прекрасно знала, кто он такой. И если бы она вращалась в более высоких сферах общества, он бы тоже познакомился с ней пораньше. А теперь, когда ее репутация достаточно пошатнулась, он наконец ее встретил. Через месяц он уехал в тренировочные лагеря, слегка напуганный их близостью, и испытывая некоторое облегчение от убежденности, что она не сильно будет по нему страдать и что она не из тех, кто способен раздуть из всего этого историю. Дот и это свое приключение обрядила в ореол романтики и утешала себя тем, что обоим мужчин забрала у нее война. Она говорила себе, что вполне могла бы выйти замуж за морского офицера. Тем не менее, ее беспокоило, что меньше чем за восемь месяцев в ее жизни побывало трое мужчин. Больше со страхом, чем с удивлением она думала, что скоро станет похожей на тех «нехороших девиц», на которых она и ее жующие резинку, хихикающие подружки всего три года назад смотрели во все глаза.

Какое-то время она старалась быть более осмотрительной. Она разрешала мужчинам «обращать на нее внимание», разрешала себя целовать и, без особой охоты, лишь уступая настоянию, позволяла даже некоторые другие вольности, но к ее трио не добавился ни один. Через несколько месяцев сила ее решимости — а скорее, острота ее страхов — порядком ослабела. Она становилась все более беспокойной, чувствуя, как вместе с тающими летними месяцами мимо проходит жизнь. Солдаты, которые ей встречались, оказывались либо совсем уж деревенщиной, либо — что было гораздо менее очевидно для нее — стояли во всех отношениях выше, в таких случаях единственным их желанием было только попользоваться ею; и все они были янки, грубые и неотесанные, они ходили толпами... А потом она встретила Энтони.

В тот первый вечер он был для нее едва ли больше, чем просто приятное, опечаленное

лицо, голос, средство, чтобы убить часок-другой, но придя на свидание с ним в следующую субботу, она уже поглядывала на него с интересом. Он ей нравился. Сама о том не ведая, она читала в его лице, словно в зеркале, свои собственные трагедии.

Они опять пошли в кино, опять бродили по темным, полным запахов улицам, на этот раз под ручку, время от времени переговариваясь приглушенными голосами. Они миновали калитку — и направились к маленькому крыльцу...

— Можно мне побыть еще немного?

— Тс-с! — шепнула она, — надо вести себя очень тихо. Мать еще не спит, читает свои «Веселые истории».

В подтверждение он услышал донесшийся из комнаты легкий шелест переворачиваемой страницы. Сквозь щели приоткрытых жалюзи пробивались полосы света, тонкими параллелями падавшие на юбку Дороти. Улица была безмолвна, если не считать компании на крыльце дома через дорогу, которая время от времени запевала мягкими, словно поддразнивающими голосами:

...А когда откроешь гла-азки,
Будут у т-е-бя-а-а
Все красивые лоша-адки...

Затем, словно поджидавшая их появления на соседней крыше, из-за лоз, обвивших стену, бочком выскользнула луна, превратив девичье лицо — цветом — в белые розы.

Что-то толкнулось у Энтони в памяти, настолько яркое, что перед его закрытыми глазами оно сложилось в отчетливую, словно кадр на экране, картину — откуда-то из времени всплыла наполовину забытая, по-весеннему оттепельная ночь пятилетней давности — и другое лицо, но тоже светящееся и похожее на цветок, повернутое к фонарям, превратившимся в звезды.

Да, *la belle dame sans merci*, которая все еще жила в его сердце, напомнила о себе мимолетным, исчезающим великолепием темных глаз в «Ритц-Карлтоне», сумрачным взглядом из проезжающего мимо экипажа в Булонском лесу! Но те ночи были только частью песни, только отблеском былого, а вокруг опять — лишь легкое движение воздуха, да иллюзии — это вечное утешение влюбленных.

— О, — шептала она, — ты меня любишь? Неужели ты меня любишь?

Чары рассеялись — блуждающие осколки звезд превратились в обычный фонарь, пение через дорогу увяло до монотонного гула, сквозь него проступило хныканье цикад в траве. Почти со вздохом сожаления он целовал ее трепещущие губы, пока ее руки блуждали по его плечам.

Рыцарь в доспехах

По мере того как усыхали недели и их уносило ветром, круг странствий Энтони расширился, пока он не получил более-менее полного представления о лагере и его окрестностях. Впервые в жизни он находился в постоянном личном контакте с официантами, которым обычно лишь раздавал чаевые, с шоферами, которые снимали перед ним фуражки, с плотниками, сантехниками, парикмахерами и фермерами, которых прежде замечал только в раболепстве их профессиональной коленопреклоненности. В течение первых двух месяцев пребывания в лагере он ни с одним человеком не разговаривал более десяти минут.

В его формуляре род его занятий был обозначен как «студент», хотя при первом опросе он как-то необдуманно написал «автор»; но когда сослуживцы интересовались его профессией, он обычно называл себя банковским служащим — если бы он откровенно признался им, что вообще не работает, они наверняка стали бы относиться к нему настороженно, как к представителю праздного сословия.

Его взводный сержант, Поп Донелли, был заскорузлый старый служака, изможденный

пьянством. В прошлом он был завсегдаем гауптвахты, но некоторое время назад, благодаря острой нужде в мастерах строевой подготовки, был вознесен на свой нынешний Олимп. Лицо его, все изрытое оспинами, неотвратимо напоминало аэрофотосъемку «поля боя при месте Таком-то». Раз в неделю он напивался в городе «беленькой», тихонько возвращался в лагерь и валился на свою койку, а присоединяясь к роте на побудке, бывал больше чем обычно похож на маску белой смерти.

Он питал поражающую воображение иллюзию, что ловко надувает правительство — правда, он провел восемнадцать лет у него на службе, получая мизерное жалованье, но зато скоро выйдет в отставку (тут он обычно подмигивал) на впечатляющий доход пятьдесят пять долларов в месяц. Он смотрел на все это, как на грандиозную шутку, которую сыграл над десятками тех, кто наживался на нем, презирая его же, с тех самых пор, когда он пришел сюда девятнадцатилетним сельским пареньком из Джорджии.

На данный период в роте было только два лейтенанта — Хопкинс и популярный среди личного состава Кретчинг. Последний считался хорошим парнем и прекрасным руководителем, пока годом позже не исчез, прихватив с собой тысячу сто долларов котловых и, как многих любимцев народа, его потом оказалось чрезвычайно трудно отыскать.

Наконец, был еще капитан Даннинг — бог этого краткосрочного, но вполне самодостаточного микрокосма. Он был призван из резерва и еще был нервным, энергичным и увлекающимся. Это последнее качество нередко обретало свое материальное выражение в виде тонкой ниточки пены в уголках его рта. Как большинство исполнительных службистов, он смотрел на свои обязанности чисто фронтально, и его затуманенным надеждой глазам вверенная рота представлялась подразделением в той степени отличным, насколько того заслуживала эта отличная война. Несмотря на все его тревожнения и вечную озабоченность, это было лучшее время в его жизни.

Баптисте, маленький сицилиец из поезда, столкнулся с ним на вторую неделю занятий. Капитан уже несколько раз приказывал подчиненным быть чисто выбритыми, когда они по утрам становились в строй. И вот однажды в этом установлении обнаружилась угрожающая брешь, вызванная, несомненно, тевтонскими происками — четверо солдат отрасли в течение ночи на своих лицах волосы. То, что трое из четверых понимали по-английски лишь в минимальном объеме, делало практический показательный урок просто необходимым, поэтому капитан Даннинг послал добровольного парикмахера обратно в лагерь за бритвой. После чего, ради спасения демократии, со щек трех итальянцев и одного поляка было содрано всухую полунции волос.

На границах ротного мира время от времени возникал полковник, тяжеловесный человек с разросшимися невпопад зубами, который плавно круговращался по батальонному плацу на ладной вороной лошадке. Он был вестпойнтовцем и старался походить на джентльмена. У него была всегда невпопад одетая жена и под стать ей ум; большую часть своего времени он проводил в городе, извлекая все, что можно было извлечь, из резко подскочившего в последнее время престижа армии. И в конце концов был еще генерал, который бороздил дороги лагеря, предшествуемый собственным штандартом — фигура абстрактно недоступная, великолепная и едва ли подвластная пониманию окружающих.

Декабрь. Холодные ветры по ночам и сырые пронизывающие рассветы на плацу. По мере того как спадала жара, Энтони обнаруживал в себе растущую способность радоваться жизни, Странно обновленный телом, он ни о чем не беспокоился и с животным удовлетворением существовал в настоящем. Не то чтобы Глория или жизнь, частью которой она являлась, реже возникали в его мыслях — просто день ото дня они становились все менее реальными, тускнели. Около недели они переписывались страстно, почти истерично, потом как-то само собой получилось, что они не смогли писать чаще, чем дважды, потом — раз в неделю. Она жаловалась на скуку и писала, что если его бригада долго пробудет в этом лагере, то она придет, чтобы находиться с ним рядом. Мистер Хейт готовился представить на рассмотрение даже более сильное резюме, чем он сам ожидал, но сомневался, что дело об апелляции сдвинется с места раньше конца весны. Мюриэл в городе, работает в Красном

Кресте и они частенько вместе проводят время. Как отнесется Энтони к тому, что и она пойдет работать в Красный Крест? Но после того как ей сказали, что на этой работе, может быть, придется обмывать спиртом негров, она перестала ощущать себя настолько горячей патриоткой. В городе было полно солдат и она видела на улице многих знакомых, с которыми не встречалась уже сотню лет...

Энтони не хотелось, чтоб она приезжала на Юг. Тому было много причин, убеждал он себя — им на самом деле нужно было отдохнуть друг от друга. В городке она умирала бы от скуки, а видеться они могли бы только несколько часов в день. Но в глубине души он боялся, что главной причиной была его привязанность к Дороти. Он жил в постоянном ужасе от мысли, что Глория как-нибудь случайно или намеренно узнает об их отношениях. К концу второй недели их встреч эта постоянная неопределенность его чувств начала проявляться в моментах острого раскаяния в совершённом. Тем не менее, с приближением конца дня он не в силах был противиться соблазну, который властно вытягивал его из палатки и вел к телефонной будке возле «Дома Молодых Христиан».

— Дот.

— Да?

— Я, может быть, сумею выбраться вечером.

— Хорошо бы.

— Тебе хочется еще несколько часов внимать под звездами моему великолепному красноречию?

— Какой ты смешной... — и в памяти вставали виденья пятилетней давности... Джеральдина. А потом...

— Приеду около восьми.

В семь он будет уже в маршрутке, направляющейся в город, где сотни южаночек ждали на залитых луной крылечках своих возлюбленных. Будет заранее взволнован ожиданием ее теплых затяжных поцелуев, чуть удивленного спокойствия ее взглядов, полных небывалого в его жизни обожания. С Глорией они были равны и отдавали себя друг другу без мыслей о благодеянии или каких-либо обязательствах. Для этой девушки сами его ласки были неоценимым благодеянием. Тихонько всхлипывая, она призналась, что он был не первым мужчиной в ее жизни; был еще и другой — он заключил, что дело давно в прошлом, иначе о нем не стали бы говорить.

Действительно, во всем, что касалось его, она не обманывала. Она забыла клерка, морского офицера и сына мануфактурщика, забыла яркость тех переживаний, что и является настоящим забвением. Она знала, что в каком-то непостижимо далеком теперь сумеречном существовании, она кому-то принадлежала, но это было словно во сне.

Почти каждый вечер Энтони приезжал в город. Теперь было слишком холодно сидеть на крыльце, поэтому её мать, сдавшись, пустила их в маленькую гостиную с десятками литографий в дешевых рамках, бесчисленными ярдами декоративной бахромы и спертым воздухом — от нескольких десятков лет близости кухни. Им оставалось развести огонь, потом, счастливо-неутомимая, она приступала к делу любви. Потом в десять она проводит его до двери, с растрепанными черными волосами, с лицом бледным без косметики и становящимся еще бледнее от белизны луны. На улице все как всегда; будет ярко и серебристо; время от времени будет идти неспешный теплый дождь, слишком, казалось, ленивый, чтобы достичь земли.

— Скажи, что любишь меня, — шептала она.

— Ну что ты, конечно, малышка моя.

— А я что — маленькая? — это почти задумчиво.

— Совсем дитя.

Она кое-что знала о Глории. Ей было больно об этом думать, поэтому она представляла, что Глория должна быть надменной, гордой и холодной. Еще она решила, что Глория, должно быть, старше Энтони, и что между мужем и женой не было никакой любви. Иногда она позволяла себе помечтать, что после войны Энтони разведется и они

поженятся — но никогда даже не заикалась об этом Энтони, сама не зная почему. Она разделяла общее мнение роты, что он был каким-то банковским служащим — она думала, что он был уважаемый и бедный. Она говорила:

— Знаешь, если бы у меня водились деньги, я бы их все тебе отдала... Вот займешь бы тысячу пятьдесят.

— Да, это немало, — соглашался Энтони.

...В своем письме в тот день Глория написала: «Я полагаю, что если мы согласны удовлетвориться миллионом, то лучше сказать мистеру Хейту, чтоб из такого расчета он и действовал. Но ведь безумно жаль терять и остальное...»

— ...и мы могли бы купить автомобиль, — восклицала Дот уже в полном восторге.

Впечатляющий случай

Капитан Даннинг считал, что видит людей насквозь и гордился этим. Он привык уже через полчаса знакомства помещать человека в одну из способных вызвать изумление категорий — прекрасный человек, хороший человек, неглупый парень, теоретик, поэт и «ни на что не годный». Однажды в начале февраля, не без его участия, Энтони оказался в его же присутствии в штабной палатке.

— Пэтч, — начал он нравоучительно, — я наблюдаю за вами уже в течение нескольких недель.

Энтони стоял не шелохнувшись.

— И мне кажется, из вас получается неплохой солдат.

Он подождал, чтоб охладить взволнованный блеск, которого просто не могло не возникнуть в глазах подчиненного при этих словах, и продолжил:

— Это не детская игра, — сообщил он, сдвигая брови.

Энтони отозвался унылым: «Никак нет, сэр».

— Это игра для мужчин и нам нужны лидеры. — Потом — быстрое, напористое, электризирующее главное. — Пэтч, я собираюсь произвести вас в капралы.

В этом месте ошеломленному Энтони пришлось слегка отшатнуться. Стало быть, именно ему назначено судьбой сделаться одним из четверти миллиона облеченных этим безграничным доверием. Он получит право кричать магическую фразу «За мной!» семи другим насмерть перепуганным сослуживцам.

— Кажется, вы получили кое-какое образование, — говорил капитан Даннинг.

— Так точно, сэр.

— Вот и хорошо, вот и хорошо. Образование — великая вещь, важно только, чтоб оно не ударило в голову. Продолжайте в том же духе, и из вас получится хороший солдат.

С этими напутственными словами, застрявшими в ушах, капрал Пэтч отсалютовал, повернулся направо кругом и вышел из палатки.

Вместе с тем, что эта беседа позабавила Энтони, она заронила в него мысль, что в качестве сержанта он сможет вести здесь более приятную жизнь, а если найдется не такой дотошный доктор — то и в качестве офицера. Хотя сама служба, в которой не было ничего даже отдаленно напоминающего хваленую возвышенную доблесть, его мало интересовала. Мундир к инспекторской проверке приводят в порядок не для того, чтобы выглядеть хорошо, а чтоб не выглядеть плохо.

Но, по мере того как проходила короткая, бесснежная, отмеченная лишь сырими ночами и прохладными дождливыми днями зима — он изумлялся тому, как быстро въедается в него армейский уклад. Он был солдат — а все, кто не были солдатами, были гражданскими. И мир, в первую очередь, делился именно на эти две категории.

Ему как-то пришло в голову, что представители всех четко обозначенных общественных прослоек — например, военные — делили человечество на два сорта: своих и чужих. Для священников люди делятся на духовенство и мирян, для католика существуют прежде всего католики и не-католики. для негра мир делится на черных и белых, для

заключенного — на тех, кто сидит в тюрьме и тех, кто гуляет на воле, а для больного все люди либо больны, либо здоровы... Так что, не приложив к этому ни малейших усилий, он уже был гражданским, мирянином, не католиком, не евреем, белым, свободным и здоровым...

С тех пор как американские солдаты хлынули во французские и британские окопы, он стал находить имена многих выпускников Гарварда в списках убитых, раненых и пропавших без вести, публикуемых в «Журнале Армии и Флота». Но, несмотря на все эти пот и кровь, ситуация, казалось, не менялась, и он не замечал никаких признаков, что война может закончиться в обозримом будущем. В старинных хрониках правый фланг одной армии всегда побеждал левый фланг другой, в то время как левый фланг, соответственно, терпел поражение от правого фланга противника. После этого разбежались наемники. Как было просто в те времена, как будто заранее спланировано...

Глория писала, что много читает. Какую путаницу, восклицала она, сотворили они из своих дел. Теперь ей так мало чего оставалось делать, что она убивала время, пытаясь представить, как бы все у них могло быть иначе. Вся окружающая жизнь представлялась ей шаткой и ненадежной — а ведь всего пару лет назад ей казалось, что она крепко держит все нити в своем маленьком кулачке...

В июне письма от нее стали приходить реже и сделались торопливыми. Она внезапно перестала писать, что хочет приехать на Юг.

Поражение

В марте окрестности украсились жасмином, бледно-желтыми нарциссами и целыми полянками фиалок в согретой солнцем траве. Потом ему в особенности вспоминался один день, полный такого первозданного и магического очарования, что он, стоя в ружейном окопчике и отмечая мишени, декламировал недоумевающему поляку «Аталанту в Калидоне», и голос его сплетался с визгом, пением и шлепками пуль над головой.

Когда гончие псы весны...
Пэнг!
Рыщут по следу зимы...
Фр-р-р!..
И мать всех месяцев..
Э-э-эй!
Приготовиться! Мишень три-и-и!..

Улицы городка снова замерли в мечтательной дреме, и Энтони бродил с Дороти по собственным следам, оставленным прошлой осенью, пока не начинал чувствовать дремотное влечение к этому Югу — который казался ему, скорее, Алжиром, чем Италией — Югу, который со слабеющим энтузиазмом указывал назад, через головы бесчисленных поколений, на какое-то утробно-теплое, первозданное небытие без желаний, надежд и забот. Здесь в каждом голосе звучала интонация сердечности и понимания. «Со всеми нами жизнь играет в одну и ту же захватывающую, но мучительную игру», казалось, говорили все незамысловато-умиротворенным мотивом, где на самом подъеме все обрывается вдруг безысходным минором.

Ему нравилась парикмахерская, где он был «Здоров, капрал!» для бледного изнуренного молодого человека, который брил его или бесконечно водил прохладной вибрирующей машинкой по его ненасытно жаждущей продолжения этого голове. Ему нравился «Джонстон Гарденс», в котором они обычно танцевали, где полный трагизма негр зарабатывал на жизнь, извлекая из саксофона столь томительные и болезненные звуки, что грубо разукрашенный зал превращался в зачарованные джунгли варварских ритмов и дымного смеха, где забыть бессодержательное течение времени, слыша рядом с собой

мягкие вздохи и нежные шепоты Дороти, было верхом всех вожделений.

В ее характере был оттенок грусти, этакое сознательное стремление уклониться от всего в жизни, кроме доставляющих удовольствие мелочей. Ее фиолетовые глаза могли часами оставаться совершенно бессмысленными, и в это время она напоминала впадшую в полузабытье, греющуюся на солнце кошку. Ему было интересно, что думала о них ее усталая, робкая и апатичная мать, догадывалась ли она, пусть в самом циничном настроении, об истинном смысле их отношений.

В воскресные дни они бродили по окрестностям, присаживаясь время от времени на сухой мох, который рос по опушке леса. Сюда слетались птицы, здесь были целые заросли фиалок и белого кизила, здесь седые от росы деревья сверкали хрустальной прохладой, забыв об одуряющей жаре, которая подстерегала снаружи, здесь он мог говорить, не страшась быть прерванным, произносить бессвязные монологи, вести бессмысленные речи, на которые никто не отвечал.

Июль обрушился палящим зноем. Капитану Даннингу было приказано откомандировать одного из своих людей для обучения на кузнеца. Полк пополнялся до штата военного времени, все старослужащие были нужны капитану для проведения занятий по строевой подготовке, поэтому он выбрал маленького итальянца Баптите, которым легче всего мог пожертвовать. Но малыш Баптите никогда не имел дела с лошадьми. Он их боялся, и от этого дело не заладилось. Однажды он вновь появился в ротной канцелярии и сказал капитану Даннингу, что если его не освободят от этого, он лучше умрет. Работа у него не ладится, лошади его лягают. Наконец он упал на колени и стал на смеси ломаного английского и библейского итальянского умолять капитана Даннинга спасти его. Он уже три ночи не спал, его сны были наполнены скачущими и становящимися на дыбы чудовищными жеребцами.

Капитан Даннинг осадил ротного писаря (который расхохотался, глядя на все это) и сказал Баптите, что посмотрит, что можно сделать. Но когда он все обдумал, то пришел к выводу, что не может направить туда более ценного человека. Дела маленького Баптите шли все хуже. Лошади, казалось, чувствовали его страх и пользовались этим. А через две недели, когда он пытался вывести из стойла огромную вороную кобылу, она проломила ему копытом череп.

В середине июля появились слухи, а потом и распоряжения, касающиеся смены лагеря. Бригада должна была передислоцироваться в пустой военный городок, расположенный в сотне миль к югу и там укомплектоваться до дивизии. Сначала подумали было, что их отправляют в окопы, и каждый вечер по центральному проходу между палаток стали бродить небольшие компании, развязно крича одна другой: «Ну само собо-ой!» Даже когда правда просочилась наружу, ее с негодованием отменили как предлог, призванный скрыть их истинное предназначение. Они упивались сознанием собственной значительности. Этой ночью они сказали своим девушкам в городе, что отправляются «пощупать немцев». Энтони какое-то время циркулировал среди этих групп, потом остановил маршрутку и поехал в город, сказать Дороти, что ему придется уехать.

Она ждала его на темной террасе в простеньком белом платье, которое подчеркивало юность и мягкость ее лица.

— О, милый, — шептала она, — ты так мне сегодня нужен. Весь день.

— Я должен тебе кое-что сказать.

Она, не замечая зловещего тона, усадила его рядом с собой на качающееся сиденье.

— Ну скажи.

— На следующей неделе мы уезжаем.

Ее руки, искавшие его плечи, замерли в темной пустоте, подбородок запрокинулся. Когда она заговорила, в голосе ее уже не было мягкости.

— Вас отправляют во Францию!

— Нет. Не с нашим счастьем. Перебрасывают в какой-то чертов лагерь в Миссисипи.

Она закрыла глаза, и Энтони увидел, как у нее подрагивают веки.

— Крошка моя, Дот, жизнь чертовски тяжелая штука.

Она плакала у него на плече.

— Чертовски тяжелая, чертовски, — повторял он бесцельно. — Лупит и лупит человека, пока не забудет до такой степени, что он уже и боли не чувствует. Это самое последнее и гнусное, что она может сделать.

Неистово, ошавев от страдания, она прижала его к груди.

— Господи, Господи! — шептала она потерянно. — Но как же это ты уедешь? Я умру.

Он все отчетливее понимал, что вряд ли удастся представить это расставание как обычный, слепой удар судьбы. Сейчас она была слишком близко, и ему не оставалось ничего, кроме как повторять: «бедная моя Дот... бедная моя Дот».

— И что потом? — спросила она уныло.

— Что ты имеешь в виду?

— Ведь ты для меня — вся жизнь. Прикажи мне умереть, и я прямо сейчас умру. Возьму нож и убью себя. Ты не можешь меня здесь оставить.

Ее тон начинал пугать Энтони.

— Всякое бывает в жизни, — проговорил он бесцветным голосом.

— Тогда я поеду с тобой. — Слезы струились по ее щекам. Губы тряслись от невыразимой тоски и страха.

— Хорошая моя, — бормотал он сентиментально. — Маленькая моя девочка. Неужели ты не понимаешь, что этим мы только отложим то, что все равно должно случиться? Через несколько месяцев я все равно уеду во Францию.

Она отпрянула от него и, стиснув кулачки, подняла лицо к небу.

— Я хочу умереть, — раздельно, словно выталкивая каждое слово прямо из сердца, произнесла она.

— Дот, — шептал он, чувствуя себя не очень уютно, — все забудется. Все пройдет, и боль утихнет. Я знаю, потому что однажды получил то, чего очень сильно хотел. Это было единственное в жизни, чего я сильно хотел, Дот. И вот, когда я получил это, оно обратилось в прах прямо у меня в руках.

— Ясно.

Поглощенный своими переживаниями, он продолжал:

— Я часто думал, что если б мне не дали того, чего я хотел, все могло бы сложиться иначе. Я мог бы отыскать что-нибудь в своем уме и обнародовать. Мог бы получать удовольствие от самого этого процесса и «вкусить сладость» достигнутого успеха. Я думаю, было время, когда я мог заполучить все что хотел, в пределах разумного, но всегда существовала только одна вещь, которой я хотел по-настоящему. О, Боже! И это научило меня тому, что в жизни нельзя иметь вообще ничего. Потому что желание всегда только насмехается над тобой. Оно как солнечный зайчик, скользящий по комнате. Внезапно остановится, позолотит самый никчемный предмет — вот мы, несчастные дураки и стараемся схватить его, а когда удастся, солнечный зайчик уже сидит на чем-нибудь другом, а ты вдруг понимаешь, что ухватил какую-то сущую безделицу, и весь блеск, который делал ее такой желанной, давно пропал...

Он обеспокоено замолчал. Слезы ее высохли, она поднялась на ноги и теперь стояла, медленно обрывая листья с темной виноградной лозы.

— Дот...

— Уходи, — холодно произнесла она.

— Что такое? Почему?

— Мне не нужны слова. Если это все, что ты готов для меня сделать, лучше уходи.

— погоди, Дот...

— Для меня это — жизнь и смерть, а для тебя — одни слова. Так ты их ловко подбираешь.

— Прости, но я говорил о тебе, Дот.

— Уходи отсюда.

Он приблизился к ней, пытаясь обнять, но она остановила его.

— Не хочешь меня брать с собой. — говорила она бесстрастно. — Хочешь, небось, там встретиться с этой... этой женщиной. — Она не могла заставить себя сказать «женой». — Откуда мне знать? Ладно, только теперь ты уже не мой парень. Уходи давай.

Какое-то мгновение, пока в нем боролись трезвый расчет и чувство, Энтони казалось, что наступил один из тех моментов, когда следует на что-то решиться, повинувшись только внутреннему побуждению. Он колебался. Потом волна опустошающей слабости захлестнула его. Слишком поздно — все было слишком поздно. Уже столько лет он жил в придуманном мире, строя свои поступки на текучих, словно вода, эмоциях. И эта девочка в белом платье была сильнее, чем он, она сделалась даже красива в твердой уравновешенности своих желаний. Огонь, горевший во мраке ее раненного сердца, казалось, обволакивал ее сумрачным сиянием. С какой-то глубоко припрятанной до поры и не отмеченной на карте гордостью она вдруг отодвинулась от него в непредставимую даль и этим добилась своего.

— Дот, я не то хотел... то есть, я не хотел быть таким бессердечным.

— Мне одинаково.

Обжигающий вал прокатился по всему существу Энтони. Что-то со щемящей болью лопнуло внутри, и вот он стоял перед ней, поверженный и беспомощный.

— Хорошо, Дот, поехали со мной... Куда ж я без своей маленькой Дот? Да, едем со мной. Я не оставлю тебя.

С рыданием она обвила его шею руками, повисла на нем, в то время как луна, занятая своей извечной работой по маскировке нездорового цвета лица земного мира, точила свой запретный мед на уснувшую улицу.

Кагастрофа

Начало сентября в Кэмп-Бун, Миссисипи. Темнота, оживающая роями насекомых, бьется в москитную сетку, под защитой которой Энтони пытается написать письмо. Из соседней палатки время от времени доносятся возгласы игроков в покер, а снаружи вдоль палаток бродит кто-то, без конца повторяя бессмысленный куплет о какой-то «К-к-к-кэтти».

Энтони подпер тяжелеющую голову кулаком, взял в руку карандаш и устремил взгляд на чистый лист бумаги. Потом, без всякого обращения, начал.

«Я не могу понять, что происходит, Глория. Две недели не получал от тебя ни строчки и, естественно, беспокоюсь...»

С раздраженным хмыканьем отшвырнул листок и начал снова:

«Я не знаю, что думать, Глория. Твое последнее письмо, короткое и холодное, без малейшего намека на какие-то чувства и не говорящее толком хотя бы чем ты занимаешься, пришло две недели назад. Вполне естественно, что я несколько озадачен. Если твоя любовь ко мне еще не совсем мертва, тебе стоило бы позаботиться, чтоб не доставлять мне лишнего беспокойств...»

Он снова скомкал страницу и со злостью швырнул ее сквозь прореху в стенке палатки, тут же отметив, что утром придется подбирать. И еще почувствовал, что больше начинать не собирается. Он не мог вложить в эти строки ни крохи тепла — только неизбывную ревность и подозрения. Начиная с середины лета характер писем Глории стал все больше меняться. На первых порах он едва ли замечал это. Он так привык к небрежным «дорогой» и «милый», щедро разбросанным по ее письмам, что обращал очень мало внимания на их наличие или отсутствие. Но в эти две последние недели до него стало все отчетливее доходить, что творится неладное.

Он послал ей телеграмму, в которой писал, что сдал экзамены на офицерские курсы и ожидает, что в скором времени его отправят в Джорджию. Она не ответила. Он телеграфировал еще раз — и когда не получил ни слова в ответ, решил, что она могла

просто куда-нибудь уехать. Но в мысли вновь и вновь закрадываюсь, что вовсе она никуда не уезжала; и его стали преследовать вереницы самых безумных видений. Он представлял, что, устав от неприкаянности, Глория нашла себе кого-нибудь, впрочем, так же как и он. Эта мысль ужасала тем, что такая ситуация была вполне возможна — ведь именно из-за уверенности в ее порядочности он так мало думал о ней в этот последний год. И вот теперь — стоило только возникнуть сомнению — вся застарелая злоба, яростные терзания собственника ожили в нем с тысячекратной силой. Что могло быть проще — она в кого-то влюбилась!

Он вспомнил ту Глорию, которая обещала, что если когда-нибудь чего-то захочет, то возьмет, и это даже не будет считаться большим грехом, так как действовать она будет исключительно ради собственного удовольствия — в конечном счете, учитывается только то, что думает об этом сам человек, говорила она, а уж ее-то реакция будет вполне мужской: удовлетворение и легкая неприязнь.

Но все это было, когда они только что поженились. Позднее, открыв для себя, что она все же способна ревновать, Глория, по крайней мере на словах, изменила свои взгляды. Для нее не существовало других мужчин. И он это слишком хорошо усвоил. Понимая, что ее всегда будет сдерживать собственная привередливость, он перестал заботиться о сохранении полноты ее чувства — которая в конечном счете была краеугольным камнем их отношений.

Между тем, он все лето содержал Дот, снимая для нее комнату в городе. Ради этого приходилось постоянно писать брокеру о выдаче дополнительных сумм. Чтобы скрыть, что отправляется на юг, Дот убежала из дому за день до того, как снялась с места бригада Энтони. Матери она оставила записку, что уезжает в Нью-Йорк. На следующий день явился Энтони, якобы для того, чтоб повидаться с ней. Миссис Рэйкрофт находилась в состоянии прострации, а в гостиную сидел полицейский. Последовал допрос, из которого Энтони выпутался с изрядным трудом.

В сентябре, не в последнюю очередь благодаря терзаниям, связанным с Глорией, общество Дот сделалось для него утомительным, потом почти непереносимым. От недосыпания он стал нервным и раздражительным, а сердце все время ныло от жутких предчувствий. Три дня назад он пошел к Даннингу и попросил отпуск, его выслушали, но благосклонно отказали. Дивизию готовили к отправке за океан, в то время как Энтони должен был отправляться на офицерские курсы, а те отпуска, что положены, в первую очередь должны предоставляться тем людям, которые готовятся покинуть страну.

После такого отказа Энтони пошел на почту отправить Глории телеграмму, чтоб она приезжала на Юг, — он дошел до самых дверей и тут в отчаянии отступил, понимая вопиющую нелепость такого шага. Вечер он провел в утомительной перебранке с Дот и возвращался в лагерь угрюмый и злой на весь свет. Не шла из головы неприятная сцена, в разгар которой он повернулся и ушел. Теперь он был полностью поглощен раздумьями о бессердечном молчании жены, и все, что касалось Дот, не казалось ему в данный момент таким уж безотлагательным...

Дверь палатки кто-то резко откинул, взявшись за угол, и на фоне ночного неба появился темный силуэт головы.

— Сержант Пэтч? — акцент был итальянский, и по пряжке ремня Энтони определил, что это посыльный из штаба.

— Да, что такое?

— Десять минут назад в штаб звонит какая-то дама. Говорит, хочет вам что-то сказать. Очень важно.

Энтони откинул москитную сетку и встал. Это могла быть телеграмма от Глории, переданная по телефону.

— Она говорит позвать вас. Позвонит опять в десять часов.

— Хорошо, спасибо. — Он взял свою фуражку и уже через секунду шагал рядом с посыльным сквозь горячий удушливый мрак. Войдя в штабной барак, он козырнул

дремлющему дежурному офицеру.

— Садитесь, подождите, — небрежно предложил лейтенант. — Девушке, по-моему, прямо не терпится переговорить с вами.

Надежды Энтони развеялись как дым.

— Большое спасибо, сэр.

И когда на стенке заверещал телефон, он уже знал, кто это звонит.

— Это Дот, — донесся дрожащий голос, — мне надо тебя увидеть.

— Дот, я уже сказал тебе, что несколько дней не смогу выбраться в город.

— Мне надо увидеть тебя сегодня. Это очень важно.

— Слишком поздно, — произнес он бесстрастно, — уже десять часов, а в одиннадцать я должен быть в лагере.

— Прекрасно. — В единственном слове было спрессовано столько жалкого отчаяния, что Энтони ощутил некоторое раскаяние.

— В чем дело?

— Я хочу с тобой попрощаться.

— О, Господи, не будь ты такой идиоткой! — вскричал он. Но внутренне ликовал. Как было бы здорово, если б она уехала из города прямо сегодня ночью. Какое бремя свалилось бы с его души. Но вслух он произнес только: — Ведь ты все равно до завтра уехать не сможешь.

Краем глаза он видел дежурного офицера, который с интересом наблюдал за ним. Потом, внезапно, до него дошли слова Дот:

— Я и не собираюсь уезжать... Совсем другое.

Рука Энтони до хруста в суставах сжала трубку. Он ощутил, как все тепло уходит из тела, и нервы превращаются в ледяные струны.

— Что?

И услышал быстро произнесенное смятенным голосом:

— Прощай... О, Боже мой, прощай!

Клик-кланг! Она повесила трубку. Выдохнув что-то похожее на полустон, Энтони выбежал из штаба. Снаружи, под светом звезд, которые висели словно серебряная мишура в кронах деревьев ближней рощицы, он какое-то время стоял неподвижно, не зная, что делать дальше. Неужели она решила покончить с собой?.. Маленькая идиотка! Он весь был переполнен ледяной ненавистью к ней. Придя к такому итогу, он не мог себе представить, что когда-то собственными руками начал всю эту неразбериху, все это жалкое месиво беспокойства, горестей и боли.

Он обнаружил, что медленно бредет куда-то, снова и снова повторяя, что беспокоиться особенно не о чем. Самое лучшее — вернуться в палатку и лечь спать. Как хочется спать, Господи! Неужели ему никогда уже не придется отоспаться? В голове шумело, в мыслях был полнейший беспорядок; дойдя до шоссе, он повернулся и в панике побежал, но вовсе не в расположение роты, а совсем в другую сторону. Люди как раз возвращались из города — он мог поймать такси. Через минуту из-за поворота показались два желтых глаза. Он отчаянно кинулся к ним.

— Такси, такси!.. — это был пустой «форд», — мне нужно в город.

— Будет стоить доллар.

— Хорошо. Только побыстрее...

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он взбежал по ступенькам ветхого, погруженного во мрак домишки и ворвался в дверь, почти уткнувшись в необъятную негритянку, которая со свечой в руке шла по коридору.

— Где моя жена? — крикнул он вне себя.

— Спать пошла.

Через три ступеньки вверх. По кричащему половицами коридору. В комнате было темно и тихо. Трясущимися пальцами он зажег спичку. Два широко открытых глаза смотрели на него с кровати, из сбитого в ком постельною белья.

— Ах, я знала, что ты придешь, — жалко пробормотала она.

У Энтони внутри все замерло от злости.

— Значит, все это было только за тем, чтоб вытащить меня сюда? А ты знаешь, чем мне это грозит? — говорил он. — Черт возьми, нет, на этот раз ты явно перестаралась!

Она не сводила с него молящих глаз.

— Мне надо было видеть тебя. Я бы умерла. О, мне так надо было видеть тебя.

Он присел на край кровати и только медленно качал головой.

— Ты поступила дурно, — говорил он убежденно и, сам того не сознавая, повторял слова и интонации Глории. — Ты знаешь, я этого не заслужил.

— Сядь поближе. — Что бы он там ни говорил, теперь Дороти была счастлива. Она была ему небезразлична. Значит, он снова принадлежит ей.

— О, Господи. — безнадежно молвил Энтони. И огромная слабость окатила его неодолимой волной, гася, смывая, унося с собой весь гнев. Силы оставили его, всхлипывая, он опустился рядом с ней на кровать.

— Ну, что ты, милый, — молила она его, — не плачь. Прошу тебя, не плачь.

Она прижала его голову к своей груди и баюкала, мешая свои сладкие слезы с его горькими. Ее пальцы нежно перебирали его темные волосы.

— Я такая дурочка, — бормотала она еле слышно. — но я люблю тебя, и когда ты такой ко мне холодный, мне и жить совсем не хочется.

В конце концов, здесь было так спокойно — в этой тихой комнате, пропахшей пудрой и духами, мягкая рука Дот, словно ветерок у него в волосах, движение ее груди, когда она дышала, — на миг ему показалось, что рядом с ним Глория, и сам он будто очутился в том прекрасном, наполненном покоем доме, какого у него никогда не было.

Прошел час. Снизу раздался размеренный бой. Он вскочил на ноги и посмотрел на фосфоресцирующие стрелки своих часов. Было двенадцать.

Он долго искал такси, которое согласилось бы везти его за город в такой час. Всю дорогу поторапливая шофера, он одновременно обдумывал наилучший способ проникнуть в лагерь. В последнее время он несколько раз опаздывал и знал, что если его поймают еще раз, то он, скорее всего, будет вычеркнут из списка кандидатов на офицерские курсы. И сейчас он прикидывал, не лучше ли будет отпустить такси и попробовать миновать часового в темноте. Но в конце концов офицеры частенько проезжали мимо часовых после полуночи...

— Стой! — Односложный выкрик послышался из желтого сияния, которое фары машины бросали на бугристую дорогу. Шофер затормозил, и в круге света появился часовой с винтовкой на плече. С ним, как на беду, был начальник караула.

— Поздновато, сержант.

— Так точно, сэр. Задержался.

— Плохо. Придется записать ваши данные.

Пока офицер с блокнотом и карандашом в руке ждал, губы Энтони сами собой произнесли рожденное отчаяньем и паникой:

— Сержант Р. А. Фоли, — отвечал он, замирая.

— Откуда?

— Рота Q, восемьдесят третий пехотный.

— Хорошо. Отсюда пойдете пешком, сержант.

Энтони козырнул, быстро расплатился с таксистом и пустился бежать в расположение полка, который назвал. Как только его потеряли из виду, он изменил направление, и с бешено колотящимся сердцем кинулся к участку своей роты, сознавая, что совершил роковую ошибку.

Два дня спустя тот офицер, который был начальником караула, узнал его в городе, в парикмахерской. В сопровождении военного патруля он был доставлен в лагерь, где его без суда понизили в звании и лишили на месяц права покидать расположение роты.

После этого его охватило непостижимое, полнейшее безразличие ко всему,

и не прошло недели, как его снова задержали в городе, когда он брел пьяный, сам не зная куда, с почти полной бутылкой контрабандного виски в кармане. Только в силу очевидной невменяемости его поведения на суде трибунал ограничился тремя неделями гауптвахты.

Кошмар

С первых же дней заключения в нем поселилась уверенность, что он постепенно сходит с ума. В его сознании, казалось, сгрудилось множество каких-то сумеречных, но вместе с тем вполне отчетливых образов; некоторые из них были ему знакомы, другие — незнакомые и ужасные, но все они управлялись посторонним существом, которое сидело где-то сверху и наблюдало. Больше всего Энтони беспокоило, что сам этот укротитель был нездоров и едва управлялся со своим зверинцем. Если бы он хоть на минуту замешкался, потерял над ними контроль, все эти кошмарные создания тотчас вырвались бы из своих клеток — только Энтони мог знать, какая непроглядная тьма воцарилась бы кругом, если бы худшая часть его существа получила возможность бесконтрольно проникать в его сознание.

Пекло дня непостижимым образом превращалось в обугленную тьму, которая обрушивалась на опустошенную, обессиленную землю. Голубые круги безмянных зловещих солнц, бессчетные центры огня безостановочно вращались у него над головой, беспощадно слепили глаза, а он, не в силах шевельнуться, лежит, сжигаемый их огнем. В семь утра нечто призрачное, почти абсурдно нереальное, что он привык именовать своим смертным телом, вместе с семью другими заключенными и двумя охранниками выходило работать на ремонт лагерных дорог. Сначала они целый день нагружали и выгружали целые горы гравия, разбрасывали его, разравнивали граблями; следующий день был посвящен работе с огромными бочками кипящей смолы: они поливали гравий черными, сверкающими на солнце струями расплавленного жара. По ночам, запертый на гауптвахте, он часов до трех утра лежал, опустошенно глядя на неровные балки потолка, не находя в себе мужества ухватиться хоть за какую-то мысль, пока не забывался обрывочным, беспокойным сном.

Все рабочие часы, пока день тащился к душному закату, он работал, не давая себе передышки, стремясь настолько измотать себя физически, чтобы вечером можно было заснуть хотя бы от изнурения... Однажды днем, на второй неделе срока, у него возникло ощущение, что за ним, спрятавшись в нескольких футах за спиной одного из охранников, наблюдают два неотступных глаза. Это повергло его в ужас. Стараясь держаться к ним спиной, он лихорадочно орудовал лопатой, но вот наступил момент, когда ему понадобился гравий и нужно было повернуться к ним лицом. И тут они вторглись в его сознание. Глаза буквально пожирала его. Без того напряженные до предела нервы Энтони не выдержали. Прямо из раскаленного безмолвия кто-то надрывно звал его: земля нелепо вздыбилась под ногами, и все утонуло среди суматохи и криков.

В себя он пришел уже на гауптвахте, где другие заключенные поглядывали на него как-то странно. Глаза больше не возвращались. Прошло немало дней, прежде чем он сообразил, что голос, звавший его, принадлежал, скорее всего, Дот, что это она своими криками вызвала последующую суматоху. Он додумался до этого как раз перед окончанием срока своего наказания, когда окутывавшая его темная туча немного рассеялась, оставив после себя глубокую, беспросветную апатию. По мере того как его умственный посредник — тот самый укротитель, который держал в узде грозную стаю его кошмаров, становился сильнее, сам Энтони все больше слабел физически. Он сам не понял, как выдержал последние два дня изнурительного труда, и когда дождливым полднем все это кончилось, у него хватило сил только дойти до расположения роты и, забравшись в палатку, забыться похужей на беспомыслие дремой, от которой он пробудился лишь перед рассветом, с болью во всем теле и нисколько не отдохнув. Рядом с его койкой лежало два письма, которые уже несколько дней поджидали его в канцелярии. Первое было от Глории, короткое и равнодушное:

Дело будет слушаться в конце ноября. Может быть, ты сумеешь приехать?

Я несколько раз принималась писать тебе, но это бы все только испортило. Мне нужно видеть тебя по многим причинам, но ты один раз уже отговорил меня от приезда, и я не собираюсь пытаться еще раз. Но в виду количества вопросов, которые нам необходимо решить, полагаю, нам просто необходимо встретиться. Очень рада твоему назначению.

Глория.

Он был слишком измотан, чтоб пытаться что-либо понять — ему было все равно. Ее слова, намерения — все это было так далеко, в каком-то непредставимом прошлом. На другое письмо он едва взглянул, оно было от Дот — бессвязные, расплывшиеся от слез каракули, поток протестов, выражений нежности и горя. Он пробежал глазами первую страницу, потом письмо скользнуло из его бессильно опустившейся руки, и он вновь погрузился в туманные глубины дремотного беспомыслия. На побудке он проснулся с высокой температурой, и когда хотел выйти из палатки, то едва не потерял сознание — в полдень он был отправлен в госпиталь с диагнозом «инфлюэнца».

Он понимал, что болезнь разрешила множество его проблем. Именно она спасла его от повторения всего этого безумия — он поправился как раз к тому сырому ноябрьскому дню, когда их отправляли в Нью-Йорк, а впереди маячила бесконечная бойня.

Когда его полк добрался до Кэмп-Миллз на Лонг-Айленде, единственной мыслью Энтони было как можно скорее попасть в город, чтоб повидаться с Глорией. Стало уже очевидно, что перемирие подпишут со дня на день, но ходили упорные слухи, что войска во Францию, в любом случае, будут отправляться до самого последнего момента. Энтони впадал в уныние, представляя себе этот неблизкий вояж, утомительную выгрузку во французском порту и, возможно, целый год, который их продержат за границей, чтобы заменить те войска, которые хлебнули настоящей войны.

Он хотел получить двухдневный отпуск, но в Кэмп-Миллз, как оказалось, был строгий противогриппозный карантин — даже офицеров выпускали из лагеря только по служебным делам. Для рядового об этом и речи быть не могло.

В захлавленном, холодном, продуваемом всеми ветрами лагере царила страшная неразбериха, и каждая из множества проходивших через него дивизий лишь добавляла свою долю грязи к уже имевшейся. Их эшелон прибыл в семь вечера, и они ждали в очереди, пока впереди выяснялась какая-то очередная армейская неувязка. Вдоль состава, беспрестанно выкрикивая какие-то приказы и вообще поднимая страшный шум, сновали офицеры. Оказалось, что заминка произошла из-за полковника, пребывавшего в праведном гневе по поводу того, что он был вестпойнтовым, а война грозила кончиться прежде, чем он до нее доберется. Если бы правительство хоть на миг осознало, сколько сердец добрых старых вестпойнтеров будет разбито в течение этой недели, оно, несомненно, продлило бы бойню еще на месяц-другой. На беднягу просто жалко было смотреть!

Окидывая взглядом унылое скопище палаток, на целые мили расплывшееся по истоптанному месиву из грязи и снега, Энтони понимал, что искать телефон сейчас было бесполезно. Он мог при первой же возможности позвонить ей утром.

Поднятый вместе с другими в стылой рассветной мгле, он стоял на побудке и прислушивался к страстному потоку красноречия, истекавшему из капитана Даннинга:

— Вы, ребята, может быть, думаете, что война кончилась. Ну так я вам говорю — ничуть не бывало! Эти парни не собираются подписывать перемирие. Это их очередная уловка, и мы будем дураки, если позволим ослабнуть боевому духу в роте, потому что, скажу вам честно, через несколько дней мы уплывем отсюда, и когда попадем туда, куда нужно, то еще понюхаем настоящей схватки. — Он переждал, чтобы все могли полностью проникнуться важностью момента, потом продолжил. — Если вы думаете, что с войной покончено, просто поговорите с кем-нибудь из фронтовиков и поймете, думают ли они, что немцы уже поджали лапки. Нет. Никто так не думает. Я разговаривал со знающими людьми, и они говорят, что война продлится еще не меньше года. До конца еще далеко. Поэтому вам,

ребята, лучше не брать в голову таких дурацких мыслей.

Дважды подчеркнув свой последний тезис, он приказал роте разойтись.

В полдень Энтони бросился искать телефон. Когда он приближался к тому, что соответствовало центру лагеря, то заметил, что многие солдаты тоже куда-то бегут, какой-то человек в нескольких шагах от него вдруг подпрыгнул в воздух и прицелкнул каблуками. Стремление бежать овладело всеми, а из маленьких взволнованных групп, собиравшихся тут и там, слышались крики «ура». Он остановился и прислушался — над мерзлой равниной разносились свистки паровозов, потом вдруг рокочущими переборами вступили церковные колокола Гарден-Сити.

Энтони снова побежал. Крики становились яснее и отчетливее, вырываясь клубами пара в морозный воздух:

«Капитуляция Германии! Германия сдалась!»

Ложное перемирие

В тот же вечер, в непроглядном мраке седьмого часа, Энтони проскользнул между двумя товарными вагонами и, оказавшись под прикрытием насыпи, направился вдоль нее к Гарден-Сити, где и сел в электричку до Нью-Йорка. Его конечно могли арестовать — он знал, что военная полиция часто ходит по вагонам, проверяет пропуска, но надеялся, что сегодня их бдительность будет не на высоте. Кроме того, в город ему нужно было попасть в любом случае, по телефону он не застал Глорию ни в одном из мыслимых мест, а еще одного дня неизвестности просто не вынес бы.

После необъяснимых остановок и ожиданий, которые напомнили ему о той ночи больше года назад, когда он покидал Нью-Йорк, они наконец притащились на вокзал Пенсильвания, и он знакомой дорогой направился к стоянке такси. Ему самому было странно называть таксисту свой адрес, его охватило непонятное волнение.

Бродвей бесновался огнями, запруженный никогда не виданной карнавальной толпой, которая стремилась свой сверкающий путь, по щиколотку утопая в бумажном хламе, рассыпанном на тротуарах. Тут и там вознесенные на скамейки и ящики солдаты обращались к не очень-то им внимающей толпе, каждое лицо в которой казалось резким и отчетливым в потоке белого света, лившегося сверху. Энтони запомнилось полдюжины фигур — пьяный матрос, весь откинувшийся назад и поддерживаемый двумя дружками, размахивающий бескозыркой, издавая при этом череду совершенно диких воплей; раненый солдат с костылем в руке, влекомый в этом водовороте на плечах нескольких гражданских лиц; темноволосая девушка, задумчиво сидевшая, скрестив ноги, на крыше припаркованного такси. Сюда победа пришла, несомненно, в самое подходящее время, и кульминация ее была просчитана заранее со вполне божественной дальновидностью. Великая богатая нация провела триумфальную войну, пострадала достаточно для того, чтобы получить острые ощущения, но не озлиться — почему бы теперь не веселиться и не праздновать? Под этими яркими огнями блестели лица людей, слава которых давно уже миновала, самые цивилизации, породившие их, были давно уже мертвы — люди, чьи предки слышали вести о победах в Вавилоне, Ниневии, Багдаде, Тире; люди, чьи предки видели разубранный цветами, украшенный рабами кортеж, плывущий впереди прилива плененных по улицам императорского Рима...

Мимо «Риальто», сверкающего фасада «Астора», самоцветного великолепия Таймс-сквер... раскаленная добела огнями перспектива проспекта... Потом — может, это уже годы спустя? — он расплачивался с шофером перед белым зданием на Пятьдесят седьмой улице. Он в вестибюле... а вот и тот самый негр из Мартиники, ленивый, медлительный и неизменный.

— Миссис Пэтч дома?

— Я только заступил, сэр, — отвечивал страж лифта с неуместным британским акцентом.

— Подними меня.

Потом медлительное гудение лифта, три шага к двери, распахнувшейся от неумеренного усилия, с которым он начал стучать.

— Глория! — голос у него дрожал. Никакого ответа. Вялая струйка дыма поднималась из пепельницы... номер «Вэнити Фэйр», растопырив листы, валялся на столе корешком вверх.

— Глория!

Он кинулся в спальню, в ванную. И там ее не было. Небесно-голубой халат лежал на кровати, источая слабый запах духов, зыбкий и знакомый. На стул были брошены чулки и платье; открытая пудреница зевала на бюро. Должно быть, она куда-то вышла.

Телефонный звонок был настолько внезапным, что он вздрогнул — и отвечал, вполне ощущая себя самозванием.

— Алло! Могу я поговорить с миссис Пэтч?

— Нет. Я сам ее ищу. А кто это?

— Это мистер Кроуфорд.

— А это мистер Пэтч. Я только что приехал без предупреждения и вот теперь не знаю, где ее искать.

— О, — мистер Кроуфорд даже растерялся. — Ну, я думаю, она могла пойти на «Бал перемирия». Я знаю, она собиралась, но не думал, что уйдет так рано.

— А где этот «Бал перемирия» происходит?

— В «Асторе».

— Благодарю.

Энтони резко бросил трубку и поднялся. Кто этот мистер Кроуфорд? И с кем она ушла на бал? И как долго это уже продолжается? Эти вопросы наперегонки возникали в мозгу, и сами собой, в десятках разных вариантов, возникали ответы на них. Сама мысль о том, что она была близко, выводила его из себя.

Терзаясь самыми худшими подозрениями, он заметался по квартире, выискивая хоть какой-нибудь след присутствия мужчины, открывая все шкафчики в ванной, лихорадочно роясь в ящиках бюро. И вдруг он обнаружил нечто, заставившее его прекратить поиски и опуститься на одну из стоящих рядом кроватей, уголки его рта опустились, словно он собирался заплакать. В углу ящика ее тумбочки, связанные узкой голубой ленточкой, лежали все письма и телеграммы, которые он послал ей за этот год. Румянец внезапной радости и смутения покрывал его щеки.

— Я не достоин касаться ее! — громко кричал он четырем стенам. — Не достоин тронуть ее руку.

Тем не менее, он отправился искать ее.

В вестибюле «Астора» он был немедленно поглощен толпой настолько густой, что двигаться в ней было почти невозможно. Ему пришлось спросить не меньше чем у десятка людей, где находится бальный зал, прежде чем он получил достаточно трезвый и вразумительный ответ. В конце концов, после долгого ожидания ему удалось сдать в гардероб свою шинель.

Только что пробило девять, но танцы были в полном разгаре. Вокруг творилось что-то неопишное. Женщины, везде были женщины — пронзительно поющие, стремясь перекричать шум разноцветной, усыпанной конфетти толпы; девушки, разгоряченные вином; девушки на фоне мундиров десятка стран; дородные женщины, валяющиеся, растеряв все свое величие, на пол, поддерживая уважение к себе лишь криками «Да здравствуют союзники!», три седовласые старушки, водящие хоровод вокруг моряка, который волчком крутился на полу, прижимая к сердцу пустую бутылку из-под шампанского.

Затаив дыхание, Энтони всматривался в танцующих, вглядывался в спутанные линии танца, то сплетающегося в один хоровод, то вновь принимающегося гулять вразброд среди столов, наблюдал за дующимися в трубы, целующимися, кашляющими, смеющимися, пьющими под огромными полногрудыми флагами, которые склонились своими

раскаленными донельзя цветами над этим маскарадом и всеми его звуками.

Потом он увидел Глорию. Она сидела за столиком для двоих прямо на другом конце зала. На ней было черное платье и над ним, окрашенное в нежнейшие оттенки розового, оживленное лицо, которое он ощутил вдруг болезненно остро как высшее средоточье красоты во всем этом зале. Сердце у него екнуло, словно он услышал новую мелодию. Он протолкался к ней и позвал как раз в тот момент, когда серые глаза устремились вверх и отыскиали его. В то мгновение, когда тела их встретились и растаяли, весь мир, все веселье, kloкочущие вопли музыки слились, слабея, в один иступленный монотон, похожий на гул пчелиного роя.

— Глория моя! — вскричал он.

Поцелуй Глории был как прохладный ручеек, струящийся прямо из ее сердца.

Глава 2 Вопрос эстетики

Год назад, в тот вечер, когда Энтони отправился в Кэмп-Хукер, все что осталось от прекрасной Глории Гилберт — ее оболочка, ее восхитительное, юное тело — поднялось по широким мраморным ступеням вокзала Грэнд Сентрал в такт вздохам паровоза, дремотно бившимся в ушах, и вышло на Вандербилт Авеню, где над улицей нависала громада «Билтмора», чей низкий, сверкающий огнями вход всасывал в себя многоцветье меховых накидок роскошно одетых девушек. На какое-то время она задержалась у стоянки такси, наблюдая за ними и с удивлением сознавая, что всего несколько лет назад сама была из их числа — вечно стремящегося к сияющему Где-то, всегда готового к ожидающему в конце концов, исполненному страсти приключению, ради которого, собственно, и были так изящно выкроены, так затейливо украшены их боа, для которого были нарумянены их щеки, а сердца возносились даже выше, чем этот мимолетно-величественный дворец наслаждений, который готовился поглотить их вместе с прическами, накидками и всем прочим.

Холодало, и мужчины, спешившие мимо, поднимали воротники своих пальто. Эта перемена как-то успокоила ее. Но было бы еще спокойней, если б сразу все переменялось — погода, улицы и люди, и ее смахнуло бы отсюда, чтобы пробудиться одной, недвижимой как изваяние изнутри и снаружи, в высокой, напоенной запахом свежести комнате, словно в ее девственном, наполненном всеми цветами радуги прошлом.

В такси она обессилена расплакалась. То, что она уже больше года не была счастлива с Энтони, не имело сейчас значения. С некоторых пор его присутствие напоминало ей только о том памятном июне. Энтони, каким он стал в последнее время: раздражительный, слабый и вечно несчастный, не мог не вызывать ее ответного раздражения — он был интересен ей только тем, что в казавшейся теперь волшебной яркой сказкой юности они все же вкусили вместе от иступленного пиршества чувств. Благодаря этой общей для них и все еще живой памяти, она была готова сделать для Энтони больше, чем для любого другого человека — поэтому, садясь в такси, она так безутешно плакала и ей так хотелось вслух повторять его имя.

Несчастливая и одинокая, словно ребенок, о котором все позабыли, она сидела в притихшей квартире и писала ему полное смятенных чувств письмо:

...Я смотрю на эти проклятые рельсы и вижу, как ты едешь по ним, но без тебя, любимый, любимый мой, я не могу ни видеть, ни слышать, ни чувствовать, ни даже думать. Быть друг без друга — во всем, что с нами было и что будет — все равно что просить пощады у бури, Энтони: это все равно что стареть. Я так хочу поцеловать тебя — в затылок, в то место, где начинают расти твои милые темные волосы. Потому что я люблю тебя, и что бы мы ни сделали или ни сказали друг другу, сейчас или в прошлом, ты все равно должен чувствовать, как сильно я тебя люблю, как омертвела я, когда ты уехал. Я не в силах даже ненавидеть это проклятое скопище ЛЮДЕЙ, тех людей на вокзале, которые не имеют никакого

права жить — у меня нет сил даже возмутиться тем, что они поганят наш мир, потому что я могу только желать тебя.

Если б ты ненавидел меня, если б ты весь был покрыт язвами, как от проказы, если б ты сбежал с другой женщиной, бил меня или морил голодом — как все это глупо звучит, — я все равно хотела бы тебя, я все равно бы тебя любила. Я это ЗНАЮ, дорогой мой.

Сейчас поздно — у меня открыты все окна и воздух снаружи почти такой же мягкий, как весной, даже, мне кажется, более свежий и мягкий. Почему весну изображают юной девушкой, почему эта иллюзия, танцующая и распевая визгливым голосом, проделывает свой трехмесячный путь сквозь нелепое бесплодие земли? Весна — это сгорбленная старая кляча с торчащими ребрами, это куча навоза на поте, которую солнце и дождь доводят до состояния зловещей чистоты.

Через несколько часов ты проснешься, дорогой, чтобы снова страдать и испытывать отвращение к жизни. Ты будешь в Делавэре или Каролине, или еще где-нибудь, и никому не будет до тебя дела. Я не верю, что среди живущих кто-нибудь способен рассматривать себя как неустойчивое, мимолетное образование, ненужную роскошь или необязательное зло. Очень немногие из людей, разглагольствующих о бесцельности жизни, замечают собственную незначительность. Может быть, они думают, что проповедуя, будто жить вообще не стоит, они каким-то образом спасают собственное достоинство — но они не в силах этого сделать, даже мы с тобой...

... И все же я вижу тебя. Вокруг деревьев, где ты будешь проезжать, висит голубая дымка, такая прекрасная, какую не часто увидишь. Нет, гораздо чаще будут квадраты вспаханной земли — они будут тянуться вдоль дороги, как заскорузлые от грязи коричневые простыни, сохнувшие на солнце, живые и в то же время неживые, отвратительные. Природа, неряшливая старая карга, готова переспать на них с каждым вшивым фермером, с негром или иммигрантом, которому придет на ум пожелать ее.

Вот, ты видишь, что теперь, когда ты уехал, я принялась писать полные отчаяния и презрения письма. А это просто значит, что я люблю тебя, Энтони, всем, что готово любить в твоей Глории.

Надписав конверт, она подошла к своей половине кровати и легла на нее, комкая подушку Энтони, словно могла неистовым усилием чувства превратить ее в теплое, живое тело. К двум часам ночи глаза у нее уже высохли — вперившись в темноту невидяще-горестным взглядом, она вспоминала, безжалостно вспоминала, обвиняя себя в сотнях проявлений надуманного бессердечия, творя образ Энтони, напоминающий измученного и преображенного Христа. Временами она думала о нем так же, как он, возможно, думал о себе в минуты приступов сентиментальности.

В пять часов она все еще не спала. Неясный утробный шум, волной прокатывавшийся по окрестностям каждое утро, подсказал ей, сколько времени. Она услышала звон будильника и увидела желтый квадрат света на призрачно-белой стене. Вместе с полуоформившимся решением немедленно ехать на Юг печаль ее отдалилась, сделалась менее настоящей и двинулась прочь от нее, вместе с отступающей на запад темнотой. Она заснула.

Когда она пробудилась, зрелище пустой кровати рядом вновь всколыхнуло ее печаль, вскоре, однако, рассеянную неумолимой, черствой резкостью наступившего утра. Едва ли осознанное ею облегчение содержалось и в одиноком завтраке без усталого и озабоченного лица Энтони напротив. Теперь, когда она была одна, исчезло всякое желание капризничать по поводу пищи. Ей пришло в голову, что она могла бы скрасить свои завтраки лимонадом и помидорными сэндвичами вместо вечной яичницы с беконом и тостов.

Тем не менее, около полудня, обзвонив несколько своих знакомых, включая «военнообязавшуюся» Мюриэл, и обнаружив, что все они уже с кем-то обедают, она вновь дала волю одиночеству и тихой жалости к себе. Свернувшись клубком на кровати, с бумагой и карандашом в руке, она написала еще одно письмо Энтони.

Под вечер с посыльным принесли письмо, отправленное из какого-то маленького городка в Нью-Джерси, и знакомо построенные фразы, почти слышимые нотки беспокойства и неудовлетворенности были так приятны ей, так утешили. Кто знает? Может быть, армейская дисциплина закалит Энтони, приучит его к мысли о необходимости работать. Она непоколебимо верила, что война закончится прежде, чем он попадет на фронт, а они тем временем выиграют процесс в суде и смогут начать все сначала, только на этот раз совсем по-другому. И первое отличие этого старта будет в том, что она заведет ребенка. Просто невыносимо быть так беспредельно одинокой.

Минула еще неделя, прежде чем она смогла оставаться дома, не опасаясь ежеминутно заплакать. А в городе, как оказалось, приятного было мало. Мюриэл перевели в госпиталь в Нью-Джерси, откуда увольнения в Нью-Йорк давали только раз в две недели, и только лишившись ее общества, Глория начала понимать, как малочисленны были друзья, которых она завела за эти годы. Знакомые мужчины были в армии. «Знакомые мужчины?» — она, сама не зная почему, считала, что все мужчины, которые были когда-либо влюблены в нее, могли считаться ее друзьями. Ведь каждый из них когда-то ценил ее расположение дороже всего на свете. А теперь — где они все? По крайней мере двое уже умерли, полдюжины или больше женились, а остальных разбросало от Франции до Филиппин. Интересно, думал ли кто-нибудь из них о ней, и как часто, и что именно думал? Большинство из них, должно быть, до сих пор рисует себе девушку лет семнадцати или около того, ту юную сирену девятилетней давности.

Девушки тоже разбрелись кто куда. В школе её не любили. Она была слишком красива, слишком ленива, никогда не понимала, какая это честь — учиться в школе Фармовер и не готовилась стать в будущем Женой и Матерью. И девушки, которых никогда не целовали, с потрясенными выражениями на своих невзрачных, но не особенно благодетельных лицах, намекали на то, что Глорию — вовсе даже наоборот. Потом эти девушки разъехались на запад, на восток или на юг, повыходили замуж и сделались тем самым «народом», пророчествуя, если об этом заходил разговор, что Глория плохо кончит, — а сами и не подозревали, что ни один конец не бывает плох, и что никто из них, точно так же как и она, ни в коей мере не был хозяйкой своей судьбы.

Глория перебирала в памяти людей, которые перебивали у них в сером домике в Мариэтте. В то время ей казалось, что у них не было недостатка в обществе — и она тешила себя невысказанным убеждением, что все их гости были с тех пор чем-то обязаны ей. Каждый из них словно задолжал ей что-то вроде моральной десятки, и если бы она когда-нибудь оказалась в нужде, то могла бы потребовать от них возвращения этой воображаемой валюты. Но все они пропали, разлетелись как солома по ветру, непостижимым образом исчезли — кто фигурально, кто на самом деле.

К Рождеству убежденность Глории, что она должна быть вместе с Энтони, вернулась с новой силой, уже не в форме спонтанной эмоции, а как настоятельная, периодически повторяющаяся потребность. Она твердо решила уведомить его о своем намерении, но по совету мистера Хейта, который с недели на неделю ожидал слушания в суде, отложила это заявление.

Однажды в начале января, проходя по расцвеченной военными мундирами и увешанной флагами добродетельных наций Пятой авеню, она встретила с Рэйчел Барнс, которую не видела примерно год. Даже Рэйчел, к которой она с некоторых пор относилась весьма прохладно, была спасением от скуки, и они вместе зашли в «Ритц» выпить чаю.

После второго коктейля чувства их несколько оживились. Они положительно нравились друг другу. Зашел разговор о мужьях, Рэйчел говорила в свойственном всем женам тоне показного тщеславия, умалчивая о слишком личном.

— Родман за границей, в интендантском корпусе. Капитан. Он был убежден, что должен участвовать, а больше ни в какой род войск ему попасть не удалось.

— Энтони в пехоте. — Эти слова, принимая во внимание коктейль, Глория произнесла, пожалуй, слишком воодушевленно. С каждым глотком она преисполнялась уютного

и бодрящего патриотизма.

— Между прочим, — сказала Рэйчел полчаса спустя, когда они собрались уходить, — ты не сможешь прийти завтра под вечер на обед? Я принимаю двух ужасно милых офицеров, которым скоро уезжать в Европу. Я считаю, мы должны приложить все усилия, чтоб сделать этот вечер для них приятным.

Глория с радостью согласилась. Она записала адрес, вспомнив по номеру фешенебельный жилой дом на Парк-авеню.

— Было ужасно приятно повидать тебя, Рэйчел.

— Да, это было просто чудесно. Я, кстати, давно хотела.

Этими тремя фразами был поставлен крест на подразумеваемой позапрошлогодней ночи, когда Энтони и Рэйчел проявили несколько больше, чем нужно, внимания друг к другу — Глория простила Рэйчел, а та, в свою очередь, Глорию. Было также прощено, что Рэйчел оказалась свидетельницей величайшей катастрофы в жизни мистера и миссис Энтони Пэтч...

Жизнь движется вперед, опираясь на компромиссы.

Козни капитана Коллинза

Оба упомянутые офицера оказались представителями популярной военной профессии, пулеметчиками. За обедом они с нарочитой скукой говорили о себе, как о членах «Клуба самоубийц» — в те дни все, принадлежавшие к любому новому роду войск, говорили о себе в подобном духе. Один из капитанов — как отметила Глория, закрепленный за Рэйчел, — был высокий, чем-то похожий на лошадь человек лет тридцати с приятными усами и ужасными зубами. Другой, капитан Коллинз, был круглолицый, розовощекий и склонный непринужденно смеяться всякий раз, когда встречался взглядом с Глорией. Он немедленно был ею очарован и в продолжение всего обеда изливал на Глорию потоки глуповатых комплиментов.

После второго бокала шампанского она решила, что впервые за эти месяцы ей действительно весело.

После обеда было предложено пойти куда-нибудь потанцевать. Офицеры снабдили себя бутылкой ликера из буфета Рэйчел — закон запрещал продавать спиртное военным — и, оснащенные таким образом, они посетили несколько сверкающих огнями караван-сараев на Бродвее, протанцевав там бесчисленное количество фокстротов, честно меняясь партнерами; по мере того как Глория становилась более оживленной, она все больше нравилась розовощекому капитану, с лица которого почти не сходила сердечная улыбка.

В одиннадцать, к ее великому изумлению, она оказалась в меньшинстве при голосовании за продолжение танцев. Другие хотели вернуться на квартиру Рэйчел — заправиться еще спиртным, говорили они. Глория настойчиво доказывала, что фляжка капитана Коллинза еще наполовину полна — она только что видела — потом, встретившись взглядом с Рэйчел, она ясно увидела, как та ей подмигнула. Ничего не понимая, она пришла к заключению, что хозяйка хочет отделаться от офицеров и согласилась быть погруженной в такси, которое уже поджидало на улице.

Капитан Вулф сидел слева, держа на коленях Рэйчел. Капитану Коллинзу досталась середина и, усаживаясь, он обнял Глорию за плечи. Какое-то время его рука была неподвижна, потом стала медленно сжиматься, как тиски. Он склонился над нею.

— До чего же вы красивы, — прошептал он.

— Вы очень добры, сэр, — ее не радовали и не раздражали его слова. До Энтони так много рук прodelывали то же самое, что это стало для нее не более, чем жест, намекающий на чувства, и только.

Наверху, в продолговатой гостиной Рэйчел едва горел камин и мерцали две забранные оранжевым шелком лампы — это было все освещение, поэтому углы комнаты полнились глубокими дремотными тенями. Хозяйка, двигаясь по комнате в просторном платье

из украшенного темными разводами шифона, только подчеркивала и без того уже интимную атмосферу. Какое-то время они сидели все вместе, угощаясь сэндвичами, которые ждали их на чайном столике — потом Глория обнаружила себя на кушетке перед камином в обществе только капитана Коллинза. Рэйчел и капитан Вулф откочевали в другую часть комнаты, откуда доносились их приглушенные голоса.

— Как я хочу, чтоб вы не были замужем, — говорил Коллинз, при этом лицо его выражаю лукавую пародию на «полную серьезность».

— Почему? — Она протянула свой стакан в ожидании очередной порции коктейля.

— Не пейте больше, — сказал он, нахмуриваясь.

— А что такое?

— Вам бы лучше... не пить больше.

Глория внезапно поняла скрытый смысл этого замечания, ту атмосферу, которую он пытался создать. Ей стало смешно — но она понимала, что тут не над чем было смеяться. Ей очень нравился этот вечер и не было никакого желания идти домой — в то же время ее гордость была оскорблена тем, что с нею флиртуют на таком примитивном уровне.

— Налейте мне еще, — настаивала она.

— Не надо, прошу вас.

— О, не будьте таким идиотом, — раздраженно воскликнула она.

— Ну ладно, — неохотно уступил он.

Потом опять его рука приобняла ее и она опять не возражала. Но когда его розовая щека оказалась совсем близко, она отодвинулась.

— Какая вы красивая, — сказал он как бы без особой цели.

Она принялась что-то тихонько напевать, желая только, чтоб он убрал свою руку. И вдруг ее взгляд заметил в другом конце комнаты вполне интимную сцену — там Рэйчел и капитан Вулф слились в затяжном поцелуе. Глорию слегка передернуло — она сама не знала почему... Розовое лицо приблизилось снова.

— Не надо на них смотреть, — прошептал он. И почти одновременно его другая рука обвилась вокруг нее... она ощутила дыхание на своей щеке. И снова какая-то глупая веселость переборолла в ней отвращение и смех оказался оружием более острым, чем слова.

— Хм, я думал, вы «свой» человек, — говорил он.

— А что это такое?

— Ну, это человек, который любит, э-э... наслаждаться жизнью.

— Значит, вы считаете, что целовать вас — наслаждение?

Их разговор был прерван внезапным появлением Рэйчел и капитана Вулфа.

— Глория, уже поздно, — сказала Рэйчел — она раскраснелась, и волосы ее пребывали в беспорядке. — Тебе лучше остаться ночевать.

Секунду Глория думала, что офицеров просят удалиться. Потом все поняла и, поняв, как можно небрежнее встала.

Еще не догадываясь, в чем дело, Рэйчел продолжала:

— Вы можете занять комнату рядом с этой. Я выдам все необходимое.

Глаза Коллинза смотрели с собачьей мольбой, рука капитана Вулфа уже привычно обнимала талию Рэйчел, они ждали.

Но соблазн беспорядочных связей, цветистый, неизведанный, запутанный, вечно с душком и до избитости обычный, не прельщал ее и ничего не обещал. Если бы она хотела, она осталась бы, без колебаний и сожалений, но она предпочла выдержать взгляд шести враждебных и оскорбленных глаз, который, вместе с вежливыми и пустопорожними словами, провожал ее до самого выхода.

«Да и он парень тоже вовсе не „свой“, даже не попытался домой проводить, — думала она в такси, а потом вдруг волной накатило отвращение. — Господи, как все это пошло!»

Вопрос доблести

В феврале у нее был случай совершенно иного рода. Тюдор Бэйрд, ее старая любовь, молодой человек, за которого она одно время совсем уж собралась замуж, прибыл в Нью-Йорк в составе Военно-воздушного корпуса и позвонил ей. Они несколько раз ходили в театр, и через неделю, к ее немалому удовольствию, он снова влюбился в нее, как когда-то. Глория намеренно вела к тому и слишком поздно поняла, что забава оказалась слишком злой. Он уже дошел до того состояния, что где бы они ни оказались вместе, только сидел и потерянно молчал.

Член товарищества «Свиток и Ключи» в Йеле, он обладал надлежащей сдержанностью «человека хорошего тона», подобающими представлениями о рыцарстве и *noblesse oblige*, и естественно, но к несчастью — подобающими пристрастиями и подобающей узостью взглядов — словом, всеми теми чертами, которые Энтони научил ее презирать, но которыми она, тем не менее, скорее, восхищалась. Она находила, что в отличие от большинства мужчин своего типа он не был занудой. Он был красив, в меру и поверхностно остроумен, и когда она бывала вместе с ним, то чувствовала, что, опять же в силу некоторых качеств ему присущих — назовите их тупостью, верностью, сентиментальностью или как-нибудь не столь определенно, — он был готов ради нее на все.

Он говорил ей об этом между прочим, очень корректно и с тяжеловесной мужественностью, которая лишь скрывала подлинное страдание. Нисколько не любя, она его все больше жалела и в один из вечеров, скорее из сочувствия, поцеловала его, ведь он был так очарователен, этот реликт исчезающего поколения, жившего среди твердокаменных и прекрасных заблуждений, а сейчас заменявшегося дураками все менее доблестными. Потом она была рада, что поцеловала его, ибо на следующий день, когда его самолет падал с высоты тысячи пятисот футов в Минеоле, осколок мотора пробил ему сердце.

Глория одна

Когда мистер Хейт сообщил ей, что суд вряд ли состоится раньше осени, она решила, что стоит попробовать себя в кино, не ставя в известность Энтони. Если он узнает, чего она добилась в финансовом и профессиональном отношении, если поймет, что она может достичь успеха посредством Джозефа Бликмана, ничем не поступаясь, он откажется от своих глупых предубеждений. Однажды она полночи лежала без сна, планируя свою карьеру и наслаждаясь предчувствием своих успехов, а на следующее утро позвонила на «Филмз пар Экселенс». Мистер Бликман был в Европе.

Но на сей раз эта идея захватила ее столь властно, что она решила попытать счастья в агентствах по найму киноактеров. И, как это часто случалось, органы ее чувств сработали против ее благих намерений. Избранное ею агентство пахло так, словно уже давным-давно отдало Богу душу. Она подождала минут пять, изучая своих непрезентабельного вида соперниц, потом быстро вышла и не сбавляла шага, пока не попала в самые уединенные места Центрального парка и бродила там до тех пор пока не простудилась. Она старалась выветрить из своего уличного костюма запах агентства.

Весной, из писем Энтони — не из какого-нибудь одного в особенности, а из общего их настроения — она начала понимать, что он не хочет ее приезда на Юг. В них с фрейдистским постоянством повторялись какие-то нелепые оправдания, которые, похоже было, смущали его самого своей неубедительностью. Он вставлял их в каждое письмо, словно боялся, что забыл вставить в предыдущее, словно ему было отчаянно необходимо, чтоб они ее убедили. Начали становиться машинальными и вымученными разбавления его писем нежными, ласкательными словами — и выглядело все почти так, словно, заканчивая письмо, он вновь просматривал его и буквально втискивал их туда, как остроты в пьесу Оскара Уайльда. Она сделала вывод, отвергла его, расстроилась, разозлилась — и наконец гордо решила не замечать этого и позволила растущей холодности проникнуть в свою часть корреспонденции.

А в последнее время она нашла себе прекрасное средство от одиночества. Несколько

авиаторов, с которыми она познакомилась через Тюдора Бэйрда, частенько приезжали в Нью-Йорк, чтобы не оставлять ее одну, а потом еще оказалось, что в Кэмп-Диксе были расквартированы два других ее прежних воздыхателя. Когда этим молодцам пришлось отправиться за море, они, так сказать, сдали ее с рук на руки своим друзьям. Но после еще одного довольно неприятного опыта с претендентом в капитаны Коллинзы, когда с ней кого-либо знакомили, она предпочитала сразу уведомлять, что у него не должно возникнуть заблуждений относительно ее статуса и намерений.

Когда настало лето, она, как и Энтони, приучилась просматривать списки погибших и пропавших без вести офицеров, испытывая что-то вроде меланхолического удовольствия, когда узнавала о смерти кого-либо, с кем в былые времена танцевала «германку», или, по именам узнавая младших братьев своих бывших поклонников, думала, по мере того как развивалось наступление на Париж, что вот наконец мир подходит к неизбежному и вполне заслуженному краху.

Ей исполнилось двадцать семь. День рождения проскользнул, едва замеченный. Когда-то ее жутко испугало, что ей исполнилось двадцать, стало не по себе, когда дожила до двадцати шести, но теперь она смотрела в зеркало со спокойным самоодобрением, видя в нем британскую свежесть лица, и как всегда, по-мальчишески стройную фигуру.

Она старалась не думать об Энтони. У нее было такое ощущение, что она переписывается с незнакомцем. Она сообщила своим друзьям, что он произведен в капралы и была уязвлена их вежливым безразличием. Однажды она всю ночь проплакала, потому что ей стало жаль его, и если бы он был хоть чуточку отзывчивее, она без колебаний отправилась бы к нему на первом же поезде — что бы он ни делал, ему было нужно, чтоб кто-то морально его поддерживал и она чувствовала, что теперь способна даже на это. В последнее время, без постоянной траты на него своих моральных сил, она чудесным образом ожила. Перед его отъездом она была склонна, явно преувеличивая, размышлять о своих растраченных возможностях — теперь она вернулась к нормальному состоянию своего ума, крепкого, презрительного, жившего нынешним днем. Она купила куклу и стала наряжать ее, целую неделю проплакала над «Этен Фром», потом с удовольствием перечитала некоторые романы Голсуорси, которого любила за его способность описывать, как, словно пророк из тьмы, возникает иллюзия юной, романтической любви, которой все женщины вечно ждут в будущем и бесконечно ищут в прошлом.

В октябре письма от Энтони участились, сделались почти истеричными, а потом перестали приходить. Целый беспокойный месяц ей нужна была вся сила воли, чтоб удержаться от немедленной поездки в Миссисипи. Потом телеграмма рассказала ей, что он был в госпитале, и что в ближайшие дни она может ждать его в Нью-Йорке. И в тот ноябрьский вечер, шагая через зал, словно образ из какого-то сна, он вернулся в ее жизнь, — и все те долгие часы, которые несли с собой знакомую радость, она прижимала его к своей груди, словно баюкая иллюзию счастья и покоя, возвращения которой уже не чаяла дожидаться.

Генеральский конфуз

Через неделю полк Энтони отправили обратно в Миссисипи для расформирования. Офицеры заперлись в купе спальных вагонов и пили виски, которое купили в Нью-Йорке, а в пассажирских вагонах солдаты тоже изо всех сил старались напиться и всякий раз, когда поезд останавливался возле какой-нибудь деревушки, они притворялись, что только что вернулись из Франции, где именно они практически и положили конец германской армии. А так как все они носили фронтовые пилотки и говорили, что просто не успели нашить золотые шевроны, прибрежное сельское население было под большим впечатлением и расспрашивало, как им понравилось в окопах, на что они, цокая языками и покачивая головами, отвечали «Не передать!». Кто-то взял кусок мела и написал на стенке вагона «Мы победили — теперь по домам», офицеры только посмеялись и ничего не сказали. Все

стремились придать хоть какое-то достоинство этому бесславному возвращению.

Когда поезд, громяхая на стыках, подбирался к лагерю, Энтони начал беспокоиться, как бы не обнаружить на платформе терпеливо ожидающую Дот. К своему немалому облегчению, он не увидел ее и ничего о ней не услышал и, полагая, что если б она все еще была в городе, то попыталась бы с ним связаться, пришел к заключению, что она уехала — куда, он не знал и не стремился узнать. Он хотел только вернуться к Глории — возрожденной и чудесно живой Глории. Когда его наконец демобилизовали, он покидал свою роту в кузове огромного грузовика с толпой себе подобных, которые беззлобно, почти сентиментально кричали «ура!» своим офицерам, в особенности капитану Даннингу. Капитан, со своей стороны, со слезами на глазах говорил о радости и т. д., которую ему доставила работа с ними и т. д., о не пропавшем даром времени и т. д., о выполненном долге и т. д. Это было очень глупо и человечно; прислушиваясь ко всему этому, Энтони, разум которого был оживлен недельным пребыванием в Нью-Йорке, вновь испытывал глубокое отвращение к воинской службе и всему, что она собой олицетворяла. В своих ребяческих душах двое из каждых трех кадровых офицеров считали, что войны придуманы для армий, а никак не наоборот. Ему было радостно видеть генерала и штабных офицеров, неприкаянно слонявшихся по опустевшему лагерю, лишенных своих подчиненных. Ему радостно было слышать, как парни из его роты презрительно посмеивались над уговорами остаться в армии. Их призывали записываться во всяческие «школы». Но он-то уже знал, что это за «школы».

Через два дня он был в Нью-Йорке, с Глорией.

И снова зима

Как-то, в конце февраля, вернувшись под вечер домой и ощупью пробравшись через небольшую прихожую, в которой, по случаю зимних сумерек, было совсем темно, он обнаружил сидевшую у окна Глорию. Когда он вошел в комнату, она обернулась.

— Ну, и что тебе сказал мистер Хейт? — спросила она равнодушно.

— Ничего, — ответил он, — все как всегда. Может быть, в следующем месяце.

Глория внимательно посмотрела на него; слухом, привычным к его голосу, она уловила, что слово «ничего» он произнес с трудом.

— Ты опять пил, — отметила она бесстрастно.

— Пару рюмок.

— Ясно.

Он, позевывая, уселся в кресло, и какое-то время оба молчали. Потом она внезапно спросила:

— Ты на самом деле был у мистера Хейта? Скажи мне правду.

— Нет, — он попытался улыбнуться. — Получилось так, что у меня просто не хватило времени.

— Я так и думала, что ты не пойдешь... Он присылал за тобой.

— Ну и черт с ним. Мне надоело обивать пороги в его офисе. Можно подумать, он делает мне громадное одолжение. — Он взглянул на Глорию, словно ожидая моральной поддержки, но она уже вернулась к созерцанию сомнительных и не располагающих к себе окрестностей.

— Я как-то сегодня устал от жизни, — сообщил он осторожно. Глория молчала. — Встретил приятеля, и мы посидели, поболтали в «Билтморе».

Сумерки внезапно сгустились, но ни один из них даже не пошевелился, чтобы зажечь свет. Так и сидели, думая бог знает о чем, пока порыв снежной круговерти не извлек вялого вздоха из груди Глории.

— А ты чем занималась? — спросил он. Тишина начинала угнетать его.

— Читала журнал — все эти idiotские статьи гребущих кучи денег авторов о том, что беднякам не на что купить себе шелковых рубашек. А я, пока читала все это, не могла думать ни о чем другом, кроме того, как я хочу серую беличью шубу, и о том, что мы не можем себе

этого позволить.

— Почему это? Можем.

— О, перестань.

— Что «перестань»? Если ты хочешь шубу, она у тебя будет.

В ее голосе, доносившемся из полумрака, послышалась плохо скрытая насмешка.

— Ты хочешь сказать, что мы можем снова продать облигации?

— Да, если нужно. Я не хочу, чтоб ты ходила в чем попало. Хотя, с тех пор как я вернулся, мы и так уже немало потратили.

— Ради Бога, замолчи, — сказала она с раздражением.

— Почему это?

— Потому что я до смерти устала от этих твоих разговоров о том, сколько мы потратили и что мы сделали. Ты вернулся два месяца назад, и с тех пор мы почти каждый вечер где-нибудь веселимся. Мы оба соскучились по веселью, вот и не стали себе в этом отказывать. Ты, по-моему, не слышал от меня ни слова упреков или сожалений? А сам все время только ноешь и ноешь. Мне уже абсолютно наплевать на то, что с нами происходит, и что из всего этого выйдет, я, по крайней мере, хоть в этом последовательна. Но я не собираюсь больше терпеть твои жалобы и этот трагический скулеж...

— Но с тобой, между прочим, тоже иногда не слишком весело.

— Я не обязана кого-то веселить. Ты же вообще не пытаешься изменить хоть что-нибудь.

— Но я пробую...

— Ха! Это мы уже где-то слышали. Сегодня утром ты клялся не притрагиваться к спиртному, пока не получишь места. А вместо этого у тебя не хватило храбрости явиться даже к мистеру Хейту, когда он тебя вызвал, чтобы поговорить о деле.

Энтони вскочил на ноги и включил свет.

— Послушай, — вскричал он, часто моргая, — мне надоели эти твои придирки!

— Ну да, и что же ты собираешься делать по этому поводу?

— Ты думаешь, я бесконечно счастлив, — продолжал он, не обращая внимания на ее слова, — Думаешь, я не понимаю, что мы живем совсем не так, как надо?

Через секунду Глория, вся дрожа, стояла рядом с ним.

— Хватит! — взорвалась она. — Не желаю больше слушать эти нотации. Вечно — только ты и твои страдания! Да ты просто жалкий слабак, и никто больше!

Они беспомощно смотрели друг на друга, понимая, что каждый остался при своем, и что обоим это страшно, бесконечно надоело. Потом она вышла в спальню, прикрыв за собой дверь.

Возвращение Энтони вновь выдвинуло на первый план все их довоенные неурядицы. Цены выросли угрожающе и вдобавок к этому почти вдвое ужался их доход. Постоянно росла задолженность мистеру Хейту, которому пока не платили, потом были акции, купленные по сотне, а теперь упавшие до тридцати-сорока за штуку, и другие капиталовложения, которые не приносили вообще ничего. Прошлой весной Глория была поставлена перед выбором: съезжать с квартиры, либо подписать договор на год, но уже за двести двадцать пять долларов в месяц. Она подписала. И неизбежно, по мере того как возрастала необходимость экономить, они обнаруживали, что экономить совершенно не умеют. Пришлось прибегнуть к испытанной политике самообмана. Махнув на все рукой, они предпочитали болтать о том, что они будут делать... завтра, или о том, что нужно «кончать с этими вечеринками», или о том, как Энтони пойдет работать. Но когда опускались сумерки, Глория, уже привыкшая к ежевечерним сборищам, начинала ощущать, как ее охватывает неизбывное, подспудное беспокойство. Она становилась на пороге спальни, все яростнее покусывая пальцы и ловя взгляд Энтони, когда он время от времени отрывался от книги. Потом звонил телефон — и ее нервы могли наконец расслабиться — отвечала она с плохо скрываемым нетерпением. И вот кто-нибудь приходил «буквально на несколько минут» и — о! скука притворства, появление столика с напитками,

возрождение изнуренного духа — и пробуждение, как срединная точка бессонной ночи, в которой они блуждали.

По мере того как вместе с маршами возвращавшихся войск по Пятой авеню проходила зима, им становилось все яснее, что со времени возвращения Энтони их отношения полностью изменились. После расцвета нежности и страсти каждый из них возвратился в область собственных грез, куда не было доступа никому. И нежные слова, которые они говорили, шли от одного пустого сердца к другому, не менее пустому, отдаваясь эхом в пустоте того, что — они наконец это поняли — на самом деле ушло.

Энтони еще раз попробовал обойти городские газеты на предмет работы, но был окончательно лишен мужества пестрой кучей рассыльных, телефонисток, редакторов. Ответ был один: «Все вакансии мы сохраняем для наших сотрудников, которые еще не вернулись из Франции». Как-то, в конце марта, взгляд его упал на объявление в утренней газете и, как следствие этого, он обнаружил наконец слабое подобие подходящей работы.

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДАВАТЬ!!!

Заработай, обучаясь!

Наши распространители имеют от 50 до 200 долл. в неделю.

Далее следовал адрес на Мэдисон-авеню и просьба явиться в тот же день к часу. Глория, заглянув ему через плечо, после одного из их, обычно поздних, завтраков, увидела, как он праздно разглядывает это объявление.

— Почему бы тебе не попробовать? — предложила она.

— Нет уж — это одна из тех самых работ, на которых ни черта не заработаешь.

— А может быть, и нет. По крайней мере, будешь знать.

Поддавшись ее уговорам, к часу дня он отправился по указанному адресу, где оказался одним из густой и разношерстной толпы мужчин, ожидавших перед входной дверью. Здесь были все — от мальчишки посыльного, явно прогуливавшего рабочее время, до лишенного возраста, согбенного индивида, опиравшегося на столь же сгорбленную трость. Некоторые из мужчин имели нездоровый вид — впалые щеки и припухшие красные глаза, — другие были молоды, может быть, еще учились в школе. После пятнадцати минут толкотни, в течение которых все они с угрюмой подозрительностью разглядывали друг друга, появился приятной наружности молодой пастырь в приталенном костюме и с манерами церковного служки, который погнал их наверх, в большую комнату, которая напоминала класс и содержала в себе неимоверное количество школьных парт. За ними и расселись будущие продавцы — и опять принялись ждать. Через некоторое время небольшое возвышение в конце комнаты заполнилось полудюжиной трезвых, но оживленных людей, которые, за единственным исключением, расселись полукругом, лицом к аудитории.

Исключение составлял человек, который вышел на край возвышения, он казался самым рассудительным, самым оживленным и самым молодым из компании. Аудитория с надеждой рассматривала его. Он был невысокий, довольно приятной наружности, приятность которой была, скорее, коммерческого, чем артистического плана. У него были прямые, светлые, пушистые брови и почти подозрительно честные глаза; достигнув края своей трибуны, он, казалось, бросил эти глаза прямо в аудиторию, одновременно простирая вперед руку с двумя оттопыренными пальцами. Потом, пока он, легонько покачиваясь, утверждался на месте, в аудитории установилась выжидательная тишина. С совершеннейшей уверенностью молодой человек уже взял слушателей в руки, и его слова, когда они слышались, были твердыми и доверительными, он, что называется, говорил «начистоту».

— Ребята, — начал он и сделал паузу. Слово гулко замерло где-то в конце класса, лица, рассматривавшие его с надеждой, цинизмом или скукой были одинаково прикованы к нему и захвачены вниманием. Шесть сотен глаз обратились чуть вверх. Ровным непрерывающимся током, который напомнил Энтони о катящихся в боулинге шарах, он вышел в море изложения.

— Этим ярким и солнечным утром вы развернули свою любимую газету и нашли там объявление, в котором ясно и без прикрас говорится, что вы способны продавать. Вот и все, что там было сказано — не говорилось о том «что», не говорилось о том «как», не говорилось «зачем». Там содержалось одно-единственное утверждение, что вы, и вы, и вы — все это с энергичным указыванием на сидящих, — можете продавать. Так что моя задача — не в том, чтоб сделать из вас преуспевающих людей, потому что каждый человек рождается с успехом в кармане и только сам себя делает неудачником; она не в том, чтоб научить вас разговаривать, потому что каждый человек — прирожденный оратор и только сам себя делает косноязычным; моя задача — поведать вам одну-единственную вещь таким образом, чтоб вы уяснили себе, — я хочу сказать вам, что вы, и вы, и вы уже получили в наследство деньги и процветание, которые только ждут, чтоб вы предъявили на них права.

В этом месте какой-то ирландец мрачной наружности, сидевший в одном из задних рядов, поднялся и вышел.

— Этот человек думает, что найдет все это в пивном баре за углом (смех). Нет, там он этого не найдет. Когда-то я и сам искал в таких местах (смех), но это было до того, как я сделал то, что каждый из вас, господа, вне зависимости от того, молод он или стар, богат или беден (слабое журчание ироничного смеха), тоже в состоянии сделать. Это было до того, как я нашел... себя!

Теперь мне интересно, знает ли кто-нибудь из вас, ребята, что такое «Разговоры по душам»? «Разговоры по душам» — это небольшая книга, которую я начал лет пять назад, чтобы предать бумаге то, что я открыл по поводу главных причин человеческих неудач и человеческого успеха — от Джона Д. Рокфеллера до Джона Д. Наполеона (смех), и даже с тех незапамятных дней, когда Авель продал право своего первородства за миску похлебки. Вот здесь у меня сотня этих «Разговоров по душам». Те из вас, кто искренен, кто заинтересован в нашем предложении и, прежде всего, кто не удовлетворен тем, как жизнь обходится с ним в настоящий момент, могут взять одну и забрать домой, когда будут выходить отсюда вон через те двери.

У меня в кармане лежат четыре письма, касающиеся «Разговоров по душам», которые я только что получил. Имена тех, кто эти письма подписал, знакомы каждой семье в Соединенных Штатах. Послушайте вот это, из Детройта:

Дорогой мистер Карлтон! Я хочу заказать еще три тысячи экземпляров «Разговоров по душам» для распространения среди моих продавцов. Они сделали для улучшения работы моих людей больше, чем любые премии и льготы. Я постоянно читаю их сам и хочу сердечно поздравить вас с тем, что вы проникли в самую суть величайшей проблемы, стоящей перед нами сегодня — проблемы умело продать свой товар. Проблема работы с покупателем — тот гранитный фундамент, на котором покоится вся наша страна. Всего вам наилучшего, Сердечно ваш Генри У. Тэррел.

Он произнес имя в три звучных, торжествующих приема — и подождал, пока это произведет свой магический эффект.

Потом зачитал еще два письма — от производителя пылесосов и от президента «Грейт Нозерн Дойли Компани».

— А теперь, — продолжил он, — я собираюсь рассказать вам в нескольких словах, в чем заключается проект, который призван «сделать» тех из вас, кто хочет заняться им с надлежащим настроением. Дело, попросту говоря, вот в чем: «Разговоры по душам» зарегистрированы как компания и мы собираемся вложить эту брошюру «в руки» каждой крупной организации, связанной с бизнесом, каждого торговца и каждого человека, который знает — я не говорю «думает», я говорю «знает», — что он может продавать! Мы предлагаем на рынок определенное количество акций концерна «Разговоры по душам»; и с той целью, чтоб они распространились как можно шире, а также с тем, чтоб мы могли представить живой, конкретный, облеченный в плоть и кровь пример того, что представляет собой

умение продавать, или даже, скорее, — как это может быть, мы собираемся дать тем из вас, кто окажется на это способен, шанс продавать эти акции. Еще раз говорю, мне все равно, что вы пытались продавать в прошлом и как вы это пытались делать. Не имеет значения, стары вы или молоды. Я хочу знать только две вещи: первая — хотите ли вы преуспеть, и вторая — готовы ли вы работать для этого?

Меня зовут Сэмми Карлтон, не «мистер» Карлтон, а просто Сэмми. Я обыкновенный, не склонный к ерунде человек, без всяких этих манерных ужимок. Я хочу, чтоб вы звали меня Сэмми.

Вот и все, что я сегодня собирался вам сказать. А завтра я хочу, чтобы те из вас, кто все это обдумает и прочтет экземпляр «Разговоров по душам», который будет выдан вам при выходе, пришли в это же время в эту же комнату, и мы продолжим обсуждение нашего проекта, я объясню вам в чем заключаются основы успеха, которые я открыл. Я хочу, чтоб вы почувствовали, что вы, и вы, и вы можете продавать!

Голос мистера Карлтона еще метался какое-то время эхом по залу, потом замер. Под топот множества ног Энтони, сдавленный толпой, был вынесен из комнаты.

Дальнейшие похождения с «Разговорами по душам»

Сопровождая свои слова ироничным смешком, Энтони поведал Глории историю своих коммерческих пождений. Но она слушала без особого веселья.

— И ты опять собираешься отказаться? — холодно спросила она.

— Ну... не ожидаешь же ты, что я...

— Я никогда ничего от тебя не ожидала.

Он пришел в замешательство.

— Ладно, я не вижу ни малейшей пользы в том, чтобы смеяться до упаду над всем этим. В конце концов, самое старое на свете — это новые веяния.

Глории понадобилось удивительное количество моральных сил, чтобы принудить его пойти туда еще раз и когда он явился на следующий день, несколько расстроившись от внимательного прочтения отдающих старческим маразмом банальностей о желании преуспеть и честности, игриво изложенных в «Разговорах по душам», то обнаружил лишь пять десятков из первоначальных трех сотен, ожидающих появления жизнерадостного и неотразимого Сэмми Карлтона. На этот раз все способности мистера Карлтона оживлять и принуждать были обращены на цели разъяснения аудитории великолепнейшего предмета для рассуждений — как продавать. Казалось бы, общепринятый метод состоял в том, чтоб сделать предложение, а потом спросить: «Ну что, будете брать?» — о нет, это не метод! — истинный метод заключался в том, чтоб сделать предложение и потом, доведя противника до полного изнеможения, выдвинуть перед ним категорический императив: «Теперь послушайте! Я потратил время на объяснения. Вы согласились с моими доводами: все, что я хочу теперь знать — сколько вам нужно?»

По мере того как мистер Карлтон громоздил одно на другое подобные утверждения, Энтони начинал чувствовать к нему что-то вроде вызывающего отвращение доверия. Похоже, этот парень знал, о чем говорил. Он имел вид преуспевающего человека, сумевшего подняться до положения, занимая которое, он мог поучать других. Энтони не приходило в голову, что тот тип людей, который добивается коммерческого успеха, редко сознает, как и почему это произошло, и когда начинает объяснять причины этого, то они, как было в случае с его дедом, оказываются ошибочно понятыми и нелепыми.

Энтони отметил, что из достаточно большого количества пожилых людей, которые сначала откликнулись на объявление, на следующий день пришло только двое, а среди самых стойких, которые вернулись и в третий раз, чтобы получить от Карлтона уже настоящие инструкции как продавать, виднелась лишь одна седая голова. Зато уж оставшиеся тридцать так и горели желанием обратиться в новую веру; движения их губ повторяли движения губ мистера Карлтона, они с энтузиазмом покачивались в такт на своих

сиденьях, а в интервалах между его фразами переговаривались меж собой напряженным одобрительным шепотом. И все же из немногих избранных, кто, по словам мистера Карлтона, «был назначен судьбой получить те награды, которые по праву и по истине принадлежат им», менее чем полдюжины сочетали в себе хотя бы минимальное количество внешней представительности с великим даром «быть толкачом». Но всем им уже сказали, что они прирожденные «толкачи» — и теперь нужно было только, чтоб они с первобытной страстью поверили в качество своего товара. Он даже призывал каждого из них, по возможности, купить несколько акций, чтоб увеличить тем самым силу своей убежденности.

И вот на пятый день Энтони вышел на улицу с полным набором ощущений человека, которого разыскивает полиция. Действуя согласно инструкции, он выбрал высокое, весьма делового вида здание — из тех соображений, чтобы подняться в лифте сразу наверх, а потом начать работу, спускаясь вниз и причаливая к каждому офису, на дверях которого имелась табличка с фамилией. Но в последнюю минуту его одолели сомнения. Может, более разумно было бы несколько приучить себя к той ледяной атмосфере, которая, он чувствовал, ожидала его, посетив несколько офисов, скажем, на Мэдисон-авеню. Он вошел в некую аркаду, которая казалась не столь угрожающе процветающей и, заметив вывеску, которая гласила: «Перси Б. Уэзерби. Архитектор», героически открыл дверь и вошел. Молодая накрахмаленная женщина вопросительно воззрилась на него.

— Могу я видеть мистера Уэзерби? — Ему было интересно, дрожит ли у него голос.

Она испытующе положила руку на телефон.

— Ваше имя, пожалуйста.

— Я не думаю, что он, э-э... знает меня. То есть, он не знает моего имени.

— Так какое у вас к нему дело? Вы что, страховой агент?

— О нет, ничего похожего! — поспешил отречься Энтони. — Нет, нет. Это... это личное дело. — Он не знал, стоило ли это говорить. Все звучало так просто, когда мистер Карлтон напутствовал свое стадо «Не позволяйте, чтоб они не позволяли вам! Покажите им, что вы твердо решили поговорить с ними, и они станут вас слушать».

Девушка поддалась очарованию меланхолического лица Энтони, и через минуту дверь во внутреннюю комнату распахнулась, пропуская высокого кривоногого человека с прилизанными волосами. С плохо скрываемым нетерпением он подошел к Энтони.

— Вы хотели видеть меня по личному делу?

Энтони дрогнул.

— Я хотел бы поговорить с вами, — сказал он вызывающе.

— О чем?

— Нужно немного времени, чтоб объяснить.

— Ну, так о чем речь? — В голосе мистера Уэзерби слышалось растущее раздражение.

Тогда Энтони, чеканя каждое слово, каждый слог, начал:

— Не знаю, слышали вы или нет о серии брошюр под названием «Разговоры по душам»...

— Боже милостивый! — вскричал Перси Б. Уэзерби, архитектор, — вы что, собираетесь разговаривать со мной по душам?

— Нет, это сугубо деловой разговор. Дело в том, что «Разговоры по душам» это такая компания, и мы выпускаем на рынок некоторое количество...

Его голос медленно слабел и съеживался под пристально-презрительным взглядом не желавшей жертвовать собой жертвы. Он боролся еще минуту, все больше поддаваясь, путаясь в собственных словах. Уверенность покидала его резкими судорожными импульсами, которые, казалось, были частями его собственного тела. Почти безжалостно Перси Б. Уэзерби, архитектор, оборвал беседу.

— Черт побери! — взорвался он негодованием, — и это вы называете личным делом!

Он резко развернулся и проследовал в свой кабинет, громко хлопнув дверью. Не отваживаясь поднять глаз на стенографистку, Энтони скандальным и таинственным

образом тоже просочился за пределы комнаты. Обильно потев, он стоял посреди холла, удивляясь, почему его не идут арестовывать; в каждом мимолетном взгляде на себя он безошибочно распознавал укор и презрение.

Спустя час, при помощи двух порций неразбавленного виски он принудил себя к следующей попытке. Он зашел в магазинчик сантехники, но едва упомянул о своем деле, как хозяин начал с великой поспешностью натягивать пальто, грубовато объяснив, что ему пора на обед. Энтони вежливо заметил, что было бы пустой затеей продавать что-либо мучимому голодом человеку, с чем водопроводчик от всей души согласился.

Этот эпизод взбудрил Энтони; он даже старался думать, что если б водопроводчику не нужно было так спешить, он бы, по крайней мере, выслушал его.

Миновав несколько сверкающих и неприступных универмагов, он вошел в бакалейную лавочку. Словоохотливый владелец сообщил ему, что прежде чем покупать какие-либо акции, он должен уяснить себе, как повлияет на рынок окончание войны. Энтони это показалось почти нечестным. В утопии для торговцев мистера Карлтона единственным резонансом, который ожидаемые покупатели вообще могли выдвинуть против покупки акций, было сомнение в том, что это окажется перспективным вложением капитала. Ясно, что человек в таком состоянии рассудка был бы смехотворно легкой жертвой, практически готовой сдаться сразу после разумного применения к нему соответствующих правил продажи. Но эти люди... да они вообще не желали ничего покупать.

Прежде чем явиться перед своим четвертым клиентом — агентом по продаже недвижимости, Энтони принял еще несколько порций, но был, тем не менее, повержен единственным и убедительным, как всякий силлогизм, ходом. Агент сказал, что у него три брата работают в инвестиционном бизнесе. Чувствуя себя ниспровергателем семейных традиций, Энтони извинился и вышел вон.

После очередной «подзаправки» он принялся внедрять блестящий план продажи акций в сознание барменов на Лексингтон-авеню. Это заняло несколько часов, ибо в каждой точке внедрения нужно было пропустить несколько дополнительных порций, чтобы ввести владельца в соответствующий настрой перед разговором о деле. Но буфетчики, все как один, утверждали, что если бы у них водились деньги на покупку акций, они не прозябали бы в буфетчиках. Было похоже на то, что все они сговорились и решили остановиться именно на этом ответе. По мере того как приближался мглистый, пропитанный сыростью фэйв-оклок, он обнаружил, что в них стала развиваться еще более непростительная тенденция — попросту отделиваться шутками.

И вот, в пять часов, невероятным усилием воли сосредоточившись, он решил, что должен внести некоторое разнообразие в стиль своей работы. Он выбрал средних размеров магазин полуфабрикатов и вошел. В некоем озарении он чувствовал, что вещь, которую нужно было сделать — навести чары не только на лавочника, но и на всех покупателей, — тогда, возможно, повинувшись стадному инстинкту, они начнут покупать уже как изумленное и тем самым убежденное целое.

— М-мое п-пачтень... — громко начал он севшим голосом. — Имею неб-большое предложение...

Если он хотел тишины, то получил ее. Что-то вроде благоговейного трепета снизошло на нескольких покупателей и седовласого старца в колпаке и переднике, который разделявал курицу.

Энтони извлек из своего расхристанного портфеля пучок бумажек и задорно потряс ими в воздухе.

— Пок-купайте заем, — предложил он, — не хуже чем «либерти» ! — Фраза порадовала его, и Энтони решил ее развить. — Лушще, чем «либ-берть»... Каж-ждая такая облига...ция... стоит двух «либ-берти»... — Тут сознание сделало пропуск и перескочило сразу к заключительной части речи, которую он и выдал в соответствующем жестовом оформлении, несколько, правда, искаженном необходимостью держаться то одной, то обеими руками за прилавок. — Значит, т-теерь слушьте. Я потратил на вас время

и не желаю з-зять, почему вы не х-хотите покупать. Я хочу, чтоб вы с...казали: «ну, конечно, да». Хочу, чтоб вы сказ...али сколько!

С этого места они должны были начать подходить к нему с авторучками и чековыми книжками в руках. Поняв, что они, должно быть, не уловили сути намека, Энтони, повинуясь актерскому инстинкту, вернулся и повторил финал:

— Теперь слуш-шайте с-сюда!... Вы отняли... у меня время. Выслуш-шали прел-ложение. С доводами с-согласны? Теперь, все... что я хочу от вас — сколько облигац-ий «либерти»?

— А теперь слушай сюда! — вмешался новый голос. Из стеклянной загородки в углу магазина появился дородный мужчина с лицом, украшенным симметричными завитками светлых волос и медвежьей перевалкой двинулся к Энтони. — Слушай сюда!

— С-сколько? — непоколебимо повторял продавец. — Вы з-заняли мое время...

— Эй, ты! — заорал хозяин. — Сейчас твое время займет полиция.

— Вот уж...ж никогда, — с благородной неустрашимостью отозвался Энтони. — Все, что я хочу знать — сколько?

Из разных мест магазина стали взлетать в воздух крохотные облачка комментариев и увещаний.

— Какой ужас!

— Это буйнопомешанный.

— Просто нализался до безобразия.

Хозяин взял Энтони за руку.

— Убирайся, или полицию вызову.

Какие-то реликты здравого смысла заставили Энтони кивнуть и неловким движением водворить свои акции обратно в портфель.

— Сколько? — повторил он с сомнением.

— Весь участок, если понадобится! — прогремел его недоброжелатель, потрясая своими желтыми усами.

— Вот им все... и продам.

С этими словами Энтони повернулся, сосредоточенно поклонился своей последней аудитории и, покачиваясь, выбрался из магазина. На углу он нашел такси и на нем добрался до дому. Там упал на диван и погрузился в глубокий сон, где его и обнаружила Глория; дыхание его наполняло воздух удушливой пряностью, а рука все еще сжимала распахнутый портфель.

За исключением тех моментов когда Энтони бывал пьян, палитра его интересов сделалась меньше, чем у здорового старика, и когда в июле объявили сухой закон, он обнаружил только, что среди тех, кто мог себе это позволить, пить стали еще больше, чем когда бы то ни было. Любой хозяин ставил теперь на стол бутылку по малейшему поводу. Тенденция демонстрировать наличие в доме спиртного была доведена до уровня того же самого инстинкта, который заставляет мужчину увешивать свою жену драгоценностями. Иметь в доме спиртное стаю признаком своеобразного шика, почти знаком респектабельности.

По утрам Энтони просыпался разбитым, нервным и уже уставшим. Безмятежные летние сумерки, равно как и лиловый утренний холодок, оставляли его безучастным. Только на краткое мгновение за целый день, ощущая тепло и силу обновления, заключенную в первом коктейле, его ум все же обращался к потаенным грезам о грядущем удовольствии — это общее свойство и счастливых, и проклятых. Но продолжалось это недолго. По мере того как он пьянел, грезы рассеивались, и он становился чем-то вроде смятенного призрака, блуждающего во внезапных провалах собственного сознания; в лучшем случае бесчувственно презрительного, а порой нисходящего к самым мрачным глубинам морального падения, полным совершенно неожиданных вещей. Как-то вечером в июне они с Мори жестоко поссорились из-за какого-то пустяка. На следующее утро он смутно припоминал, что все произошло из-за разбитой полубутылки шампанского. Мори

призывал его хоть немного протрезветь, и это оскорбило чувства Энтони; пытаясь изобразить оскорбленное достоинство, он вскочил из-за стола и, схватив онемевшую от стыда Глорию за руку, наполовину поволок ее к такси, оставив Мори с тремя заказанными обедами и билетами в оперу.

Полутрагичные фиаско подобного рода сделались настолько обычными, что когда они случались, Энтони уже и не старался улаживать последствий. Если Глория протестовала — но в последнее время она была более склонна погружаться в презрительное молчание, — то он занимал либо жестко-оборонительную позицию, либо с мрачным видом величавой поступью удалялся из квартиры. Но никогда больше, с того самого случая на платформе в Рэдгейте, даже в гневе он не поднимал на нее руки — хотя частенько его удерживал от этого лишь какой-то инстинкт, и самое это обстоятельство приводило его в ярость. В силу того, что до сих пор она была ему дороже, чем любое другое живое существо, он ненавидел ее чаще и мучительнее.

Судьи департамента апелляций до сих пор не снизили до какого-либо решения, но после повторной отсрочки наконец подтвердили постановление суда первой инстанции — при двух голосах «против». Теперь апелляционный иск был направлен против Эдварда Шаттлуорта. Дело было передано в суд высшей инстанции, а они вновь впали в состояние бессрочного ожидания. Шесть месяцев, может быть — год. Все в этом деле теряло для них последние черты реальности, делалось далеким и неосязаемым, как небеса.

В течение всей прошедшей зимы один-единственный предмет служил для них мелким, но вездесущим камнем преткновения — вопрос о серой шубе для Глории. В то время нельзя было сделать и нескольких шагов по Пятой авеню, чтобы не натолкнуться на даму, закутанную до пят в беличьи меха. Эти женщины были так похожи на детскую игрушку-волчок. Они могли казаться свиноподобными и неприличными, они напоминали содержанок, прикрываясь этой богатой, животнo-женственной одеждой. И все же — Глория хотела серую беличью шубу.

Обсуждая этот вопрос, или, лучше сказать, превратив его в предмет для споров — ибо даже больше, чем в первый год их совместной жизни, каждое обсуждение принимало форму жестоких дебатов, полных таких фраз как «всенепременно», «в высшей степени возмутительно», «но, тем не менее, это так» и сверхвыразительного «невзирая на», — они пришли к заключению, что не могут себе этого позволить. Постепенно это стало вырастать для них в символ растущих финансовых неурядиц.

Для Глории «усыхание» их доходов явилось феноменом, рождающим лишь изумление и не имеющим ни объяснений, ни предпосылок — то, что это вообще могло происходить на протяжении пяти лет, казалось почти намеренной жестокостью, задуманной и осуществленной язвительным Творцом. Когда они поженились, семь с половиной тысяч в год, да еще умноженные ожиданием многих миллионов, казались вполне достаточными для молодой пары. Глория не могла себе представить, что их доход уменьшался не только чисто количественно, но также терял покупательную способность, пока выплата пятнадцати тысяч долларов отсроченного гонорара мистеру Хейту не сделала этого факта внезапно очевидным и устрашающим. Когда Энтони призвали в армию, они подсчитали, что их доход был чуть больше четырех сотен в месяц, при долларе тогда уже падавшем в цене, но после его возвращения в Нью-Йорк они обнаружили, что дела их находятся в гораздо более тревожном состоянии. От своих вложений они получали теперь только четыре с половиной тысячи в год. И хотя развязка дела по завещанию, как неуловимый мираж, все время удалялась от них, а опасная в финансовом отношении черта маячила совсем близко, они, тем не менее, постоянно приходили к выводу, что жить, не выходя за рамки их дохода, просто невозможно.

Итак, Глория ходила без беличьей шубы и каждый день, бывая на Пятой авеню, почти ощущала это своей поношенной, едва прикрывавшей колени и уже безнадежно вышедшей из моды леопардовой шкурой. Раз в два месяца они продавали облигацию, и все же, когда счета бывали оплачены, денег оставалось ровно столько, чтоб их тут же проглатывали

текущие расходы. Расчеты Энтони показывали, что их капитал протянет еще лет семь. Поэтому Глория не на шутку разозлилась, когда за одну неделю затяжной неистовой пьянки, во время которой Энтони, без всяких на то оснований, решил расстаться в театре с пиджаком, жилетом и рубашкой и покинул помещение только при помощи спецнаряда билетеров, они потратили в два раза больше, чем могла стоить шуба из серой белки.

Был ноябрь, напоминающий скорее бабье лето, и теплая-теплая ночь — совсем ненужная, ибо летние труды были завершены. Бэйб Рут впервые побил национальный рекорд, а Джек Дэмпси сломал в Огайо челюсть Джессу Уилларду. Где-то в Европе у ставшего уже привычным числа детей раздувало животы от голода, а дипломаты были заняты своим привычным делом — охраняли мир для новых войн. В Нью-Йорке «призывался к дисциплине» пролетариат, а на матчах по футболу за Гарвард обычно ставили пять против трех. Кончилось перемирие, началом новой эпохи наступал настоящий мир.

В спальне квартиры на Пятьдесят седьмой улице Глория металась на своей кровати, временами садилась, чтобы сбросить ненужное одеяло и заодно попросить Энтони, лежавшего без сна рядом, принести ей стакан холодной воды. «Только обязательно положи кусочек льда, — напоминала она, — а то вода в кране совсем теплая».

Сквозь полупрозрачные шторы ей было видно округлую луну, висевшую над крышами, и где-то позади нее на небе — желтоватое зарево Таймс-сквер; и созерцая это невозможное световое сочетание, ее мозг неустанно пережевывал некое ощущение, скорее спутанный клубок ощущений, который не давал ей покоя весь день, и день предшествовавший этому, и еще раньше, до того самого дня, когда она могла припомнить себя думающей о чем-то ясно и последовательно — а это, должно быть, случилось последний раз, когда Энтони был еще в армии.

В феврале ей исполнялось двадцать девять. И этот месяц приобретал какую-то зловещую, неодолимую значительность, заставляя ее проводить все эти смутные, полулихорадочные часы в размышлениях о том, не растрачивала ли она в конце концов без всякой пользы свою, пусть пока незаметно, но увядающую красу, и существовала ли вообще такая вещь как полезность чего-нибудь перед лицом жестокой и неизбежной тленности всего живого.

Много лет назад, когда ей исполнилось двадцать один, она записала в дневнике: «Красота годится лишь на то, чтоб ею восхищаться, чтоб ее любить, без устали собирать ее, чтоб потом иметь возможность бросить своему избраннику, словно охапку благоухающих роз. Мне кажется — насколько я вообще могу судить об этом, — что моя красота заслуживает именно такой участи...»

А теперь весь этот ноябрьский день, весь этот несчастный, заброшенный день под грязновато-белым небом Глория думала о том, что, может быть, она ошибалась. Чтобы сохранить в неприкосновенности свой главный дар, она не искала другой любви. Когда же пламя первой страсти потускнело, стало угасать, потом осталось в прошлом, она все старалась сберечь — но что? Ее мучило, что она не понимает, что же все время пытается сберечь — просто память чувств или некую глубинную, основополагающую концепцию чести. Теперь ее одолевали сомнения: придерживалась ли она в своей жизни вообще какой-либо моральной концепции — пройти без печали и сожалений по самой веселой из всех возможных дорожек, сохранить собственное достоинство, оставаясь всегда собой и делая только то, что ей наверняка будет к лицу. Всем, от того первого мальчишки в итонском воротничке, чьей «девочкой» она была когда-то, до самого последнего случайного мужчины, чей взгляд блеснул, останавливаясь на ней, нужна была только та несравненная прямота, которую она могла вложить во взгляд или облечь в порой незаконченную фразу — ибо она всегда предпочитала говорить отрывками предложений, — чтоб удалиться на неизмеримое расстояние, свить вокруг себя кокон непреодолимых, излучающих несказанный свет иллюзий. Чтобы пробуждать мужские души, чтобы творить в них высокое счастье и возвышенное отчаяние, она должна была оставаться неприступно гордой — гордой до недостижимости, гордой до трогательной податливости, гордой до страстности

и одержимости.

Она знала, что в душе никогда не хотела иметь детей. Грубая телесность, приземленность, непереносимость ощущения беременности и, наконец, угроза ее красоте — все это отталкивало. Она хотела существовать только в виде мыслящего цветка, продлевая и сохраняя только себя. Ее сентиментальность могла изо всех сил цепляться за ее собственные иллюзии, но ироничная душа нашептывала ей, что материнство — почет, доступный и обезьяне. Поэтому все ее мечты сводились к грезам о неких призрачных детях — первозданных совершенных символах ее первозданной совершенной любви к Энтони.

Потом, в конце концов, красота была единственным, что никогда не изменяло ей. Она не встречала красоты подобной собственной. Вся этика и эстетика меркли перед великолепной конкретностью ее бело-розовых ног, чистым совершенством ее тела и совершенно детским ртом, который сам был материальным воплощением поцелуя.

В феврале ей исполнялось двадцать девять. И по мере того, как таяла эта бесконечная ночь, Глория все острее осознавала, что они с ее красотой должны каким-то образом использовать оставшиеся три месяца. Сначала она не могла придумать, как именно, но постепенно решение оформилось само собой в виде вечно манившего к себе киноэкрана. На этот раз она была настроена серьезно. Никакая материальная нужда не могла с такой силой подвигнуть ее к действию, как этот страх. И наплевать на Энтони... Энтони, этот слабый, бедный духом, сломленный человек с красными глазами, к которому она иногда все еще испытывала нежность. Он не в счет. В феврале ей будет двадцать девять — еще сотня дней, так много; завтра же она должна пойти к Бликману.

С этим решением пришло облегчение. Ее радовала мысль, что хоть иллюзия красоты может быть продлена, пусть в виде изображения на целлулоиде, после того как сама реальность исчезнет. Итак — завтра.

На следующий день ей было совсем плохо. Она все же попыталась выйти, но не упала в обморок, только схватившись за почтовый ящик возле парадной двери. Лифтер помог ей подняться наверх, где она и лежала на кровати до возвращения Энтони, не в силах даже расстегнуть лифчик.

Пять дней она провалялась с гриппом, который, точно так же как осень, свернувшая за угол и вдруг превратившаяся в зиму, перешел в двустороннее воспаление легких. В лихорадочных блужданиях ее сознания она крадучись брела по дому, полному холодных неосвященных комнат, разыскивая свою мать. Она хотела одного: быть маленькой девочкой, которую надежно опекает покладистая, но всемогущая сила, пусть не такая умная, но более надежная, чем она сама. И еще казалось, что тот единственный любовник в жизни, которого она по-настоящему хотела, так и остался в ее снах.

«Odi profanum vulgus»

Однажды в разгар болезни Глории случилось странное происшествие, которое потом долгое время не давало покоя мисс Макговерн, опытной сиделке. Это случилось в полдень, но комната, в которой лежала больная, была затенена и покойна. Мисс Макговерн стояла рядом с кроватью, готовя какое-то лекарство, в то время как миссис Пэтч, которая до этого, казалось, крепко спала, вдруг села на кровати и с большой серьезностью в голосе начала говорить:

— Миллионы людей, — говорила она, — кишачие словно крысы, отвратительно пахнущие, лопочущие как обезьяны... обезьяны. Или, скорее, как вши. За единственный прелестный дворец... скажем, на Лонг-Айленде, или даже в Гринвиче... за дворец, полный картин старых мастеров, утонченных, изысканных вещей... где по ухоженным аллеям, зеленым газонам с видом на синее море прогуливаются прекрасные люди в великолепных нарядах... Я бы пожертвовала сотнями, тысячами их, миллионами. — Она с трудом подняла руку и прищелкнула пальцами. — Мне нет до них дела, понимаете?

Взгляд, которым в заключение этой речи она смерила мисс Макговерн, был странно игривым и удивительно внимательным. Потом она издала короткий, отчетливо презрительный смешок и, откинувшись на подушки, погрузилась в сон.

Мисс Макговерн была ошарашена. Ее очень заинтересовало, что это были за сотни тысяч, которыми готова была пожертвовать миссис Пэтч ради своего дворца. Она пришла к выводу, что это — доллары, хотя речь, как будто, шла не о долларах.

Кино

Был февраль, семь дней до дня ее рождения, и сильный снегопад, который заполнял перекрестки, подобно тому, как грязь заполняет щели в полу, превращался там в мокрое месиво и был препровожаем в сточные канавы поливочными шлангами отдела по очистке улиц. Ветер, не становившийся менее суровым от своей переменчивости, врывается сквозь открытые окна гостиной, разглашая убогие тайны окрестных кварталов и вынося в своем унылом круженье из квартиры Пэтчей застойный запах табака.

Глория, завернутая в теплый халат, вошла в стылую комнату и, подняв трубку, попросила соединить ее с Джозефом Бликманом.

— Вы имеете в виду с мистером Джозефом Блэком? — спросила телефонистка из «Филмз пар Экселенс».

— Бликман. Джозеф Бликман. Б-л-и...

— Мистер Бликман сменил свою фамилию на Блэк. Вам именно он нужен?

— То есть... да. — И она, чувствуя неловкость, вспомнила, как в былые дни прямо в глаза называла его «Блокхэдом».

Его офиса она достигла путем обмена любезностями с еще двумя женскими голосами; последний принадлежал личному секретарю, которая попросила Глорию назвать себя. И только услышав в трубке течение узнаваемого, но все равно незнакомого голоса, она поняла, что со времени их последней встречи минуло три года. И еще он изменил свою фамилию на Блэк.

— Не могли бы мы с вами встретиться? — предложила она беспечно. — Это будет, конечно, деловая встреча. Я наконец-то собралась поработать в кино, если получится.

— Ужасно рад. Я всегда был уверен, что вам это понравится.

— И вы могли бы мне устроить пробу? — осведомилась она с надменностью, свойственной всем красивым женщинам, вообще всем женщинам, которые когда-либо считали себя красивыми.

Он уверил ее, что вопрос только в том, когда она хочет попробоваться. В любое время? Хорошо, он позвонит ей позже и даст знать. Беседа завершилась подобающим случаю обоюдным многословием. Потом с трех до пяти она сидела у телефона, но он не позвонил.

На следующее утро пришло письмо, которое и утешило, и взволновало ее.

Дорогая Глория. По счастливой случайности в поле моего зрения оказался один проект, который, я полагаю, может вас заинтересовать. Мне бы хотелось, чтоб вы начали с чего-то, что может принести вам определенную известность. В то же время, если такая красивая девушка, как вы, будет взята в картину на равных правах с какой-нибудь «заезженной» звездой, которые являются неизбежным злом во всякой кинокомпании, это даст повод для сплетен. Но вот как раз сейчас в картине Перси Б. Дебриса есть роль молодой девушки, которая, я думаю, оказалась бы вам по силам и помогла бы составить определенную репутацию. В главных ролях будут заняты Вилла Сэйбл и Гастон Мирс, а вы могли бы, я полагаю, исполнить роль младшей сестры героини.

Во всяком случае, Перси Б. Дебрис, который снимает эту картину, полагает, что если бы вы могли приехать на студию послезавтра (в четверг), то он готов сделать пробу. Если десять часов вас устроит, я буду ждать вас именно в это время.

С наилучшими пожеланиями,

Всегда искренне ваш, Джозеф Блэк.

Глория решила, что Энтони лучше ничего не говорить, пока не будет окончательно ясно, получит ли она роль, поэтому на следующее утро она собралась и выскользнула из квартиры, пока он еще спал. Зеркало, казалось, представило ей точно такой же отчет, как и всегда. Она внимательно вглядывалась в себя, пытаясь понять, оставила ли какие-нибудь следы болезнь. Она еще не набрала своего обычного веса, и несколько дней назад ей даже показалось, что у нее впалые щеки, — но теперь она чувствовала, что это были временные явления, а именно сегодня она выглядела свежо, как всегда. Она водрузила на себя купленную к случаю шляпку, и так как день был теплый, оставила дома свою леопардовую оболочку.

На студии «Филмз пар Экселенс» о ее приходе доложили по телефону и сообщили, что мистер Блэк сию минуту спустится. Глория оглядывалась по сторонам. Показались две девушки, предводимые маленьким толстяком в пиджаке с прорезными карманами, и одна из них обратила внимание на стопу тонких пакетов, наваленных у стены примерно по грудь человеку в высоту и футов на двадцать в длину.

— Это студийная почта, — пояснил толстяк, — фотографии звезд, которые работают в «Пар Экселенс».

— О!

— Каждая подписана Флоренс Келли, либо Гастоном Мирсом, либо Мак Доджем, — он доверительно подмигнул. — По крайней мерс, когда Минни Макглюк из какого-нибудь Саук Сентер получит фотографию, которую заказывала, она именно так и подумает.

— Значит, они просто проштампованы?

— Само собой. Чтоб подписать половину этих фотографий, им понадобилось бы заниматься этим по восемь часов в день. Говорят, рассылка портретов стоит Мэри Пикфорд пятьдесят тысяч в год.

— Скажи на милость!

— Клянусь! Пятьдесят тысяч. Это же лучший способ рекламы...

Они скрылись из виду, и почти тут же появился Бликман — смугловатый обходительный джентльмен, элегантно облаченный в свои сорок с небольшим лет, — который с учтивой теплотой поприветствовал ее и сказал, что за три года она ничуть не изменилась. Он провел ее за собой в какое-то огромное помещение, наверняка не меньше, чем арсенал, рассеянное местами полосами слепяще яркого света и уставленное необычными сооружениями. Каждая масть декораций была помечена большими белыми буквами «Гастон Мирс компани», «Мак Додж компани», или просто «Филмз пар Экселенс».

— Были когда-нибудь на студии?

— Не приходилось.

Ей здесь нравилось. Не было душного запаха грима, не ощущалось аромата пропитанных потом мишурных костюмов, который еще много лет назад вызвал у нее отвращение к закулисной стороне музыкальной комедии. Эта работа делалась в тонах ясного утра, и все относящееся к ней казалось роскошным, великолепным и новым. На одной из площадок, которая вся радостно светилась маньчжурскими драпировками, среди декораций, повинувшись указаниям мегафона, расхаживал самый настоящий китаец, похожий на огромную сверкающую механическую куклу, представляя в назидание молодому национальному сознанию поучительную древнюю сказку.

К ним приблизился рыжеволосый человек и с некоторой фамильярностью, но вежливо заговорил с Бликманом, который отвечал:

— Здравствуйте, Дебрис. Вот, пожалуйста, миссис Пэтч... Как я вам говорил, миссис Пэтч хотела бы попробовать себя в кино. Прекрасно, сейчас, куда нам идти?

Мистер Дебрис — великий Перси Б. Дебрис, подумала Глория, — указал им на площадку, которая представляла собой внутренность некоего офиса. Вокруг камеры, располагавшейся у переднего края площадки, расставили несколько стульев, и они втроем

уселись на них.

— Бывали раньше на студии? — поинтересовался мистер Дебрис, окидывая Глорию взглядом, который был, разумеется, по меньшей мере, квинтэссенцией наблюдательности. — Нет? Хорошо, тогда я постараюсь поточнее объяснить вам, что тут будет происходить. Сейчас мы проведем то, что у нас называется пробой, чтобы посмотреть, насколько вы фотогеничны, насколько естественно двигаетесь, а также насколько восприимчивы к указаниям режиссера. Не нужно нервничать по этому поводу. Я просто попрошу оператора снять несколько десятков метров из эпизода, который я пометил здесь, в сценарии. А пока давайте обсудим, что от вас требуется.

Он достал пачку отпечатанных на машинке листков и стал объяснять эпизод, который ей предстояло сыграть. Выяснилось, что некая Барбара Уэйнрайт тайно вышла замуж за младшего партнера фирмы, офис которой и был сооружен на площадке. Однажды, зайдя случайно в пустой кабинет, она, естественно, захотела получше познакомиться с местом, где работает ее муж. Тут звонит телефон, и она, после некоторых колебаний, отвечает на звонок. Она узнает, что ее муж был сбит автомобилем и скончался на месте. Она вне себя. Сначала она просто не в состоянии осознать то, что произошло, но наконец смысл случившегося доходит до нее и она замертво падает на пол.

— Вот, собственно, и все, чего мы хотим, — заключил мистер Дебрис. — Я буду находиться здесь и говорить вам, что вы приблизительно должны делать, но вы должны действовать так, словно меня здесь нет, то есть действовать по собственному разумению. И не нужно бояться, что мы собираемся слишком строго вас судить. Мы просто хотим получить представление о вашем экранном образе.

— Понимаю.

— Грим вы найдете в комнате за площадкой. Только не злоупотребляйте. Особенно красным.

— Понимаю, — повторила Глория, кивая. Она нервно облизала губы.

Проба

Когда она вошла на площадку через настоящую деревянную дверь, которую тщательно прикрыла за собой, то вдруг совсем не к месту поняла, насколько неподходящее на ней платье. К этому случаю нужно было купить что-нибудь «специально для девушки», она еще могла носить такие платья и это могло бы оказаться совсем неплохим вложением денег, подчеркнув ее юную грацию.

Когда из белого зарева перед ее глазами донесся голос мистера Дебриса, она внезапно вернулась к реальности происходящего.

— Вы оглядываетесь в поисках мужа... Так. Вы не видите его... у вас возникает желание осмотреть офис...

До ее сознания дошло ровное стрекотание камеры. Оно раздражало. Глория невольно глянула в том направлении и подумала, все ли у нее в порядке с гримом. Потом, с видимым усилием, она заставила себя начать; еще никогда в жизни не ощущала она, что все ее движения и жесты так банальны и неуклюжи, настолько лишены грации и достоинства. Она бесцельно двигалась по кабинету, время от времени брала в руки какие-то предметы и бессмысленно рассматривала их. Потом она осмотрела пол, глянула в потолок и принялась изучать никак не относившийся к делу карандаш, лежавший на столе. Наконец, не в силах ничего больше придумать, и еще меньше в силах что-либо выразить, она заставила себя улыбнуться.

— Хорошо. Теперь звонит телефон. Дрин-дрин-дрин! Сначала не решаетесь, потом отвечаете.

Она некоторое время пребывала в нерешительности, затем, как ей показалось, слишком быстро подняла трубку.

— Я слушаю.

Голос звучал плоско и ненатурально. Слова прозвенели в пустом павильоне, как бессильная попытка духа воплотиться хоть во что-нибудь. Нелепость их требований вдруг родила в ней резкое неприятие. Неужели они ожидали, что она так вот, сразу сможет поставить себя на место этого неправдоподобного, непонятого ей персонажа?

— Нет... нет... нет еще! Теперь слушайте: «Джон Саммер только что был сбит автомобилем и скончался!»

Глория позволила своим детским губам чуть приоткрыться.

— Вешайте трубку! С грохотом!

Она подчинилась, все еще уставившись неподвижными, широко раскрытыми глазами в стол. Наконец она ощутила едва заметное воодушевление, возросла и ее уверенность в себе.

— Господи! — вскрикнула она и подумала, что на этот раз получилось неплохо. — О, Боже мой!

— Теперь обморок.

Она рухнула вначале на колени, потом откинулась навзничь и, не дыша, замерла на полу.

— Хорошо, — прозвучал голос мистера Дебриса. — Этого хватит, благодарю вас. Материала вполне достаточно. Вставайте, не нужно больше лежать.

Глория поднялась, пытаясь обрести достоинство и отряхивая юбку.

— Ужасно! — заметила она со сдержанным смешком, хотя сердце колотилось неистово. — Это было ужасно, не так ли?

— Что-то не понравилось? — сказал мистер Дебрис, вежливо улыбаясь. — Показалось тяжело? Я ничего не могу сказать, пока не просмотрю материал.

— Конечно, я понимаю, — согласилась она, пытаясь уловить хоть какой-то намек в его замечаниях — и не могла. Это были просто ничего не значащие слова, которые он должен был сказать, чтоб не особенно обнадеживать ее.

Через минуту она уже покинула студию. Бликман пообещал, что сообщит ей о результатах пробы в ближайшие дни. Слишком гордая, чтоб вымогать у него более определенные комментарии, она чувствовала себя в полнейшей растерянности, поскольку теперь, когда этот шаг наконец был сделан, она поняла, насколько за эти три года свыклась с подспудной мыслью, что в запасе у нее успешная карьера в кино. Всю ночь она пыталась беспристрастно припомнить те мелочи, которые могли решить все «за» или «против». Ее беспокоило, достаточно ли она загримировалась, и еще волновало, не слишком ли серьезно она себя вела, ведь героиня ее была двадцатилетней девушкой. И меньше всего она была довольна собственной игрой. Ее выход мог вызвать только отвращение — на самом деле, все до сцены с телефоном представляло собой кучу бестолковщины, — а потом проба кончилась. Если бы они только поняли! Как она хотела попробовать еще раз. Бредовый план позвонить утром и попросить о новой пробе овладел ею так же внезапно, как и исчез. Ей показалось невежливым и неразумным просить еще одной милости у Бликмана.

На третий день ожидания нервы ее были на пределе. Она постоянно кусала внутреннюю сторону щек, пока та не стала сплошной кровоточащей раной и горела огнем, когда она полоскала рот листерином. Она так настойчиво ссорилась с Энтони, что он в бешенстве сбежал из дома. Но, напуганный ее беспримерной холодностью, примерно через час позвонил, извинился и сказал, что обедает в Амстердам-клубе — единственном, в котором он сохранил еще членство.

Это было после часу дня, и она, позавтракав в одиннадцать, решила прогуляться перед вторым завтраком и отправилась в Парк. Почту приносят в три. До трех ей нужно вернуться.

Был один из преждевременно теплых весенних дней. В Парке подсыхали дорожки, и маленькие девочки сосредоточенно возили под бестенными деревьями туда-сюда белые кукольные коляски, следом за ними парами следовали скучающие няньки, обсуждая друг с другом те огромной важности секреты, которые интересны, похоже, только нянькам.

Два на ее маленьких золотых часах. Она хотела купить себе новые, овальные,

сделанные из платины и инкрустированные бриллиантами — но такие стоили побольше, чем беличьи шубы и сейчас были для нее недоступны, как и все прочее, если, конечно, ее не ждет дома именно такое письмо... примерно через час... точно через пятьдесят восемь минут... Десять минут, чтобы дойти, остается сорок восемь... сорок семь...

Хладнокровные девочки, катящие свои коляски по залитым солнцем, еще не просохшим дорожкам. Няньки, болтающие между собой о своих непостижимых секретах. Тут и там на газетах, расстеленных на влажных еще скамейках, обтрепанные мужчины, относящиеся, скорее, не к этому восхитительному сверкающему дню, а к тому грязному снегу, который обессилено хоронился по темным углам, ожидая окончательного истребления...

Миновала целая вечность, прежде чем она, войдя в сумрачный вестибюль, увидела чернокожего лифтера, совсем не к месту стоявшего в пятнах света от витражного окна.

— Нам есть какая-нибудь почта? — спросила она.

— Наверху, мадам.

Отвратительно визгнула кнопка на доске управления, и Глория стала ждать, пока он управлялся с телефоном. Стоны, с которыми лифт прокладывал себе путь наверх, просто убивали ее, этажи проплывали мимо как медлительные провалы столетий, каждый грозный чем-то своим, обличающий, значительный. Письмо — белое пятно проказы — лежало на грязном кафеле в прихожей...

Дорогая Глория.

Вчера днем мы просмотрели отснятый материал и у мистера Дебриса сложилось мнение, что в этой роли он хотел бы видеть женщину помоложе. Он сказал, что играли вы неплохо и в фильме предполагается небольшая характерная роль весьма надменной богатой вдовы, которую, он думает, вы могли бы...

Ничего не соображая, Глория поднимала взгляд, пока он не уперся куда-то под потолок. Но она не увидела противоположной стены, потому что ее серые глаза были полны слез. Зажав смятое письмо в руке, она прошла в спальню и опустилась на колени перед длинным зеркалом, вделанным в створку платяного шкафа. Это был ее двадцать девятый день рождения, и весь мир, колыхаясь, куда-то плыл перед ее глазами. Она хотела убедить себя, что все дело было в гриме, но ее чувства были сейчас слишком глубоки, слишком потрясены, чтобы их удовлетворило какое угодно утешение.

Она с напряжением вглядывалась в себя, пока не ощутила, как у нее сводит височные мышцы. Да — щеки у нее чуть впалые, уголки глаз подчеркнуты крохотными морщинками. Но сами глаза совсем другие. Да, совсем другие глаза!.. И тут она внезапно поняла, какие усталые были у нее глаза.

— Личико мое, — зашептала она в страстном отчаянии. — Милое мое личико! Не хочу!.. Не хочу без него жить! Господи, что с ним стало?!

Она медленно склонилась к зеркалу, потом, как на кинопробе, ничком повалилась на пол и разрыдалась. Это было первое неуклюжее движение в ее жизни.

Глава 3

Никаких вопросов!

В течение следующего года Энтони и Глория стали напоминать актеров, которые растеряли свои костюмы, да и гордость, чтобы продолжать в трагическом ключе, поэтому когда миссис и мисс Хальм из Канзас-Сити однажды вечером в отеле «Плаза» сделали вид, что не узнали их, — они ведь просто, как и большинство людей, побоялись заглянуть в уродливые зеркала собственной животной сущности.

Их новая квартира, за которую они платили восемьдесят пять долларов в месяц,

располагалась на Клермонт-авеню, которая пролегает в двух кварталах от Гудзона в смутных даях сотых улиц. Они прожили здесь уже с месяц, когда однажды под вечер к ним заехала повидаться Мюриэл Кэйн.

Были безупречные сумерки на исходе весны. Энтони возлежал на кушетке, озирая Сто двадцать седьмую улицу в направлении реки, рядом с которой мог видеть только одинокое пятно яркой древесной зелени, которое сообщало Риверсайд-драйв сомнительную тенистость. За водным пространством располагались Пэлисейдс, увенчанные уродливо-решетчатой структурой парка аттракционов, — и все же скоро будут сумерки, и та же самая железная паутина воссияет на фоне небес, как заколдованный дворец над ленивым блеском вод тропического канала.

Улицы по соседству, как открыл для себя Энтони, были улицами, на которых играли дети — немногим приятнее тех, которые он привык проезжать на своем пути в Мариэтту, но того же, в общем, сорта; со случайной шарманкой или фисгармонией и бесчисленными парочками молоденьких девушек, бредущих под этими невысокими небесами в вечерней прохладе и в бесконечных мечтах до аптеки на углу за мороженым с содовой.

На улице сумерки, играют дети, неистово вопя что-то бессвязное, едва долетающее до распахнутых окон — и Мюриэл, которая пришла повидаться с Глорией, болтает с ним из чуть мерцающего мрака, повисшего по углам комнаты.

— Зажги лампу, почему мы сидим без света? — предложила она. — Мне даже как-то не по себе.

Он устало поднялся и подчинился; серые пятна окон исчезли. Энтони потянулся. За последнее время он отяжелел, над поясом безвольным валиком навис живот; его плоть обмякла и расплзлась. Ему было тридцать два года и ум его представлял собой удручающее и беспорядочное месиво непонятно чего.

— Выпьешь немного, Мюриэл?

— Нет уж, только не я. Больше не употребляю. Что подельываешь, Энтони? — спросила она с любопытством.

— Да вот, процесс этот все время отнимает, — отозвался он без всякого выражения. — Дело поступило в апелляционный суд высшей инстанции — к осени так или иначе должно решиться. Хотя есть некоторые возражения насчет того, может ли вообще апелляционный суд рассматривать этот иск.

Мюриэл прищелкнула языком и склонила голову набок.

— Ну, молодцы! Никогда не слыхала, чтобы дело тянулось так долго.

— А, они все так тянутся, — промолвил он апатично, — все дела по завещаниям. Говорят, редкий случай, если решится за четыре или за пять лет.

— Ясно... — и Мюриэл отважно изменила тему. — А почему бы тебе не пойти работать, ты, лежебока?

— Куда? — довольно резко осведомился он.

— Да куда угодно. Ты ведь еще молодой человек.

— Если это комплимент, то весьма обязан, — сухо произнес он и с внезапной скукой добавил. — А тебя сильно беспокоит, что я не особенно рвусь работать?

— Меня это вовсе не беспокоит, но это должно беспокоить множество людей, которые заявляют...

— О, Боже мой! — горестно воскликнул он, — мне кажется, что за эти три года я не слышал о себе ничего, кроме диких рассказней и добродетельных увещеваний. Я устал от этого. Если вы не хотите видеть нас, оставьте нас в покое. Я же не надоедаю своим бывшим друзьям. Но и сам не нуждаюсь в визитах милосердия, и в критике, замаскированной под дружеские советы, — и, словно извиняясь, добавил: — прости, Мюриэл, но, на самом деле, тебе не стоит вести себя как леди с бесплатным супом, даже если ты посещаешь представителей обездоленного класса. — Он окинул ее неприязненным взглядом своих налитых кровью глаз — когда-то глубоких, ясно-голубых, а теперь слабых, напряженных, безнадежно испорченных чтением в пьяном виде.

— Почему ты говоришь такие ужасные вещи? — стала протестовать она. — Ты говоришь так, как будто вы с Глорией принадлежите к этому классу.

— А зачем притворяться, что нет? Ненавижу людей, которые корчат из себя аристократов, не имея возможности создать хотя бы видимость аристократизма.

— Ты считаешь, что без денег нельзя быть аристократом? Эх ты, Мюриэл... сдрейфила, демократка!..

— Да, естественно. Аристократизм — это лишь допущение, что определенные черты, которые мы называем прекрасными — мужество, честь, красота и тому подобное — могут наилучшим образом развиваться в благоприятных условиях, когда вас не деформирует невежество или нужда.

Мюриэл закусила губу и покачала головой.

— А я считаю, что если люди происходят из хорошей семьи, то они всегда останутся хорошими людьми. В этом ваша с Глорией беда. Вы думаете, что если сейчас у вас что-то не ладится, то все ваши старые друзья вас избегают. Вы слишком обидчивы...

— На самом деле, — отозвался Энтони, — ты ничего об этом не знаешь. Что касается меня, то это просто вопрос гордости, а Глория, в порядке исключения, достаточно разумна и понимает, что если где-то не хотят нас видеть, то мы просто не должны там бывать. А люди именно не хотят с нами встречаться. Мы слишком идеальные примеры не для подражания.

— Чепуха! Не получится у тебя затмить своим пессимизмом мою распахнутую солнцу верандочку. Я думаю, тебе надо бросить все эти мрачные размышления и начать работать.

— Посмотри на меня, мне тридцать два года. Предположим, я даже войду в какой-нибудь идиотский бизнес. При счастливом раскладе за пару лет я «дорасту» до пятидесяти долларов в неделю. Но это — если я вообще найду работу; ты же сама знаешь, сколько сейчас безработных. Ладно, предположим, я дослужился до пятидесяти долларов в неделю. Ты думаешь, это сделает меня хоть чуть счастливее? Ты думаешь, я вообще смогу выдержать такую жизнь, если не получу это наследство?

Мюриэл благодушно улыбнулась.

— Ну, — сказала она, — все это, может быть, и умно, только совершенно лишено здравого смысла.

Через несколько минут появилась Глория, и от ее присутствия атмосфера в комнате, казалось, сделалась еще мрачнее. Она была рада видеть Мюриэл, хотя ничем этого и не показала. Энтони она удостоила только небрежным «Привет!»

— А мы тут обсуждаем с твоим мужем философские проблемы, — воскликнула неугомонная мисс Кэйн.

— Да, коснулись некоторых фундаментальных понятий, — сказал Энтони со слабой улыбкой, едва коснувшейся его щек, которые под двухдневной щетиной казались еще бледнее.

Пропустив мимо ушей его иронию, Мюриэл снова, уже другими словами изложила свои взгляды. Когда она закончила, Глория бесстрастно молвила:

— Энтони прав. Нет никакой радости куда-нибудь ходить, если чувствуешь, что везде на тебя смотрят, как на пропавшего.

— Тебе не кажется, что когда даже Мори Нобл, который был моим лучшим другом, не желает видеть нас, самое время перестать надоедать людям? — вмешался он искренне огорченным тоном. В глазах его стояли слезы.

— Ну, с Мори Ноблом это была твоя вина, — холодно заметила Глория.

— Вовсе нет.

— Вполне определенно «да».

Мюриэл поспешно вмешалась.

— Вчера я встретила одну девушку, которая в свое время знала Мори, так вот она говорит, что он больше не пьет. Вообще, стал ужасным куркулем.

— Не может быть.

— Именно так. Зарабатывает кучу денег. Это он после войны стал так меняться. Собирается жениться на девушке с миллионами из Филадельфии, Сэси Ларрэби... и не только от нее я такое слышала.

— Ему тридцать три, — сказал Энтони, рассуждая вслух. — Но все-таки странно представить, что он женится. Я привык думать, что он так непохож на всех.

— Был, — произнесла Глория, — и определенном смысле.

— Но выдающиеся люди не могут удовлетворяться бизнесом — или могут? Или что они вообще могут? И что происходит со всеми, кого ты знал когда-то, с кем у тебя было столько общего?

— Вы просто дрейфуете в разные стороны, — предположила Мюриэл с подходящим к случаю мечтательным видом.

— Все люди меняются, — констатировала Глория. — И те качества, которые они не используют в повседневной жизни, постепенно зарастают паутиной.

— В последний раз он мне сказал, — припоминал Энтони, — что работать будет так, чтоб забыть, что работать вообще не стоит.

Мюриэл быстро ухватила за эти слова.

— Вот и тебе нужно сделать то же самое, — торжествуя заявила она. — Я конечно далека от мысли, что кто-то захочет работать даром. Но тебе хоть будет чем заняться. Кстати, чем вы вообще тут занимаетесь? Никто уже сто лет не видел вас ни в «Монмартре»... вообще нигде. Вы что, экономите?

Глория презрительно усмехнулась, взглянув краем глаза на Энтони.

— Н-ну, — осведомился он, — и чему ты смеешься?

— Ты прекрасно знаешь, — ответила она ледяным тоном.

— Этот ящик виски?

— Да, — она обернулась к Мюриэл, — он вчера заплатил семьдесят пять долларов за ящик виски.

— И что в этом такого? Это все равно дешевле, чем покупать бутылками. И не надо притворяться, что тебе не хочется иногда выпить.

— Но я, по крайней мере, днем не пью.

— Какая высокая добродетель! — вскричал он с каким-то вялым гневом и вскочил на ноги. — Но позволь тебе заметить, что я, в конце концов, не позволю ежеминутно тыкать этой выпивкой мне в глаза!

— Но это же правда.

— Нет, неправда! И мне надоело, что всякий раз ты стараешься обсудить это при посторонних людях! — Он уже взвинтил себя до такого состояния, что руки и плечи у него заметно дрожали. — Можно подумать, что во всем виноват только я. А разве ты никогда не побуждала меня тратить деньги, и если взяться считать, ты всегда тратила на себя гораздо больше, чем я.

Теперь уже Глория вскочила на ноги.

— Я не позволю тебе разговаривать со мной в таком тоне!

— Прекрасно; клянусь Господом, тебе и не придется!

Он стремительно выбежал из комнаты. Две женщины услышали его шаги в коридоре, потом грохнула парадная дверь. Глория откинулась на спинку стула. Ее лицо казалось прелестным, спокойным и непроницаемым в свете лампы.

— О! — горестно воскликнула Мюриэл. — Господи, что это такое?

— Ничего особенного. Он просто пьян.

— Пьян? Но ведь он был совершенно трезвый. Он разговаривал...

Глория покачала головой.

— Да нет же, просто пока он стоит на ногах, по нему это не очень заметно, и разговаривает он прекрасно, пока не разволнуется. У него получается даже лучше, чем когда он трезвый. Но я тебе говорю, он сидел тут целый день и пил, если не считать того времени, когда прошелся до угла за газетой.

— Боже мой, какой ужас! — Мюриэл была искренне потрясена. На глазах у нее выступили слезы. — И часто это с ним?

— Пьет, что ли?

— Нет, вот это... уходит.

— Угу... Да, часто. Среди ночи явится назад, будет плакать и умолять простить.

— А потом что?

— Не знаю. Просто живем, как живется.

Две женщины сидели при свете лампы и смотрели друг на друга, и каждая была по-своему беспомощна перед тем, что происходило. Глория все еще была хороша — насколько это было возможно: щеки ее пылали, и на ней было новое платье, которое она купила — нерасчетливо — за пятьдесят долларов. Она надеялась, что сможет уговорить Энтони пойти сегодня в ресторан, или даже в один из тех огромных и шикарных кинодворцов, где, быть может, хоть несколько мужчин обратят на нее внимание и на которых ей тоже будет не противно поглядеть. Она хотела этого, потому что знала, как пылают румянцем ее щеки, потому что на ней было новое платье, которое ей шло, делало ее юной и хрупкой. Ведь пригласить их теперь куда-нибудь могли только совершенно случайно. Но Мюриэл она ничего этого не сказала.

— Глория, дорогая, как бы я хотела вместе пообедать, но я обещала одному человеку... Сейчас уже семь тридцать. Мне нужно убежать.

— Ну что ты, я все равно не смогла бы. Во-первых, я себя весь день плохо чувствую. Не могу ничего есть.

Проводив Мюриэл до двери, Глория вернулась в комнату, погасила свет и, опершись локтями на подоконник, стала смотреть на Пэлисейд-парк, где медленно вертящееся, сверкающее колесо обозрения теперь напоминало желтое отражение луны в дрожащем зеркале. На улице было тихо, дети разошлись по домам, в доме напротив садилась ужинать семья. Бестолково и неуклюже, они то присаживались к столу, то принимались непонятно зачем расхаживать вокруг него; выглядело все так, словно они не знали что делать — словно кто-то дергал беззаботно и бесцельно за невидимые нити, на которых они были подвешены.

Глория посмотрела на часы, было восемь вечера. По крайней мере, одной частью сегодняшнего дня она была довольна — сразу после обеда, когда, чутко принюхиваясь к множеству запахов, она прогуливалась по той части Бродвея, где он входит в Гарлем около Сто двадцать пятой улицы, ее вдруг непонятно почему восхитила невероятная прелесть каких-то итальянских ребятишек. Это странным образом возбуждало ее, как возбуждала Пятая авеню в те дни, когда, со спокойной уверенностью в своей красоте, она сознавала, что все это принадлежит ей: магазины, со всем что в них было, все эти блестящие игрушки для взрослых в витринах, все принадлежало ей — только пожелай. А здесь, на Сто двадцать пятой улице были бригады «Армии спасения», старухи, закутанные в шали всех цветов, сидящие на крылечках, липкие леденцы в чумазах ручонках детишек с сияющими на солнце волосами и излетное солнце, быющее в стены высоких доходных домов. Все неестественно роскошное, пряное, ароматное, словно чудесные блюда французского кулинара, от которых невозможно отказаться, хотя и знаешь, что приготовлены они, возможно, из отбросов...

Глория вздрогнула, заслышав донесшийся с реки и прокатившийся над темной улицей стонущий звук пароходной сирены и, отклоняясь назад, пока едва видная по мраке занавеска не соскользнула с ее плеча, зажгла свет. Становилось поздно. Она знала, что в кошельке у нее есть немного мелочи, и стала соображать, стоит ли спускаться вниз, чтобы выпить кофе с рогаликом у станции, где освобожденный сабвей вырвался из грохочущей пещеры Манхэттен-стрит, или удовольствоваться осточертевшей ветчиной с хлебом на кухне. Кошелек все решил за нее. Содержимого в нем было двенадцать центов.

Через час безмолвие комнаты сделалось невыносимым, и она обнаружила, что взгляд ее то и дело устремляется от страницы журнала к потолку, на котором вполне бездумно замирает. Она одним движением встала, секунду постояла в нерешительности, покусывая палец, потом подошла к буфету, достала с полки бутылку виски и налила себе. Долив стакан

имбирным лимонадом, она вернулась в свое кресло и стала дочитывать статью в журнале. Та касалась последней вдовы времен «Войны за независимость», которая, будучи еще юной девушкой, вышла замуж за древнего ветерана «Континентальной армии» и которая умерла в 1906 году. Глории казалось странным и причудливо романтичным, что она и эта женщина были современницами.

Она перевернула страницу и узнала, что некий кандидат в Конгресс был обвинен оппонентом в атеизме. Удивление Глории рассеялось, когда она обнаружила, что обвинения оказались ложными. Кандидат просто отрицал чудо, связанное с хлебами и рыбами. Но под давлением он согласился, что испытывает полнейшее доверие к хождению по водам.

Прикончив первую порцию, Глория налила себе вторую. Переодевшись в ночную рубашку и поудобнее устроившись на диване, она начала осознавать, что несчастна и что по щекам у нее катятся слезы. Она не могла понять, были ли это слезы жалости к себе, и решительно попыталась не плакать, но это существование без надежды, без счастья угнетало ее, и с опущенными дрожащими уголками губ она продолжала качать из стороны в сторону головой, словно не соглашаясь с утверждением, сделанным непонятно кем и непонятно где. Она не подозревала, что этот ее жест был старше, чем сама история, что для сотен человеческих поколений нестерпимая и неизбывная тоска изобрела этот жест отрицания, протеста и недоумения перед чем-то более глубоким, более могущественным, чем сам Бог, созданный по образу и подобию человека, перед чем сам этот Бог, существуй он, оказался бы столь же бессилён. И самая суть, единственная правда этой трагедии заключается в том, что эта сила ничего не объясняет, не отвечает ни на чьи вопросы, она неосвязаема как воздух и более неотвратима, чем смерть.

Ричард Кэрэмел

В начале лета Энтони отказался от членства в Амстердам-клубе, последнем, в котором еще состоял. С некоторых пор он посещал клуб едва ли раз в полгода, и регулярная уплата членских взносов стала непосильным бременем. Он вступил в этот клуб после возвращения из Италии, потому что это был клуб его деда и отца, и потому что это был клуб, в который, имея возможность, не колеблясь вступил бы всякий — но на самом деле Энтони предпочитал Гарвард-клуб, и главным образом потому, что в нем состояли Дик и Мори. Однако, с приходом в упадок его финансовых дел, именно Амстердам-клуб стал для него чем-то вроде последней и самой любимой игрушки... Но, в конце концов, с некоторым сожалением, и с ней пришлось расстаться...

Его нынешние приятели представляли собой странную компанию. С некоторыми из них он повстречался в заведении под названием «У Сэмми» на Сорок третьей улице, где всякий, постучав в дверь и получив «добро» на вход после осмотра из-за железной решетки, мог сидеть в кругу возле огромного стола, попивая вполне приличное виски. Именно здесь судьба свела его с человеком по имени Паркер Эллисон, тона ничегонеделания которого уж точно не приняли бы в Гарварде, и который с максимально возможной скоростью проматывал некое большое и «дурное» состояние. Понятие о приличной жизни заключалось для Паркера Эллисона в езде на ревущем красно-желтом гоночном автомобиле по Бродвею, имея при себе двух переливающихся блестками девиц с тяжелыми взглядами. Он был из тех, кому приятнее обедать с двумя девушками, а не с одной — его воображение было практически неспособно поддерживать диалог.

Кроме Эллисона, там бывал Пит Лителл, который носил сдвинутый набекрень серый котелок. У него всегда были деньги, а сам он был неизменно весел, поэтому Энтони все лето и осень напролет вел с ним долгие пустопорожние беседы. При этом он обнаружил, что Лителл не только изъяснялся, но и думал уже готовыми фразами. Его жизненная философия состояла из череды таких фраз, впитанных где попало в процессе активного и не отягощенного раздумьями существования. У него были фразы о социализме — из числа вечных истин; были фразы, имеющие отношение к существованию личного божества — что-

то о том, как он однажды побывал в железнодорожной аварии; еще у него были фразы об ирландской проблеме, о том сорте женщин, который он почитал, и о бесполезности «сухого» закона. Единственный раз, когда его речь воспарила над этим месивом речений, при помощи которых он интерпретировал наиболее затейливые происшествия своей выше среднего заполненной событиями жизни, случился тогда, когда он снизошел до детального обсуждения наиболее brutальных сторон своего существования, — он, оказалось, был тонким ценителем еды и выпивки и досконально знал, каких женщин предпочитает.

Это был обыкновенный и вместе с тем в высшей степени замечательный продукт цивилизации. Он принадлежал к тем девяти из каждого десятка, которых встречаешь на городской улице — а ведь был он всего-навсего безволосой обезьяной с двумя десятками ужимок. Он был героем тысячи романов в жизни и искусстве — и все же он был в буквальном смысле умственно отсталым, уравновешенно, с равной долей достоверности и неправдоподобия, участвуя в веренице умопомрачительных эпосов в течение шести десятков лет.

И вот с такими людьми, как эти двое, Энтони Пэтч пил и дискутировал, и пил, и снова спорил. Они ему нравились тем, что ничего о нем не знали, тем что жили очевидным и не имели ни малейшего подозрения о неизбежной непрерывности жизни. Они сидели не перед экраном, глядя на последовательность кадров, а возле стародавнего чадающего волшебного фонаря, все картинки в котором потускнели, а надписи к ним давно перепутались. И все же сами они ничуть не были этим смущены, потому что смущаться в них было нечему — они просто от месяца к месяцу меняли свои фразы, как меняют галстуки.

И вот изысканный, утонченный, пронизательный Энтони каждый день напивался пьян — «У Сэмми», с этими людьми, дома, с книгой в руке, обычно с той, которую не раз уже читал, и очень редко с Глорией, которая в его глазах начала приобретать отчетливые очертания сварливой и привередливой жены. Конечно, это была уже не та Глория давно минувших лет, которая если и болела, то предпочла бы скорее довести всех вокруг до полного отчаяния, чем сознаться, что нуждается в сочувствии или помощи. Теперь она опустила до хныканья, до жалости к себе. Каждый вечер, собираясь ложиться, она истязала лицо какой-то очередной мазью, которая, как она безрассудно надеялась, могла вернуть сияние и свежесть ее уходящей красоте. Когда Энтони бывал пьян, он едко острил по этому поводу. А на трезвую голову он бывал с ней вежлив, временами даже нежен; в эти краткие часы он словно хотел доказать, что в нем еще сохранились следы былой способности слишком хорошо понимать, для того чтобы в чем-то обвинять — той способности, которая была лучшим его качеством и которая так безошибочно и неуклонно его губила.

Но он терпеть не мог быть трезвым. Тогда он начинал сознавать, что кругом люди, что все вокруг пропитано духом конкуренции, жадностью, надеждами еще более горькими, чем отчаяние, непрерывным скольжением вверх-вниз, которое в любом большом городе больше всего было заметно в слоях расплывчатого среднего класса. Не имея возможности жить среди богатых, он считал, что альтернативой для него может быть только жизнь среди очень бедных. Но все было лучше, чем эта чаша пота и слез.

Чувство всеохватной огромности жизни, никогда особенно не развитое в Энтони, в последнее время едва теплилось. Теперь очень редко какой-либо случай, какой-нибудь поступок Глории могли пробудить его воображение — но и тогда серые завесы тут же вновь и еще более тяжело смыкались над ним. И по мере того как он становился старше, вещей, которые могли его взволновать, становилось все меньше — последней оставалось вино.

Опьянение было добрым — оно придавало всему неопишувемый зыбко-чарующий блеск, похожий на воспоминания о мимолетных, давно растаявших вечерах. После нескольких коктейлей даже в строгой громаде «Буш Терминал» являлось волшебное очарование сказок «Тысячи и одной ночи», а его исполнявшийся истинного великолепия шпиль казался золотистым призраком в недостижимых небесах. Даже Уолл-стрит — этот самоуверенный невежа — вновь становился пресловутым символом богатства, великолепным, осязаемым;

да, именно здесь великие короли держат деньги для своих великих войн...

...Плод юности или лозы, мимолетное очарование краткого полета из тьмы во тьму — вечная иллюзия, что в красоте и правде есть хоть что-то неразрывно общее.

Однажды ночью, как раз когда он стоял, пытаясь прикурить, перед входом в «Дельмонико», к самому бордюру подкатили два извозчика и стали, в надежде на подвыпивших гуляк. Старомодные коляски были разболтанные и грязные, потрескавшийся лак изморщен как лицо старика, кожа подушек вытерта до грязно-лиловой белизны; даже лошади были древние и утомленные, и точно такими же были седовласые кучера, которые, сидя на облучках, с преувеличенно натужным ухарством, щелкали кнутами. Реликт минувшего веселья!

Движимый внезапным приступом печали, Энтони Пэтч двинулся прочь, рассуждая о горечи такой живучести. И получалось, что не было ничего более скоропортящегося, чем удовольствие.

Как-то, впервые за много месяцев, он встретил на Сорок второй улице Ричарда Кэрэмела, цветущего, растолстевшего Ричарда Кэрэмела, чье лицо могло поспорить с его бостонским лбом тем, что так же округло выпирало во все стороны.

— Только на этой неделе вернулся с побережья. Собирался вам позвонить, но не знал нового адреса.

— Да, мы переехали.

Ричард Кэрэмел отметил, что на Энтони заношенная рубашка, обшлага которой слегка, но довольно явственно обтрепались, а под глазами залегли два полумесяца цвета сигарного дыма.

— Я так и понял, — сказал он, внимательно вглядываясь в лицо друга ярко-желтым глазом. — А где Глория, как она? Черт возьми, Энтони, даже в Калифорнии я слышал какие-то несусветные истории о ваших неудачах, а когда вернулся в Нью-Йорк, обнаружил, что вы совершенно пропали из виду. Почему бы вам не встряхнуться, не взять себя в руки?

— Хорошо, слушай, — начал Энтони нетвердой скороговоркой: — На долгую лекцию я не способен. Мы теряем наши деньги буквально где только можем, ну и, естественно, люди судачат об этом... что касается судебного процесса, то все уже идет к тому, что нынешней зимой все решится, определенно...

— Ты говоришь так быстро, что я не могу ничего понять, — невозмутимо перебил его Дик.

— Ну вот, собственно, я сказал все, что хотел, — раздраженно отозвался Энтони. — Если хочешь, можешь зайти в гости... или можешь не заходить!

С этими словами он повернулся и направился прочь, в гущу толпы, но Дик тут же настиг его и схватил за руку.

— Слушай, Энтони, только не заводись! Ты знаешь, что Глория моя кузина, а ты — один из моих самых старых друзей, поэтому вполне естественно, что мне небезразлично, когда я слышу, что ты идешь напрямик к чертям собачьим... и тащишь за собой ее.

— Я не нуждаюсь в проповедях.

— Ну ладно, хорошо... А как насчет того, чтобы зайти ко мне выпить? Я только что затарился. Купил тут у таможенника три ящика гордоновского джина.

И когда они уже шли вместе, он все еще не мог справиться с раздражением:

— А что с этими деньгами твоего деда? Ты их получишь?

— Да понимаешь, — отозвался Энтони, едва сдерживая негодование, — этот старый дурак Хейт, кажется, на что-то надеется, в особенности сейчас, когда у людей вырос здоровенный зуб на всех этих реформаторов. Знаешь, это может как-то повлиять, если судья, например, сочтет, что именно Адам Пэтч виноват в том, что ему стало труднее доставать выпивку.

— Без денег все равно не проживешь, — нравоучительно заметил Дик. — Ты пробовал что-нибудь написать за последнее время?

Энтони молча покачал головой.

— Интересно, — сказал Дик. — Я всегда думал, что именно вы с Мори начнете когда-нибудь писать, но из него теперь получилось что-то вроде прижимистого аристократа, а ты...

— Ну, я вообще не пример для подражания.

— Непонятно только, почему?

— И ты, наверное, думаешь, что знаешь, — предположил Энтони, пытаясь сосредоточиться. — Знаешь, ведь и неудачник, и баловень судьбы, оба в душе верят, что у каждого из них верный взгляд на жизнь; счастливцев верит в это, потому что преуспевает, а неудачник — потому что именно ему все время не везет. Только удачливый учит своего сына извлекать прибыль из капитала отца, а те, кто не слишком преуспел, учат сыновей извлекать опыт из отцовских ошибок.

— Не могу с тобой согласиться, — отозвался автор «Новобранца во Франции». — Когда мы были помоложе, я привык слушать вас с Мори, и обычно то, что вы говорили, производило на меня впечатление, потому что вы были так неизменно циничны, но теперь... да в конце концов, чего греха таить: кто из нас троих был призван, так сказать, к интеллектуальному служению? Я далек от пустого тщеславия, но ведь это именно я. Может, потому что всегда верил в существование моральных ценностей и всегда буду верить.

— Не знаю. — возразил Энтони, который тоже был вполне доволен собой, — ведь даже допуская это, ты все равно знаешь, что в реальной жизни ничего не решается однозначно. Что скажешь?

— Не могу с тобой согласиться. Не существует вещи, ради которой я мог бы поступиться некоторыми принципами.

— Но откуда ты знаешь, когда именно ты ими поступаешься? Ведь как и большинству людей, тебе постоянно приходится все делать наугад. И только потом, оглядываясь назад, ты расставляешь по местам свои ценности. Только тогда ты завершаешь свой портрет, в деталях и полутонах.

Упорно не желая соглашаться, Дик горделиво потряс головой,

— Ты все тот же безнадежный циник. — сказал он. — Для тебя это просто способ самооправдания. Если ты ничего не делаешь, значит, и все вокруг не имеет никакого значения.

— Да уж, к этому у меня большие способности, — согласился Энтони, — зато я не утверждаю, что получаю от жизни такое же море удовольствия, как и ты.

— Ты говоришь, по крайней мере говорил раньше, что счастье — единственная стоящая вещь в жизни. Значит, ты думаешь, что твой пессимизм делает тебя счастливым?

Энтони что-то нетерпеливо проворчал. Беседа переставала доставлять ему удовольствие. Напряженные нервы требовали «смазки».

— Черт побери! — воскликнул он, — да где же ты живешь? Не могу же я вечно так тащиться.

— Значит, вся твоя выносливость относится только к области ментального? — язвительно отозвался Дик. — Вот здесь я и живу.

Он повернул к многоквартирному дому на Сорок девятой улице, и уже через несколько минут они сидели в большой, только что отремонтированной комнате с камином, все четыре стены которой были заняты книжными полками. Цветной дворецкий приготовил им джинс с соком и тоником, и час пролетел незаметно в приятном потягивании из стаканов, среди отблесков легкого осенне-желтого огня в камине.

— Искусства очень одряхтели, — изрек Энтони, нарушив продолжительную паузу. После нескольких порций коктейля нервное напряжение его ослабело, и он даже обнаружил, что вновь способен думать.

— Какие именно?

— Все. Поэзия умирает первой. Рано или поздно она поглощается прозой. Например, сейчас уже и красота эпитета, все сияние и блеск метафор, богатство сравнений — все принадлежит прозе. Чтобы привлечь к себе внимание, поэзии приходится напрягаться

в поисках необычного слова, режущего слух, заземленного, никогда прежде не считавшегося прекрасным. Красота, как сумма прекрасных составляющих, достигла своего апогея в поэзии Суинберна. Дальше ей двигаться некуда — разве что в роман.

Дик нетерпеливо перебил его.

— Ты знаешь, эти новые романы меня просто утомляют. Господи! Куда ни придешь, везде найдется какая-нибудь набитая дура, которая спросит, читал ли я «По эту сторону рая». Неужели он им на самом деле нравится? Если все в нем соответствует действительности, во что я лично не верю, значит, наше молодое поколение просто идет вразнос. А вообще, меня просто тошнит от этого дешевого реализма. Я считаю, что в литературе всегда есть место романтике.

Энтони старался припомнить, что читал в последнее время из вещей Ричарда Кэрэмела. Тот же самый «Новобранец во Франции», потом роман под названием «Планета сильных мужчин» и пару десятков рассказов, которые были еще хуже. Среди молодых и неглупых обозревателей стало традицией упоминать имя Ричарда Кэрэмела только с насмешливой улыбкой. Они называли его «мистер Ричард Кэрэмел». Труп его выставляли на поругание во всех литературных приложениях. Его обвиняли в том, что он нажил свое состояние именно тем, что писал дрянные сценарии для фильмов. По мере того как менялась литературная мода, он становился чем-то вроде мальчика для битья.

Пока Энтони думал обо всем этом, Дик поднялся на ноги и, казалось, колебался — делать или нет признание.

— Я тут собрал немного книг, — сказал он вдруг.

— Вижу.

— Подобрал исчерпывающую коллекцию хорошей американской литературы, старой и новой. Но я не хотел следовать привычной схеме: Лонгфелло — Уитьер, большинство книг здесь принадлежит современным авторам.

Он шагнул к одному из стеллажей; видя, что хозяин ждет этого, Энтони поднялся и присоединился к нему.

— Вот, смотри!

Он указал на шесть длинных рядов книг под рубрикой «Американа», прекрасно переплетенных и, видимо, тщательно подобранных.

— Вот здесь современные романисты.

И тогда Энтони увидел то, ради чего все это затевалось. Вклинившись между Марк Твенном и Драйзером, пребывали восемь неожиданных и едва ли уместных здесь томов — труды самого Ричарда Кэрэмела. «Демон-любовник», может быть, еще имел на это какое-то право... но присутствие остальных семи, неискренних и безжизненных, не могло внушить ничего, кроме отвращения.

Энтони невольно перевел взгляд на лицо Дика и успел-таки заметить легкую тень неуверенности.

— Я поставил сюда и свои книги, конечно, — поспешил сообщить Ричард Кэрэмел, — хотя одна или две из них, скажем так, неровные... Боюсь, что мне приходилось писать слишком быстро, когда я работал по контрактам с журналами. Но я не признаю ложной скромности. Конечно, некоторые из критиков не уделяют мне особенного внимания с тех пор, как я достиг определенного положения. Но, в конечном счете, не критика все определяет. Они просто бараны.

И тут впервые за столь долгий период, что он едва ли мог припомнить, когда это было последний раз, Энтони испытал чувство старого доброго презрения к своему другу. Ричард Кэрэмел продолжал:

— Мои издатели, ты знаешь, заявляли обо мне как о Теккерее Америки — это, имея в виду мой нью-йоркский роман.

— Да, — сумел выдавить из себя Энтони. — Полагаю, в твоих словах есть большая доля правды.

Он знал, что не имеет особых оснований свысока относиться к Дикю. Знал, что

не колеблясь, поменялся бы с ним местами. Он ведь и сам изо всех сил старался писать неискренне, прикрываясь иронией. Да и вообще, способен ли человек без колебаний отбросить труд всей своей жизни?..

И в ту же ночь, когда опять до безобразия напившийся Энтони, распластавшись на заднем сиденье такси, ехал к себе на Клермонт-авеню, Ричард Кэрэмел находился на своем привычном посту, яростно сражаясь с неподатливыми клавишами машинки, надсаживая свои и без того слабые, разных цветов глаза, мучительно творя свой мусор, продираясь сквозь все эти безотрадные часы, когда замирает огонь в очаге, и голова плывет от слишком долгих мысленных усилий.

Избиение

С приближением зимы Энтони, казалось, охватило что-то вроде сумасшествия. По утрам он просыпался настолько взвинченный, что Глория чувствовала, как он весь дрожит, лежа на кровати, еще не овладев собой в той степени, чтобы доковылять до буфета за выпивкой. Он сделался совершенно нестерпим, за исключением тех часов, когда уже изрядно напивался, и Глория, которой казалось, что он опускается и грубеет прямо на глазах, стремилась прочь от него и душой, и телом. Когда его всю ночь не было дома, что теперь случалось довольно часто, она не только не горевала, но даже чувствовала какое-то унылое облегчение. На следующий день он мог испытывать что-то вроде раскаяния, и тогда с грубоватым юмором висельника замечал, что в последнее время, кажется, несколько пристрастился к спиртному.

Он мог часами сидеть в большом кресле, из той — его любимой — квартиры, пребывая в состоянии, похожем на ступор. Даже всегдашний интерес к перечитыванию любимых книг, казалось, покинул его. И хотя между мужем и женой еще возникали неизбежные и беспредметные перебранки, единственной темой, которая обоих интересовала по-настоящему, осталась судьба процесса о наследстве. Трудно вообразить, на что надеялась в темных глубинах своей души Глория, чего ждала в своей жизни от этой огромной кучи денег. Условия существования постепенно перекраивали ее в какое-то гротескное подобие домохозяйки. Она, которая три года назад не умела сварить даже кофе, теперь иногда готовила по три раза в день. Днем она много гуляла, а по вечерам читала: книги, журналы — все, что попадалось под руку. Если теперь она и хотела ребенка, даже ребенка от Энтони, который, напившись в стельку, еще делал попытки переползти к ней на кровать, то ни словом, ни жестом она никакого интереса к детям не проявляла. Приходится сомневаться, могла ли она вообще объяснить, чего хочет. Да и на самом деле — чего могла хотеть эта все еще привлекательная одинокая женщина тридцати лет, всю жизнь находившаяся словно в непроницаемом коконе, родившемся и существовавшем вместе с ее красотой.

Однажды, когда снег вдоль Риверсайд-драйв в очередной раз превратился в грязь, Глория, возвратясь из похода по магазинам, вошла в квартиру и застала Энтони расхаживающим по комнате в состоянии крайней нервозности. Лихорадочно блестящие глаза, которые он обратил к ней, были подернуты сеткой крохотных розовых жилок, которые напомнили ей узоры рек на карте. На мгновение она ощутила, как он внезапно и заметно постарел.

— У тебя деньги есть? — спросил он нетерпеливо.

— Какие? Что ты имеешь в виду?

— Только то, что сказал. Деньги! Де-еньги!.. Ты по-английски понимаешь?

Она решила не обращать внимания, просто прошла мимо него в кладовку, чтобы положить бекон и яйца в ларь со льдом. Когда принятая доза превышала обычные нормы, он неизменно приходил в истерическое настроение. Но на этот раз он последовал за ней и, загородив двери кладовой, настойчиво повторил свой вопрос:

— Ты слышала, что я сказал? У тебя деньги есть?

Она повернулась и в упор посмотрела на него.

— Энтони, ты совсем уже обезумел! Ведь знаешь же, что у меня нет никаких денег, может быть, доллар мелочью.

Он выполнил внезапный поворот «кругом» и вернулся в гостиную, где возобновил свое хождение. Было ясно — на уме у него что-то серьезное и не предвещавшее ничего хорошего; еще было совершенно очевидно, что ему очень хочется поделиться этим с ней. Войдя через несколько минут в комнату, она села на кушетку и принялась распускать волосы. Они больше не были коротко острижены, и за последний год цвет их изменился от богатого, золотого, тронутого рыжиной оттенка до лишнего всякого великолепия светло-каштанового цвета. Она только что купила жидкого мыла и хотела помыть волосы, и сейчас сидела, раздумывая, не добавить ли бутылочку пероксида в воду для ополаскивания.

— Ну? — как бы говорила ее поза.

— Этот чертов банк, — начал он, весь дрожа. — Я держал у них свой счет больше десяти лет... десять ле-ет! Так вот, у них, оказывается, есть некое самодурское правило, что ты должен иметь на счету более пятисот долларов, иначе они перестанут тебя обслуживать. Несколько месяцев назад они прислали мне письмо, в котором сообщали, что я приближаюсь к критической отметке. А я однажды выписал два необеспеченных чека — помнишь?.. ну, в тот вечер у Райзенвебера? Но на следующий же день я внес деньги. Ну, и обещал этому Хэллорану — это менеджер, сквалыга тот еще, что такого больше не повторится. Ну и думал, что все идет нормально — я регулярно проверял корешки своей чековой книжки. Вот, а сегодня пошел туда, чтоб получить наличные по чеку, выходит этот Хэллоран и говорит, что они вынуждены закрыть мой счет. Говорит, слишком много необеспеченных чеков... а я ведь никогда не выходил из этих пяти сотен, ну, там на день или на два. И вот, ну черт побери! Ты представляешь, что он тогда сказал?

— Что?

— Он сказал, что самое подходящее время закрыть счет, потому что на нем нет ни пенни.

— Ни пенни?

— Он так сказал. Оказывается, я выдал этим ребятам у Бедроса чек на шестьдесят долларов за тот последний ящик выпивки, а на счету у меня было всего сорок пять. Ну, эти парни положили на мой счет свои пятнадцать долларов, а потом выгребли по чеку все до цента.

В своем неведении Глория сразу представила себе сцену заключения в тюрьму и бесчестье.

— Нет, они не собираются ничего делать, — уверил ее Энтони. — Бутлегерство — слишком рискованное занятие. Они пришлют мне счет на пятнадцать долларов, и я его оплачу.

— Ну, слава Богу, — она несколько секунд соображала. — Мы ведь можем продать еще одну облигацию.

Он саркастически рассмеялся.

— Да, это всегда легко. Но учти, что те немногие наши облигации, которые вообще приносят какой-либо доход, все равно стоят от пятидесяти до восьмидесяти центов за доллар номинала. Каждый раз, продавая облигацию, мы теряем почти половину ее стоимости.

— А что нам остается делать?

— Конечно, что-нибудь продам, как всегда. У нас ценных бумаг на восемьдесят тысяч по номинальной стоимости, — он снова мрачновато усмехнулся. — На рынке это стоит около тридцати тысяч.

— Я всегда была против этих вложений под десять процентов.

— Черта с два была! — возразил он. — Ты просто притворялась, чтобы иметь возможность упрекать меня, если дело не выгорит, а на самом деле тоже хотела попытаться счастья.

Какое-то время она молчала, словно прикидывая что-то в уме, а потом:

— Энтони, — внезапно вскричала она, — двести в месяц это хуже, чем ничего. Давай продадим все наши бумаги и положим эти тридцать тысяч в банк, и если мы проиграем процесс, то сможем прожить на них года три где-нибудь в Италии, а потом просто умрем. — Говоря это, она почувствовала, что впервые за много дней по-настоящему разволновалась и даже слегка покраснела.

— Три года, — повторил он с нервным смешком, — три года! Ты просто сумасшедшая. Если мы проиграем процесс, то окажемся должны мистеру Хейту больше всей этой суммы. Ты думаешь он за «спасибо» работает?

— Я забыла.

— ... Таким образом, сегодня суббота, — продолжал он, не обращая на нее внимания, — у меня всего доллар с мелочью, и нам надо прожить до понедельника, пока я не свяжусь со своим брокером... И в доме ни капли спиртного. — добавил он многозначительно и с таким видом, словно это только что дошло до него.

— А ты не можешь позвонить Дику?

— Пробовал. Его человек сказал, что он поехал в Принстон, выступать в каком-то литературном клубе или что-то вроде того. Не вернется до понедельника.

— Ну, давай подумаем... Нет ли у тебя какого-нибудь приятеля, к которому можно обратиться?

— Пробовал. Никого не могу разыскать. Хотел ведь на прошлой неделе это письмо Китса продать, так и надо было сделать.

— А как насчет тех людей, с которыми ты играешь в карты в этом заведении «У Сэмми»?

— Ты думаешь, я буду просить у них! — в голосе у него зазвенел праведный ужас.

Глория поморщилась. Он скорее готов был созерцать ее мучения, чем почувствовать мурашки на собственной шкуре, когда будет унижать этой просьбой собственное достоинство.

— А, может быть, Мюриэл? — предположил он.

— Она в Калифорнии.

— Ну, а как насчет тех мужчин, с которыми ты делила приятный досуг, пока я был в армии? Ты не думаешь, что они были бы рады сделать тебе небольшое одолжение?

Она смотрела на него с нескрываемым презрением, но он этого не замечал.

— Или эти твои старые подружки — Рэйчел, Констанс Мерризм?

— Констанс Мерризм умерла год назад, а Рэйчел я ни о чем не собираюсь просить.

— Ясно. А как насчет того джентльмена, который однажды так горел нетерпением помочь тебе, что едва находил в себе силы сдерживаться? Как его, Бликман?

— О, Господи!..

Наконец-то ему удалось оскорбить ее, и он был не настолько глуп и не так ненаблюдателен, чтоб не заметить этого.

— Почему бы не попросить его? — настаивал он, откровенно издеваясь.

— Потому что, похоже, я ему больше не нравлюсь, — с трудом выговорила она, но видя, что он не отвечает и продолжает разглядывать ее с откровенной издевкой, добавила. — Но если ты хочешь знать почему, я расскажу тебе. Примерно год назад я обратилась к Бликману — теперь он, кстати, изменил фамилию на Блэк — и попросила его устроить меня в кино.

— Ты обращалась к Бликману?

— Да.

— Но почему ты ничего не сказала мне? — вскричал он, не веря, и ухмылка исчезла с его лица.

— Потому что ты, скорее всего, где-то пьянствовал. Он договорился на студии устроить мне кинопробу, и вот они решили, что я уже недостаточно молода и мой удел — характерные роли.

— Характерные роли?

— Ну, это что-то вроде «женщины лет тридцати». Мне тогда не было тридцати и я совсем не думала, что... выгляжу на тридцать.

— Но почему же, черт его возьми? — вскричал Энтони, по странной прихоти чувств бросаясь вдруг на ее защиту, — почему?..

— Вот поэтому я не могу обратиться к нему.

— Но это же оскорбление! — с жаром настаивал Энтони, — это наглость!

— Энтони, теперь это безразлично, а вопрос в том, что нам нужно прожить два дня, а в доме нет ничего, кроме буханки хлеба, полуфунта бекона и пары яиц на завтрак. — Она предъявила ему содержимое своего кошелька. — Вот, семьдесят, восемьдесят, доллар пятнадцать. Вместе с тем, что есть у тебя, это два с половиной доллара, не так ли? Энтони, мы сможем протянуть на эти деньги. На них можно купить гору еды — нам столько просто не съесть.

Подбросив мелочь на ладони, он покачал головой.

— Нет. Мне надо выпить. Я так чертовски разнервничался, что просто весь дрожу. — И тут его поразила мысль. — А, может, Сэмми оплатит мне чек наличными? А потом, в понедельник я могу по-быстрому внести эти деньги в банк.

— Но они же закрыли твой счет.

— Да, черт возьми, а я и забыл. Знаешь, что: пойду-ка я к Сэмми и там уж найду кого-нибудь, кто сможет мне занять. Хотя так дьявольски не хочется просить у них... — и вдруг он прищелкнул пальцами. — Я знаю, что сделаю. Заложу мои часы. Долларов двадцать мне за них дадут, а в понедельник добавлю шестьдесят центов и выкуплю. Я уже закладывал их раньше, когда был в Кембридже.

Он натянул пальто и с кратким «Пока!» направился через прихожую к двери.

Глория поднялась с кушетки. Внезапно до нее дошло, куда он пойдет первым делом.

— Энтони! — крикнула она ему вслед, — может, оставишь эти два доллара мне? Тебе ведь только за билет заплатить.

Хлопнула парадная дверь — он притворился, что не услышал. Глория постояла несколько минут, глядя на дверь, потом пошла в ванную, заставленную ее горестными притираниями и продолжила приготовления к мытью головы.

В подвальчике у Сэмми он нашел Паркера Эллисона и Пита Лителла, сидевших одиноко за столом, попивая виски с лимонным соком. Было только начало седьмого и Сэмми, или Самуэлс Бендири, как он был крещен, заметал в угол кучу сигаретных окурков и битого стекла.

— Привет, Тони, — окликнул Энтони Паркер Эллисон. Иногда он обращался к нему «Тони», в другие времена называл почему-то «Дэн». Для него все Энтони должны были плавать под одним из этих флагов.

— Садись. Что пить будешь?

В подземке Энтони пересчитал все свои деньги и пришел к выводу, что у него почти четыре доллара. Он мог заплатить за две круговых, считая по пятьдесят центов за порцию — это значило, что всего он мог участвовать в шести круговых. Потом он мог отправиться на Шестую авеню и получить двадцать долларов и закладную квитанцию в обмен на свои часы.

— Ну что, хулиганье, — весело приветствовал он, — как жизнь преступная?

— Отлично, — отозвался Эллисон и подмигнул Питу Лителлу. — Только жаль, что ты у нас женатый. Тут часов в одиннадцать намечается такая спевка с девчонками из одного шоу. Какие кадры! Да, сэр, не везет женатым. Точно, Пит?

— Это уж точно.

В половине восьмого, когда они завершили шестой круг, Энтони обнаружил, что его намерения стали уступать его желаниям. Он был счастлив, весел и в полной мере наслаждался жизнью. Ему уже казалось, что история, которую только что рассказал Пит, необыкновенно смешна, и вообще в ней просто бездна юмора; и еще он решил, как делал каждый вечер примерно в этом же пункте, что они были «ей богу» чертовски замечательные

ребята, которые готовы сделать для него гораздо больше, чем любой из его знакомых. Ломбарды по субботним вечерам должны были работать долго, и он чувствовал, что если добавит к выпитому еще только одну порцию, то его настроение окрасится в самые великолепные розовые тона.

Лицемерно пошарив в карманах жилета, он извлек оттуда два четвертака, и словно бы в изумлении уставился на них.

— Ну, черт меня побери, — вполне натурально возмутился он, — оказывается, я пришел без кошелька.

— Деньжат подкинуть? — понимающе осведомился Лителл.

— Оставил свои деньги на тумбочке. А я же хотел вам купить еще выпить.

— Да не бери в голову, — Лителл небрежно отмахнулся от его предложения. — Я так думаю, что хорошего парня мы сами можем напоить от души. Что ты будешь — как и раньше?

— Слушайте, — предложил Паркер Эллисон, — может быть, пошлем Сэмми через дорогу за сэндвичами и поужинаем здесь?

Остальные согласились.

— Отличная идея.

— Эй, Сэмми, не хочешь сделать нам приятное?..

В начале десятого Энтони, шатаясь, поднялся из-за стола и пожелав компании во всех отношениях приятной ночи, неуверенной походкой направился к двери, не забыв однако вручить Сэмми, когда выходил, один из оставшихся у него четвертаков. Оказавшись на улице, он некоторое время пребывал в нерешительности, потом зашагал в направлении Шестой авеню, где, насколько он помнил, располагалось множество ссудных лавок, мимо которых он частенько проходил. Энтони миновал газетный киоск, пару аптек, а потом понял, что стоит перед тем самым заведением, которое искал, но оно было явно закрыто и даже забрано решеткой. Нисколько этим не смутившись, он продолжил поиски; следующий ломбард в полуквартале вниз по улице тоже был закрыт, как и два других через дорогу, и пятый — в дальнем углу площади. Правда, заметив внутри его слабое свечение, Энтони принялся барабанить в стеклянную дверь и прекратил лишь тогда, когда из недр магазина показался сторож и весьма красноречивыми жестами предложил ему продолжить поиски в другом месте. Вконец обескураженный, с нарастающим внутри недоумением, он пересек проезжую часть и двинулся обратно к Сорок третьей улице. На углу, недалеко от заведения Сэмми его одолели сомнения — если он сейчас же поедет домой, как того требовало его тело, то напорется прямо на скандал; с другой стороны, выяснялось, что все ломбарды закрыты и он представления не имел, где взять денег. Наконец он решил, что в такой ситуации не грех попросить и у Паркера Эллисона, но в конце пути к Сэмми его ждали только запертая дверь и погашенные огни. Он посмотрел на часы: девять тридцать. И продолжил свой путь.

Минут через десять он без всякой цели остановился на пересечении Сорок третьей улицы и Мэдисон-авеню, как раз на противоположном углу от ярко освещенного, но сейчас почти безлюдного входа в Билтмор-отель. Постояв немного, он тяжело опустился на оказавшуюся рядом влажную доску среди оставленного строителями хлама. С полчаса он просидел так, давая отдых телу; в голове без устали кружился пестрый хоровод каких-то случайных мыслей, главнейшей из которых была та, что ему надо достать где-то денег и ехать домой, пока он еще соображает, куда ехать.

Потом, взглянув зачем-то в направлении «Билтмора», он увидел мужчину, стоявшего прямо в потоке света, льющего с козырька над входом, рядом с ним была женщина в горностаевой шубке. Энтони, замерев, смотрел, а парочка тем временем сделала шаг вперед и жестом подозвала такси. Тут безошибочным чутьем, которым узнают походку друга, Энтони понял, что перед ним Мори Нобл.

Он вскочил на ноги.

— Мори! — крикнул он.

Мори заметил его, повернулся к девушке, и как раз в этот момент подъехало такси. С еще не полностью оформившейся мыслью занять десять долларов Энтони, со всей доступной ему скоростью, принялся бежать наискосок через Мэдисон-авеню и вдоль Сорок третьей улицы.

Когда он добежал, Мори стоял возле зияюще-разверстой двери такси. Его спутница обернулась и с интересом смотрела на Энтони.

— Здравствуй, Мори, — сказал он, протягивая руку. — Как поживаешь?

— Прекрасно, спасибо.

Их руки упали, а дальше Энтони не знал, что делать. Мори не выказал никакого намерения представить его даме, он просто стоял, рассматривая его с непроницаемой кошачьей молчаливостью.

— Я хотел повидаться с тобой. — неуверенно начал Энтони. Он не чувствовал себя в силах попросить в долг при этой девушке, стоявшей в полутора метрах от них, поэтому замолчал и сделал отчетливое движение головой, как бы отзывая Мори в сторону.

— Я, вообще-то, очень спешу, Энтони.

— Я понимаю... но... не мог бы ты... — и опять он не знал, что делать.

— Давай увидимся в другой раз, — сказал Мори.

— Это очень важно.

— Извини, Энтони.

И прежде чем тот решился выпалить свое желание, Мори невозмутимо повернулся к девушке, помог ей сесть в машину и с вежливым «приятного вечера» последовал за ней. Когда он кивнул уже из-за закрытой дверцы, Энтони показалось, что выражение лица его при этом осталось совершенно застывшим. Потом с отвратительным тархатеньем такси отъехало, и Энтони остался в залитом огнями одиночестве.

Тогда он направился в отель, не то что бы с какой-то определенной целью, а просто потому что вход был рядом. Поднявшись по широкой лестнице, он отыскал себе местечко в одной из ниш. Вместе с яростью пришло осознание того, что его унизили; он был настолько обижен и зол, насколько это было возможно в таком состоянии. Тем не менее мысль о необходимости достать денег, прежде чем являться домой, не покидала его; он вновь и вновь перебирал в уме знакомых, к которым, в принципе, мог обратиться в этой критической ситуации. В конце концов он додумался до того, что вполне может позвонить своему брокеру, мистеру Хоуленду, домой и навестить его. После длительного ожидания выяснилось, что мистера Хоуленда нет. Он вернулся к телефонистке и склонившись над ее столом, принялся вертеть в руках свой четвертак, как бы не желая отступать, не получив удовлетворения.

— Вызовите мне мистера Бликмана, — сказал он вдруг, и собственные слова удивили его. Это имя возникло у него в уме на перекрестье двух еще довольно смутных намерений.

— Назовите номер, пожалуйста.

Едва ли осознавая, что делает, Энтони стал искать фамилию Джозефа Бликмана в телефонном справочнике и, естественно, не нашел. Он уже собирался захлопнуть злополучную книгу, когда в мозгу прорезалось упоминание Глории о смене фамилии. Найти Джозефа Блэка оставалось делом одной минуты — потом он ждал в кабине, пока телефонистка на центральной вызывала номер.

— Здрас-сь... те. Мистер Бликман, то есть я х-хочу сказать мистер Блэк, дома?

— Нет, его не будет весь вечер. Что-нибудь передать? — интонации у говорящего были отчетливо английские, и Энтони не мог не вспомнить все уважение, которое мог выразить голосом Баундс.

— А где он?

— Ну, я... А позвольте узнать, кто это говорит?

— Это мистер Пэтч. Дело первостепенной важности.

— Тогда могу сообщить, что он обедает в «Буль-Миш», сэр.

— Благодарю.

Энтони забрал свои пять центов сдачи и направился в «Буль-Миш» — популярный танцевальный зал на Сорок пятой улице. Время шло к десяти, но улицы были темны и почти безлюдны, и пребудут таковыми еще около часа, пока не начнут извергать свое содержимое театры. Энтони знал «Буль-Миш», потому что они с Глорией в былые времена около года довольно часто посещали это место, и он помнил существовавшее там правило, что посетители должны быть в вечернем платье. Ладно, он не пойдет наверх, он отправит за Бликманом посыльного, а сам подождет в нижнем вестибюле. Сейчас он не сомневался, что весь его план был прекрасно продуман и вполне осуществим. Его взбудораженному воображению Бликман представлялся просто одним из старых друзей.

В вестибюле «Буль-Миш» было тепло. Где-то в вышине над толстым зеленым ковром сияли ярко-желтые лампы, а из центра его вела в танцевальный зал белая лестница.

Энтони обратился к швейцару:

— Я хочу видеть мистера Бликмана, то есть, Блэка, — сказал он. — Он наверху, вызовите его.

Парень помотал головой.

— У нас нельзя вызывать. Вы знаете, за каким столиком он сидит?

— Нет. Но мне нужно увидеть его.

— Подождите, я позову официанта.

Вскоре появился метрдотель, неся с собой карту, на которой были расписаны все сегодняшние посетители. Он метнул в Энтони уничтожающий взгляд, который, однако, не достиг своей цели. Вместе они склонились над картой и без труда нашли то, что искали — ужин на восемь персон, абонированный столик мистера Блэка.

— Скажите, что его ждет мистер Пэтч. Крайне важное дело.

И опять он ждал, опершись на перила, вслушиваясь в путаные гармонии «сводящего с ума джаза», которые волнами скатывались вниз по лестнице. Девушка-гардеробщица рядом с ним напевала:

Где-то там, в шимми-санатории,
Прибежище для всех, свихнувшихся на джазе
Где-то там, в шимми-санатории
Оставил я прекрасную невесту.
Дотанцевалась крошка до горячки.
Так пусть теперь чуток придет в себя...

Потом он увидел Бликмана, спускавшегося по лестнице, и сделал шаг вперед, чтоб встретить его и пожать руку.

— Вы хотели меня видеть? — холодно спросил тот.

— Да, — кивнув, ответил Энтони, — личное дело. Не могли бы мы отойти куда-нибудь?

Настороженно поглядывая на Энтони, Бликман все же последовал за ним в полувогнутый закоулок, образованный стеной и лестницей, где они могли поговорить без свидетелей и не боясь быть услышанными входящими в ресторан или выходящими оттуда людьми.

— Ну? — поинтересовался он.

— Хотел поговорить.

— О чем?

Энтони лишь рассмеялся, но смешок получился глупым, а он хотел, чтоб вышло беззаботно.

— Так о чем вы хотите поговорить? — повторил Бликман.

— Что за спешка, старина? — Энтони попытался вполне дружеским жестом положить руку Бликману на плечо, но тот слегка отодвинулся. — Как жизнь, вообще?

— Все в порядке, благодарю... Видите ли, мистер Пэтч, меня наверху ждут люди. Они

наверняка сочтут невежливым, если я оставлю их слишком надолго. Так зачем вы хотели меня видеть?

Второй раз за этот вечер сознание Энтони сделало непредсказуемый взбрык, и он сказал вовсе не то, что собирался:

— Я так понимаю, что вы оставили мою жену от кино.

— Что? — румяное лицо Бликмана, исчерченное полосками тени, побагровело.

— То, что слышал.

— Послушайте, мистер Пэтч, — произнес Бликман ровным, лишенным всякого выражения голосом, — вы пьяны. Вы отвратительно и оскорбительно для нормального человека пьяны.

— Ну, не слишком пьян для того, чтоб разобраться с тобой, — плотоядным взглядом окинул его Энтони. — Во-первых, моя жена не хочет иметь с тобой ничего общего. И никогда не хотела. Понятно?

— Успокойтесь, — начиная злиться, сказал Бликман. — Я склонен думать, что вы все-таки достаточно уважаете свою жену, чтоб не обсуждать ее при данных обстоятельствах.

— Да ты понятия не имеешь, как я уважаю свою жену! В общем, так — оставь ее в покое. Убирайся к черту, понял?

— Послушайте, мне кажется, вы немного не в себе! — возвысил голос Бликман. Он сделал два шага вперед, как бы намереваясь обойти Энтони, но тот загородил дорогу.

— Не так быстро, ты, чертов еврей!

Несколько секунд они стояли, в упор глядя друг на друга; Энтони, слегка пошатываясь из стороны в сторону, Бликман — едва сдерживая ярость.

— Осторожнее, — выговорил он сдавленным голосом.

В этот момент Энтони должен был вспомнить тот странный взгляд, которым смерил его Бликман много лет назад в ресторане отеля «Билтмор». Но он ничего не помнил, ничего...

— Я тебе еще раз говорю, ты, чертов...

И тогда Бликман ударил его; со всей силой, сколько ее может быть в руке находящегося в хорошей форме мужчины сорока пяти лет. Удар пришелся Энтони прямо по губам. Голова его, мотнувшись, ударилась о лестницу, но он тут же справился с собой и попробовал достать оппонента слишком широким и пьяно-неистовым боковым ударом. Однако Бликман, который ежедневно брал уроки и кое-что соображал в спарринге, легко блокировав усилия Энтони, нанес ему два коротких, оглушающих удара прямо в лицо. Энтони что-то прорычал и опрокинулся на бархатисто-зеленый ковер, уже в падении сознавая, что рот у него полон крови, а спереди, возле губ чего-то не хватает. Тяжело дыша и отплеываясь, он поднялся на ноги, и вот когда он уже направлялся к Бликману, который стоял в нескольких футах от него, со стиснутыми, но опущенными кулаками, непонятно откуда появились два официанта и, схватив его за руки, повисли на них, не давая двинуться.

— Я убью его!.. — орал Энтони, пытаюсь вырваться и дергаясь из стороны в сторону. — Дайте мне только...

— Вышвырните его прочь! — приказал Бликман слегка дрожащим голосом, когда сквозь толпу зевак протолкался невысокий человек с изрытым оспой лицом.

— Какие-то проблемы, мистер Блэк?

— Этот подонок пытался шантажировать меня, — сказал Бликман, и в голосе его, чуть более резко, чем нужно, прозвучала горделивая нотка, — но он получил то, что ему причиталось.

Маленький человек повернулся к официанту.

— Позовите полицейского, — скомандовал он.

— Нет, не надо, — быстро отозвался Бликман. — Мне не нужно лишних неприятностей. Просто вышвырните его на улицу... Уф! Какая наглость! — Он повернулся и, держась с большим достоинством, направился к умывальнику, в то время как шесть дюжих рук схватили Энтони и поволокли к выходу. Там «вымогатель» получил резкое

ускорение в сторону тротуара, где и приземлился на четвереньки с оскорбительным шлепающим звуком и, не удержавшись, медленно завалился набок.

Падение полностью ошеломило его. Какое-то время он лежал, внимая острой, разбросанной по всему телу боли. Потом зона дискомфорта начала концентрироваться вокруг живота, сознание прояснилось, но лишь для того, чтоб зафиксировать, как чей-то огромный башмак пинал его прямо в бок.

— А ну убирайся отсюда, бродяга! Давай, давай!..

Это говорил быкоподобный швейцар. У самого тротуара остановился трехдверный лимузин и обитатели его жаждали выгрузки, две дамы уже стояли на подножке с раздосадовано-оскорблённым видом и ждали, пока это непристойное препятствие будет убрано с их пути.

— Давай, шевелись! Или я тебе еще добавлю!

— Постой... вот, я его заберу.

Голос был незнакомый; Энтони показалось, что владелец его был более терпим, более расположен к нему, чем все остальные. Опять его обняли чьи-то руки и наполовину понесли, наполовину поволокли в приветную тень в четырех дверях вверх по улице, чтоб там опереть на каменный фасад магазина дамских шляп.

— Прем-много обязан, — слабо пробормотал Энтони. Кто-то надвинул ему на голову шляпу, и он поморщился от боли.

— Теперь сиди спокойно, приятель, и тебе полегчает. Эти ребятки здорово тебя отделали.

— Я сейчас вернусь туда... и убью этого гряз... зного, — он попытался подняться на ноги, но сполз обратно по стене.

— Сейчас ты никому ничего не сделаешь, — донесся голос. — Поквитаешься с ними в другой раз. А теперь слушай меня внимательно. Я тебе помочь хочу.

Энтони кивнул.

— Тебе сейчас лучше всего домой. Да у тебя зуб сегодня выпал, ты хоть знаешь?

Чтоб удостовериться, Энтони обследовал языком внутренность рта. Потом с трудом поднял руку и установил местонахождение пробела.

— Я могу проводить тебя домой, приятель. В каких краях ты живешь?

— Нет, черт возьми! Богом клянусь, — перебил Энтони, яростно стискивая кулаки. — Я покажу этой грязной своре. Ты сможешь мне показать им, а потом мы с тобой договоримся. Мой дед Адам Пэтч из Тэрритауна...

— Кто?

— Адам Пэтч, черт побери!..

— Ты хочешь прямо сейчас в Тэрритаун?

— Нет.

— Ну ладно, приятель, ты расскажешь мне, куда ехать, а я подгоню машину.

Энтони обнаружил, что его самаритянин был низеньким широкоплечим, несколько потрепанным индивидом.

— Эй, где ты живешь?

Насколько ни оуплен и потрясен был Энтони, он все же почувствовал, как плохо согласуется его домашний адрес с глупой похвальбой о деде.

— Вызовите мне такси, — приказал он, ощупывая карманы.

Подъехало такси. Вновь Энтони изобразил слабый эскиз попытки подняться, но у него подвернулась лодыжка, словно она была переломлена надвое. Самаритянину пришлось затолкать его внутрь и самому влезть следом.

— Слушай сюда, парень, — сказал он, — ты пьяный и тебя здорово отделали, поэтому домой ты не попадешь, если тебе кто-нибудь не поможет, поэтому я поеду с тобой, но чтоб потом все было без обиды. Где ты живешь?

С некоторой неохотой Энтони назвал свой адрес. Когда такси тронулось, он положил голову на плечо человека рядом с собой и погрузился в смутное, пропитанное болью

оцепенение. Очнулся он, осознав, что доброхот выталкивает его из машины перед домом на Клермонт-авеню, одновременно пытаясь поставить на ноги.

— Идти можешь?

— Да, попробую. Вы лучше меня не провожайте. — Он в который раз безнадежно ощупал свои карманы. — Это... — продолжал он извиняющимся тоном и опасно раскачиваясь. — Боюсь, что у меня нет ни цента.

— Как это?

— Меня обчистили.

— Что за дела? А кто со мной рассчитается? Кто за такси платить будет? — Человек повернулся к шоферу, как бы призывая того в свидетели. — Ты разве не слышал, как он говорил? А вся эта брехня про твоего деда?

— На самом деле, — опрометчиво начал Энтони, — это, в основном, вы все говорили; однако, если вы подъедете сюда завтра...

В этом месте водитель высунулся из такси и свирепо прорычал:

— Да врежь ты ему как следует! Вот дерьмо дешевое! Если бы он не был попрошайкой, они бы его не выкинули...

В ответ на это предложение кулак самаритянина словно таран выметнулся вперед и сокрушительным ударом послал Энтони прямо на каменные ступени крыльца, где он и остался лежать, недвижно взирая, как мерно раскачиваются над ним высоченные многоэтажки...

Прошла целая бездна времени, прежде чем он немного пришел в себя и ощутил, что вокруг сделалось значительно холоднее. Он попробовал пошевелиться, но мышцы отказались повиноваться. Почему-то очень захотелось узнать который час, но обшарив карманы, он не обнаружил часов. Губы его совершенно непроизвольно сложились в бессмертную фразу:

— Ну и ночка!

И еще его удивило, что он почти протрезвел. Не поворачивая головы, он устремил взгляд в то место, где посреди неба неподвижно висела луна, обливая своим сиянием силуэты Клермонт-авеню, которая казалась Энтони самым дном самой глубокой, не отмеченной ни одной карте, пропасти. Вокруг не наблюдалось никаких признаков жизни, не слышалось ни единого звука, кроме неумолчного гула в его собственных ушах; тогда Энтони сам нарушил эту тишину отчетливым и жутковатым бормотаньем. Это был именно тот звук, который он все время пытался воспроизвести там, в «Буль-Миш», стоя лицом к лицу с Бликманом — звук полного иронии смеха, в значении которого невозможно было ошибиться. Но, проходя сквозь разбитые, кровоточащие губы, он становился похож на жалобно-натужный всхлип самой души.

Три недели спустя процесс подошел к концу. Казавшийся бесконечным клубок юридической волокиты, разматывавшийся на протяжении четырех с половиной лет, внезапно иссяк.

Энтони и Глория, а с противоположной стороны Эдвард Шаттлуорт и целый взвод других заинтересованных лиц, свидетельствовали и лгали, и, в зависимости от степени жадности или отчаяния, стремились всячески напакостить друг другу. Проснувшись как-то мартовским утром, Энтони вдруг понял, что в четыре часа пополудни должен быть вынесен окончательный приговор. С этой мыслью он вылез из кровати и начал одеваться. К прямо-таки сотрясавшему его нервному напряжению примешивался ничем не оправданный оптимизм касательно исхода дела. Он верил, что решение суда первой инстанции будет отменено, хотя бы просто в силу реакции на «сухой» закон, который за последнее время многих настроил против реформ и реформаторов. Но все же больше, чем на собственно юридические аспекты процесса, он рассчитывал на выпады личного характера, которые они направляли против Шаттлуорта.

Одевшись, он влил в себя порцию виски, потом направился в комнату Глории, где и обнаружил, что она давно проснулась. Она уже неделю не вставала с постели, сама вгоняя

себя в такое состояние, как считал Энтони, хотя доктор утверждал, что лучше ее не беспокоить.

— Доброе утро, — пролепетала она без тени улыбки. Глаза ее казались неестественно большими и темными.

— Ну, как твоё здоровье? — заставил себя спросить Энтони. — Тебе лучше?

— Да.

— Точно?

— Да.

— Ты чувствуешь себя в силах поехать со мной в суд после обеда?

Она кивнула.

— Да. Я хочу поехать. Дик сказал вчера, что если погода будет хорошая, он заедет за мной на машине и мы покатаемся по Центральному парку. И посмотри, вся комната залита солнечным светом.

Энтони машинально выглянул в окно, потом присел на кровать.

— Господи, как я волнуюсь! — воскликнул он.

— Пожалуйста, не садись сюда, — произнесла она быстро.

— А что такое?

— От тебя пахнет виски. Я не выношу этого запаха.

Он рассеянно встал и вышел из комнаты. Чуть позднее она позвала его и послала в магазин; он спустился и принес ей из кулинарии немного картофельного салата и холодной курятины.

В два часа к подъезду подрулила машина Дика Кэрэмела, а когда он позвонил, Энтони сопровождал Глорию в лифте вниз и довёл до самого бордюра.

Она сказала своему кузену, что с его стороны было очень мило пригласить ее на эту прогулку. «Не говори глупостей, — небрежно отозвался Дик, — и упоминать не стоило».

Но странность заключалась в том, что на самом деле он так не считал. Ричард Кэрэмел прощал в жизни многих людей и многие оскорбления, ему наносимые. Но он так и не простил свою сестру, Глорию Гилберт, за то заявление, которое она сделала семь лет назад, как раз перед своей свадьбой. Она сказала тогда, что не собирается читать его книгу.

Ричард Кэрэмел запомнил это и прекрасно помнил все семь лет.

— В котором часу ждать тебя назад? — спросил Энтони.

— Мы не вернемся, — ответила она. — Встретимся там, в четыре.

— Хорошо, — пробормотал он. — Тогда до встречи.

Наверху он нашел ожидавшее его письмо. Это была размноженная на мимеографе листовка, снисходительно-нелитературным языком призывавшая «настоящих парней» воздать должное «Американскому Легиону». Не дочитав, он бросил ее в корзину для бумаг, сел перед окном и, облокотившись на подоконник, принялся невидящими глазами смотреть на залитую солнцем улицу.

Италия... если приговор будет в их пользу, это означало Италию. Это слово сделалось для него чем-то вроде талисмана, оно знаменовало собой землю, где все эти нестерпимые тревоги свалятся с них словно истлевшие лохмотья. Сначала они отправятся на воды, где среди яркой цветистой толпы развеются серые тени их отчаяния. Чудесно обновленные, они будут снова бродить в сумерках по Пьяцца ди Спанья, двигаясь в этой дрейфующей по воле случая сумятице смуглых женщин, оборванных нищих и суровых босоногих монахов. Мысль об итальянских женщинах слегка взволновала — когда его кошелек вновь отяжелеет, может, даже и любовная интрижка взлетит на такой притягательный насест — очарование голубых каналов Венеции, золотисто-зеленых после дождя холмов Фьезоле и женщин, женщин, которые менялись, растворялись, переплавлялись в других женщин и исчезали из его жизни, но которые были неизменно молоды и прекрасны.

Но ему казалось, что теперь его отношение к женщинам должно было, по самой сути своей, стать другим. Все разочарования, которые он когда-либо знал, все боли, все печали произошли в его жизни из-за женщин. Было что-то неизбежно одинаковое в том, что они —

каждая на свой лад — пытались сделать с ним; бессознательно, почти небрежно — может быть, нащупывая его уязвимость и страх, — они убивали в нем то, что угрожало их абсолютной власти.

Отвернувшись от окна, он столкнулся со своим отражением в зеркале и принялся уныло созерцать угасшее одутловатое лицо, глаза, иссеченные, словно кусочками запекшейся крови, перекрестьями прожилок, всю ссутулившуюся, обвислую фигуру, сама осанка которой была неопровержимым свидетельством полнейшей апатии. Ему было тридцать три года — выглядел он на сорок. Но ничего, все еще изменится.

Дверной звонок загрохотал так внезапно, что он вздрогнул, словно от крепкого удара. Справившись с собой, он вышел в прихожую и отпер входную дверь. На пороге стояла Дот.

Столкновение

Он попятился от нее в гостиную, понимая только отдельные слова из того слитного потока фраз, которые неудержимо и монотонно изливались из нее. Одетая она была скромно, со старанием скрыть бедность — вызывающая почему-то жалость маленькая шляпка, украшенная розовыми и голубыми цветками, покрывала и скрывала ее темные волосы. Из всех ее слов он заключил, что несколько дней назад она увидела в газете объявление, касавшееся судебного процесса и от клерка в апелляционном суде узнала его адрес. Она позвонила, но какая-то женщина, которой она не назвалась, сказала ей, что Энтони нет дома.

Уставясь на нее, он застыл в дверях гостиной, ошеломленный, сломленный, отупевший от непередаваемого ужаса и слушал эту неумолкающую болтовню... Его все сильнее охватывало ощущение, что вся цивилизация, все эти люди с их социальными отношениями, вообще все мироздание делаются зыбкими и нереальными... А она говорила, что работает в шляпном магазине на Шестой авеню. Это была унылая жизнь. Она долго проболела, после того, как его отправили в Кэмп-Миллз; потом приехала мать и забрала ее домой в Каролину... Она приехала в Нью-Йорк только за тем, чтоб найти Энтони.

Она была убийственно серьезна. Ее фиалковые глаза покраснели от слез, мягкое течение ее голоса то и дело прерывалось краткими приступами рыданий.

Это все, что она могла. Она была неспособна меняться. Она снова хотела получить его, и если это ей не удастся, она должна умереть...

— Тебе нужно уйти, — сказал он наконец с вымученной убедительностью. — У меня вполне достаточно забот и без твоего явления. Господи! Уходи немедленно!

Рыдая, она опустилась на стул.

— Люблю я тебя, — вскрикивала она сквозь слезы. — Мне все равно, что ты скажешь! Люблю тебя.

— Мне тоже все равно! — он говорил свистящим шепотом. — Убирайся!.. Убирайся отсюда, ради Бога! Тебе мало того, что ты уже сделала? Мало ты мне горя принесла!?

— Ударь меня, — умоляла она безумно, исступленно. — Ну, ударь меня, и я буду целовать руку, которой ты меня ударишь.

Его голос возрос до визгливого крика.

— Я убью тебя! — орал он. — Если ты не уберешься, я убью тебя! Убью!..

Теперь в его глазах сверкало настоящее безумие, но несколько этим не уstraшенная Дот поднялась со стула и шагнула ему навстречу.

— Энтони! Энтони!..

Зубы его лязгнули и он отпрянул назад, словно готовясь броситься на нее — потом в его намерениях что-то изменилось, и он принялся дико озираться, словно отыскивая что-то на полу и на стенах вокруг себя.

— Я убью...ю тебя, — бормотал он прерывисто. — Убью... тебя.

Он словно откусывал каждое слово, будто пытаясь этим превратить их во что-то осязаемое. Она, почуввав наконец опасность, замерла на месте и, встретившись с его неистовым взглядом, сделала шаг назад, по направлению к двери. Энтони начал метаться

по комнате, не переставая повторять свою угрозу. Наконец он обнаружил то, что так долго искал — это был крепкий дубовый стул, который стоял у стола. Издав хриплый, захлебывающийся вопль, он схватил стул, широко замахнулся над головой и метнул его со всей силой своей ярости прямо в белое перепуганное лицо на другом конце комнаты... и плотная, непроницаемая темнота пала на него, поглотив все мысли, гнев, самое сумасшествие — с едва различимым щелчком лик мира преобразился в его глазах...

Вернувшиеся в пять часов Глория и Дик принялись звать его. Ответа не последовало. Тогда они вошли в гостиную и увидели валявшийся возле двери стул с разбитой спинкой. Еще они заметили, что в комнате царил беспорядок: коврики на полу были сдвинуты с мест, фотографии и безделушки на комодке валялись как попало. Воздух в комнате был пропитан запахом дешевых духов.

Энтони они обнаружили сидящим на полу возле своей кровати в ярком пятне солнечного света. Перед ним горой лежали его альбомы, и когда они вошли, он ворошил руками большую кучу марок, которую высыпал из одного из них. Заметив Дика с Глорией, он, склонив голову набок, критически оглядел их и сделал предостерегающий жест.

— Энтони! — взволнованно вскричала Глория. — Мы победили! Они опротестовали решение!

— Не подходите, — безжизненным голосом пробормотал он. — Вы все тут перепутаете. Я тут сортирую, а вы начнете топтаться. Я вас знаю. Вы всегда все перемешаете.

— Ты чем занимаешься? — изумленно спросил Дик. — В детство впал? До тебя что — не доходит, что вы выиграли процесс? Они отменили решение суда первой инстанции. Ты теперь стоишь тридцать миллионов!

Энтони лишь укоризненно посмотрел на него.

— Выйдите вон и закройте за собой дверь. — Он произносил слова словно капризничающий ребенок.

Глория вглядывалась в него, и во взгляде ее возникало предвестие ужаса.

— Энтони, — закричала она, — что все это значит?.. Что случилось? Почему ты не пришел в суд?.. Господи, что все это значит?!

— Вы слышали меня? — вкрадчиво спросил Энтони, — сейчас же оба выйдите отсюда. Сейчас же! А то я дедушке скажу.

Он поднял над головой целую пригоршню марок, разжал пальцы, и разноцветные клочки бумаги заструились вокруг него вниз, кружась и порхая, словно осенние листья. В пронизанном солнцем пространстве летели марки Британии и Эквадора, Венесуэлы и Испании... Италии...

С воробышками вместе

Только утонченная, божественная ирония, сумевшая привести в порядок дела тысяч поколений воробьев, способна отразить вербальные ухищрения пассажиров таких кораблей как «Беренгария». И, несомненно, именно она была главным слушателем, когда молодой человек в клетчатом кепи быстро пересек палубу и заговорил, обращаясь к хорошенькой девушке в желтом:

— Да, все правильно, — сказал он, указывая на укутанную фигуру, расположившуюся в кресле-каталке возле самых лееров. — Это Энтони Пэтч. Первый раз вышел на палубу.

— Так это на самом деле он?

— Говорят, с тех пор как четыре или пять месяцев назад получил свои деньги, он слегка тронулся. Представляете, тот человек, Шаттлуорт, ну, религиозный и все такое, который остался без денег, заперся в номере и застрелился.

— Правда?

— Но, думаю, Энтони Пэтча это мало беспокоит. Он свои тридцать миллионов получил. Теперь возит с собой врача, который все время при нем, если он вдруг плохо себя

из-за этого почувствует. А она уже на палубу выходила?

Симпатичная девушка в желтом осторожно оглянулась.

— Была здесь минуту назад. У нее шуба из русских соболей, стоит, наверное, кучу денег. — Она нахмурилась, потом решительно добавила. — Вы знаете, я ее видеть не могу. Она производит впечатление... такое, знаете, словно она вся крашенная и нечистая, если вы конечно понимаете, что я имею в виду. Некоторые люди просто как бы несут на себе такую печать.

— Да, конечно, я понимаю, — согласился человек в клетчатой кепке. — Хотя, в общем-то, она ничего. — Он помолчал. — Интересно, о чем он думает? О своих деньгах, наверное. Или, может быть, его мучает совесть из-за того человека, Шаттлуорта?

— Наверно...

Но человек в клетчатом кепи глубоко заблуждался. Энтони Пэтч, сидя у края палубы возле самых ограждений и глядя в морскую даль, не думал ни о деньгах, потому что в жизни его очень редко обуревало тщеславие, связанное с материальным достатком, ни об Эдварде Шаттлуорте, потому что самое лучшее — видеть в вещах их светлую сторону. Нет — он был поглощен бесконечной чередой воспоминаний, как генерал оглядывается на успешно проведенную кампанию и анализирует свои победы. Он думал о лишениях и невыносимых несчастьях, через которые прошел. Его пытались наказать за ошибки молодости. Он испытал безжалостную нищету, ему пытались поставить в вину даже стремление мечтать, друзья оставили его, даже Глория приняла сторону врага. Он остался один, лицом к лицу со всем этим.

Всего лишь несколько месяцев назад эти люди призывали его сдаться, подчиниться серости жизни, пойти работать. Но он был уверен, что идет в жизни правильным путем — и он стойчески сопротивлялся. Что ж, теперь те самые друзья, которые были больше всех жестоки и несправедливы к нему, вновь стали уважать его, понимая, что он все время был прав. Не те же ли самые Лэйси, Мередиты и Картрайт Смиты заходили к ним с Глорией в «Ритц-Карлтон», как раз за неделю до их отплытия?

Слезы великого торжества стояли в его глазах, и голос его дрожал, когда он шептал про себя:

— Я им показал, — говорил он. — Это была тяжелая схватка, но я не сдался. И я победил!

Дальновидные скептики

Однажды все люди мира, обладавшие умом и гением, обрели единую веру — говоря точнее, перестали верить. Но им невыносимо было думать, что не пройдет и нескольких лет после их смерти, и им припишут множество культов, систем и прогнозов, о существовании которых они даже не подозревали и не думали. И тогда они сказали друг другу:

«Соберемся вместе и создадим великую книгу, которая переживет века, высмеивая доверчивость людей. Уговорим наших лучших эротических поэтов написать о наслаждениях плоти, убедим наших циничных журналистов смачно описать знаменитые амурные истории. Включим туда самые нелепые басни, о которых сегодня судачат кумушки. Выберем самого остроумного сатирика из живущих ныне, чтобы составить вседержителя из всех тех вседержителей, которым поклоняется человечество — вседержителя, который будет величествен и одновременно по-человечески слаб настолько, что имя его во всем мире станет синонимом глупости — а еще мы припишем ему все самые смешные черты, наделим его тщеславием и гневом, к которым у себя самого он будет относиться снисходительно, и люди будут читать нашу книгу, и хихикать, и не будет в мире большего вздора.

И, наконец, позаботимся о том, чтобы стиль книги блистал всеми красками, чтобы она пережила века и осталась свидетельством нашего абсолютного скептицизма и нашей вселенской иронии».

Так они и сделали, и они умерли.

Но книга осталась навеки — так прекрасно она была написана, так изумительна была фантазия, с которой эти люди, обладавшие умом и гением, написали её. Они не стали давать ей названия, но после их смерти её стали называть «Библия». (перевод А.Б. Руднева)